

«ДН» — 2015-2016

Романы, повести:

Мария АНУФРИЕВА. Существо. Роман

Заир АСИМ. Книга дней. Повесть

Наталья БИРЧАКОВА. Мысль изречённая. Фантазмагорические заметки
о Гоголе, или Всеобщая теория всего

Валерий БОЧКОВ. Время воды. Роман

Резо ГАБРИАДЗЕ. Доктор и больной. Повесть

Хамид ИСМАЙЛОВ. Пляска бесов, или Большая игра. Роман

Анатолий КИМ. Я гений. Повесть о Смоктуновском

Елена КЛЕПИКОВА. Из жизни Марты. Повесть в рассказах

Виктория ЛЕБЕДЕВА. Без труб и барабанов. Роман

Афанасий МАМЕДОВ. Перегрузка в Тунисе. Короткий роман

Марина МОСКВИНА. КРИО. Роман. Книга вторая

Гурам ОДИШАРИЯ. Очкастая бомба. Повесть. С грузинского

Юрий ОСИПОВ. Краткий курс мальтийской жизни с красивой женщиной

Юрий ПЕТКЕВИЧ. Голубь в Кезейках. Повесть

Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ. Новая повесть

Дмитрий СТАХОВ. Свет ночи. Роман

Алексей УСТИМЕНКО. Хмарь стеклянной Бухары. Повесть

Сергей УТКИН. История болезни. Повесть в рассказах

Левон ХЕЧОЯН. Чёрная книга, тяжёлый жук. Роман. С армянского

Глеб ШУЛЬПЯКОВ. Красная планета. Новеллы из романа

Рассказы: Евгения АЛЁХИНА, Олега БОНДАРЕНКО, Андрея ВОЛОСА, Елены ДОЛГОПЯТ, Натальи КЛЮЧАРЁВОЙ, Алексея КОЛОБРОДОВА, Ильи КОЧЕРГИНА, Мариам ПЕТРОСЯН, Сергея РЯЗАНЦЕВА, Владимира ТОРЧИЛИНА, Арслана ХАСАВОВА, Евгения ШКЛОВСКОГО и других авторов

Новые имена: участники Форума в Липках, Волошинского фестиваля, фестиваля «Литературный ковчег» и наши собственные открытия

Новые сочинения: Дмитрия ВЕРЕЩАГИНА, Эльчина ГУСЕЙНБЕЙЛИ (с азербайджанского), Ицхокаса МЕРАСА (с литовского), Дмитрия НОВИКОВА, Светланы ПЕТРОВОЙ, Владимира ХОЛОДОВА, Александра ХУРГИНА, Дмитрия ШЕВАРОВА

Новые стихи и переводы: Шамшада АБДУЛЛАЕВА, Сухбата АФЛАТУНИ, Ефима БЕРШИНА, Сергея ВАСИЛЬЕВА, Германа ВЛАСОВА, Андрея ГРИЦМАНА, Ольги ИВАНОВОЙ, Алексея ИВАНТЕРА, Игоря ИРТЕНЬЕВА, Александра КАБАНОВА, Инны КАБЫШ, Светланы КЕКОВОЙ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Григория КРУЖКОВА, Марины КУДИМОВОЙ, Инги КУЗНЕЦОВОЙ, Виктора КУЛЛЭ, Станислава ЛИВИНСКОГО, Ларисы МИЛЛЕР, Олеси НИКОЛАЕВОЙ, Натальи ПОЛЯКОВОЙ, Геннадия РУСАКОВА, Юрия РЯШЕНЦЕВА, Анны САЕД-ШАХ, Владимира САЛИМОНА, Олега ХЛЕБНИКОВА, Вячеслава ШАПОВАЛОВА и других авторов



ДРУЖБА НАРОДОВ

ДРУЖБА НАРОДОВ 5/2015



5'2015

- **Аркадий Штейнберг**
Рассказ бронебойщика
Поэма-быль
- **Анатолий Генатулин**
Бригадная похлёбка
Рассказ
- **Юрий Оклянский**
Праведник среди камнепада
Документальная повесть о Борисе Слуцком
- **Сердце – как крыло раненого орла**
Военные письма Кайсына Кулиева
- **Эхо Великой войны**
Заочный «круглый стол»

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzha/
LIVEJOURNAL: http://druzba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.03.2015.
Подписано в печать 27.04.2015.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 8568. Цена свободная.

Дружба народов 5'2015

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр
ЭБАНОИДЗЕ

Лев
АННИНСКИЙ

Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА

Зам. главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь Сергей
НАДЕЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Резо
ГАБРИАДЗЕ

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Александр
СНЕГИРЕВ

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

Эхо Великой войны. Заочный «круглый стол»	3
---	---

Золотые страницы «ДН»

Сергей ОРЛОВ (26), Николай ПАНЧЕНКО (97), Александр РЕВИЧ (204),
Евгений ЕВТУШЕНКО (225), Максим ТАНК. С белорусского. Перевод Алексея
Парщикова (238), Кайсын КУЛИЕВ. С балкарского. Перевод Юлии Нейман (245)

События. Суждения. Судьбы

Юрий ОКЛЯНСКИЙ. Праведник среди камнепада. Документальная повесть	27
---	----

Проза и поэзия

ДЕТИ ВОЙНЫ

Анатолий ГЕНАТУЛИН. Бригадная похлёбка. Рассказ	98
Ефим БЕРШИН. Эпоха обречённая моя. Стихи	118
Султан ЯШУРКАЕВ. Пасха. Рассказ	121
Аркадий ШТЕЙНБЕРГ. Рассказ бронейщика. Быль. Публикация Н.И.Штейнберг-Егоровой	128
Борис ГОЛЛЕР. Неназванное. Несколько страниц о войне	131
Александр ОРЛОВ. Наш век сырыми войнами рождён. Стихи	167

ПРОЗА.doc

Валерий ГРОЗАК. Я еще не вернулся с войны. Киевские истории	170
---	-----

Нация и мир

Леонардо ДЗАНИЕР. Рассказы. С итальянского. Перевод и вступительное слово Евгения Жаркова	205
--	-----

Публицистика

Евгений ВОЙСКУНСКИЙ. Балтийский Геркулес	226
--	-----

Критика

ЭХО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Ольга БАЛЛА. Невозможность возвращения	239
--	-----

Архив

Поэты и война

Хыбар о последнем слове. Публикация А.Шараповой и М.Хакуашевой	247
Сердце — как крыло раненого орла. Публикация и комментарий Л.Егоровой	250

Культурная хроника

Юрий ПОДПОРЕНКО. Художники о войне	253
--	-----

Эхо

«Артек»: светомаскировка, эвакуация, мобилизация... Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	254
Summary	256

Эхо Великой войны

В заочном «круглом столе» принимают участие:

Ирина БОГАТЫРЁВА, Алексей ВАРЛАМОВ, Николай ВЕРЁВОЧКИН, Василий ГОЛОВАНОВ, Тиркиш ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ, Елена ДОЛГОПЯТ, Афанасий МАМЕДОВ, Александр МЕЛИХОВ, Роман СЕНЧИН, Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ, Александр СНЕГИРЁВ, Дмитрий ШЕВАРОВ, Султан ЯШУРКАЕВ

Накануне 70-летия Победы мы предложили писателям разных поколений из России и новых постсоветских государств рассказать о том, как повлияли на их личностное становление воспоминания прошедших Великую Отечественную родных и школьные встречи с ветеранами, какой из эпизодов той войны представляется им наиболее значимым и есть ли событие или личность, книга или фильм, в которых для них воплотился ее образ, а также о том, какие уроки Великой Отечественной наиболее важны для современности.

Василий Голованов, прозаик, г.Москва

Наша Отечественная

Сейчас мне пятьдесят четыре года: легко высчитать, что когда я родился, на календаре был год 1961-й, или, если уж быть совсем точным, декабрь 1960-го. Округлив даты, легче считать. От войны меня маленького отделяло всего пятнадцать лет: война еще у всех была на памяти, во всяком случае, она еще погромыхивала где-то в недалекой запредельности истории; в каком-то смысле война еще продолжалась, тлела болью в громадной ране деда над ключицей, куда вошла пуля от противотанкового ружья с «выходом» из левой лопатки, которую рвал надвое след, похожий на огромную сросшуюся застёжку-молнию...

В детском саду, а потом в школе нам говорили, что это была последняя война, буквально последняя в истории, но наше поколение мальчишек не верило этому: что-то должно было остаться и на нашу долю. К тому же за войной тянулся такой длинный шлейф памяти взрослых, их рассказов, фильмов, книг, что мы так и жили в этой их памяти, как во сне или в кино...

Над дверью моей комнаты висит портрет бабушки и деда: снято в 1942 году, дед еще без погон, на воротнике гимнастерки четыре «шпалы» (бригадный комиссар). Бабушке тридцать пять, она приехала на фронт, когда дед вернулся из госпиталя под Красноярском, куда отправляли «тяжелых». Не знаю, почему я повесил фотографию

именно над дверью: возможно, мое мышление слишком традиционно, и предки до конца так и не выключены из моего сознания, наряду с живыми и действующими членами семьи, как это почти повсеместно было еще недавно в каждой крестьянской семье, где в одной рамке на стене собиралась вся фамилия: и живые, и мертвые, глядящие с фотографий серьезно и ответственно перед памятью детей, внуков и правнуков...

Не раз приходилось мне, глядя бабушке и деду в глаза, просить у них прощения за какой-то нелепый, черт знает как приключившийся, внутренний проступок, который они, я знаю, никогда не совершили бы. Это были удивительно чистые и *настоящие* люди, которым я обязан в своей жизни даже больше, чем матери и отцу. Семья наша была, в общем, обычной советской семьей, в два с половиной года я оказался в детском саду на пятидневке — родителям надо было работать — и лучшая пора моей жизни, каникулы, лето, была связана именно с дедом и с бабушкой. Не было для меня человека добрее, заботливее, самоотверженнее и прозорливее, чем бабушка. Не было мужчины, который мог бы сравниться с дедом: он был могучий, справедливый и добрый герой, терпеливец и бесребренник, образ которого, к тому же, всегда был подсвечен героическим огнем войны. Дед-то был генерал, танкист. Мы с братом его все допытывали — что там, на войне, было-то? А он разговоров этих не любил, уходил от них, а если мы приставали — сердился, и только иногда с кем-нибудь из старых они войну вспоминали.

Спросишь его:

— Дед, а сколько ты немцев убил?

— Не знаю, — буркнет дед, и чувствуется, что продолжать ему неохота.

— Но ты стрелял?

— Стрелял.

— А они падали?

Как же он ответил? Я так и не понял, падали они или нет, или, вернее, так, что падать-то там все падали, люди, кто убитый, кто раненый, но что в гуще боя различить, кто от чего упал, нельзя, что бой — это что-то типа железного ветра, который сечет со всех сторон, да еще с завихрениями, а люди, повинуясь этому ветру, смещаются по плоскости, по укрытиям, то ползком, то бегом, то в полный рост, то за кочками, то по воронкам. И стреляют. А потом все заканчивается. И ты либо сразу чувствуешь, как тошноту, — разбиты. Либо потом приходит приказ, где говорится, что молодцы, победили, но теперь вам по-любому надо отступать, потому что противник сломил наше сопротивление на флангах и обошел вас справа и слева. И даже пожрать перед отступлением нечего. Потому что ни каши тебе, ни супу — ни хрена. Походные кухни и штаб уже отвалили. Значит, сухарь, кипяток — и ночной марш-бросок.

Мы любили трогать рану деда. Он сносил эти приставания молча, а возможно, даже любил их — как своеобразную ласку, и только когда мы переходили грань возможного восторга и почтения к этим ранам, дед стряхивал нас с плеча, тихонько ворча, как медведь. Лишь незадолго до смерти он мне рассказал, как всадили в него эту пулю, когда в 1941-м 51-я армия попала в котел под Брянском.

Дед всю войну до последнего дня прошел, но сорок первый год его до смерти не отпускал. Когда сколько они ни дрались — ничего не выходило. Хотя и люди были — первый сорт, и Хасан тебе прошли, и Халхин-Гол. А немцы их палили, как тараканов паяльной лампой. И на всех окруженцев — а там бригада, наверно, целая выходила — две несчастные танкетки осталось, да пушка со сбитым прицелом, из которой по немцам били прямой наводкой, глядя в ствол... Потом-то все перевернулось: и сила взялась, и танки, и штурмовики «черная смерть», а главное, упертость: победить или умереть. Но если дед и вспоминал войну, то сорок первый. Видно, круто он ему дался. Однажды, правда, когда я заболел, он танк мне нарисовал — «Пантеру». В сорок

первом году у немцев еще таких не было, они на Курской дуге в 43-м появились в первый раз. Дед там был, под Прохоровкой. Помню, как раз фильм вышел, «Огненная дуга», и все мы, мальчишки, смотрели, и дед тоже пошел смотреть. Не досидел до конца, ушел. Весь вечер не разговаривал. Я его потом спросил: «Что, дед, похоже на правду?» А он сказал: «Какое — похоже? Там неба видно не было». И все. Больше ни слова. И про Курскую дугу — величайшее танковое сражение в человеческой истории — я так и не узнал от него ничего.

И все же я чувствовал, что там, на войне, поколению наших дедов удалось свершить по-настоящему большое дело: они победили жестокого и беспощадного врага. Сломали хребет Зверя. Сохранили для нас Родину и добыли чувство победы. Мы были внуками победителей, и все равно, с самого раннего детства тоже чувствовали себя победителями. Так что все, что я знаю о войне, вернее, то, как я ее воспринимаю и понимаю, пришло от деда. Ни отец, ни мама, ни бабушка своими рассказами про первые бомбежки Москвы и эвакуацию и половины не добавили в это понимание. То же и книги. Разумеется, в школе я читал «Сын полка» Валентина Катаева, а потом, вслед за дедом, «Живые и мертвые» Константина Симонова, но все это ни в какое сравнение не шло с тем живым опытом, который носил в себе дед. Я только сейчас, в связи с событиями на Украине, понял, что облекал он своим молчанием: там, на войне, нет и не может быть той романтики, которая так или иначе (и, наверно, даже оправданно) просачивается в книги и в кино. Там идет рубиловка не на живот, а на смерть. За отечество — насмерть. Только так добывается победа. А с нею — свобода и достоинство победителя. Именно так, через неисчислимые утраты дедов, наследуется внуками не оскверненная врагом Родина.

Каким-то образом Льву Толстому в «Севастопольских рассказах» и в «Войне и мире» удалось это показать. К сожалению, Великая Отечественная война не нашла своего гения, способного передать грозную тектонику истории и человеческих метаморфоз в тот роковой для страны час. Лишь Виктор Некрасов («В окопах Сталинграда»), да Василий Гроссман («Жизнь и судьба») приблизились к действительному пониманию и, соответственно, выражению того, что произошло... Да! Василь еще Быков: он, как никто, понимал множественность выборов, появляющихся перед человеком на войне. Ну, например, выбор между смертью и предательством...

Но не это главное. В какой-то момент мне стало казаться, что время Победы почти истекло. Пришло *будущее* с новыми задачами, стоящими перед человечеством, а война осталась в *прошлом*, в вечно длящемся прошлом, как фотография деда в крестьянском доме, которую, как старое, опаленное огнем дерево, оплели новые живые ростки: внуки, правнуки, племянники... Новой жизни нужны были *свои* победы, а мы при Горбачеве бездарно просрали страну, которую отстояли для нас и завещали нам деды...

И все-таки жизнь, как ей и положено, шла своим чередом, другая жизнь, которая как-то резко потеряла связь с тем драгоценным наследием дедов, которое еще разделило с ними наше поколение. Появились признаки упадка: наркота, беспредел, полное отсутствие интереса к творческой, созидательной стороне жизни у молодежи...

В этом смысле бесконечное педалирование темы Победы, нагнетание пафоса, «зрелищности» и дороговизны праздника, как на 50-летию Победы в Москве, было своего рода непристойностью, которой власть стремилась прикрыть позор того, что творилось в России в 1995-м году: всевластие олигархата, проамериканский курс себе на погибель, развал экономики, образования, науки, утрату чувства родины и родства, единства народа, народов, которые там, под огнем, *были* братьями, а превратились в какие-то агонизирующие, враждующие племена, у которых даже вождей толковых не осталось...

Грянул миллениум: он резко обозначил проблему глобальной экологии, новых отношений между народами на нашей маленькой, в сущности, Земле, проблему новой духовности в новом усложнившемся мире.

Когда-то в детстве я читал журнал «Техника — молодежи». И был убежден, что уж в двадцать-то первом веке мы, люди, только и будем заниматься «чистыми» источниками энергии, элитными технологиями и углубленным внутренним совершенствованием. И что же? XXI век открылся бомбежками Сербии и хлынул магмой самых первобытных чувств, расколов, яростной борьбы за ресурсы, за наживу любой ценой, за сферы влияния, за мировое господство...

Оказалось, что ничто из арсенала Третьего Рейха не забыто: ни геббельсовская «тотальная пропаганда», ни слепой национализм, ни способ вести войну, «деморализуя» противника уничтожением мирного населения...

Соединенные Штаты в свое время тщательно изучили и, как материнское молоко, всосали опыт побежденных: все, касающееся атомной бомбы, попытки выборочного уничтожения отдельных групп населения, высококлассную фашистскую диверсионную работу, успехи в манипуляции массовым сознанием и механизм разжигания ненависти к России.

Все это в конце концов закончилось трагедией Украины, антиконституционный переворот в которой был проплачен, срежиссирован и откорректирован Америкой, которая, не раздумывая, воспользовалась дурной энергией ультраправых, чтобы начисто вышибить у страны мозги...

Прошлое, если оно не изжито до конца, обязательно возвращается. Часто в виде фарса. Происходящее в Киеве и вправду напоминает фарс. Но от этого не легче. Хочется, чтобы начавшиеся переговорные процессы привели к миру на Украине. Хочется, но не слишком верится. Ибо пока там шла война — казалось, что это *та же* война, давно, кажется, забытая и проклятая...

Что противопоставить этому? Мне стыдно за ток-шоу, подогревающие национал-патриотические чувства нашего народа. Стыдно за ура-патриотический фильм Михалкова «Цитадель». Насколько же это *не то!* Национализм можно подогреть и даже заставить шкварчать, как говно на сковородке, но победу это не приблизит. Ни там, в Донбассе, где ополченцы и добровольцы сражались за свое право быть, за свое достоинство, за свою Родину... За Отечество.

Ни тем более здесь, у нас. Если Россия всерьез хочет помочь им, помочь миру, задавленному амбициями и цинизмом США, ей, прежде всего, нужно изжить всю ту бездну моральной неправды, которая накопилась в нашем обществе: мы выступаем поборниками демократии, не имея демократических институтов и серьезного общественного мнения (ток-шоу — не в счет), мы хотим быть передовой страной, унизив науку и переведя высшее образование в какую-то умозрительную сферу, мы возмущаемся несправедливостью за пределами наших границ и миримся с отвратительной неправдой внутри их: вопиющим, унижительным неравенством «элиты» и «народа», загубленным и теперь уже глубоко коррумпированным здравоохранением... Само отношение «богатеньких» к «обыкновенненьким» настолько унижительно и отвратительно, что... Стыдно. Агрессивное пораженчество либералов — отвратительно и постыдно. Как и омерзительная узколобость «патриотов».

Я знаю: сейчас с меня спросят, подхватят под белые руки и повлекут к ответу: а ты, скажут, кто таков? Какого роду-племени? С кем ты? За кого?

Я отвечу: я — писатель. Я за ту родину, которую унаследовал от деда: не для того, чтобы до смерти своей упивался *его* победой, а для того, чтобы одержать для нее *свою* — победу над несправедливостью, над духом стяжательства, над хамством «папенькиных сынков» и бюрократов, над национальным самодовольством. Боюсь,

трагедия на Украине далека от завершения. Пусть ополченцы и добровольцы армий ДНР и ЛНР одержат свою победу. Мы верим в них. И поможем им, чем сможем. Именно в желании помочь слабым, уберечь мирных жителей, повсеместно, по всей России проявились лучшие качества нашего народа, наших общественных деятелей, действующих политиков и президента. Но здесь, внутри страны, нам нужно выиграть войну совсем иного рода: победить несправедливость, воровство, ставшую обыденным явлением спекуляцию, коррупцию, вернуть себе право на образование и медицинскую помощь, а родине — науку и передовые технологии. Кто-то думает, что патриотизм сейчас заключается в пьяном распевании военных песен. Патриотизм сейчас в том, чтобы сделать жизнь в России реально привлекательной. Мы должны стать лучше. Мы должны стать чище. *Здесь* сейчас проходит линия фронта. Здесь — *наша* Великая Отечественная война...

Ирина Богатырёва, прозаик, г.Люберцы

Забывать нельзя помнить

Писать о Великой Отечественной войне, о своем отношении к ней — тяжело. Писать об этом — все равно, что балансировать на натянутой проволоке. И дело даже не в том, что об этом написано очень много и добавить практически нечего. И не в том, что до сих пор вопросов больше, нежели ответов. Дело в том, что мы до сих пор воспринимаем эту тему очень болезненно.

Хотя, если вдуматься, почему? С каждым годом все меньше людей, помнящих ту войну, но мы не перестаем чувствовать свою к ней причастность. Мы гораздо больше знаем о ней, нам известны как ошибки, приведшие к потерям и поражениям, так и наши подвиги, и все же наше отношение к войне не меняется — оно по-прежнему одностороннее, а любые попытки взглянуть под другим углом приводят к агрессии. Почему так? Почему мы до сих пор живем под тенью той войны? Живем и верим, что это тень от семейного дерева, тогда как на самом деле это плотная тень от монумента из железобетона: он и восхищает, и подавляет своей мощью, он исполнен пафоса, а не эстетики. Верим, что, сохраняя память о войне, отдаем дань уважения тем, кто воевал, кто погиб, от кого зависела победа, и не замечаем, что наша любовь и наше сострадание к дедам и родителям, воевавшим и перенесшим лишения, позволяет манипулировать нами: на этих эмоциях строится современная политика, не имеющая никакого отношения к героическому прошлому.

Наверное, я имею возможность так рассуждать, потому что «эхо войны» почти не тяготеет над моей семьей. Вероятно, будь моя семья из Ленинграда или из оккупированных районов, я бы думала иначе. Но один мой дед был эвакуирован вместе с заводом, второй же служил, прошел всю войну, вернулся и женился на молодой девушке. У нас нет семейных историй о том времени — одной стороне моей семьи нечего было рассказывать, а второй не хотелось, как я понимаю теперь. Поэтому для меня *та* война — событие внешнее, историческое, известное по фильмам и книгам, а отчасти даже символическое, относящееся к неким базовым элементам этого мира. Так я привыкла относиться к самому празднику Победы. Попадая на начало мая, он занял пустующую нишу праздников начала лета — с чувствами обновления, освобождения от страданий (зимы, войны), прихода новых надежд, с горечью от потерь и быстротечности юности и поры цветения, — со всеми этими важными, бытийными переживаниями, нормальными и необходимыми каждому человеку. Может, именно поэтому наша жизнь без него уже не мыслится. Праздник плотно вошел в нее, а все

сопутствующее — салюты, планки с орденами, «Летят журавли» и «А зори здесь тихие», пафос парадов с бряцаньем оружия — внешние атрибуты, такие же, как застолье или хоровод.

Но если бы этот праздник нес в себе только чувство освобождения от войны и бед, он был бы другим. На деле же в нем с каждым годом все меньше меланхолической грусти ветеранов и все больше — нашей потенциальной агрессии. Это уже перевертыш, на который страшно смотреть. Как будто мы не позволяем себе забыть о подвигах и страданиях, чтобы быть злее. Человек, совершивший в своей жизни один, пусть героический, но очень давний поступок и всю оставшуюся жизнь занятый только тем, что рассказывает о нем, выглядит нелепо. Потому что совершенно очевидно, что больше ему не за что в жизни держаться — иначе и он бы понял, что в какой-то момент важно начать забывать.

Мой дед прошел всю войну и вернулся с фронта невредимым. Он не был до этого женат и взял в жены девушку, на семнадцать лет себя младше. Он взял в жены девочку, которая во время войны копала окопы и заканчивала школу. В ее памяти не было войны, какой видел ее дед. У нее были только письма с фронта, треугольники от одноклассников, которые ушли и не вернулись. Почему они писали ей, эти перепуганные мальчишки? Потому что она была красивая; они вспоминали ее в том кошмаре, в котором оказались, и, наверное, в тот момент думали, непременно думали, что любят ее.

Бабушка и правда была красива — курносая, задорная, коса по голове, очень русское, чистое лицо. Я уверена, дед был счастлив видеть рядом с собой это лицо, эти глаза, не выдавшие фронта.

И вместе они тоже были счастливы. О войне не говорили. Мама вспоминала, что в детстве они с сестрой играли отцовскими орденами. И все их растеряли. Фронтовые треугольники долго еще лежали на чердаке в сундуке, но потом тоже исчезли. Когда однажды в школе ко Дню победы понадобилось принести сохранившиеся в семье свидетельства войны, я недоумевала: у нас не оказалось ничего, а как же *«чтобы помнили»*, а как же *«сохраним для потомков»*, которые слышатся постоянно со всех сторон? Мама пожимала плечами.

Я не понимала этого отношения к войне до тех пор, пока не прочла о том же у Светланы Алексиевич: ее корреспондентки в книге *«У войны не женское лицо»* не хотят вспоминать войну, их приходится мучить расспросами, эта память для них тяжела, и вряд ли они хотят сохранить ее и передать своим детям. Это для исследователя, для историка, писателя, публициста — собрать и сохранить. Нормальный человек хочет забыть. Забыть и быть счастливым. Отвоевал, вернулся — и живи дальше. Бери в жены курносую девочку и мечтай о новой жизни. Будь счастлив сам и желай счастья своим детям. А зачем вспоминать о войне каждый год? Для того только, чтобы помянуть тех, кто не вернулся? Да, их поминали, но человек, живой и здоровый, хочет жить дальше, он не может и не должен нести горе через всю жизнь и тем более передавать память о нем детям.

Забыть — значит быть здоровым, счастливым и сохранить психику. Это — биологический закон.

Помнить — значит сохранить опыт истории, передать его потомкам, чтобы они не совершали тех же ошибок, чтобы осознавали свои шаги и могли предугадать их последствия. Это — социологический, исторический закон.

Соблюсти их оба — все равно, что пройти по натянутой проволоке. Это возможно, но никак не путем установления все новых и новых монументов, как реальных, так и ментальных. Это дело анализа, понимания прошлого, а не демонстраций и громких речей ради того, чтобы напомнить всем о нашей роли в мировой истории.

Конечно, почитание подвигов прошлого важно для самосознания нации. Но отдавая дань героям прошлого, создавая его уроки, важно продолжить жить дальше.

Забыть, не забывая, помнить, не устанавливая монументов, и не совершать ошибок не потому, что боишься, а потому, что знаешь. Чтобы любовью нельзя было манипулировать, чтобы на ней нельзя было строить политическую игру. А память? Память сохранится. Настоящая память — не в орденах и медалях и даже не в старых письмах. Настоящая память в том, что дед вернулся и жил, — как и многие вернулись и жили, — что победили, и вот опять сирень цветет. И главное, чтобы ничего не повторилось.

Кроме сирени — ничего.

Султан Яшуркаев, поэт, прозаик, Бельгия

Моя горечь и мой праздник

Сегодня, когда человечество с какой-то фантастически невероятной легкостью внесло в повестку дня своего бытия третью мировую войну и называет год, месяц и чуть ли не день ее начала, надо вспоминать о Второй мировой — да и о Первой, наверное, — не просто в связи с какими-то датами и представить ее не просто в образах художественной литературы, изобразительного искусства и т. д. Надо из подлинных документов и из самого главного документа — своей памяти вытащить ужас, который несли эти войны, надо назвать поименно десятки миллионов тех, кто похоронен в безымянных могилах, одиночных и братских, назвать имена миллионов сожженных в газовых камерах, помнить освенцимы, аушвицы, бабьи яры, плакать над костями тех, кто не похоронен и по сей день, надо видеть, как войны искалечили миллионы тех, у кого уцелели тела, но были убиты души...

При всем этом, войны стали издревле определять циклы жизни человечества. Каждая из них завершалась триумфальным парадом победителей и унижением побежденных, и этот акт закладывал предпосылки следующей войны, которая должна была восстановить «справедливость», порушенную предыдущей... Разум говорит нам, что в истории должна была случиться лишь одна война, после которой человечество осознало бы, что такое не должно повториться. Увы! В нашей природе есть вещи, которые сильнее разума — инстинкты... ненасытность... алчность... ненависть...

Да, обо всем этом написано множество томов — научных исследований, исторических документов, воспоминаний, которыми полны полки в архивах. Но они ли становятся для нас ориентирами? Нет. Следующее поколение воспитывается не на этих свидетельствах, а на рассказах о подвигах, совершаемых на войнах, на художественных образах героев, выведенных в романах, повестях, рассказах, кинофильмах. И я, говорящий о войне с ненавистью, на вопрос, оказали ли влияние на формирование моей личности книги и кинофильмы о войне, вынужден, сам себе противореча, ответить «да».

Я родился во время войны, сыгравшей роковую роль в моей жизни и самую трагическую роль в судьбе моего народа, оклеветанного, обвиненного в сотрудничестве с фашистами и депортированного с родины несмотря на то, что Чечня даже не была оккупирована врагом, несмотря на то, что десятки тысяч чеченцев сражались на всех фронтах, проливая кровь за большую Родину, погибая, совершая подвиги, получая награды, звания героев Советского Союза. Я рос, впитывая в себя подвиги героев этой войны, воспитывался на кинофильмах о ней. Первой книгой, которую я прочитал, была повесть «Сын полка», после которой мне и самому хотелось на войну...

Праздник ли для меня и для моего народа 9 мая? Да, праздник. Но, поистине, со слезами на глазах, с навечно неизгладимой обидой в душе. Праздник потому, что в него

внес свою долю мой народ, Знамя Победы обогрено и кровью его сыновей. Чеченцы сражались в окруженном Бресте, с презрением к врагу плясали лезгинку на крепостной стене, сражались под Сталинградом. Герой Советского Союза, девятнадцатилетний парень чеченец Ханпаша Нурадилов, уничтоживший девятьсот двадцать фашистов, похоронен на Мамаевом кургане. Герой Советского Союза Хансултан Дачаев первым форсировал Днепр. Герой Советского Союза комбат Ибрахим Бейбулатов и два его брата отдали жизнь за эту победу. Герой Советского Союза снайпер Идрисов Абухаджи уничтожил более трехсот фашистов. На счету Героя Советского Союза Мухамед-Мирзаева Хаваджи — двести восемьдесят восемь уничтоженных фашистов, на счету Махмуда Амаева — двести семьдесят семь. Герой Советского Союза, командир полка Висаитов Мовлид первым встретился на Эльбе с союзниками, был награжден высшим орденом США. Чеченец Исмаилов Абдулхаким водрузил Знамя Победы над рейхстагом вместе с русским и украинцем, звание Героя получил в 1996 году (!), когда вскрылась историческая правда. Дуду Энгиноев вернулся с войны к своему депортированному народу полным кавалером ордена Славы, а ведь полных кавалеров этого ордена было менее трех тысяч человек.

Мои односельчане: Чимаев Леча, защищавший Ленинград, и Джосуев Мада, бравший Берлин, а также Эпендиев Хизир, Дулуев Бата, Ахьядов Несерсолта, Идрисов Нуру вернулись с войны в депортацию. Семеро других полегли на полях сражений. И это лишь из одного аула, наверное, самого маленького в Чечне. Жаль, не назовешь всех земляков, ковавших вместе с другими День Победы, но это их день, их горечь, их праздник, а значит, и мой день, и моя горечь, и мой праздник...

Алексей Варламов, прозаик, г.Москва

Так я столкнулся с правдой о войне

Оказало ли «эхо Великой Отечественной» влияние на ваше формирование как личности? Очень большое. И дело не только в фильмах или книгах. В школе, где я учился, работал музей боевой славы воинской части 9903. Это была разведывательно-диверсионная часть, которой командовал знаменитый латышский красный стрелок Артур Спрогис, и в ней же сражалась Зоя Космодемьянская. То есть по сути там готовили боевые группы для заброски за линию фронта. И вот к нам в школу приходили ветераны, среди которых было много женщин, — все они пошли на войну добровольно. И рассказывали, как «партизанили» в тылу врага. Помню характерный зачин: «Вам рассказать как надо или как было на самом деле?» И учительница, этим музеем руководившая, Ольга Алексеевна Гурычева, просила их рассказывать все, как было. Так я столкнулся с правдой о войне. Был мал, глуп, мало чего запомнил, но ощущение жизни этих людей, чувство истории, несовпадение правды с официальной пропагандой и уверенность в нашей исторической правоте, в святости победы — это в памяти все осталось. Но дело не только в войне. В музее мы вообще занимались судьбами этих людей, как они прожили жизнь. К чему пришли. Иногда они приглашали нас на свои застолья, пели военные песни, иногда ходили с нами в походы по Подмоскovie и рассказывали, где что было тридцать лет назад — тогда как раз отмечалось 30-летие Победы, и им было примерно столько же лет, сколько мне теперь. Вот что осталось в памяти.

Есть ли событие или личность, в которых для вас воплотился бы образ Великой Отечественной? Одного человека или события нет, и по-моему не может быть, потому что вместить войну в какую-то одну величину, событие или судьбу невозможно в силу

ее грандиозности. Войну надо воспринимать целиком: от трагических первых месяцев отступления до победы, от чудовищных жертв и преступных приказов до личного героизма и постоянного труда. Война не есть что-то однозначное, однородное, победу в ней нельзя лакировать и покрывать глянцем именно потому, что это была великая война и великая победа. И нам нужна правда о войне, а не миф в воспитательных, пусть даже благородных целях.

Какой из эпизодов Великой Отечественной представляется вам наиболее важным, значимым, символическим? Блокада Ленинграда. Каждый раз, когда я приезжаю в Петербург, иду по его улицам, набережным, мостам, я не могу отделаться от чувства, как они это пережили. О блокаде написано много великих книг, воспоминаний, но все равно в полном объеме все это представить, осознать невозможно... И это для меня узел той войны — память, слава, ужас, мощь, бессилие, страдание, подлость, святость, победа — все здесь.

Есть ли художественное произведение (книга, фильм, спектакль), которое, на ваш взгляд, наиболее правдиво рассказывает об Отечественной войне? Я думаю, таких книг очень много. Начиная от военной прозы Андрея Платонова, и дальше — Виктор Некрасов, ранний Юрий Бондарев, Курочкин, Окуджава, Василь Быков, Бакланов, Богомолов, Константин Воробьев, Астафьев, Кондратьев, Носов, Гранин. У нас была великая военная проза. А какая поэзия! Но из произведений ключевых я бы назвал роман, написанный человеком, в войне не участвовавшим, но сумевшим сказать очень важное, объять почти необъятное. Это «Генерал и его армия» Георгия Владимова. И еще вспомнил бы про прекрасную повесть Леонида Бородина «Ушел отряд».

Какие уроки Великой Отечественной наиболее важны для современности? Вопрос звучит немного по-школьному и просит школьный ответ: война не должна повториться. Еще одного такого испытания Россия не выдержит.

Николай Верёвочкин, прозаик, г.Алма-Ата

Лживое эхо войны

Мальчишки моего поколения росли среди фронтовиков и любили играть в войну. Фронтовиками были наши отцы, учителя, соседи.

Они не любили, когда мы играли в войну.

Меня, шестилетнего пацана, связывала дружба с дядей Васей. Причиной тому было наше общее увлечение рыбалкой и лодка моего деда.

Дядя Вася в нашем райцентре был большим человеком. Он нес свет людям. Причем в буквальном смысле. Дядя Вася работал мотористом, и от его дизеля питалась электричеством вся заовражная часть нашей деревеньки. Поскольку днем и без дяди Васи было светло, его электростанция работала исключительно в темное время суток. Днем он был предоставлен самому себе. О нем так и говорили — свободный человек. А что делает свободный человек? Сидит с удочкой на берегу Ишима. От дяди Васи за версту несло махоркой, кожаной курткой и бензином. Он учил меня плести самоловки, изготавливать из коровьего рога приманку и выбирать удилища в зарослях тальника. Улов он честно, с моей точки зрения, делил пополам. Бабушка звала меня кормильцем.

О войне дядя Вася не любил рассказывать, потому что не умел врать. В то время я увлекался рисованием батальных полотнищ, и мне пророчили славу второго Верещагина. Сюжет моих картин был прост: наши лупили фашистов. Танки и самолеты с красными звездами, наши солдаты вели огонь из всех видов оружия по

врагу, и каждый выстрел поражал без промаха танки и самолеты со свастикой. В порыве вдохновения случалось так, что фашистский самолет загорался от пули из пистолета нашего командира. Отец говорил, что ничего веселее, чем моя война, ему видеть не приходилось. «Ничего интересного в войне нет, — сказал мне однажды дядя Вася, как взрослому, посмотрев на мои рисунки. — Дорога. На дороге шинель. А в шинели лежит раскатанный под колесами и гусеницами солдат. Человек. Это и есть война».

О войне имеют право рассказывать только фронтовики. И верить можно только им. Они, как и положено освободителям, были свободными людьми и никого не боялись. Суровая правда их не шла ни в какие сравнения с трескотней профессиональных патриотов. Я многое от них узнал. Как потом многое узнал из книг и фильмов, написанных и снятых фронтовиками. Они рассказывали не столько о войне (война — ад), сколько о том, как остаться человеком в этом аду. Но главное, чему они учили — не врать.

Когда не врешь, чувствуешь себя свободным человеком.

Это приятно.

Но небезопасно.

Какие уроки Великой Отечественной войны важны для современности?

Все уроки важны.

Главное, чтобы эти уроки не забывались. Главное, чтобы политики цинично не перекраивали историю под свои шкурные интересы и мелкие цели.

Но возможно ли безнаказанно перекроить историю?

Запросто.

Дождитесь, пока вымрут последние свидетели, и врете напропалую, пришивайте белые крылышки к заляпанным кровью эсэсовским мундирам.

Можно врать и при живых свидетелях.

Технология отработана. Старый фокус изощренных в перевертышах публицистов. Возьмите отъявленного негодяя и проделайте с ним ряд чудесных изменений, что происходят с гусеницей. Кто ты? По виду отвратительный, все пожирающий червяк. Но мы тебя окуклим, и, дай срок, ты будешь порхать в небесах, умилая человечество радужной раскраской крыльев.

Вначале нужно со снисходительной усмешкой посвященного в тайны истории пробормотать скороговоркой: да, благородный, тонко воспитанный, всесторонне одаренный имярек был вынужден по тактическим соображениям облачиться в фашистскую форму. Да, он принес клятву верности фюреру. Да, он был принужден расстреливать, вешать и сжигать живьем.

А после этой преамбулы поднять просветленные, налитые слезами очи к небесам и в поэтическом экстазе взволнованно воскликнуть: «Но!»

И сделать долгую проникновенную паузу перед первым словесным кульбитом.

Но во имя чего этот аристократ духа, человек высокой культуры был вынужден пойти на эту жертву?

И вот тут-то настает время мелкими стежками пришивать белые крылышки к черному мундиру, изящными мазками, прозрачной акварелью выписывать портрет утонченного мыслителя, мученика святой идеи, который во имя свободы и независимости своего народа временно стал убивать политкомиссаров, евреев и недочеловеков.

Мерзейшая философия. Не надо делить историю и мир на белое и черное, на добро и зло. Это для быдла. А мы, люди тонкой культуры, уделяем больше внимания оттенкам. И вот огражденные мягкой броней европейской терпимости уже маршируют по булыжнику древних столиц старые эсэсовцы, а юные наследники осыпают их цветами и называют освободителями. Ах, как грубо! Ну, какие они фашисты? Может быть, чуть-чуть. Но не будь быдлом и ватником, не дели мир на черное и белое...

Когда перед выбором вернуться на родину в форме сверхчеловеков встали

проживающие в эмиграции офицеры белой гвардии, они поняли, что выбора у них нет. И ушли в Сопротивление. Им была абсурдна сама мысль воевать за Бога под знаменами дьявола. Конечно, были и среди них мерзавцы. Но их так и называли мерзавцами.

Можно обелять предателей, можно искажать события. Но ложь должна хоть на чем-то основываться?

Не проблема.

Способ первый. В захолустной газете появилась первоапрельская шутка. Перепечатайте ее в серьезных изданиях, но уже не в апреле. Все. Очередь за историком, который обопрется на нее как на факт. В принципе историю можно писать по материалам юмористических журналов.

А лучше всего самому вбросить в Интернет-пространство жареную, протухшую утку, и она вернется к тебе восставшей из пепла птицей Феникс. Пользуйся. Ссылайся.

Но все еще проще и циничнее, если источник фактов — информационные войны, главное оружие которых — ложь. Причем оружие массового поражения. Да, меня терзают смутные подозрения: не базируются ли многие исторические труды на материалах информационных войн, то есть на лжи? И не становятся ли в свою очередь учебники истории, созданные на их основе, поводом для новых информационных войн?

Волнует меня также вопрос, достаточно ли в мире специалистов-акустиков по созданию лживого эха войны? Увы, но, кажется, на нашей маленькой планете довольно часто встречаются люди, которые за деньги охотно избавляются от такого пустяка, как совесть. Это наперсточки, мелкие мошенники на глазах изумленных зевак ловко подменяющие факты. Появилось много мастеров лжи, которые могут перевернуть с ног на голову не только текст, но и телевизионную картинку. Как вариант, среди них появляются особи, зомбированные ложью, которые верят, что ложь — это правда, а правда — ложь. Если историю излагает фашист, трудно ожидать от него почтения к георгиевской ленточке.

Информационные войны — самое подлое, самое грязное и мерзкое, что есть в любой войне. Специалисты по лжи не убивают. Они заняты более отвратительным делом: подстрекательством к убийству. Именно они прелюдия всякой войны.

Информационные войны опаснее отравляющих химических веществ. Они отравляют сознание народов. Их следовало бы запретить, как запрещено применение отравляющих химических веществ, а развязавших эти войны необходимо судить как военных преступников.

Главный урок — не забывать уроков.

Но любые самые правильные послевоенные соглашения не могут быть вечными. Они, так или иначе, соблюдаются людьми, которые прошли через войну. Их придерживаются поколения отцов и внуков ветеранов.

Потом поколение победителей уходит. Появляется соблазн снова перекроить мир. Начинают с истории.

Это легко сделать, поскольку четвертое поколение рождается на другой планете и ему свойственно со смехом расставаться с прошлым, каким бы праведным и героическим оно ни было. Для них послевоенные соглашения уже не скреплены кровью. Просто бумага, составленная ушедшим поколением.

Нам повезло жить во времена великого искушения переписать историю. Снова появляются претенденты на звание председателя Земного шара, мастера камуфлировать свои плотские геополитические поползновения романтическими соблазнами безбрежной свободы.

На постсоветском пространстве еще много молодых людей, которые пишут на своих машинах «Спасибо деду за Победу!» и носят 9 Мая георгиевские ленточки.

В других местах победителей вспоминают все реже. А если и вспоминают, то не всегда добрым словом.

Не потому, что у ребят на Западе короче память. Просто им не напоминают о неприятном прошлом. Ну а если мальчишкам и девчонкам не только не говорить правду, а еще и слегка привирать, то не следует удивляться факельным шествиям с портретами фашистов. Не следует удивляться и появлению лидера вполне демократической страны, который на невозмутимом фоне бритых лбов вдохновенно кликушествует об особой миссии избранной нации и о необходимости нового порядка.

Интересно, подозревает ли он, кого цитирует?

В общем, мотивы парней, которым не терпится пересказать историю, по-своему ясны.

Информационная война уже развязана. В воздухе пахнет порохом третьей мировой. Провокаторы трудятся в поте лица.

Необходимо любыми средствами предотвратить информационную войну и не дать ей перерасти в большую бойню. Можно решить, что честный человек в информационных войнах обречен на поражение именно потому, что не умеет врать. И не марать руки.

Но это не так. В лучшие периоды своей истории народы и страны выживали и побеждали, уверовав в то, что не в сила бог, а в правде.

Все, что нужно — не врать. И не позволять врать мерзавцам.

Извините за грубое слово, но оно извинительно для человека, учителями у которого были фронтовики.

Туркиш Джумагельдыев, прозаик, г.Ашхабад

Для кого война Отечественная?

Советский Союз, занимавший шестую часть планеты и воспетый как нерушимая Родина, совершенно неожиданно для советского народа развалился и перестал существовать как могучая держава. Никто не сообщил народу об объективных причинах этой катастрофы, ничего не объяснил, и, думаю, вряд ли уже последуют какие-то объяснения, но если бы даже они и появились, у меня нет уверенности в том, что эти объяснения устроят живших в ту пору людей. Эти люди никак не могут оторваться от советской действительности, от ее идеалов, никакими объяснениями их не отвлечь от привычной им тогдашней жизни, и лишь ее сильное изменение в лучшую сторону сможет приблизить к пониманию данной проблемы.

Говоря об СССР, мы первым делом вспоминаем Великую Отечественную войну. Ее победное окончание стало основным аргументом советской идеологии при разъяснении преимуществ советского государства. Однако смысл, сокрытый за понятием Отечественная война, не получил должного толкования. Была ли эта война по-настоящему отечественной для народов республик, входивших в состав СССР? И вообще, как подходить к понятию «родина»? Как понимать термины «большая родина», «малая родина», бывает ли родина большой или малой? Не бывает большого народа, малого народа, народ может быть многочисленным или малочисленным — может, эту мысль следует применять и по отношению к родине? Однако для советской идеологии не было надобности заниматься поисками ответов на эти вопросы. Были

только одна родина — советская и один народ — советский, иного и не могло, и не должно было быть.

Советская родина распалась, распался и советский народ. С того времени выросло целое поколение. Для него нет ни советской родины, ни советского народа. Вряд ли будет преувеличенным и мнение, что этому поколению неведома Великая Отечественная война. Чтобы обосновать его, приведу один факт.

Женщина преклонного возраста, прожившая больше восьмидесяти лет, идет в соответствующую организацию, чтобы пожаловаться на какие-то бытовые неурядицы. Молодой чиновник, не проявив ни малейшего интереса, равнодушно выслушал жалобщицу и попытался как можно скорее выпроводить ее, чем вызвал гнев посетительницы. «Мой муж ушел на фронт, погиб в бою, я хранила его очаг, берегла его память, и как у тебя хватает совести так бездушно отнестись к моей просьбе!» — возмутилась женщина. Чиновник даже не покраснел, он так же равнодушно ответил: «Уважаемая, это была не наша война». Этими словами он поставил жирный крест на женщине, всю свою жизнь хранившей верность памяти погибшего на войне мужа, страдавшей от разлуки и одиночества, на ее мужа, отдавшем свою единственную жизнь за свободу родины. В своем поведении чиновник не видит ничего противоестественного. Но я-то знаю, как ранили его слова сердце старухи. В годы войны солдатские вдовы были молодыми, полными жизни женщинами. Я жил с ними в одном селе, вместе с ними трудился на колхозных полях. Хотя и были мы живыми свидетелями, не понимали тогда, что их молодая жизнь пошла прахом. На туркменской земле не рвались снаряды, мы их видели только в художественных фильмах про войну. Разрывы снарядов мы воспринимали как интересную игру, да и сами играли «в войну». Мы не умели связывать далекую от нас войну с женщинами, проводившими мужей на фронт, такие мысли нам и в голову не приходили.

Для нас сами эти женщины были воплощением войны. Спустя короткое время они стали героинями наших произведений. Я и сам написал такую повесть. Однако наши произведения мало чем отличались от снимков, сделанных по заказу партийных газет. Наши глаза смотрели сквозь установленные соцреализмом линзы. Хотя на действительность надо было смотреть сквозь рентгеновский аппарат. Но для этого нужна внутренняя свобода, недоступная советской литературе, в том числе и туркменской. Сколько ни говорилось на темы войны, ее подлинный смысл так и остался нераскрытым. Советские писатели открывали полуправду. Казалось, если пишется объемистый роман, жизнь, связанная с войной, будет показана во всей полноте, но этого не было, потому что в таком же объеме распространялась и ложь.

Недавно в Ашхабаде из центра города на окраину перенесли монумент «Вечный огонь». В этом действе сокрыт символический смысл. Для молодого чиновника, заявившего, что «эта война не наша» здесь нет ничего удивительного. Для кого был зажжен «Вечный огонь»? Не думаю, что этот вопрос будет волновать представителей нового поколения. Получившие независимость государства увлечены написанием своей истории. Будет ли в ней место для Великой Отечественной войны? Не уверен. Нет у меня уверенности и в том, что я смогу противостоять отношению к войне как к трагедии, возникшей по вине советской империи. Говорю об этом, держа в уме конфликты, то и дело вспыхивающие на просторах бывшего Союза ССР в последние годы.

Елена Долгопят, прозаик, киносценарист, г.Москва

Миледи Смерть, мы просим Вас...

1975 год. Зима. Я просыпаюсь от голоса Левитана:

— От советского Информбюро... Наши войска...

И я понимаю, что идет война.

Прошлое набрало силу и сдвинуло настоящее на обочину.

Я хотела крикнуть бабушку, но Левитан вдруг смолк, настала тишина, какая-то песня зазвучала, что-то остромодное. У соседей работал приемник или телевизор, они крутили ручку настройки или переключали каналы.

Прошлое не умирает, это я знала точно. Я глядела в зеркало, оно видело мою новорожденную маму и видело меня. Одновременно. Мы все смотрим друг на друга.

Это умел Герман, видеть прошлое. Он и другим прояснял зрение, хотя бы на время киносеанса. Один из самых эффектных его приемов — преобразование пятитысячной массовки. Людей собрали для сцены митинга (фильм «Двадцать дней без войны»). Им, наверно, было любопытно сниматься, они стояли, переговаривались, посмеивались, кто-то заскучал. И вдруг из всех динамиков, с небес, обрушилось:

Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой...

И люди преобразились. Они не играли в войну. Они были на войне. И этот момент войны Герман снял. Он смахнул настоящее, как налетевшую пыль.

Несколько лет назад я готовила к публикации фронтовые письма киноведа Ильи Вайсфельда. 5 июля 1943 года он писал жене об «Ирландской застольной» Бетховена: «Это мы пропоем, когда увидимся».

Что за песня такая, я не знала, бросилась наводить справки, нашла два упоминания.

У Ольги Берггольц, в очерке «Лето сорок третьего (Письмо за кольцо)»: «...спели эту песню, любимую в Ленинграде, так же как и на многих других фронтах».

И у Василия Гроссмана, в письме жене со Сталинградского фронта 25 декабря 1942 года: «Сидел позавчера в глубоком подвале разрушенного завода, шел бой за знаменитый здесь курган, красноармейцы заводили патефон, и слушал сквозь треск и гул сражения печальную величавую песню, которую люблю очень:

Что ж потемнели свечи вдруг,
Зажгите пунш скорей.
И девушек теснее круг
И песню веселей.

Помнишь «Ирландскую застольную»? И меня это взволновало и тронуло, вот где пришлось послушать бетховенскую песню. И тронуло меня, что красноармейцам она очень нравится. Раз десять они повторяли ее».

Песню эту я нашла. Сидела, слушала:

«...Миледи смерть, мы просим Вас
За дверью обождать...»

Как будто слушала вместе с ними. Времени между нами не было.

В конце семидесятых, на День Победы, моя мама пригласила в школу дедушку одной из учениц, ветерана войны, уговорила его выступить перед классом. Дед пришел, но не смог вымолвить ни слова. Стоял перед детьми и молчал. Заплакал.

Афанасий Мамедов, прозаик, г.Москва

Положение Бодлера, или Куда переедут Бранденбургские ворота

В который раз не могу не процитировать Бодлера: «Ближе всего к Богу — воины, поэты и священники». Вслед за этим бодлеровским положением в памяти всплывают кадры из «Крестного отца». Сначала Сани, старший сын дона, говорит Майклу — Аль Пачино, младшему, герою войны, единственному не втянутому на тот момент в преступный бизнес: «Это что тебе, армия, где убивают за километр? Придется подойти так близко, что их мозги испачкают тебе костюм», — а затем один из бандитов продолжает тему, начатую Сантино: «Гитлера надо было остановить еще в Мюнхене». И только вернувшийся из больницы домой дон Корлеоне понимает, какая пропасть лежит между воином и бандитом, войной и бандитскими разборками. Сын, на которого он рассчитывал, перестал быть воином, героем... Корлеоне на стороне Бодлера. На чьей стороне мы, наследники великой победы, запутавшиеся в 90-х? Где та поворотная точка, где можно еще «остановить Гитлера»? А кто и что в состоянии остановить нас, разогнавшихся, летящих на всех парах в патриотическом запале?

Прошлое? Но прошлое подвижно, оно перетекает из матрицы в матрицу в зависимости от манипуляций настоящего, от заданного направления мыслей, одного человека, группы людей, нации.

Несколько месяцев назад на Неделе памяти, приуроченной ко Дню памяти жертв Холокоста, отмечавшемуся 27 января, я побывал в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Здесь проходила выставка, посвященная самому страшному лагерю смерти, здесь министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман передавал музею пятую копию списка Шиндлера. В заключительной части мероприятия гостей повели в концертный зал. И там со мной произошло то потрясение, которого, честно говоря, я ждал, но никак не предполагал, что оно случится в концертном зале. Слева и справа от сцены демонстрировалась немецкая хроника, кадры предвоенной Германии, предвоенного Берлина сменяли друг друга. Совсем пороммовски тренькал трамвай, круто забирая в противоположную от нашего времени, от сцены сторону, крепко стоящие на ногах полновесные мужчины в тирольских шляпах прижимали к себе пышнотелых, наигранно смущающихся фрау, пивная пена вытекала из кружек... (Райх с Фроммом отдыхают в сторонке.) Это был тот самый миг, когда остановить Гитлера было уже поздно. Потому что жизнь на экране текла «без воинов, священников и поэтов». Она текла, просто потому, что когда-то разогналась... Трамвай появлялся вновь и вновь, и пивная пена вытекала из кружки, мужчины и женщины танцевали фокстрот... У него бычья в складках шея, у нее большая грудь и пышные бедра... они арийцы, им так можно, они не знают того, что психоаналитики плачут по ним...

Если долго глядеть на осколок древней фрески или хроникальный кадр, замечаешь, как на твоих глазах меняются объект изучения и история, связанная с ним.

Можно, конечно, списать это на нездоровье, на чрезмерно тонкую психику и аберрацию зрения, но это было бы проще всего.

Говоря о победе над фашистской Германией, над Третьим рейхом, мы вольно или невольно вступаем в область кипящего пограничья, в то историческое варево, где кусочки правды уже не выловить без кусочков лжи. Тень со светом подменяют друг друга в случае необходимости. Необходимость напрямую связана с дележом наследующих миф. Ложь, в отличие от правды, — сложнейший из механизмов, работа которого в свою очередь связана с причинно-следственными связями, с прошлым и мифом, из которого мы все. У нас есть редкая возможность наблюдать работу этой машины. К примеру, можно сравнить «военное кино» последних лет и месяцев с теми фильмами, на которых все мы выросли. Те фильмы снимали люди, прошедшие войну, рассчитывающие на то, что и смотреть их будут в основном те, для кого слово «война» не пустой звук, но перевернутая судьба, прерванная жизнь близкого человека.

Прародители «георгиевской ленточки» отлично это понимали: сегодня ленточка и слезы умиления уцелевших ветеранов, завтра — «Спасибо деду за победу» и «На Берлин»... Не суть важно, что автомобили немецкие, что «дед» — собирательный образ героя, не важно, что Берлин сегодняшний не тот, что семьдесят лет назад, что дожившие до наших дней ветераны от той победы не поймали ничего, кроме «Малой земли», пятилеток и скоротечной деменции (в лучшем случае)... Важно, что механизм запущен, гипотетический дед встал на защиту нового мифа.

В «Необыкновенной легкости бытия» Милан Кундера написал фразу, которая заслуживает того, чтобы к ней прислушаться: «Людам не нужно прекрасное будущее. Им нужно великое прошлое». Если мы не будем думать о прекрасном будущем, к кому переедут Бранденбургские ворота вместе с 1945 годом? А тот трамвай? А те мужчина с женщиной?..

Александр Мелихов, прозаик, г. Санкт-Петербург

Этот грустный урок

У моей бабушки, которая с нами жила, на войне «без вести пропал» сын Саша, в память о котором меня и назвали, но о нем в семье никогда не говорили. Разве лишь вспоминали что-нибудь смешное — типа, как он ругался: «Весь дом провоняли этой гусятиной!» Или как они с моей мамой ехали поступать в институт, а Саша вез с собой баян. И, чтобы не украли, где-то на пересадке он положил баян себе под голову и заснул. А мама вытащила баян у него из-под головы, а он так и не проснулся. Только такое и вспоминали.

А когда после войны к нам в дом пришел какой-то человек и рассказал, будто видел Сашу в плену, все как-то притихли и тоже больше никогда этот случай не вспоминали. Лишь однажды, уже в шестидесятых, моя мама ездила по путевке отдыхать в Литву, и в пансионате, где они жили, поселилась и немецкая группа. И немцы устроили вечеринку и пригласили к себе женщин помоложе и посимпатичнее. И мама как-то упомянула об этом с брезгливой горечью: «Ведь в этих местах Саша погиб...»

Такое вот прозвучало эхо войны через четверть века.

Предыдущий ее отзыв был намного раньше и страшнее. Мне было лет пять, мы сидели на кухне, и почтальонша принесла телеграмму. И бабушка сразу всплеснула руками: «От Гриши!» — и потом раз десять рассказывала, что он ей снился в эту ночь.

(Что, видимо, не мудрено, потому что он вернулся с войны израненный и долго болел.) А дедушка злобно швырнул телеграмму на стол и будто выругался: «Скончался!»

Я об этом даже писал в «Исповеди еврея». Я не знал, что такое «скончался» — я знал только «умер». А когда бабушка заголосила: «Родненький мой сыночек!..» — я, перепуганный, не мог понять, откуда у бабушки взялся сыночек. Дедушка же бешено шагал взад-вперед (четыре шага туда, четыре обратно) и матерился: «Что ж она, сука, что ж она, паскуда!..» — с большим трудом я догадался, что речь идет о дядигришиной жене, милой тете Марусе, которая почему-то не вызвала их заранее. Это было по-нашенски — встретить смерть бранью. А потом снова никогда о ней не вспоминать.

Зато в кино и в мальчишеских играх эхо войны не умолкало — это было не сострадание, не злоба и не национальная гордость, а чистый азарт, как на футболе: наши туда, немцы сюда, тогда наши то, а немцы се, ну тогда наши как дадут...

В кино немцы были такими смехотворными — вечно выскакивали из окон в подштанниках, — что их было невозможно ненавидеть. Вы болван, Штюбинг! И когда мы играли в войну, мне было совершенно неинтересно убивать немцев — мне куда больше нравилось гордо переносить их пытки и погибать, красиво раскинув руки. Я иногда даже и один, когда никто не видел, падал на спину и лежал, раскинув руки и скорбно глядя в небо. Покуда кто-нибудь из взрослых на меня не набредал: «Ты что валяешься?» — тогда я проворно вскакивал.

Война как нечто ужасное и бессмысленное явилась мне только у Ремарка. А в нашей «лейтенантской прозе», которую жучили за дегероизацию, она часто представляла страшной, но никогда бессмысленной: Отечественная война не породила литературы «потерянного поколения». Если ее и вспоминали со скорбью, с обидой, то никогда с разочарованием — за что, мол, боролись? Война вспоминалась как тягчайшее испытание, которое мы вынесли с честью. Такой она предстает даже у Гроссмана, такой она впечаталась и в меня.

А вот самым *трогательным* ее эпизодом для меня осталась «встреча на Эльбе» — казалось, вот же она, вожденная дружба народов! Значит она все-таки возможна!

Должно было пройти разоружение Советского Союза, чтобы открылся этот грустный урок: врагов может примирить лишь еще более страшный враг. Очень надеюсь не дожить до урока еще более тяжкого: все люди — враги.

Роман Сенчин, прозаик, г. Москва

Мы долго будем мерить испытания той войной

Великая Отечественная для людей моего поколения — тех, кому сейчас немного за сорок — была в детстве одновременно событием и отдаленного прошлого, и в то же время близкой, живущей в каждой семье, бедой... Может быть, для тех, кто родился и вырос в тех местах, где шли бои, война оставалась и в 70-е годы рядом (бывая под Ленинградом, в Смоленской области я воочию увидел следы, язвы войны, которые не стерлись до сих пор), но я до конца 80-х жил в Сибири и войну знал по рассказам ветеранов, по семейным историям.

Хотя ветераны старались не пугать нас войной, говорили в основном о забавных случаях, а не о боях. Пиджаки с наградами они надевали очень редко — на 9 мая или когда отправлялись в какое-нибудь учреждение «ругаться с начальниками»... Фильмы о войне — там, где стреляют, — почти никто из них не смотрел, но, помню, «Балладу о солдате» ветераны хвалили и признавали.

Далеко не у всех моих сверстников были дедушки, а тем более родные дедушки. Далеко и далеко не у всех родителей моих одноклассников, друзей во дворе были отцы и матери. То, что называют связью поколений, оказалось если не утрачено, то очень ослаблено войной. И дело здесь не только в людских потерях, которые понесла страна именно во время боев, при оккупации. Во время и после войны рушились семьи, терялись родные люди...

Моего деда по отцу Петра Сенчина эвакуировали в 1943 году в один из госпиталей Красноярска со сквозным ранением груди. Он считался безнадежным. Его выходила медсестра Наталья. Они поженились, родили двух сыновей. Петр Сенчин умер, когда его старшему сыну, моему отцу, было тринадцать лет... О том, как жил Петр Сенчин до войны, откуда он родом, была ли у него семья до того, неизвестно... И таких случаев, наверное, десятки тысяч.

И две последовавшие одна за другой великие трагедии — Гражданская война и Великая Отечественная — выкосили наш народ, перепахали наши корни так, что мы еще долго по-настоящему не вращаемся в почву. Еще долго будем то расцветать, то чахнуть, как растение в стакане с водой...

Чуть ли не с детства меня не по-хорошему удивляли фильмы и книги о каком-нибудь отряде, который громит огромные силы противника, нарушает вражеские планы грандиозных операций. В последнее время таких изданий становится больше и больше, члены отрядов все более лихие, неуловимые, суперменистые. И, насмотревшись, начитавшись этого, невольно задаешься вопросом: «А почему было не забросить в тыл полсотни подобных отрядов? Они бы и победили».

В такой войне, какой была Великая Отечественная, участвовал без преувеличения весь народ. Огромное напряжение сил требовалось от каждого. В последние годы я чаще читаю не книги о боевых действиях, а исследования, как строились заводы в Сибири, Средней Азии, как использовалась трофейная техника, какая помощь шла, скажем, из Монголии и Тувинской народной республики (а Тува до октября 1944 года была независимым государством). И что там стало важнейшим фактором победы, например, в Сталинградской битве — героизм солдат, гений полководцев или валенки?

До самого последнего времени ожидалась *эпопея* — большой, *настоящий* роман о Великой Отечественной. О войне 1812 года, дескать, есть «Война и мир», о гражданской — «Тихий Дон», должна быть и книга об этой войне... Одно время таким романом стали называть «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева, но голоса эти слышатся все реже. Наверное, такого романа уже не будет, и та война останется в художественной литературе в россыпи небольших по объему произведений.

«В окопах Сталинграда», «А зори здесь тихие», «Батальоны просят огня» и так далее, так далее. Список этих произведений известен, его многие приводят, и я к нему присоединяюсь...

Где-то я прочитал такую мысль: «Великие произведения искусства порождаются не победами, а поражениями». В отношении Великой Отечественной это вроде бы не так. Не должно быть так. Но, с другой стороны, большинство самых сильных произведений о войне — о первых двух ее годах. Когда наши армии медленно, но отступали. Терпели поражения...

В какой критической ситуации находилась наша страна, я осознал, прочитав в свое время «Разные дни войны» Константина Симонова. Точнее, один маленький эпизод оттуда. Утром Симонов и другие корреспонденты сажаются в «эмку» в Москве, через два часа они на передовой и к вечеру сдают в столичные газеты статьи.

Сейчас то и дело возникают сомнения: а не лучше было бы сдать Ленинград, а то и Москву (приводят то ли реальные, то ли поддельные документы о спущенных водохранилищах под Москвой, когда в ледяной войне утонули не только враги, но и наши солдаты и гражданские лица). Все равно бы, мол, Гитлер проиграл, зато спасли бы сотни тысяч жизней... Как знать, что бы было. Исчезают огромные государства, народы. Что бы случилось, окажись Москва, Ленинград в руках Гитлера, гадать нельзя. После их потери на нас могли накинуться все (включая и союзников) и разделить. А

как истреблять местное население, знали и японцы, и англичане, и американцы, ну и немцы, как оказалось, когда Красная Армия освободила Освенцим...

В Великой Отечественной войне наша страна одержала победу. Великую победу. Но справедливо и добавление — «огромной ценой». Изучать эту цену в литературе, анализировать, почему цена оказалась такой высокой, долгое время было попросту невозможно. Но и позднейшие попытки, критика действий Сталина, Жукова тоже как-то представлялись и представляются сомнительными даже с этической точки зрения. Они словно бы принижают значимость победы. Поэтому, наверное, и не написан тот роман о Великой Отечественной, какой бы большинство читателей приняли.

До сих пор приходится встречать возмущенные отзывы о некоторых книгах, написанных фронтовиками. Их обвиняют в сгущении красок, волжи, в спекуляции на страданиях. То и дело возникают споры, могла ли в действительности произойти история, описанная в повести «А зори здесь тихие» Бориса Васильева. Обвиняют Василя Быкова в оправдании тех, кто хоть и поневоле, но сотрудничал с оккупантами. Как обрушились на Астафьева после «Проклятых и убитых» (быть может, поэтому он и не закончил книгу)...

Казалось бы, время должно способствовать объективности, но в отношении Великой Отечественной этого не происходит. Наоборот. Уходят ветераны, которые еще имели право высказываться о чем-то критически, ругать кого-то из руководителей того времени, а у нынешних поколений этого права, как мы понимаем, нет. Любой исследователь войны рискует быть обвиненным если не в фальсификации истории, то в чем-то подобном.

Помню времена, когда в годы всеобщего дефицита, длинных очередей раздавались возмущенные слова: «Что же это такое?! Почему за каждой мелочью мы должны давиться в очередях?» И обязательно находился кто-то из военного поколения, и он стыдил: «А в войну как?! И ничего — не роптали, понимали». В последние месяцы я два раза услышал нечто подобное. Не знаю, хорошо это или плохо, но мы, похоже, еще очень долго будем мерить выпадающие испытания той войной...

Юрий Серебрянский, прозаик, поэт, г.Гданьск

Все детство я искал доказательства

Я научился делить солдатиков на «немцев» и «наших» в чувашской деревне под Ульяновском. У нас в Алма-Ате мы делили их на две простые армии или же на индейцев и врагов индейцев.

Был муж у Бабы Шуры, дядя Коля, двоюродный, но от него в памяти осталась только пепельница, на которую, если сверху нажать, она вращением заберет окурочку вовнутрь. Наподобие того, как спасательная шлюпка из жюль-верновского Наутилуса, только водоворотом внутрь.

Дядя Коля много курил на балконе, и в результате табаком пропиталась даже примыкающая к балкону кухня. Он никогда ничего не рассказывал о войне, которую прошел. Я видел только ордена. Медали моего деда были бездарно утрачены во время переездов и сопутствующих семейных дразг. Баба Нюся отсидела в тюрьме, пообедав колосками в поле.

Вот она, моя тыловая алмаатинская война.

Как и для любого советского ребенка, эта война, ее годовщины, герои-примеры всегда сопровождали взросление, но для мальчишки важно было бы пощупать, увидеть воочию следы, а сделать это было нигде. Так что здесь война была как Бог. Конечно, я горжусь тем, что Победа, что столько жизней дали мне возможность жить, я против

разрушения памятников. Но все детство я искал доказательства, их не было, и все время отвлекало что-то другое.

Лет с десяти войну, сказать честно, для меня олицетворяла фигура политрука Ключкова в ушанке, поднимающегося против танка с гранатой в руке. Я специально приходил посмотреть на его передернутое лицо в наш краеведческий музей на второй этаж бывшего Свято-Вознесенского собора. Панорама — инсталляция с нарисованной колючей проволокой, переходящей в натуральную, нарисованными зловещим красным заревами над фашистскими танками, уронившими стволы на заднике. На стене церкви. Приходить и смотреть на эту панораму для меня было так же сакрально, как для Холдена Колфилда приходило в музей в Центральном парке и смотреть на индейцев. Кусок истории, которой по-настоящему не ощущаешь. Когда голос на фоне раненого Ланового затягивал «нет в России семьи такой, где не памятен свой герой», я не мог думать о ком-то конкретно, но возвышенное чувство внутри поднималось. Прочитав «Два капитана», я выдернул оттуда только романтическую составляющую. Да нам и не преподавали войну. Красные и черные стрелочки по направлению друг к другу некоторые ученики украшали танчиками, потому что карты в учебнике не имели эмоций. За это можно было схлопотать от библиотекаря, и вообще, самым главным было не ронять крошки и не выбрасывать хлеб. Никто толком не мог объяснить, почему, но это было настоящим табу. Как у индейцев.

Здесь, в Гданьске, войны и сейчас еще много. Весь соседний старый многоэтажный дом в щербинках от пуль. Я люблю ходить в супермаркет по улицам «Дольнего мяста», разглядывая подробности. Ок! Боже! Читая стены! Вот очередь из крупнокалиберного, и ствол задержался, прорубив глубокую яму на уровне второго этажа. Вот три дырочки на уровне груди, но по логике тут должна быть и четвертая, пропущенная стеной.

Если на втором этаже окно заложено кирпичами полностью, но не прямоугольником, а неровно, значит — трофейный фаустпатрон взял пулеметное гнездо.

Я бывал и в музеях в Аушвице, в Майданеке, но там тоже войны не нашел. Отвращение к людям там легко заработать. Ко всем.

Так что я — полнейшая тыловая крыса, жалкий «пиджак», «не то» поколение, я ничего об этом не знаю. Но зато страшно боюсь. Ведь бояться больше всего именно неизвестного.

Александр Снегирёв, прозаик, г.Москва

Они — это я

Из моей семьи в ВОВ участвовали семеро мужчин.

Трое кадровых, четверо мобилизованных.

Кадровые выжили, мобилизованные — нет.

Рассказывали мало, но кое-какие истории сохранились. Например, ба вспоминала, что дед в Эстонии клубничные грядки танком случайно подавил и ей очень неловко было перед эстонцами. Но Эстония — это еще не ВОВ, в Эстонию дед вошел в сороковом.

Я коротко перескажу два небольших случая о тех людях. С одной стороны, случаи эти совершенно разные, с другой — связаны в самом главном.

В конце минувшей зимы я вдруг подумал, что почти ничего не знаю о дедушкином брате, дяде Мише, и решил пробить его по базам наградных листов.

Дядя Миша нашелся легко. Оказалось, был награжден «Красной звездой» за то, что в конце февраля 1945 года, находясь в Будапеште и возглавляя оперативно-

чекистскую группу, разоблачил, задержал и ликвидировал астрономическое количество солдат противника, а также членов фашистской венгерской организации «Скращенные стрелы».

Про дядю Мишу я до этого дня знал три вещи: 1 — он однажды подарил моей маме золотые часы, а через неделю забрал обратно, потому что продулся в преф; 2 — он служил в НКВД, точнее, в СМЕРШе; 3 — некоторые дети, к нему как бы не относящиеся, были почему-то на него похожи. А еще на пенсии он жил с двумя женщинами. Одним словом, дядя Миша был не промах.

Узнав о награде, я порадовался за предка, удивился совпадению (вспомнил о нем накануне Прощеного воскресенья ровно спустя 70 лет после событий) и решил дядю Мишу прогулять. И весьма удивился результату.

Оказалось, в 1941 году дядя Миша был младшим политруком 17-го Брестского погранотряда и, согласно воспоминаниям командира отряда майора Кузнецова, героически погиб в бою 22 июня 1941 года.

Я без труда нашел небольшое интервью с Кузнецовым, опубликованное в 1962 году. Кузнецов сообщает, что, велел занять круговую оборону, дядя Миша отстреливался до последнего и пел «Вставай, проклятьем заклейменный». В другом источнике указано, что дядя Миша, истекающий кровью, подорвался гранатой, когда его окружили фашисты.

Однако дядя Миша погиб не совсем. За всю войну он даже не был ранен. Из-за огромного внимания ко всем, кто был в Брестской крепости, в Сети есть множество архивных данных. Они-то и сообщают, что спустя два месяца после собственной смерти дядя Миша был откомандирован в распоряжение бригадного комиссара НКВД Якова Масловского.

Исторический детектив с налетом мистики. Командир и подчиненный спаслись из Брестской крепости, а через двадцать лет командир во всех подробностях сообщил, как подчиненный погиб. Неразбериха, конечно, была, но все-таки.

Классе в девятом историчка поручила нам подготовить доклады о дедушках-бабушках. Шурик Кузнецов рассказал о своем прадедушке, командире 17-го Брестского погранотряда. Я тогда еще иронично посмеивался, типа как же твой прадед спасся, если все погибли?

Теперь мне открылось, что спасся не только Шуриков прадед, но и мой дядя Миша, а еще они хорошо знали друг друга.

Вторая история касается брата моей ба, фигурирующего в семье тоже как дядя, дядя Женя.

Дядя Женя был буйным. Укокошил кого-то в пьяной драке, присел на несколько лет, бежал, сел снова, участвовал в Финской кампании, в 1941 году после штыковой атаки попал в плен.

Мой отец с трудом вытягивал из дяди Жени воспоминания. Тот был молчуном, но выпив, начинал говорить, невнятно и сбивчиво, однако то, что он говорил, было так ярко, жутко и невероятно, что отец все запомнил и пересказал мне. Приведу один эпизод.

В лагере у дяди Жени был товарищ, еще с фронта, и однажды этот товарищ стал доходить. Боль в животе, непрекращающийся понос, нужны лекарства, которых нет.

В лагере, естественно, имелась помойка, куда выбрасывали объедки с немецких столов. Приближаться к помойке было запрещено под страхом смерти. Дядя Женя вспомнил деревенский метод лечения живота жженой костью и отправился на помойку.

Экспедиция прошла практически безукоризненно, дядя Женя раздобыл обглоданную куриную ножку, успел ее обсосать и уже почти скрылся с места преступления, но тут его настигла овчарка Альма.

Быть пойманным Альмой в лагере приравнялось к смертному приговору. Любого, кого Альма хватала, ждал расстрел. Дело в том, что начальник лагеря и хозяин Альмы, недавно присланный с русского фронта офицер, считал, что она безупречно определяет коммунистов, а с коммунистами он не церемонился.

Дядя Женя попытался выдернуть у Альмы полу шинели, но тщетно. Увидев, приближающегося начальника лагеря, который уже расстегнул кобуру, дядя Женя встал на колени и пальцем показал себе в затылок — не хотел, чтобы тот стрелял в лицо.

И тут начальник лагеря спросил, зачем он рылся в помойке.

Дядя Женя, проведенный к тому времени в плену уже года два, немного объяснялся по-немецки и кое-как рассказал, что искал кость — помочь фронтовому товарищу. Дядя Женя показывал кость и повторял: «Камрад, камрад».

И краем шинели тер начальнику лагеря сапог.

Тут Альма у него кость выхватила.

Дальше случилось удивительное. Начальник лагеря приказал Альме кость бросить, а дяде Жене велел подняться и следовать за ним. Когда они дошли до его дома, начальник велел ждать и вскоре вернулся с буханкой хлеба и лекарствами.

Спустя некоторое время дядя Женя с тем самым фронтовым товарищем совершили удачный побег, и им пришлось иметь дело со СМЕРШем, то есть с коллегами дяди Миши, а может, и с ним самим. Дядя Женя прожил долгую жизнь, но без права прописки в больших городах. Ему, кстати, и орден дали. «Красную звезду».

Сейчас, когда каждый день я читаю или слышу очередные разоблачения, когда столько заняты выявлением врагов и предателей, я каждый раз вспоминаю овчарку Альму. Мы, люди, тоже можем вцепиться и рвать зубами, урча, пока не подойдет хозяин.

Великая Отечественная — событие для меня очень личное. Причина, скорее всего, в возрасте родителей, отец мой тридцать четвертого года, мать — сорокового.

Я вырос среди военных воспоминаний, когда слышу «Прощание славянки», плачу, на Девятое мая всегда сажаю деревья.

И вот я думаю об этих двух мужчинах. Один был чекистом, другой узником, один был плут, другой пропащий. Но кое-что, кроме ордена «Красной звезды», их объединяет. Это я. Кровь обоих течет во мне. Во мне они примирились заочно. И в этом примирении, в единении противоположностей, в прощении и принятии для меня и заключена не только Победа, но и Россия.

Дмитрий Шеваров, прозаик, г. Москва

Особый отсек памяти

Я родился всего через семнадцать лет после Победы, но среди своих детских воспоминаний мне трудно расслышать эхо Великой Отечественной войны. Возможно, потому, что взрослым было еще больно вспоминать о пережитом и 9 мая отмечалось без пафоса. А может, потому, что мое детство прошло в тыловых городах (Вологда, Свердловск). Или оттого, что оба моих деда ковали победу вдали от фронта и в детстве я не слышал от них о войне.

Но при этом я был пропитан страхом перед будущей войной. Младенчество моего поколения пришлось на Карибский кризис. С первого класса мы бегали в противогазах, а в школе нас окружали не только портреты длиннородых классиков, но и схемы с ядерными грибами. В нашем доме было единственное на всю округу бомбоубежище. До начала семидесятых годов оно содержалось в образцовом порядке. Весной тяжелые

двери бункера иногда открывали — очевидно, для того, чтобы проветрить. Тогда нам разрешали заглянуть в зияющую темноту сырого убежища. Помню, что там на столе, покрытом зеленым сукном, стоял черный телефонный аппарат.

Все мои страшные сны были связаны с войной, но это была война потенциальная, а не прошедшая. В минувшей войне мы уже не чувствовали ничего для себя опасного и с детским восторгом играли в «наших» и «немцев». Причем после фильма «Семнадцать мгновений весны» на стороне «немцев» вызывалось иногда «воевать» больше ребят, чем за «наших». Блестящее мастерство актеров сыграло с нами злую шутку. Когда вышел фильм (это было в августе 1973 года), нам было по 10—12 лет. Всю трагическую глубину фильма мы не постигали. И к недоумению взрослых Борман, Мюллер и Шелленберг сделались героями наших военных «реконструкций».

Первое понимание, что война — страшное горе, пришло ко мне лет в тринадцать. Был 1975 год, и мама много рассказывала мне о войне. 9 мая мы купили цветы, я взял лучшие значки из своей коллекции, и мы пошли в центр Свердловска, где, казалось, весь город собрался, чтобы посмотреть салют. Все улицы и переулки были заполнены народом. Заприметив фронтовика или фронтовичку, я подбегал, дарил цветы и значки. Они гладили меня по голове.

Мама смущенно стояла в сторонке.

Первое потрясение от того, что на войне гибли не только солдаты, но и дети, я пережил в Саласпилсе, где мы были с дедушкой Колей. В 1977 году я с родителями и младшей сестрой был на Мамаевом кургане. Наш теплоход пришел в Волгоград вечером, и на курган мы поднимались в полной темноте, под черным куполом неба. Сестренка устала подниматься по бесконечной лестнице, и отец понес ее на руках. Так мы дошли до самой вершины. Молча смотрели оттуда на рассыпавшиеся вдоль Волги огни. Дул свежий степной ветер. Исполинская Родина-мать терялась в небе. Лишь на кончике меча ровно светился похожий на Марс маленький красный огонек — ориентир для самолетов. На душе были какой-то пронзительный восторг, высокая скорбь и мужская солидарность с теми, кто принял смерть под этими звездами.

Через десять с небольшим лет «Комсомольская правда» пошлет меня собкором в Волгоград, и я приду на Мамаев курган со своими дочками (правда, они были тогда слишком маленькими и вряд ли что-то особенное почувствовали). За три года, проведенные в Волгограде, сталинградская эпопея обрела для меня личное измерение. Я застал фронтовиков, еще не старых детей войны, узнал многое из первых рук.

Первое впечатление от настоящей, уже не детской, военной литературы — повесть «В списках не значился» Бориса Васильева. Помню, какие были рисунки в журнале «Юность». Уже потом был «Сотников» Василя Быкова и фильм Ларисы Шепитько. Стихи Симонова. «Пастух и пастушка» Астафьева. «Усвятские шлемоносцы» Носова. Военные песни Окуджавы и Высоцкого. «Неизвестная война» Кармена (на этот фильм мы ходили всем классом в центральный кинотеатр Свердловска). «Двадцать дней без войны» Алексея Германа...

После всего, что мы пережили в бурном и трагическом 2014 году и переживаем в 2015-м, эти детские и юношеские впечатления могли бы поблекнуть, но, к счастью, они хранятся в каком-то особом отсеке памяти, недоступном даже для нынешнего девятого вала плохих новостей.

Все чаще отношу к себе строки Юрия Левитанского: «Я не участвую в войне, она участвует во мне...»

Похоже, наше поколение так и проживет весь отведенный нам срок со скрипящим на зубах словом *война*.

Из рассказа Василя Белова «За тремя волоками», написанного ровно 50 лет назад, в 1965 году:

«... — Дак не будет, говоришь, войны-то? — спросил старик.

— Не должно, батя...

— А то все войну сулят. Хоть и не первый дождь на голову, а не надо бы, парень...

Всем крышка...»

Золотые страницы «ДН»

Сергей Орлов



* * *

Когда это будет, не знаю,
В краю белоногих берёз
Победу девятого мая
Отпразднуют люди без слёз.

Поднимут старинные марши
Армейские трубы страны,
И выедет к армии маршал,
Не видевший этой войны.

И мне не додуматься даже,
Какой там ударит салют,
Какие там сказки расскажут
И песни какие споют.

Но мы-то доподлинно знаем,
Нам знать довелось на роду,
Что было девятого мая
С утра в сорок пятом году.

Юрий Оклянский

Праведник среди камнепада

Документальная повесть

Его парадоксы

Бывают случаи, когда поступки, продиктованные сиюминутным порывом, способны решить судьбу человека. Или же послужить, по крайней мере, глубинным потребностям натуры. Так случилось с 18-летним Борисом Слуцким. В аббревиатуре МЮИ — Московский юридический институт — юношухарьковчанина, по собственным признаниям, интересовало вначале только первое «М». Оно давало выход романтическому порыву. В Москву перебралась некая дивчина — его неизбывное любовное влечение выпускных классов. Он должен был дышать с ней одним воздухом и жить только в Москве. В юридический институт поступить было относительно легче и проще. И хотя юноша писал стихи и увлекался литературой, он подал документы и стал студентом МЮИ. Как и позже, судьбоносные поступки он всегда совершал быстро, смело и с отчаянной решимостью.

Засвидетельствовав таким образом рыцарскую верность прекрасной даме, с которой дело доходило разве до двух-трех случайных поцелуев в потемках вечерних расставаний, Борис с присущей ему основательностью обнаружил вскоре, что и в юриспруденции скрыто немало полезного для его поэтической натуры. А пообтершись в столице и понаблюдав здешних девушек, через какое-то время и вовсе охладел к предмету былой страсти...

Борис Слуцкий родился 7 мая 1919 года в Донбассе, в городе Славянске, школьную премудрость осваивал в Харькове. Отец был служащим, мать — преподавательницей музыки. Уже в старших классах Борис начал серьезно относиться к писанию стихов. Немалое воздействие оказал при этом земляк и душевный приятель Михаил Кульчицкий, сын бывшего царского офицера, человека молчаливого и угрюмого, но также считавшего себя поэтом и даже когда-то издавшего одну или две книжки. Уже тогда оба юноши поклялись, что будут заниматься стихами всю жизнь.

В юридическом институте Слуцкий после занятий три года посещал

Оклянский Юрий Михайлович — известный автор биографий и документальной прозы, перу которого принадлежат около тридцати книг этого жанра. Его предыдущая работа, журнальный вариант которой был опубликован «ДН» (№№ 5—6 за 2014 г.) под названием «Уроки с репетитором, или Министр собственной безопасности. Авантюрная биография кабинетного человека», в полном объеме вышла недавно в серии «Исторические расследования» под названием «Загадки советской литературы. От Сталина до Брежнева» (М.: Изд-во «Вече», 2015, с.384). В числе публикаций последнего периода книги — «Бурбонская лилия графа Алексея Толстого. Четвертая жена» (2007), «Беспутный классик и Кентавр. А.Н.Толстой и П.Л.Капица» (2009), а также Собрание сочинений в двух томах «Шумное захолустье» (1997). Постоянный автор «ДН».

литературный кружок, которым руководил соратник Маяковского О. Брик. Осип Максимович стал первым «настоящим писателем», которого он узнал в жизни. Позже часть творческих интересов для Слуцкого переместилась в литературный салон Лили Брик, с которой установились добрые отношения. Именно Лиля Юрьевна через знаменитую семью французских писателей-коммунистов Эльзы Триоле (своей сестры) и ее мужа Луи Арагона много лет спустя помогала лечить в Париже тяжело болевшую жену Слуцкого Татьяну...

В 1939 году на третьем году его учебы в МЮИ оба харьковских друга стали собирать рекомендации для поступления в Литературный институт. Стихи Слуцкого выделил впервые услышавший их тогда Павел Антокольский («С безответственной добротой // И злодейским желаньем помочь // Оделил он меня высотой, // Лебяною и чёрной, как ночь»). В Литературном институте студент-юрист занимался в поэтическом семинаре Ильи Сельвинского. Рядом были начинающие поэты М. Кульчицкий, П. Коган, Д. Самойлов, С. Наровчатов, М. Луконин, С. Гудзенко, которые составили затем поэтическую волну, известную под именем «военное поколение».

О своей параллельной учебе в юридическом институте Слуцкий никогда не жалел. Как же иначе? Чувства следовало алгеброй поверить, сердечные порывы вымерить умственной справедливостью, ритмические полеты — оглядкой на правила человеческого общежития в мире. Правда и поэзия одинаково должны быть во всем!

Через юриспруденцию молодой стихотворец познавал жизнь, лишь малой частью которой является даже большая литература.

Впрочем, главная линия, которую со студенческих лет он старался углыдеть для себя, причудливо вилась в чащобах и пустошах повседневного жизненного бытия. Фон своеобразно подтверждал верность избранной тропы.

В автобиографических заметках Б.Слуцкого «О других и о себе» есть глава, названная «Как я описывал имущество у Бабеля». События происходят осенью 1938 года. Курьезное тут перемешано с серьезным.

«На втором курсе, — вспоминает Слуцкий, — у юристов первая практика, ознакомительная. Нас рассовали по районным прокуратурам... Мы — трое или четверо студентов — достались судебному исполнителю, старичку лет пятидесяти. Утром он сказал:

— Сегодня иду описывать имущество жулика. Заключает договоры со всеми студиями, а сценариев не пишет.

— Как фамилия жулика? — спросил я.

Исполнитель полез в портфель, покопался бумагах и сказал:

— Бабель Исаак Эммануилович.

Мы вдвоем пошли описывать жулика... К тому времени, к сентябрю 1938 года, я перечел нетолстый томик Бабеля уже десятый или четырнадцатый раз...

Бабель жил недалеко от прокуратуры и недалеко от Яузы, в захолустном переулке. По дороге старик объяснил мне, что можно и что нельзя описывать у писателя.

— Средства производства запрещено. У певца, скажем, рояль нельзя описывать, даже самый дорогой. А письменный стол и машинку — можно. Он и без них споет.

У писателя нельзя было описывать как раз именно письменный стол и

машинку, а также, кажется, книги. Нельзя было описывать кровать, стол обеденный, стулья: это полагалось писателю не как писателю, а как человеку.

В квартире не было ни Бабеля, ни его жены. Дверь открыла домработница. Она же показала нам имущество...

В сентябре 1938 года в квартире Бабеля стояли: письменный стол, пишущая машинка, кровать, стол обеденный, стулья и, кажется, книги. Жулик знал действующее законодательство. Примерно в этих словах сформулировал положение судебный исполнитель.

Мы ходили по комнатам... В комнатах было чисто и так пусто, как будто все имущество, кроме не подлежащего описи, вывезли накануне. Старик был недоволен, а я кипел от дурацкого восторга, от соприкосновения к Бабелю, Исааку Эммануиловичу, не выполняющему договоры и укрывающемуся от описи имущества...»

Если Бабель уклонялся от исполнения договоров — значит, на то были причины, зависящие не от него. В пустых этих комнатах талант и писательская совесть молчаливо торжествовали над холодной казенной буквой. Поэт без труда клал на лопатки буквоеда-законника и в душе практиканта. Вот отчего весь он «кипел от дурацкого восторга»! Судебный исполнитель морщился. Подергивал плечами и этого не замечал...»

Но противоборство мыслящего тростника с маховиком государственной машины оказалось недолгим. Через восемь месяцев Бабель был арестован как «враг народа», а еще через год расстрелян.

Не только творчество, но и биография одного из самых крупных поэтов, рожденных Великой Отечественной войной, Бориса Абрамовича Слуцкого, продолжает вызывать широкий общественный и исследовательский интерес. И при этом все больше выявляются поразительные противоречия и неординарности жизненного пути поэта и его вклада в литературу.

Жизнь Слуцкого, действительно, полна парадоксов. Поэт, который, по собственным признаниям, дня не мог прожить, чтобы не написать стихотворение, а то и три и четыре, вдруг включал в себе какой-то внутренний стопор и не то что на год, а сразу на пять или девять лет замолкал. Возможно ли такое?

Внутренний мир Слуцкого такое допускал. Так было, например, во время Отечественной войны. «На войне, — рассказывает он, — я почти не писал по самой простой и уважительной причине — занят войной». *Занят войной...* Чувствуете, какая здесь поглощенность сиюминутным потоком жизни? И в этом признается не кто-нибудь, а поэт.

Мне посчастливилось знать Бориса Слуцкого в течение почти десяти лет и близко общаться с ним. В небольшой биографической повести хотелось обрисовать особенности ярко талантливой личности и необычной этой судьбы.

За полгода до начала войны два харьковчанина, два побратима, Кульчицкий и Слуцкий, написали по стихотворению на смерть друг друга. Это был обет дружеской верности, клятва, а еще больше — предчувствие — странное знание поэтов. Оба юноши собирались писать стихи и жить всегда и готовы были умереть завтра.

Та линия, которую мы гнули,
Дорога, по которой юность шла,
Была прямою от стиха до пули —
Кратчайшим расстоянием была.

Одна из дружеских эпитафий оправдалась меньше чем через год: «Декабрь 41-го года. Памяти М. Кульчицкого» — названо стихотворение Слуцкого, откуда взято четырехстишие. Сам двадцатидвухлетний Борис порохового дыма и фронтовых испытаний к той поре успел хватить по горло...

А как встретило это юное племя известие о начале войны? Первое, что сделал Слуцкий, — подал заявление в военкомат с просьбой направить добровольцем на фронт. А затем начал штурмом, как бешеный, сдавать выпускные экзамены в Литинституте (чтобы, не приве́ди господь, не лечь в землю без диплома?). В эти же летние дни — высшего цветения природы — в Ленинграде, в поту и спешке, сдавал кучу экзаменов за третий курс университета тоже записавшийся добровольцем в народное ополчение студент-филолог из архангельской деревни будущий писатель Фёдор Абрамов. О существовании друг друга они даже не подозревали, но поступали как близнецы. Через несколько недель почти весь студенческий батальон Абрамова погиб... Они были такие! Шли почти на верную смерть, а совершенно не представляли, что их ждет, думали только о жизни.

В архивах Союза писателей я нашел две не публиковавшиеся до сих пор автобиографии Б. А. Слуцкого (от 6 февраля 1956 г. и от 30 сентября 1966 г.). Вот что он сам сообщает о тех днях во второй из них: «Когда началась война, поспешно сдал множество экзаменов, получил диплом и 13 июля (обратите внимание — ровным счетом через три недели после начала войны! — Ю.О.) уехал на фронт. 30 июля был ранен (на Смоленщине). Два месяца пролежал в госпиталях. 4 декабря нашу 60 стрелковую бригаду выгрузили в Подмосковье и бросили в бой. С тех пор и до конца войны я на фронте...»

Начальство, видимо, по-своему умеет отличать и выделять одержимых, определяя самых неистовых рыцарей идеи на подходящее место. Подобно тому, как молодой коммунист Фёдор Абрамов после тяжелых фронтовых ранений получил назначение на работу в СМЕРШ (органы контрразведки — «Смерть шпионам», наблюдавшие, впрочем, больше за своими, чем за шпионами), точно так же и Борис Слуцкий, выйдя из госпиталя, год с лишним должен был исполнять суровые обязанности военного следователя прокуратуры бригады и дивизии (пригодилось и юридическое образование). Поэт-следователь?! Сапоги всмятку!

Можно разве что повторить слова Твардовского, занесенные им в дневник после того, как он ознакомился с представленным в редакцию «Нового мира» резко критическим романом Фёдора Абрамова «Две зимы и три лета»: «Разговаривал с Ф.Абрамовым. Говорят (Солженицын), что Абрамов был следователем. И вот из следователя получилось такое, что хоть веди на него самого следствие...» Борису Слуцкому эта оценка тоже более чем подходит.

Следственные подвохи и процедуры были не в его натуре. С сентября 1942 Слуцкого переводят на политработу, которая куда больше была ему по душе. Об этой новой полосе своей фронтовой жизни он рассказывает в автобиографии почти вдохновенно: «С осени 1942 года непрерывно работаю в политотделах — дивизионных и армейских. Был во многих сражениях... Писал листовки для войск противника (по некоторым подсчетам им было написано более ста таких листовок. — Ю.О.), доклады о политическом положении в Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Румынии... Написал даже две книги для служебного

пользования о Югославии и о Юго-Западной Венгрии... Многократно переходил линию фронта и переводил через нее немцев-антифашистов, предъявлял ультиматумы (в том числе в Белграде и в районе Граца) — вел обычную жизнь политработника», — в своем духе заключает Слуцкий.

Эпизоды тогдашней фронтовой жизни с автобиографической точностью запечатлены в стихотворении послевоенных лет «Я говорил от имени России»: «Я был политработником. Три года: // Сорок второй и два ещё потом. // Политработа — трудная работа. // Работали её таким путём: // Стою перед шеренгами неплотными, // Рассеянными час назад в бою, // Перед голодными, перед холодными, // Голодный и холодный. Так! // Стою. // Им хлеб не выдан, // им патрон недодано, // Который день поспать им не дают. // И я напоминаю им про Родину. // Молчат. Поют. И в новый бой идут».

В этом монологе предполагается, что некормленный, измученный, плохо вооруженный строй (часто — по неразворотливости и бесчеловечности сталинских штабов) одержим одним чувством с вдохновляющим политруком, раз сам он находится точно в таком же положении. Но было это не всегда так, а иногда даже совсем не так.

Вот почему поэзия Слуцкого столь придирчива к истинности своей героики. Она ведет отбор по высшей пробе случаев реальных и должна убедить.

Неистовая и возвышенная в ее идеальных порывах, муза Слуцкого одета в грубую армейскую шинель, внешне как бы застенчиво приземлена. Подтверждения правоты она ищет в самых расхожих и обыденных событиях повседневности. «Высокие слова» — о «Свободе и Добре», — к которым всегда тяготел Слуцкий, его муза выговаривает, запинаясь, иногда почти намеренным языком прозы. «Смотрите, — внушает читателю поэт-романтик, — я прав: вот вам один факт, другой, а вот вам и еще... Жизнь именно такова, какой она мне представляется!»

По той же самой причине лирика Слуцкого повествовательна. Чувство спешит опереться на свидетельство жизни, на документальное подтверждение. Поэтическая исповедь легко переходит в новеллу, в очерк, в портрет, перерастает в рассказ... Недаром столь распространенным жанром в поэзии Слуцкого является баллада.

Слуцкий был бессребреником. Вспоминаю сейчас его рано поседевшую, сплошь серебряную, голову, которую он держал с легким достоинством, полное красноватое лицо с жестко топорщившимися тоже седыми стриженными усами и, кажется, лениво-утомленные добрые синие глаза навывкате, и думаю: как будто для него создано это слово — бессребреник. Да, именно — серебряный бессребреник, пусть простится такой каламбур. Всю жизнь он трудился, но ничего не скопил, не нажил — ни машин, ни дач. Умирал одинокий, в квартире своего брата, инженера в Туле.

От материальных благ не то чтобы отстранялся, но они особой роли для него не играли. В полосе удач, кажется, лучше чувствовал себя, когда заработанное растеклось и уплывало на сторону. Друзья и младшие литературные собратья знали его манеру кратко осведомляться: «Деньги у вас есть?» Многие сотни и тысячи рублей раздавал — на новое жилье, на шубу, на невезение, на подпитку захандрившего вдохновения, да и просто так, в долг без отдачи. Сам же бывший политрук, кажется, один и тот же светлый костюм и добротные темно-красные ботинки носил без перемен, как таскают военную форму: опрятно, ладно — значит, порядок.

Борис Абрамович был щедр от природы. Но это был и нравственный принцип. Тут, вслед за Маяковским, родоначальником одной из тех гражданских традиций в поэзии, которые вызывали отзвук в Слуцком, он мог бы написать (да и выразил сходную мысль), что лично ему от всех гонимых довольно лишь «свежевымытой сорочки».

В литературу Борис Слуцкий входил медленно и мучительно долго. В начале 1941 года в журнале «Октябрь» удалось опубликовать единственное стихотворение из всего написанного им до войны. Да и то, видимо, напечатали из-за темы: оно называлось — «Маяковский на трибуне».

Душа поэта — загадка: в войну за редким исключением, как уже сказано, стихи у Слуцкого почему-то не слагались. Он воевал, вел дневники, усердствовал в служебной прозе. Но зато немало стихов написал сразу после окончания войны, в 1945 году, а затем, после перерыва (три года!), снова начал писать стихи в 1948 году. Они изливались сами, если можно так сказать про эти новорожденные детища. Настолько они были занозисто необычны, коряво самобытны, настолько отличались от строя пай-мальчиков, от гладкописных урапобедных виршей, заполнявших страницы газет и журналов, что предлагать их в редакции не было никакого смысла.

Стихи эти по своему духу, бесспорно, были бунтарскими, хотя бунтарство преобладало почти исключительно не идеологическое, а нравственное и эстетическое. Бунт был в откровенной распахнутости души; в безоглядности внутренней исповеди, не желающей знать никаких условностей, что звучало вызовом в то дисциплинарно-подтянутое, стриженное под одну гребенку время; в низкой солдатской лексике, словаре, сориентированности стиха на окружающую народную речь и грубую прозу жизни, что также не укладывалось в расхожие трафареты муштрованного и ряженного в парадные одежды благонамеренного гладкописного стиха... Не меньшим, а может быть, даже и большим, чем Маяковский, поэтическим учителем для Слуцкого был Некрасов, автор великой поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с его постоянным вглядыванием в гущу народной жизни, соизмерением всего происходящего всегда и в первую очередь именно с ней. Отечественная война при всех ее изломах и ущербных действиях режима была народной, и Слуцкий был искренним певцом этой народной войны...

О Слуцком бытует множество мифов. Один из них, может, наиболее ходовой и часто повторяемый, перетолковывает на разные лады внутренние последствия для него злосчастного выступления на собрании осенью 1958 года, когда обсуждалось исключение Бориса Пастернака из Союза писателей за роман «Доктор Живаго».

Тут многие позднейшие публикаторы внесли свою лепту в зависимости от пылкости природной фантазии. Поддается ей, например, прекрасный поэт — моряк, один из героев обороны Одессы, Григорий Поженян. Вспоминая о том «пастернаковском собрании» в позднейшей статье газеты массового хождения, он пишет: «Сергей Сергеевич Смирнов (председатель собрания. — Ю.О.) вечно маялся и много раз при встречах со мной, особенно в застолье, — казнился, не скрывая, что стыдился за содеянное... Мучил грех и Бориса Слуцкого. Врачи подозревали, что его выступление на том позорном собрании стало причиной его неизлечимой душевной болезни» («Советская культура», 1988, 13 октября).

По-своему вторит ему Евгений Евтушенко. В зарубежном дополненном издании своих мемуаров «Волчий паспорт. Приключения одной поэтической жизни» (Мюнхен, 2002) он пишет: «После своего недостойного поступка, единственного в его безупречной честной жизни, Слуцкий впал в депрессию и до смерти ушел в полное одиночество» (цитирую расширенное немецкое издание этой книги — Jewgeni Jewtuschenko. *Der Wolfpass. Abenteuer eines Dichterlebens*. Deutscher Taschenbuch Verlag, February 2002, S. 278). Тяжкий проступок, как видим, приравнен к такому смертному греху, что после него вроде бы и нормальная жизнь кончилась.

Но помилуйте... Выступавший на злосчастном собрании в конце октября 1958 года Борис Слуцкий был тогда автором одного-единственного поэтического сборника. А через два десятилетия, когда он, поддаваясь неизбежности, окончательно изменил свою жизнь, это уже был автор почти пятнадцати поэтических книг. Все эти годы, за редкими перерывами, он активно вел общественную и личную жизнь. Любил, дружил, помогал окружающим. Как согласуются подобные «диагнозы» с реальной действительностью и биографией поэта?

Таких превратно толкуемых узловых моментов биографии, а то и просто дутых сенсаций во внешне, казалось бы, открытой и ясной судьбе морального праведника предостаточно. Не говоря уж о том, что есть факты, как увидим, до сих пор по разным причинам державшиеся под спудом, утаенные и оттого мало или почти неизвестные. К ним обратимся чуть погодя. С введением в оборот этих биографических фактов облик поэта предстанет в дополнительной жизненной полноте и трагизме... Пока же еще о биографических парадоксах.

Вклад, и как его принимали в Союз писателей

Ошеломительна и загадочна посмертная судьба Слуцкого. Когда Борис Абрамович из-за тяжелой болезни и жизненных разочарований принял решение о собственном способе духовного самоубийства, порвав связи с прежним образом бытия и оберегаясь от привычной реальности, он предварительно избрал душеприказчика. Им стал критик и исследователь литературы Юрий Болдырев. Это тоже был неприкаянный энтузиаст. Он даже и жил где-то вдалеке от московских литературных кругов, в заштатном Красногорске, в тесной квартирке, куда я однажды наведалься. Самоотверженный энтузиаст обследовал огромный творческий архив поэта. И вот там оказалось трудновообразимое число готовых неопубликованных произведений — около двух с половиной тысяч! То были стихотворения, написанные «в стол». Для столь именитого и принятого во многих редакциях мастера — цифра невероятная.

Никаких шансов увидеть свет в подцензурные советские времена они не имели.

Поэт изливал на бумаге то, что высматривал беспощадный взор, исторгала душа. Тщательно обрабатывал тексты. Но обойти цензуру, издаваться, скажем, за рубежом, как в 70-е годы делали диссиденты, — это было против его убеждений, против партийного билета, который он носил. Он сам за это некогда жестко осудил Пастернака. Но именно об этих текстах в одном из сопутствующих стихотворений он написал:

Самых сильных и бравых
Никому не отдам.
Я ещё без поправок
Эту книгу издам!

«Перестройка» уже не застала Слуцкого в живых. Зато Ю. Болдырев со страниц журналов и газет выпустил на волю скопившиеся откровения — наследие поэта. И количеством своим, и — прежде всего — качеством это был сильнейший эмоциональный удар эпохи.

Только журнал «Знамя» за год с небольшим (1988, № 1; 1989, № 3) напечатал две новые книги его стихотворений — «Вопросы к себе» и «Капля времени». Почти одновременно издательство «Советский писатель» выпустило объемистый, почти в триста страниц, том Слуцкого «Стихи разных лет. Из неизданного». В мае 1989 года, когда Б.А. исполнилось бы 70 лет, большие подборки его стихотворений поместили многие ведущие журналы и газеты страны. Ушедший из жизни автор дарил читателя новинками активней и чаще, чем многие его здравствующие коллеги!

Но главное, конечно, не в этом. Открывшиеся нам произведения не только смелы и отточены, они пронзительны по своевременности звучания. Содержательное наполнение им сообщает тот поэтический поток естественного восприятия коренных проблем жизни и общественного бытия, который особенно возобладал в книге «Неоконченные споры» (1978), последней, которую автор лично готовил. Вместе с тем по той же книге видно, как цензурные рогатки дозировали и загоняли в рамки исповедь и проповедь поэта.

В подцензурный сборник не смогли попасть многие ходившие в списках или оставшиеся в тетрадах Слуцкого стихи, связанные с широким спектром общественных явлений, в которых воплотились исторические истоки и психологическая бесовщина сталинизма. Включая, конечно, и стихи о Сталине лично: «Мы все ходили под богом. // У бога под самым боком. // Он жил не в небесной дали, // Его иногда видали // Живого <...> // Однажды я шёл Арбатом, // Бог ехал в пяти машинах. // От страха почти горбата, // В своих пальтишках мышиных // Рядом дрожала охрана...»

Одним из ключевых в современной историографии остается вопрос — как великая наша страна, победительница во Второй мировой войне и супердержава, в короткий срок столь умалилась и дошла до национальной катастрофы. Участником этих решающих переживаний, раздумий и споров остаются творчество, личность и биография Слуцкого.

Афористичны приведенные выше строки о Сталине. Но на слуху, взяты на духовное вооружение и многие другие из открывшихся теперь стихотворных текстов Слуцкого не только о главном самодержце, но о повседневности и родословной казарменного социализма — «Хозяин» («А мой хозяин не любил меня...»), «Бог», пророческое «Нечаевцы», «Баллада о догматике», «Официальная общественность теряет всякую вещественность...», стихи о «госчеловеколюбии», об антисемитизме («Медлительность философов», «Полукровки» и др.), о неоглядной трясине всеобщей лжи: «Всё — пропаганда, весь мир — пропаганда» («Говорит Фома») и многие-многие еще.

Как же так получилось? Как вышло, что «правильный» Слуцкий настолько опередил время? Мне кажется, посмертное «чудо Слуцкого» коренится в итогах пути, пройденного поэтом.

Точные слова нашел в разгар юбилейных публикаций, в связи с 70-летием со дня рождения поэта, тот же пропагандист его творчества и критик Ю. Болдырев. «В поэзии и личности Слуцкого, — написал он, — нам явлен благой и строгий пример возвращения от человека сугубо идеологического к человеку естественному...» («Литературная Россия», 1989, 5 мая).

А в 1991 году явился на свет «полный свод стихов Слуцкого» (Л.Лазарев) — собрание сочинений поэта в трех томах.

Значимость его создателя распахнулась в новых пределах. Евгения Евтушенко, помимо прочего, можно назвать летописцем современной русской поэзии, если иметь в виду огромную его составительскую и комментаторскую деятельность в этой сфере. Множественность разнообразных явлений и образцов перед глазами ведет к истине. Располагая обширным материалом для сравнений, Евтушенко так определил значимость Слуцкого: «Теперь можно сказать то, что почему-то не принято говорить при жизни. Да, я убежден: Слуцкий был одним из великих поэтов нашего времени».

Юрий Леонардович Болдырев умер, к несчастью, через год всего лишь после выхода трехтомника Слуцкого. В возрасте 58 лет. Здесь снова произошло что-то почти фронтовое. Исполнение долга с гибелью героя. Интуиция и влюбленность подсказали Болдыреву вещие слова: «От нас уходил, — написал он через три года после смерти поэта, — как было сказано на панихиде, один из лучших поэтов военного поколения. А сейчас перед нами поэт — летописец трудного и горького двадцатого века, поэт — защитник "слабых мира сего", поэт-пророк».

Теперь жизненный, хотя и мелкий вопрос — процедурный. Интересно, как же пророков принимают в профессиональный рай?

В архивах Союза писателей СССР я отыскал «приемное дело» Б. Слуцкого. Его ведь тоже принимали в Союз, как и прочих смертных. Очень уж оно любопытно, это дело, а по нынешним понятиям, даже забавно! С некоторым трепетом рассматриваешь писанные от руки рекомендации Павла Антокольского (довоенные, по случаю, чтения юного харьковчанина он не забыл!), Николая Асеева и Степана Щипачева. Каждый из старых мастеров говорит о Слуцком в своих интонациях, свое и по-своему, считая его новой значительной силой литературы.

Из находящейся тут же внутренней рецензии П. Железнова, протоколов и выписок видно, как оценили творчество поэта два «больших Ильи» — И. Эренбург и И. Сельвинский. За принятие Слуцкого в Союз писателей высказались также Бюро, а затем и общее собрание Секции московских поэтов. Казалось бы, дело ясное? Ан нет!

Вот главный документ — недатированная машинописная стенограмма заседания приемной комиссии, происходившего в декабре 1956 года. За прием Б. Слуцкого в члены ССП последовательно выступают рецензент Павел Железнов, тогдашние советские классики Всеволод Иванов (председатель) и Михаил Светлов. Остается вроде бы только потянуть лесом руки — «за»...

Но слово берет поэт Сергей Смирнов, личность, так сказать, и физически, и духовно не самая прямая и светлая, о котором даже ходила эпиграмма: «Я сам горбат, мои стихи горбаты. Кто виноват? Евреи виноваты». Он не оспаривает литературных данных соискателя, но усматривает идейный изъян — в их

гражданском звучании. «Меня удивляет эта сверхсмелость, — говорит С. Смирнов, — которая доходит до степени политического хулиганства. Он пишет стихи, и они ходят по рукам, в списках — "Я хозяин земли". "Я пишу такие вещи, которые нашим любимым хозяевам не нравятся" <...>. Он забывает, что у нас не то правительство, о котором можно так говорить».

Оратор предлагает отложить прием Слуцкого в члены ССП до выхода первой книги, чтобы внимательно посмотреть, что будет представлено там. С.Смирнова тут же поддерживает драматург Георгий Мдивани. Про того в литературных кругах тоже ходила едкая эпитафия: «Искусству нужен Жорж Мдивани как ж... ржавый гвоздь в диване». Но это, так сказать, в кулуарах, а тут он был — маг и властитель.

«Тов. Мдивани: Я Слуцкого читал, знаю его стихи, которые были напечатаны, считаю его, безусловно, талантливым поэтом, но мне хочется все-таки знать, существовали ли такие антиправительственные, антисоветские стихи, о которых говорит т. Смирнов.

Сейчас такой период, когда некоторым "светлые" мысли приходят в голову, их надо очищать, надо вводить в правильные, большевистские идеологические позиции, Союз писателей не беспартийная организация...

Тов. Светлов: Союз писателей — беспартийная организация».

Не буду цитировать дальше эту объемистую стенограмму. Г. Мдивани, разумеется, тут же возразил, что, хотя Союз писателей — организация формально беспартийная, однако же твердо стоящая на партийных позициях и проводящая линию партии. И лучше проявить бдительность и воздержаться от приема в Союз писателей, чем принять человека, чье творчество противоречит такой линии.

Михаил Светлов упорно отстаивал Б. Слуцкого, довольно остроумно ссылаясь даже на то, что Слуцкий — член партии, а по партийной линии к его стихам, насколько известно, претензий нет — так почему же Союз писателей должен быть более партийным, чем сама партия?!

Но ничего не помогло. К возражавшим присоединились прозаик Ю. Лаптев и писатель-фантаст В. Немцов. Соппротивление М. Светлова и Вс. Иванова было сломлено арифметическим большинством голосов. Комиссия приняла, правда, смягченный вариант решения, отложив прием Б. Слуцкого в члены ССП лишь до выяснения вопроса — о каких, собственно, рукописных стихах идет речь, чтобы действовать дальше, имея картину во всей полноте.

Стенограмма включает в себя и отчет, опять-таки недатированный, о том заседании приемной комиссии первых месяцев 1957 года, на котором она заслушала отзыв избранного ею арбитра поэта Евгения Долматовского о тех ходящих в списках и неопубликованных стихах Слуцкого, которые более всего ставились в вину автору. Арбитр отказался подтвердить наличие в этих стихах «антисоветского» или «антиправительственного» криминала, хотя и заявил, что поэзия Слуцкого ему не нравится, внутренне ему чужда. Но профессиональное право ее на существование он вполне признает. После этого Слуцкий был принят в члены Союза писателей...

В. Ф. Огнев, который был редактором первого сборника Б. Слуцкого «Память» (М.: Изд-во «Советский писатель», 1957), рассказывал мне, как составлялась книга. Борис Абрамович принес ему желтый необитый фанерный чемодан, напоминавший сундучок. Этот допотопный сундучок обитал у Слуц-

кого как живое существо не то с армейских, не то еще даже с довоенных родительских харьковских времен. Крышка с гремящими ажурными поломанными железками на ней, отверстием, похожим на люк, от ветхости не запиралась, и чемодан был перетянут веревкой. Весь он до верха был наполнен рукописями стихов.

По сжатому объему книги, запланированному издательством, из этого несметного количества машинописных и исписанных от руки листков было отобрано только несколько десятков стихотворений. Что-то около сорока. Но зато, как теперь видно, в большинстве — жемчужины поэзии Слуцкого. «Память» — «...по-настоящему слущкая книга Бориса Слуцкого... — уже с нынешних высот оценивает ее в своем мемуарном очерке Олег Чухонцев. — Такой концентрации магического вещества и содержательного трагизма нет ни в одной последующей. Ей трудно подобрать аналог даже в нашей военной прозе...» Выход сборника стал крупным литературным событием.

Проступок самурая

Он начинал как верноподданный бунтарь. Для Бориса Абрамовича важно было, чтобы и в больших делах, и в малых впереди непременно сияла путеводная звезда точно найденной мысли, справедливой идеи. Тогда он чувствовал прилив сил, зов к действию.

Идеалом общественного устройства и высшей идеей гражданского служения для Слуцкого с начала пути был коммунизм, обрисованный в сочинениях Маркса — Энгельса — Ленина, и работа по его достижению. В своей краткой речи на собрании писателей Москвы 31 октября 1958 года против Нобелевского лауреата Бориса Пастернака, где было взвешено каждое слово и к которой он мысленно возвращался затем, возможно, до исхода дней, Слуцкий говорил: «Все, что делаем мы, писатели самых различных направлений, — прямо и откровенно направлено на торжество идей коммунизма во всем мире».

Это были глубоко искренние, пережитые и важные для него слова. В сборнике «Сегодня и вчера» (1961) сходную мысль поэт выразил так: «Я болезненным рос и неловким, // Я питался в дешёвой столовке, // Где в тринадцати видах пшено // Было в пищу студентам дано. // Но какое мне было дело, // Чем нас кормят в конце концов, // Если будущее глядело // На меня из газетных столбцов. // Под развернутым красным знаменем вышли мы на дорогу свою, // И суровое наше сознание // Диктовало пути бытию».

Как нередко у крупного поэта, стихи Б. Слуцкого типологичны, выражают не только свойства авторской личности, но и главные особенности духовного мира той среды, певцом которой он себя ощущал. Из стихотворения встает образ юного энтузиаста социалистического строительства, теперь бы мы сказали даже — идейного фанатика, который не живет настоящим, а весь устремлен в будущее, что малюют изо дня в день столбцы газет конца 30-х годов, переносящие на века вперед восторжествовавший уклад и идеи сталинской коммунистической казармы.

Особенно примечательны последние строки. Лирический герой, несомненно, марксист и материалист. В материалистическом мировоззрении определяющей основой является бытие, а не сознание. Стихи правдиво передают дух

эпохи, когда философская формула была перевернута и судьбами страны заправлял самый необузданный и своевольный волюнтаризм. Твердокаменные материалисты обращались на деле в слепцов субъективного идеализма. Стихи горделиво выставляют напоказ то, что официально скрывалось: «И суровое наше сознание диктовало пути бытию».

Что было в результате «надиктовано», вопреки естественным связям вещей и нормальной логике явлений, достаточно известно. Трагедии народной жизни, бесчисленных потерь на войне и бед мирных дней, разрывавших сердце поэта, стали сквозными темами поэзии Слуцкого.

Жизнь не укладывается в рассудочные схемы. И собственной философской лирикой Слуцкий безжалостно развенчивал и опрокидывал своеволия волюнтаризма и рационализма, которым, казалось бы, должен был сочувствовать по некоторым общим своим воззрениям. Таких замечательных стихов-опровержений у поэта множество.

С годами нарастало его критическое неприятие происходящего, честности и отваги было ему не занимать, но переступить какую-то последнюю черту он не мог. В заметке «Памяти друга» Давид Самойлов очень точно о нем написал: «Он был так устроен, что в каждой области духовной жизни должен был создавать шкалу ценностей, и на верху этой шкалы всегда было одно — высшая вера, высшая надежда и высшая единственная любовь...» И еще: «Слуцкий всегда считал, что идеал не терпит предательства, и никогда не менял своих идеалов» («Литературная газета», 1986, 5 марта).

Ну, а если идеалы опровергала сама жизнь? Неужто всмотреться в требования реальности и принять их будет предательством?! Для Слуцкого это было так. Он мог разочаровываться в политических деятелях, отвергать правительства, поколения, целые эпохи, мог вносить частные поправки в свои воззрения. Идеалы от этого удалялись, почти уходили за горизонт, но, как грядущий восход солнца, оставались высшей и единственной надеждой.

Эта верность принятому обету жестоко подвела Слуцкого.

В романе «Доктор Живаго» Борис Пастернак утверждал, что любовь, милосердие и свобода человеческой личности выше истории с ее катаклизмами и политическими водоворотами. Поэт-романист не осуждал Октябрьской революции и не выступал против нее. Но его крен в сторону индивидуальных свобод и права личности на любовь, что бы там ни происходило и какие бы чрезвычайные обстоятельства ни складывались, был в тогдашних условиях смелым новаторством. Руководство ЦК партии в специальном закрытом постановлении, готовые на подхват литературные «автоматчики» и многие еще не освободившиеся от догматизма литераторы, а с ними свора послушной прессы заклеили позицию Пастернака как принижение коллективной воли вершителей революции и поклеп на нее.

Воспитанный в духе революционного самоограничения, в солдатском духе, Б. Слуцкий всегда считал, что великая идея всеобщего человеческого блага, то бишь коммунизм, выше судьбы отдельной личности и, стало быть, выше любви.

Кроме того, роман, отвергнутый печатными изданиями у себя дома, Борис Пастернак вынес на суд заграничной общественности и получил за него Нобелевскую премию. Вот почему, когда обстоятельства сложились так, что надо было или разойтись с партийной линией, или выступить на общемосковском собрании, обсуждавшем поведение Пастернака (не содержание романа

«Доктор Живаго», а, как хитроумно формулировалась повестка дня, именно поведение автора!), Слуцкий после колебаний согласился.

Правда, был еще и третий путь, избрать который советовал ему кое-кто из друзей, сам на сей раз счастливо избежавший горькой чаши. Словчить, увернуться, сказать больным. Тем более что Слуцкий — полуинвалид, и больничный лист безотказно ждал его в любую минуту.

Так, кстати, и поступили иные литераторы, впоследствии даже кичившиеся своей отвагой. Но Слуцкий не любил третьих путей, он был слишком правильный. К тому же он дал уже связать себя словом: выполняя поручение партийного бюро, говорил с беспартийным поэтом Леонидом Мартыновым о возможности выступления того на собрании. И Леонид Мартынов, любимый художник и близкий друг, спросил в упор: «А вы выступать будете?» После этого тоже согласился выступить. Теперь увильнуть, спрятаться, скрыться не позволяла совесть. Он сам отрезал себе единственный выход.

Четвертого пути — взойти на трибуну и произнести речь в защиту Пастернака — не существовало. Это противоречило бы собственным его взглядам и убеждениям. «Подвела партийная дисциплина», — позже как-то обмолвился Слуцкий.

В сотый и тысячный раз вспоминая случившееся и казнясь, Слуцкий писал:

Уменья нет сослаться на болезнь,
Таланту нет не оказаться дома.
Приходится, перекрестившись, лезть
В такую грязь, где не бывать другому.

Свою речь Слуцкий написал заранее на листке бумаги и по дороге с Ломоносовского проспекта, где они тогда жили в общем писательском доме, показывал в машине трем друзьям, крупным литераторам, от которых на сей раз выступлений не требовалось. Друзья прочитали и молчаливо одобрили.

Впрочем, кажется, до последней минуты Борис Абрамович надеялся, что как-нибудь обойдутся без него и выступать не придется. Но из президиума назвали его фамилию, и выступать пришлось.

Речь Слуцкого 31 октября 1958 года, пожалуй, самая короткая из всех речей, произнесенных на этом собрании. Борис Абрамович говорил лишь то, что думал, и ни слова больше. Азбучными прописями казались ему эти утверждения, да и произносил он их нарочито, как прописи: «Поэт обязан добиваться признания у своего народа, а не у его врагов. Поэт обязан искать славы на родной земле, а не у заморского дяди». «Лауреат Нобелевской премии этого года, — говорил Слуцкий, — почти официально именуется лауреатом Нобелевской премии против коммунизма. стыдно носить такое звание человеку, выросшему на нашей земле».

И вначале, когда случившееся случилось, Борис Абрамович сожалел не о том, что говорил, а до сердечных спазмов переживал лишь неприглядное общественное окружение, тот контекст, в котором прозвучали его слова. Мрачное судилище, каким обернулось все это. Волей или неволей он включился в кампанию гонений и проработок, в травлю крупного таланта. И пусть тон задавали не одни политические кликуши, не только всесоюзный комсомольский вожак Семичастный или «литавтоматчик» редактор журнала «Огонёк» Софронов, а в одном хоре раздавались голоса и таких серьезных и близких ему людей,

как К. Симонов, С. С. Смирнов, И. Сельвинский, С. Антонов, Л. Мартынов, В. Шкловский, и многих других, все равно негоже! Все равно стыдно!

Судя по всему, Борис Абрамович ощутил это почти сразу, как только закончил говорить и спустился с трибуны, заняв место среди других людей в зале.

А тут еще одна сцена...

Рассказывают, что когда после собрания Слуцкий с остатками публики продвигался к выходу, к нему развязной походкой приблизился двадцатипятилетний талантливый и уже известный поэт, любивший играть роль фрондера. Поэту этому Борис Абрамович покровительствовал, не раз ссужал деньгами, хотя и посмеивался над его наигранной шумливостью и хлестаковскими чертами характера («Он похож на грузовик, везущий пачку мороженого», — шутя однажды заметил Слуцкий).

Теперь молодой поэт пылал праведным гневом.

— Борис Абрамович! — громоподобным голосом, так, чтобы слышали и обернулись все, возвестил он. — Я вам должен большую сумму денег... Этих денег теперь у меня нет. Но тридцать сребреников я вам отдам. Получите! — И он преподнес Слуцкому на картинно вытянутой ладони две серебрившиеся монеты по пятнадцать копеек.

— Хорошо, Жень, давайте! — сглотнув воздух и мертвенно бледнея, отозвался Слуцкий.

Он опустил монеты в карман пиджака. Круто повернулся и быстрыми шагами вышел из зала...

Но что же открылось и начало выясняться с течением лет, с движением времени? Обнаружилось, что прав был Борис Пастернак, а не те, кто его клеймил или поучал мнимыми прописями.

Оказалось, что обвинения против автора романа «Доктор Живаго» строились на нарочитой подмене понятий, на софизмах, то есть на лжи.

Конечно, и сам Пастернак чуть ли не вчера еще воспевал Октябрьскую революцию в стихах, поэмах и малых жанрах прозы. В том числе неоднократно славил «человека размером с шар земной» — Сталина. Был не только одним из индивидуальных одописцев, но и в качестве переводчика выпустил под своим именем толстый сборник песнопений грузинских поэтов на эту тему. Скорбно и поучительно читать ныне эту большую и толстую серо-стального переплета стихотворную антологию о Сталине с одним заглавным именем на первой странице: *Борис Пастернак*. Шекспир и Гёте в разных жанрах — и вот эта придворная антология об убийце миллионов...

Однако у поэта хватило зоркости и мужества, чтобы разглядеть истину в путанице жизни, чтобы сделать выводы из уроков истории, чтобы изменить свой взгляд и самого себя. Революция без идеи свободы личности, милосердия и любви оказалась в итоге не той революцией, к которой стремились поколения борцов с тиранией.

Когда же отвергнутый и осмеянный в Отечестве пророк стал настаивать на своей правоте и в лице Нобелевского комитета сыскались третейские судьи, оценившие духовную значимость произведения, вот тогда-то на художника и обрушились громы и молнии: «Поэт обязан искать признания у своего народа, а не у его врагов».

Конечно, и в Нобелевском комитете сидели не ангелы. Как выяснится после рассекречивания архивов десятилетия спустя, высокий судия в этой

истории тоже не чужд был политиканства и шел на прямые перетасовки собственных священных принципов и правил, лишь бы нелюбимый и гонимый Советами автор данную премию непременно получил.

Альбер Камю, выдвинувший автора на Нобелевскую премию, русского языка не знал. Текста в оригинале читать не мог. На веру бралось утверждение, что роман замечателен, потому что незамечательным быть не может. Хотя иные ценители, знавшие текст в оригинале, — допустим, В. Набоков, А.Ахматова или А.Солженицын, такой художественной вершиной «Живаго» вовсе не считали... Напротив, полагали, что как произведение художественной прозы роман написан часто рыхло и беспомощно. Но не только это мешало катиться наградному колесу дальше...

В самый чувствительный момент движения к высокой цели выяснилось вдруг, что роман представлен на множестве языков мира. Отсутствует лишь публикация на родном русском. Такая «техническая малость» подрывала основы основ, нарушала все правила. Препятствие превращалась в непреодолимое... Но выход наскоро сыскался и тут. «"Доктора Живаго" по-русски выпустило ЦРУ — американская разведка», — свидетельствует современный исследователь И.Толстой, кстати, к моменту выпуска своего труда работавший обозревателем американской радиостанции «Свобода». Наскоро отшлепали роман по-русски в двух микроскопических издательствах-однодневках в Голландии и еще где-то.

Теперь премиальные фокусы установлены доподлинно и точно. Иван Толстой провел документальные раскопки этой подспудной и долгое время как бы несуществовавшей темы, продолжавшиеся, по его словам, два десятилетия. Помимо изучения рассекреченных архивов, отдал немало усилий также другой собирательской и аналитической работе (См. кн.: *Толстой И. Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ*. — М.: Изд-во «Время», 2009). В книге И.Толстого далеко не все бесспорно, но премиальная фактура обсмотрена снизу вверх и сверху вниз.

Однако шумы эпохи надо отличать от ее главных истин.

Являются ли для народа врагами те, кто поддержал проницательного и стойкого защитника интересов личности, из которых и состоит народ? Или же вред своему народу наносят как раз те, кто туманит его сознание, корежит совесть и разум, мешая понять положение в истории и современной действительности?

Вот какие горькие и печальные истины с годами так или иначе должен был проницать Борис Абрамович, вот какие бездны должны были ему открываться, притягивать к себе, тревожить его чуткую совесть. Тем более что содеянного уже откровенно стыдились некоторые другие участники того злополучного собрания 31 октября 1958 года. А правота автора «Доктора Живаго» к началу 70-х годов ясна была многим в кругу ближайших друзей и единомышленников Слуцкого, например Юрию Трифонову.

Несомненно, этими переживаниями, не отпускавшими его и годы спустя, вызваны такие стихи Слуцкого:

Где-то струсил. Когда — не помню.
Этот случай во мне живёт.
А в Японии, на Ниппоне,
В этом случае бьют в живот.

Бьют в себя мечами короткими,
Проявляя покорность судьбе,
Не прощают, что были робкими,
Никому. Даже себе.

Так поступают убежденные самураи, рыцари идеи, которые служение ей ставят выше жизни. В конце пути нечто подобное харакири совершил автор. Хотя и покончил с собой не коротким японским мечом, а русским подручным средством — нежеланием жить. Но такое состояние было вызвано не каким-то одним поступком, в том числе и названным выступлением против Пастернака почти двадцатилетней давности, а великим множеством жизненных поводов и причин.

Тот же Давид Самойлов, друг и ближайший спутник жизненных дорог Слуцкого¹, начиная еще со студенческой скамьи в Литинституте, в опубликованных посмертно воспоминаниях называет некоторые из них: «Часто говорят о причинах болезни Слуцкого. Говорят, что это болезнь совести после пастернаковской истории. Другие — смерть Тани (жены. — Ю.О.).

На самом деле причин было много. Во-первых, дурная наследственность. Мать Слуцкого страдала тяжелым склерозом... Главной болезни Слуцкого способствовали побочные. Осколок в спине, причинявший ему боли. Простуда лобных пазух, полученная на войне, в результате которой были тяжелая операция (шрамик между лбом и носом) и тяжелейшая многолетняя бессонница. Слуцкий не спал годами... А главная причина ускорившейся болезни — постоянное напряжение. Он напрягался всю жизнь. К докторам ходил редко — за снотворным. О болезнях не говорил. На вопрос о самочувствии коротко отвечал: "Плохо"».

Обо всех этих и других тяжких расправах судьбы рассказ впереди. Теперь же речь пойдет еще об одном духовном терзании, греховной тайне, может, самой глубоко упрямой, не подлежавшей огласке и обсуждению даже с самыми близкими друзьями.

Второй смертный грех праведника

Борис Абрамович много лет носил эту тайну в себе. Среди нынешних читателей и почитателей поэта тем более редко кто слышал и знает о ней. Между тем в былые времена она могла повести не только к колючей проволоке лагеря, но и похуже того — к смерти.

Дело в том, что двоюродным братом образцового коммуниста и виднейшего советского поэта Бориса Слуцкого был знаменитый глава израильской разведки «Моссад» Меир Амит.

Так получилось. Их отцы Абрам и Хаим были родными братьями. Меир родился на два года позже Бориса, в 1921 году, в Палестине, куда его родители за год до этого перебрались с Украины. А фамилию Слуцкий согласно обычаю Меир изменил под шестнадцать лет, вступив в подпольную еврейскую армию. Ориентировался он на социалистические идеи, в частности на сельскохозяйственные коммуны — киббуцы. И во всем тоже был человек непреклонных

¹ Давид Самойлов. Друг и соперник. // «Октябрь». 1992, № 9. С. 190.

общественных устремлений, стойких принципов, личность сильная, крупная и в своем духе героическая.

Прошел чуть ли не через все войны, которые вел Израиль. Добровольно вызывался на самые тяжкие и опасные участки. Неоднократно был ранен. Даже на учениях, в генеральском чине, прыгал с парашютом впереди рядовых. Однажды в 1958 году его парашют раскрылся не до конца. Амит получил тяжелые ранения и три месяца пролежал в госпиталях. Учился в Англии и в Америке. Знал несколько иностранных языков. Защитил диссертацию, где использовал также собственные знания о сельских кибуцах. Словом, личность во всех смыслах незаурядная.

Некоторое время Меир Амит, поднявшись по служебной лестнице, возглавлял военную разведку страны. А с 1963 по 1968 год был начальником внешней разведки — «Моссада». Происходило это в те самые годы, когда поэтическая слава Бориса Слуцкого тоже набирала высоту и поднималась к зениту.

Своей вездесущностью, неожиданными поворотами действий, точностью разведывательных и карательных ударов «Моссад» снискал известность как одна из лучших внешних разведок мира. Но деятельность «Моссада», как, вероятно, и любой другой разведки мира, трудно оценить однозначно. Вверенные им дела «джентльмены удачи» этой тайной профессии далеко не всегда творят в белых перчатках.

Тем не менее «Моссад» был известен серией продуманных и громозвучных акций. Это сотрудники «Моссада» за три года до прихода к руководству Амита, в 1960 году, организовали похищение и тайный вывоз из Аргентины скрывавшегося там эсэсовского главаря Адольфа Эйхмана, начальника отдела гестапо IV-B-4, непосредственно отвечавшего за «окончательное решение еврейского вопроса». За Эйхманом были функции прямого палача-исполнителя — и кровь миллионов убитых евреев. Гитлеровского мясника судили и повесили в Израиле в 1962 году.

Действия «Моссада» при Меире Амита, иные из которых засекречены по сию пору, были широки и масштабны. Как отмечалось в официальных источниках, «его руководство помогло Израилю победить в шестидневной Ближневосточной войне 1967 года». Всегда ли праведно или наоборот — дело другое. В 2003 году Амита удостоили Государственной премии «за государственную и общественную деятельность». А в 2009 году президент страны Шимон Перес едва не причислил его к клику пророков: «Поколения израильтян, целые поколения наших потомков, — сказал он, — должны быть благодарны Меиру Амиту за его огромный вклад, большая часть которого остается в секрете, в дело построения силы и служб защиты Израиля. Он был настоящим лидером, которому люди доверяли, и в то же время он был пророком для государства».

Между тем среди содеянного тогда «Моссадом» выплыли наружу и обрели скандальную известность также акции и поступки, которые образцами нравственности и соблюдения норм международного права никак не назовешь. Именно скандальная огласка событий такого рода вызвала отставку Амита.

Нашумело, к примеру, заказное убийство. Для взаимного обмена в услугах с правившим королевским режимом в Марокко, тогдашней тайной опорой Израиля в арабском мире, сотрудники «Моссада» взялись помочь марокканским коллегам в физическом уничтожении одного из ведущих лидеров тамошней оппозиции. Что называется, баш на баш... В результате разработанных сложных

манипуляций, проведенных агентами «Моссада» по выманиванию и передаче «клиента», растворившегося в далекой эмиграции, даже и не во Франции, а в Женеве, ведущий оппозиционер Мехти Бен-Барка попал в руки исполнителей-соотечественников. И был убит в пригороде Парижа. Возмущенный таким беспределом на французской территории президент де Голль в качестве ответной меры распорядился «закрыть представительство "Моссада" в Париже и прекратить контакты с израильскими спецслужбами».

На затынутом тучами международном небосклоне засверкали молнии...

Зато, пожалуй, иными эмоциями сопровождалось действия «Моссада», направленные против потенциальных противников Запада — СССР и его союзников. Характерный пример — похищение боевого советского истребителя новейшей конструкции МИГ-21.

Подробности этой акции можно найти в описаниях израильского историка Иосифа Тельмана. Проводилась она весной 1965 года по запросу высшего командования военно-воздушных сил. «Эти самолеты есть у арабов, а мы о них по сути ничего не знаем, — говорил тогда Амиту в дружеской кабинетной беседе командующий ВВС страны Эзер Вейцман. — Насколько мне известно, ни США, ни НАТО тоже не имеют точных сведений об этом истребителе. Русские утверждают, что ему нет равных в мире...»

Амит, не откладывая, сгруппировал тогда свою команду и принялся за дело. «Анализировались разные возможности добыть МИГ, — повествует историк, — перехват в воздухе и принуждение к посадке в Израиле, внедрение своего агента в качестве летчика в одной из арабских стран и, наконец, вербовка пилота в Египте, Ираке или Сирии. Остановились на последнем варианте <...> В поле зрения "Моссада" попал один из лучших асов Ирака Мунир Редфа. В результате длительной и сложной работы, проведенной с ним агентами "Моссада", Редфа угнал МИГ-21 и посадил его на одном из израильских аэродромов. Это был первый случай, когда новейший советский самолет оказался в руках Запада. Даже через многие годы военные деятели США и стран НАТО отмечали этот эпизод как выдающееся достижение израильской разведки».

Как относился к подобным событиям и к самой фигуре двоюродного брата Борис Абрамович? Обо всем этом до недавней поры думать-гадать могли разве лишь те немногие, кому вообще был известен ошеломительный факт его вроде бы открытой, героической и ровной биографии.

Разгадка реальных психологических состояний поэта неожиданно пришла оттуда, откуда меньше всего ожидалась. На исходе 1999 года, через 13 лет после смерти Бориса Абрамовича, отставной глава «Моссада» Меир Амит дал интервью газетному корреспонденту — известному зарубежному журналисту и писателю. О самом интервью и о фактах, дополнительно кое-что проясняющих, которые удалось собрать вдогонку, будет рассказано отдельно. Но вот пока самый общий ответ на животрепещущие вопросы.

«Ходили слухи, что известный советский поэт Борис Слуцкий — ваш близкий родственник? — спросил корреспондент.

— Близкий родственник! — видимо, нарастяжку и с удивлением произнес Меир Амит. — Да он мой двоюродный брат. У меня есть несколько его книг, я знаю, что он занимал видное место в советской литературе. Он прошел войну,

был комиссаром, а его брат Фима был полковником Красной армии. Но лично я с ним не был знаком, мы никогда не встречались.

— Вы знали, что у вас есть двоюродный брат в Советском Союзе. А знал ли Борис Абрамович Слуцкий, что его родственник — командир израильского "Моссада"?

— Ну конечно! Что за вопрос... Моя мать в 64-м году была в СССР, встречалась с Абрамом — отцом Бориса и Фимы. Русские знали, кто она такая. Когда она пришла в советское посольство за визой, ее спросили: "Как же так, вы — Слуцкая, а ваш сын Меир Амит?.."»

На этом я пока прерву интервью. Чтобы, указав на скрытые душевные раны чуткой поэтической натуры, вернуться к последовательным ступеням жизненного и творческого пути.

Кёльнская яма и Эренбург

Есть у Слуцкого протестное смелое стихотворение под таким названием — «Кёльнская яма». Одно из немногих, которое запросилось на свет в 1944 году, в самом конце войны. До шолоховского рассказа «Судьба человека» (1957) или романа С.Злобина «Пропавшие без вести» (1962), где так или иначе разрабатывалась тема реабилитации наших военнопленных, оставалась еще долгая колечная мрачная эпоха. Поэт этого будущего не провидел, он бился за истину и справедливость сегодня.

По художественной форме «Кёльнская яма» — это стихотворение-символ. Стихотворение-гипербола. И почти такая же прямолинейная политическая агитка, какими были в войну плакаты изобразительных окон ТАСС, имевшие целью без особых затей — звать вперед, на разгром врага. Иногда чувствуется даже, что строки писал нынешний или вчерашний политрук. Теперь, правда, поэт звал не вперед на врага, но к справедливости и воздаянию должного по отношению к своим — к сотням тысяч, если не миллионам, одетых в форму соотечественников, которые из-за неподготовленности СССР к войне и бездарности штабов угодили в плен. Сталинское руководство рассматривало попавших в плен как предателей, пусть даже невольных, и по освобождении массами гнало их на отсидку за колючую проволоку в лагеря. Стихотворение по существу было вызовом и протестом против этих бесчеловечных порядков.

Нас было семьдесят тысяч пленных,
В большом овраге с крутыми краями.
Лежим
 безмолвно и дерзновенно,
Мрём с голодухи
 в Кёльнской яме.

Над краем оврага утоптана площадь —
До самого края спускается криво.
Раз в день
 на площадь
 выводят лошадь,
Живую
 сталкивают с обрыва.

Так второе в жизни поэта стихотворение явилось широкому читателю на сей раз анонимно, в тексте широко известной лауреатской книги, в какую обратился вскоре роман «Буря» (1946—1947).

«Эти года послевоенные, — писал о себе позже Слуцкий, — вспоминаются серой, нерасчлененной массой, точнее, двумя комками. 1946—1948, когда я лежал в госпиталях или дома на диване, и 1948—1953, когда я постепенно оживал. Сначала я был инвалидом Отечественной войны. Потом был непечатающимся поэтом. Очень разные положения. Рубеж: осень 1948 года, когда путем полного напряжения я за месяц сочинил четыре стихотворных строчки, рифмованных». Четыре строчки с вытасненными из потемков сознания рифмами за месяц! Таков этот темп вползания в окружающую реальность.

У советского классика был собственный ритм жизни и свои заботы. Передавший ему рукопись фронтовой офицер исчез и два года не объявлялся. Откуда было знать Эренбургу, что после полученных ранений и последующих операций сам автор все это время валялся на больничных койках по лазаретам. А затем, демобилизовавшись подчистую, едва справляясь с тяжелыми головными болями, часто утрачивая память, отлеживался в родительском доме в Харькове.

К тому же далеко не все могло прийтись по душе маститому читателю в переданной рукописи. Владимир Набоков назвал Эренбурга гениальным публицистом. С первого дня войны в бессчетных статьях Эренбург звал сражающуюся армию к беспощадной борьбе с вражеским нашествием, с гитлеризмом и расизмом, которыми заражен немецкий народ. Такое содержание он вкладывал в распространенный в ходе беспощадной войны лозунг: «Убей немца!» Только такое — и, конечно, никакого иного.

Но уже в самом конце войны, в апреле 1945 года, Сталин с присущим ему азиатским коварством решил по-своему использовать имя и фигуру прославленного публициста. Для некоторого утихомиривания естественной жажды возмездия, охватившей победоносные армии на вражеской территории, а с нею и трудно контролируемых страстей по сведению счетов, переходивших в эксцессы расправ над мирным населением, он измыслил собственное изобретение. В качестве «мальчика для битья» был определен Эренбург. Репутация и честь самоотверженного писателя должны быть брошены под ноги наступающих боевых слонов. В «Правде» появилась статья партийного идеолога Г.Александрова «Товарищ Эренбург упрощает», где публицисту приписывались призывы физического уничтожения немецкого народа. Эренбурга объявили штрафным, перестали печатать.

Выдержать такой удар мог бы не каждый. А тут вот на подоспевшем вдруг досуге для писания романа эта рукопись Слуцкого. И что же он находит в переданных ему записках фронтового офицера? Щемящую жалость к врагам, не прописанную ни в каких воинских уставах.

Плюс размышления о том, что не все немцы, даже одетые в форму вермахта, так уж безнадежно плохи. Со многими из них злую шутку сыграла судьба. Она ведь всегда особенно безразлична и жестока к рядовым людям из народа. Отдельная рыбка виновата, что вся рыбья стая по какому-то внутреннему клику идет в сеть. И если такие рядовые немцы воюют с нами и стреляют в нас, то часто не по своей воле. Они достойны не только ненависти и беспощадного истребления, но и понимания, порой, может быть, даже жалости. Так что тут

требуются различия, которых иногда не хватает в нашем пропагандистском газетном потоке (упомянута и фамилия Эренбурга).

Конечно, все это написано за много месяцев до статьи высокопоставленного сталинского лакея из партийного органа — газеты «Правда» — товарища Г. Александрова и уж никак не под ее влиянием. Но тем хуже. Нынешнему романисту и автору будущей лауреатской «Бури» понравиться это никак не могло.

А такие, например, стихотворения, как «Немецкие потери»? Тут выражен эмоциональный настрой записок фронтового офицера. Стихотворение само по себе замечательно. Его невозможно не привести:

Мне не хватало широты души,
Чтоб всех жалеть.
Я экономил жалость
Для вас, бойцы,
Для вас, карандаши;
Вы, спички-палочки (так это называлось),
Я вас жалел, а немцев не жалел,
За них душой нисколько не болел.
Я радовался цифрам их потерь:
Нулям,
раздувшимся немецкой кровью,
Работай, смерть!
Не уставай! Потей!
Рабочим потом!
Бей их на здоровье!
Круши подряд!

Но как-то в январе,
А, может, в феврале, в начале марта
Сорок второго,
утром на заре
Под звуки переливчатого мата
Ко мне в блиндаж приводят «языка».
Он все сказал:
Какого он полка,
Фамилию,
Расположение сил
И то, что Гитлер им выходит боком,
И то, что жинка у него с ребенком,
Сказал,
хоть я его и не спросил.
Весёлый, белобрысый, добродушный,
Голубоглаз, и строен, и высок,
Похожий на плакат про флот воздушный,
Стоял он от меня наискосок.

Солдаты говорят ему: «Спляши!»
И он сплясал.
Без лести.
От души.

Солдаты говорят ему: «Сыграй!»
И вынул он гармошку из кармашка
И дунул вальс про голубой Дунай:
Такая у него была замашка.

Его кормили кашей целый день
И целый год бы не жалели каши,

Да только ночью отступили наши —
Такая получилась дребедень.

Мне — что?
Детей у немцев я крестил?
От их потерь ни холодно, ни жарко!
Мне всех — не жалко!
Одного мне жалко:
Того,
 что на гармошке
 вальс крутил.

Что касается причины гибели пленного, обозначенной в стихотворении, то в реальности дело обстояло куда скверней и прозаичней. По инструкции его требовалось этапировать в штаб дивизии. Это было далеко, опасно и холодно в ту жестокую на морозы зиму. Для ясности вопроса пленного, которого дружески откармливали кашей и который весело и послушно играл на губной гармошке вальс «Голубой Дунай», пара из наперед смекалистых охранников пристрелила автоматными очередями там же в сарае.

Так что, живописуя драмы войны, муза Слуцкого тоже по неизбежности иногда охорашивала и просветляла реальность...

Некоторое внутреннее раздражение, вызванное общественно-политической ситуацией первой послевоенной поры, возможно, было дополнительным обстоятельством, из-за которого Эренбург решил напрямую не упоминать и не популяризировать фамилию Слуцкого со страниц романа «Буря».

Во всяком случае, двусмысленность ситуации дает повод для разных соображений и толкований. Петербургские литературоведы П. Горелик и Н. Елисеев в статье «Борис Слуцкий и Илья Эренбург» («Новый мир», 2009, № 7) употребляют даже заостренные выражения. Добавлю при этом, что Горелик — харьковчанин, одноклассник Слуцкого по школе. Давние друзья поддерживали близкие отношения и в послевоенные годы. В словах Горелика могут отражаться и мнения Слуцкого.

«То, что сделал Эренбург с "Кёльнской ямой", — пишут П. Горелик и Н. Елисеев, — называется плагиат. Он присвоил чужой текст. Но тот, чей текст он присвоил, не рассердился: он обрадовался, поскольку понял, что хоть один его текст, пусть не под его именем, опубликован. Значит, могут быть опубликованы и другие. Он понял: то, что он писал, нужно и важно. Он испытал к Эренбургу, напечатавшему его текст, благодарность».

Столь крутые формулировки по отношению к Илье Эренбургу, сыгравшему беспримерную роль в творческой судьбе Слуцкого, и затем ближайшего его старшего друга, я бы не употреблял. Может, больше подходит слово — бесцеремонность. Да и сам Эренбург явно ощущал, что с «Кёльнской ямой» и военными записками Слуцкого у него вышло что-то не совсем ладно. И оттого впоследствии чересчур настойчиво и неоднократно возвращался к этой теме.

Мучаясь от непрекращающихся головных болей, Слуцкий отлеживался в это время на диване в Харькове. За совершающейся вовне жизнью следил не больше, чем безнадежный калека, изредка взглядывающий сквозь отодвинутую на окне занавеску на улицу. «Однажды, листая "Новый мир" с эренбурговской "Бурей", — вспоминал он позже, — я ощутил толчок совсем физический — один из героев романа писал (или читал) мои стихи из "Кёльнской ямы". Две или

полторы страницы вокруг стихов довольно точно пересказывали мои военные записки. Я подумал, что диван и... головная боль — это не навсегда».

Слуцкий получил самое главное, чего ему не доставало, — эмоциональную оздоровительную встряску, сильный творческий импульс, которые толкают на верную дорогу...

Объясняя, как получилось, что он, стреляный воробей, мог так сплеховать и обмишуриться, Эренбург указывал на необычность стихов, с которыми столкнулся. В статье для «Литературной газеты» (июль 1956 г.), где заявлялось о приходе в поэзию новой крупной величины, он писал, что Слуцкий «не боится ни прозаизмов, ни грубости, ни чередования пафоса и иронии, ни резких перебоев ритма...» Молодому поэту присущи «органичность, жизненность, связь с мыслями и чувствами народа. Он знает словарь, интонации своих современников... Он сложен и в то же время прост, непосредствен. Именно поэтому я принял его военные стихи за творчество неизвестного солдата».

Но так или иначе после выхода романа «Буря» прошло еще три года, прежде чем они встретились лично.

«В 1950 году ко мне пришел поэт Борис Слуцкий... — продолжает Эренбург в мемуарах рассказ о дальнейших с ним отношениях, опять упоминая о первоначальной своей ошибке. — Когда я начал писать "Бурю", кто-то принес мне толстую рукопись — заметки офицера, участвовавшего в войне. В рукописи среди интересных наблюдений, выраженных кратко и часто мастерски, я нашел стихи о судьбе советских военнопленных "Кёльнская яма". Я решил, что это фольклор и включил в роман...»

Но чтобы авторский текст сливался с фольклором, надо вжиться в народную стихию и писать сильно. Любопытно, что пришедший в 1950 году к Эренбургу бывлой тридцатилетний фронтовик тут же прочитал стихотворение, которое опять-таки сливалось с народной стихией и вновь хотя бы наполовину могло казаться фольклором.

Когда становится тошно на душе и почти физически ощущаешь собственную незащищенность и малость в «пучине бытия», среди прочего приходят на ум именно эти тогдашние строки Слуцкого. Формально они посвящены стихиям жизни или стихиям искусства, но на деле речь идет о гораздо большем.

Это было впоследствии знаменитое стихотворение «Лошади в океане»: «Лошади умеют плавать. // Но — не хорошо. Недалеко». Об очутившемся в открытом море табуна лошадей с потопленного миной транспорта: «Тыща лошадей! Подков четыре тыщи! // Счастья всё ж они не принесли. // Мина кораблю пробила днище // Далеко-далёко от земли».

Люди сели в лодки. В шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.

Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотках?

Взявшимся уверенно плыть четырехкопытным трудягам, чуть ли не олицетворяющим собой ограниченный или бездумный оптимизм живой природы, тоже сначала «океан... казался рекой»:

Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил

Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли...

Вот и всё А всё-таки мне жаль их —
Рыжих, не увидевших земли.

Но если никакая мощь лошадиных сил не способна одолеть бескрайне многоликие пучины бытия, то может ли приручить эти стихии и единовластно распоряжаться ими любая, даже пусть «правильная» и благонамеренная доктрина, не говоря уж о тощих казенных прописях?

В память о той роли, какую сыграл Эренбург в его литературной судьбе, стихотворение «Лошади в океане», начиная со сборника «Сегодня и вчера» (1961), поэт неизменно печатал с посвящением: «И. Эренбургу».

Но напрямую Эренбург вмешался в судьбу Слуцкого только в 1956 году. Так долго они сближались.

Внешне все выглядело вполне приглядно. Отлежав более двух лет в госпиталях, Слуцкий демобилизовался в звании майора с правом ношения офицерской формы «с погонами установленного образца», с небольшой инвалидской пенсией. Закончилось и домашнее лежбище. Предстояло понемногу возвращаться к жизни.

Что это значило? Как он замечает в автобиографии: «В 1948 году начал понемногу писать стихи».

В редакции он их по-прежнему не предлагал. Известна, кажется, единственная попытка того времени пробиться в печать. В 1952 году Слуцкий встретился с поэтом Николаем Тихоновым, передал ему стихи. Прочитав, тот развел руками: стихи выламывались из всех канонов, напечатать такое не было никакой возможности.

Шел восстановительный период, страна лежала в развалинах, и каждый труд, по представлениям Слуцкого, должен быть общеплезен. А стихи его, вероятно, таковыми не являлись. Требовалось поискать другое занятие.

«В 1948 году начал работать, — сообщает он в автобиографии, — главным образом для Всесоюзного Радиокомитета, где в 1948—1952 годах прошло в эфир около сотни моих передач — радиопьес, радиокomпозиций, сценариев и т. д.».

Стихи вновь оказывались на десятом месте.

Конечно, он работал с увлечением, был окрылен приносимой им пользой в радиокомитете и рассудком не сомневался, что нашел лучший выход из положения, что на то есть его собственная воля и свободный выбор. Конечно же, так! Только вот если брать не мелкие житейские мерки, а те более высокие и главные, вечные, если угодно, в которых только и существуют свобода личности, талант и искусство, — кем он был тогда? Увы, придется признать — верноподанным эпохи, незадачливым обладателем большого художественного таланта...

В самом воздухе страны, которым дышали даже лучшие люди сталинской эпохи, была растворена формула: «Себя смирял, становясь на горло собственной песни». А уж количество убитых еще до рождения стихов, поэм, изобретений и

открытий, да и просто человеческих любовей и счастливых судеб — кто сосчитает, когда не сочтены доныне миллионы и миллионы физически истребленных сограждан?

Только в августе 1953 года на страницах «Литературной газеты» было напечатано третье стихотворение Б.Слуцкого — «Памятник». Живописная яркость сочеталась в нем с точностью афористического мышления:

И скульптор размеры на камень нанёс.
Гримасу лица, искажённого криком,
Расправил, разгладил резцом ножевым.
Я умер простым, а поднялся великим.
И стал я гранитным,
а был я живым.
.....
От имени родины здесь я стою
И кутаю тучей ушанку свою!

Стихотворение сразу полюбилось многим. Его связывали с памятником Воину-освободителю, стоявшему на горе в болгарской столице Софии. Эпоха менялась. Сталин умер. В следующем, 1954 году большие подборки стихов Б. Слуцкого печатают журналы «Знамя» и «Октябрь». Некоторые его стихи, непроходимые в печати, распространяются в рукописях; о необычной фигуре поэта-фронтовика в литературной среде уже ходят легенды.

28 июля 1956 года большую статью «О стихах Бориса Слуцкого» публикует в «Литературной газете» Илья Эренбург. Не кому-нибудь, а именно Эренбургу в конце концов выпала роль повивальной бабки при рождении крупного поэта.

Строгий и ироничный Эренбург пишет о Слуцком в возвышенных тонах, называя его поэзию народной, а важнейшей особенностью его гражданской музыки считая задушевную лиричность.

Позже, в книге «Люди, годы, жизнь», Эренбург вспоминал: «Я сразу почувствовал, насколько близка мне его поэзия. Потом я пытался ее определить, говорил о народности, ссылаясь на Некрасова. За статью меня отругали... Вскоре после смерти Сталина он прочитал мне:

Эпоха зрелищ кончена,
Пришла эпоха хлеба,
Перекур объявлен
У всех штурмовавших небо...

Никогда прежде я не думал, что смогу разговаривать с человеком, который на тридцать лет моложе меня, как со своим сверстником; оказалось, что это возможно. Помогло, наверно, и то, что я подружился со Слуцким еще до "перекура"».

После статьи Эренбурга в «Литературной газете» о Слуцком разом заговорили, заспорили. В литературу он вошел задолго до того, как его приняли в Союз писателей и появилась его первая книга.

Слуцкий не умел и не мог быть «при ком-то». Некое признание «равновеликости» стало основой зародившейся дружбы. С той поры они были, можно сказать, неразлучны. Есть снимок 1962 года, где они вместе на организованном ими вечере Марины Цветаевой, одинаково близкой обоим. Первым читателем новых глав мемуаров «Люди, годы, жизнь» был Слуцкий. Ироничный и

насмешливый Эренбург всегда терпеливо выслушивал замечания Слуцкого. Делал исправления, казавшиеся ему справедливыми.

Слуцкий в свою очередь об этой книге писал, понимая всю сложность и трудность затеянного автором литературного предприятия. Употреблял при этом самые высокие сравнения:

Спешит закончить Эренбург
свои анналы,
Как Пётр — закончить Петербург:
дворцы, каналы.
Он тоже строит на песке
и на болоте...

Последнее и главное свое сочинение, оно же духовное завещание, автор, действительно, строил «на песке и на болоте»

Слуцкий был первым из друзей, кто приехал на квартиру Эренбурга, когда тот умер. Как все происходило, он рассказывал сам.

Удар случился на подмосковной даче в Ново-Иерусалиме. 76-летний Илья Григорьевич любил копаться в своем садике, возле дома. На этот раз он пересаживал куст тубероз. Нажал ногой на лопату и упал. У него случился инфаркт.

В специально оборудованной реанимационной карете «скорой помощи» Эренбурга перевезли в Москву, на городскую квартиру. Постепенно он стал приходить в себя, дела вроде бы повернулись на поправку. Однажды под вечер пришла процедурная сестра, с очередным уколом. Долго не могла нащупать вену на старческой дряблой руке, попасть в нее иглой. Эренбург наблюдал за ней иронически. Сказал после укола: «Много я вам хлопот доставляю, а?»

Зашла жена Любовь Михайловна. «Теперь я, пожалуй, отдохну», — сказал Илья Григорьевич. Повернулся на правый бок и затих.

Когда Любовь Михайловна заглянула снова, он был мертв.

О случившемся Слуцкого известили по телефону. Он приехал, самое большее, может быть, через час. В подъезде и на лестничной клетке у квартиры Эренбурга уже стерегли вход по двое одинаковых молодых людей в штатском: «Вы к кому? Зачем?» Узнав, кто он, вежливо пропустили.

Уже за полночь, выждав достаточное время, молодые люди, что дежурили на лестничной клетке, предложили свои услуги. Обращаясь к Слуцкому, в котором они почему-то ощутили распорядителя, и показывая на тело покойного, один из них сказал со значением: «Это — Эренбург! Для подготовки к похоронам нам поручено его увезти... Не возражаете?»

Так писатель, все последние годы жизни яростно боровшийся с государственной опекой над личностью, в первые же часы после смерти вновь попал в твердые руки государства.

Даже публичное прощание с писателем было испорчено этим цепким надзором. Улица Герцена, площадь Восстания, другие прилегающие к Центральному Дому литераторов улицы, где установили гроб с его телом, были затоплены и запружены народом, пришедшим проститься. Вот когда обнаружилось — сколько у Эренбурга читателей!

Но над гробом писателя продолжало твориться тайное глумление. Началь-

ство больше всего боялось, чтобы гражданская панихида не обернулась политической манифестацией. Поэтому близких к Эренбургу литераторов, его единомышленников просто не допустили до выступлений. Не выступал, конечно, и Слуцкий. Панихида происходила нарочито оказаненно, серо и скучно.

Приведу выдержку из дневника: «Вся церемония гражданской панихиды была похожа на профсоюзное собрание, выступали по ведомствам: Н. Тихонов — борец за мир, В. Лидин — ближайший старый друг, Б. Полевой — от Союза писателей. По залу всюду шныряли одинаково шустрые "мальчики". Кто-то остроумно пошутил, что "мальчики", которые стояли с красными повязками вокруг гроба, иногда по забывчивости вытягивались, когда мимо проходили военные чины большого ранга... Как бы старик посмотрел на всю эту церемонию сам, как бы ее описал?! Этот иронический вольтерьянец...»

И напоследок еще один *штрих-парадокс* к обоим портретам. В 1975 году в издательстве «Советский писатель» появился серийный сборник «Воспоминания об Илье Эренбурге».

Об отношении властей к этому вольнодумцу можно судить по тому, что главная его книга — мемуары «Люди, годы, жизнь» по немой директиве сверху после смерти автора не переиздавалась в СССР двадцать лет. Двадцать лет запрета на главную книгу! Но так или иначе Эренбург, кроме того, был прославленный публицист поры Великой Отечественной войны, автор многих романов, дважды лауреат Сталинской премии, лауреат Ленинской премии «За укрепление мира между народами», неоднократный депутат Верховного Совета СССР и т.д. и т.п. Согласно тогдашней номенклатурной табели о рангах сборник «Воспоминания...» ему был изначально положен. Просто вынь да положь. Хотя более или менее прилично сформировать такой сборник в тогдашних идеологических и цензурных условиях для людей с совестью была, конечно, задача головоломная. Чтить и восхвалять полагалось человека, главная книга которого была отправлена в темницу для долголетней отсидки... Ситуация, мягко сказать, заковыристая.

Готовя эту биографическую повесть, я, естественно, и обратился к книге «Воспоминания об Илье Эренбурге», чтобы прочесть мемуары Слуцкого. Память — штука обманчивая. Может, когда-то я это и знал. Но теперь забыл начисто... Воспоминаний Слуцкого в сборнике не оказалось. Как же так? Почему?

Были воспоминания Николая Тихонова, Леонида Мартынова, Александра Твардовского, Мартироса Сарьяна, Константина Симонова, маршала Баграмяна, Александра Гладкова, Вениамина Каверина, да и многих, многих еще. Но только не Слуцкого.

Принять участие в таком сборнике в затяжную пору его формирования состояние здоровья Слуцкому вполне позволяло. В те годы он вместе с женой Татьяной Дашевской три лета подряд проводил в Коктебеле. Оба были полны надежд на ее выздоровление. Борис Абрамович был деятелен, активен. В 1975 в том же издательстве «Советский писатель» вышла подготовленная им новая книга собственных стихов «Продлённый полдень». И однако же воспоминаний Слуцкого об Эренбурге в сборнике нет...

Составители (Г.Белая, Л.Лазарев) были в близких отношениях со Слуцким, его друзья. Не могли ему не предлагать поучаствовать. У них можно было

бы узнать причину, отчего в сборнике не оказалось Слуцкого, но обоих нет в живых. Почти не осталось и авторов мемуарного сборника, кто мог бы что-то прояснить. Отчего же там не представлен самый близкий из друзей Эренбурга молодого для него поколения? Ведь даже и по возрастным причинам это, казалось бы, особенно важно.

Конечно, дружеские отношения между Эренбургом и Слуцким не означали отсутствия расхождений. Серьезные несогласия были у Слуцкого и в отношении концептуальной установки мемуаров «Люди, годы, жизнь», хотя он и сравнивал их с петровским возведением на болоте новой российской столицы. А расхождения тут были даже весьма острые.

Слуцкий считал, что любые мемуары должны быть пылкими, страстными, лиричными, полными творящего и разрушительного огня, отрицания и утверждения, какими и были в реальности человек и его жизнь. В этом смысле зажигательные и беспощадные мемуары Надежды Мандельштам, например, нравились ему больше, чем местами искусственно умиротворенное мемуарное полотно Эренбурга.

В автобиографических заметках «О других и о себе» Слуцкий высказывается об этом жестко и прямо: «Один из важнейших законов, которые он (Эренбург) выработал для мемуарной книги — не писать о плохих людях (кажется, никто из них не удостоен отдельной главы) и не писать плохого о хороших людях. Эренбурга обвиняли в очернительстве, а закон, оказывается, толкал на лакировку».

Должен ли был он подобную мысль развить в своем мемуарном очерке для сборника в «Советском писателе»? Притом еще, что в кругу ближайших друзей Слуцкого имелись люди, относившиеся к этим мемуарам несравнимо острее и беспощадней, чем он. Давид Самойлов напрямую обвинял Эренбурга в лакействе перед режимом. Виктор Шкловский, издевавшийся разные идеологические погоды, назвал преобразившегося писателя «Павлом Савловичем», имея в виду смесь гонителя Христа Савла с апостолом Павлом. Анна Ахматова, по свидетельству Лидии Чуковской, которой мемуары нравились, неоднократно уничтожающе отзывалась о них, а самого автора в одном из таких отзывов язвительно окрестила «лжесвидетелем на все времена». Правда, для этого, как видно из тех же «Записок» Л. Чуковской, имелись еще и сугубо личные мотивы.

Мемуарную эпопею «Люди, годы, жизнь» как одно из самых ярких и злободневных явлений русской литературы печатал в своем оппозиционном журнале «Новый мир» Твардовский. И он же назвал ее «самой значительной книгой» Эренбурга. Высоко оценивали мемуарную эпопею непреклонная правдоискательница Надежда Мандельштам, жесткий мемуарист и бывший «лагерник» Александр Гладков (автор классической героической комедии «Давным-давно», экранизированной в «Гусарскую балладу»), да и чуть ли не вся, пожалуй, масса тогдашних передовых читателей.

Эренбург в своих мемуарах шел, как ледокол, сквозь льды общественных предубеждений. И это вызвало раскол по отношению к нему даже в среде прогрессивной интеллигенции.

Конечно, находить собственный путь между двух огней Слуцкому было не впервой. Но тот ли это был случай? Да и позволял ли такое, пользуясь современным выражением, формат сборника?

Что же все-таки произошло?

Начал расспрашивать немногих возможных свидетелей. Литературных старожилов — В.Ф. Огнева, А.М. Туркова... Они могли быть осведомлены в тогдашней литературной кухне.

Оба только качали головами: «Не знаем». Огнев — участник сразу двух мемуарных сборников — старого, нас интересующего — «Воспоминаний об Илье Эренбурге» и сравнительно недавнего, нового — «Борис Слуцкий: воспоминания современников» (составитель тот самый П.З. Горелик; СПб., 2005. С. 539). Свой очерк во втором из них назвал «Мой друг Борис Слуцкий». Он близко общался с обоими — и с Эренбургом, и со Слуцким.

Что же думает Владимир Фёдорович о неучастии Слуцкого в сборнике «Воспоминания об Илье Эренбурге»? Последовала долгая пауза. «Он был слишком целомудренным, Боря, — произнес, наконец, Огнев. — Наверное, очень долго и много надо было бы извиваться, увертываться, выкручиваться... Писать противоречивого и в тогдашних обстоятельствах и цензурных условиях непроходимого... А он мог — все или ничего! Очень в этом отношении целомудренный...»

Вероятно, так оно и случилось. Эренбурга он слишком любил. И в заданных эпохой и обстоятельствами рамках для него честней, наверное, было отказаться от участия в официозном литературном ритуале.

Его будни

Обращусь теперь по преимуществу ко второй половине 60-х годов, ко временам, когда мне лично довелось познакомиться с Борисом Абрамовичем и затем близко общаться с ним.

Если бы понадобилось в двух словах выразить, кем был Борис Слуцкий в повседневной жизни, я бы сказал: он был п р а в и л ь н ы й ч е л о в е к. Ни на йоту старался не отступить от того кодекса строгих правил, которые составил для себя, утвердил как единственно верные и жить по которым считал долгом совести и чести. Этим он многого достиг и на этом, как мне кажется, сломался и погиб.

«Поэт» и «правильный человек» — одно вроде бы взрывает и исключает другое. А вот ведь жило, существовало и имело суховатый и нежный облик Бориса Слуцкого...

В обиходе Б.А. казался педантом. Он не мог начать утра, не прочитав газеты, застывал взглядом на циферблате часов, прежде чем назначить время встречи. «Мы встретимся с вами в метро, в пятнадцать тридцать две, у первого вагона поезда, идущего в центр, — строго произносил он. — Прошу вас быть точным». Или так: «Оставьте мне пакет в традиционном месте, у вахтера Центрального Дома литераторов. Я буду там в...»

В расчетах времени бывал скрупулезен, не допускал округлений в ту или иную сторону, говорил четко: «Десять семнадцать...», «Четырнадцать двадцать три...», «Восемнадцать сорок восемь...» Многие видели в этом странность, чуть ли не молодцеватое кокетство военным прошлым, пожалуй, даже легкий отпечаток армейской суровости, не миновавший и такой утонченной, трепетно-интеллигентной натуры, как Слуцкий.

Добрейший и сговорчивый в главном, Б. А. иногда деспотически упрямился в мелочах. Вдруг становился, что называется, ни повернуть, ни сдвинуть. Назначая

те же встречи, не входил в объяснения своего хронометража, а только ждал подтверждения, командовал, диктовал. Оставалось, не раздумывая, подчиняться.

Лишь много позже я узнал одну из причин упрямого педантизма.

Осенью 1944 года в боях под Белградом он был тяжело ранен. Как политработник, Б.А. состоял тогда старшим офицером во фронтовой службе «по разложению войск противника». Желаемый эффект достигался разными путями и средствами: и с помощью передвижного автофургона, откуда на передовой в часы затишья вперемежку с популярными мелодиями, вроде вальсов «Голубой Дунай» или «Сказки Венского леса», передавались короткие беседы и призывы к солдатам противника, и разбрасыванием листовок, и первоначальными допросами перебежчиков и т.п.

Занятие непростое и зачастую опасное. Тогдашний случай это и подтвердил. В тот момент, когда, поднявшись из-за укрытия, Слуцкий в рупор выкрикивал по-немецки ультиматум засевшему на пригорке вражескому отряду, — осколком мины пробуравило спину. Рану тогда удалось залатать, но осколок остался. И он воевал дальше — в Австрии, в Венгрии. Мучили воспаления лобных пазух, последствия окопных простуд. Из-за них перенес две трепанации черепа. Выкарабкался. Но старые раны с годами все больше напоминали о себе. Как шагреновая кожа, сжимался и убывал целительный расслабляющий отдых. Катастрофически сокращались часы сна. Шесть, пять, четыре, наконец, только три часа в сутки... Да и то, чтобы ночью спокойно проспать три часа, требовалось сильное физическое утомление.

Три часа ночного сна часто равнялись двадцати двум километрам пешеходной прогулки по городу. Ни больше, ни меньше. Эту математическую зависимость Слуцкий многократно вывел и испытал. А чтобы, выйдя с Третьего Балтийского переулка, где он жил, проделать двадцать два километра и вернуться домой, на это требовалось положить дополнительно, выкроив из бюджета дня, до четырех часов.

Пунктуально и методично, в любую погоду решал Слуцкий заданное ему судьбой дьявольское уравнение: четыре часа ежедневной пешеходной работы ногами — три часа сна. Иногда для сочетания приятного с полезным Борис Абрамович старался залучить хотя бы на часть пути кого-либо из друзей, живших по соседству в писательских домах у метро «Аэропорт» или «Сокол». Бывало, что спутником этих пеших переходов оказывался только что названный литературный критик и тоже ветеран войны Владимир Огнев. Так они, вышагивая, беседовали, перебирали прошлое и настоящее.

Борис Абрамович с точностью до минуты знал, сколько времени понадобится, чтобы дойти до улицы Красноармейской, где против своего дома уже поджидал добровольный попутчик. Очевидно так же в его сознании были размечены во времени и все другие «станции» и «полустанки» двадцатикилометрового маршрута. Во всяком случае по появлению Слуцкого в условленных местах можно было проверять часы, как в доброе старое время по прибытию курьерского поезда...

Борис Слуцкий был одним из самых эрудированных современных поэтов. Он все знал, за всем следил, был «в курсе» всего. «Вопросы литературы» — «ежемесячный журнал критики и литературоведения» — на что уж специальное издание. Но и в редакции, и в кругу авторов было известно, что Слуцкий — постоянный подписчик, прочитывающий номера журнала «от корки до корки».

Желание отточить и углубить рождающуюся мысль, «алгеброй гармонию поверить», естественно для поэта-мыслителя. Но у Слуцкого, как мне кажется, оно возникало еще и по другой причине. От повышенной совестливости, от ответственности за произносимое слово, в конце концов от развитого чувства долга. В стихах он декларировал: «Поэт — не телефонный, // А телеграфный провод. // Событие — вот законный // Для телеграммы повод. // Восстания и войны, // Рождения и гибели // Единственно достойны, чтоб их морзянкой выбили. // А вот для поздравления // Мне телеграфа жаль, // И жаль стихотворения // На мелкую печаль».

Поэзия должна быть праведной, а жизнь правильной — вот что он заявлял. Свою праведную поэзию Б. Слуцкий создал, а вот возможна ли «правильная» жизнь — без «поздравлений» и «мелких печалей»? Большой вопрос. Лирический герой Слуцкого ригористичен и одержим нравственным максимализмом. Но все дело в том, что Слуцкий пытался и жить так, как писал.

К 1967 году, то есть более чем за четверть века поэтической работы (и это при нарастающей популярности и известности!), у Б.А. вышло лишь пять небольших сборников стихов. Устраиваться, протискиваться в издательствах, идти ради публикации и тиражей на сомнительные компромиссы он не хотел и не умел.

У Слуцкого есть стихотворение «О В.И.Сурикове». Там он называет себя учеником классика исторических живописных полотен — картин «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», ссыльный «Меньшиков в Берёзове», «Покорение Сибири Ермаком» и др. Того влекли переломные моменты, напряженные конфликты русской истории, а такой путь не может быть легким. Слуцкий тоже очертил для себя зарок, от которого не отступал: «— Хочу служить народу, // Человеку, а не рублю, // А если — на хлеб и воду, —// Я хлеб люблю // И воду люблю. // Так говорил Василий Суриков, мой педагог, // Выбравший без усилий // Вернейшую из дорог. // Как мне ни будет тяжело, // Мне поможет везде // Любовь к хлебу. // К черняшке. // Любовь к чистой воде».

«Главным в нем была его полная внутренняя раскрепощенность, — отмечает в мемуарном очерке Константин Ваншенкин. — Он писал: "Политработа — трудная работа", и это не шокировало и не шокирует (меня) сейчас, ибо это абсолютно естественно для него, и в это веришь. Он сам был человеком веры, в отличие от воинствующих безбожников, стоящих со свечками в Елоховском соборе. Только вера у него была другая, не церковная».

Людей Борис Абрамович тоже выделял по качествам, которыми в избытке был наделен сам. К подвижникам, нравственным максималистам, романтикам чувствовал слабость и в жизни. Так что спутники дней легко обращались в героев стихотворений.

Лирика — исповедь души — автобиографична сама по себе, пожалуй, больше, чем какой-либо другой жанр словесного искусства. Но поэзия Слуцкого, при ее подчеркнутой документальной насыщенности, — вдобавок еще и особый случай, когда стихи позволяют достоверно обозревать биографию поэта.

Вот мы наблюдаем, например, как демобилизованный майор Слуцкий бездельно слоняется по улицам голодной послевоенной Москвы, где стены домов и тротуары словно бы потемнели от горя пережитых лет. Тут он случайно встречает однокашницу студенческой юности Ксению Некрасову, замечательно-

нараспашку чтение друг другу стихов; в уличной сутолоке встретились два чудака, два бескорыстных служителя добра и красоты, два художника, два поэта!

Любопытно, что в стихотворении Слуцкого образной формулой выражена даже важнейшая из особенностей личности и поэтики Ксении Некрасовой: «голосом сельской пророчицы запричитала свои стихи». Подмечено зорко. Чтобы вполне развернуть сжатое в этих словах содержание, требуется критическая статья, рецензия. К ним и обращался Слуцкий позже, истолковывая колдовское обаяние фольклорно-сказового стиха К. Некрасовой, стремясь вырвать из безвестности и забвения и утвердить в истории русской поэзии имя рано ушедшего из жизни мастера.

Или другие примеры. В пору собственной близости с театральной Таганкой Слуцкий одним из первых ощутил масштабы поэтической одаренности Владимира Высоцкого и старался помочь барду войти в литературу. Сейчас это кажется удивительным, но поэзию Высоцкого газеты и журналы, не говоря уж об издательствах, тогда игнорировали, числили ее эстрадной самодельщиной с эпатажным душком. Стихотворные да и прозаические тексты Высоцкого не печатали. А в Союз писателей поэта до самой смерти так и не приняли.

Достаточно высокомерно к нему относились даже поэты куда более близкие ему по возрасту и как будто бы по духу — из числа гремевших и задававших тон тогда вольнолюбивых «шестидесятников». В память своей несправедливостью запала сценка, которую я наблюдал в Доме творчества Переделкино. Мы, приглашенная группа литераторов, собирались ехать на предварительный общественный просмотр спектакля Театра на Таганке по стихам А. Вознесенского «Берегите ваши лица». Ожидали внизу. По застеленной красным ковром широкой белой мраморной лестнице с нижними золочеными спицами, подпирающими ковер, со второго этажа, горделиво вышагивая, спускался герой дня — автор Андрей Вознесенский. Рядом, склонившись и чуть ли не подобострастно, семенил Высоцкий, что-то неуверенно договаривая на ходу. Вознесенский слушал, не поворачивая головы, вполуха.

Стихи Вознесенского, на монтаже которых, связанных каким-то подобием внешнего действия, строилось представление, оказались так себе. Ничего особенно не запомнилось. Зато впервые исполненная под гитару на этом театральном прогоне горячая и яростная песня Высоцкого «Идёт охота на волков» осталась на всю жизнь. Впрочем, спектакль все равно не допустили до нормального зрительского показа. После этого прогона, может, даже из-за песни Высоцкого, запретили.

Дух подобных событий воспроизводит театровед Наталья Крымова: «Однажды три больших наших поэта — А. Межиров, Б. Слуцкий, Д. Самойлов, — рассказывает она, — собрались по инициативе добрейшего и чуткого Б. Слуцкого, чтобы вне шума театральных сборищ послушать стихи Высоцкого, так как возникла некая надежда на возможность что-то опубликовать. Высоцкий пришел без гитары, с большой пачкой текстов...»

Деятельно помогал Слуцкий и в издании сборника лирики поэту старшего для него поколения Семену Липкину. Тот числился мэтром художественного перевода, но не имел ни одной книжки собственных стихов. Липкин дружил со Слуцким. Тот настойчиво внедрял идею, позже утвердившуюся, что Липкин не только искусный переводчик, но и самобытный поэт. Слуцкий собственноручно

отнес в издательство «Советский писатель» первый сборник оригинальных стихотворений Липкина, и он же устроил их первое общественное прослушивание в писательском клубе. Как-то сам собой оказывался первооткрывателем...

Б.А. был человеком исключительной сдержанности. О себе говорить не любил, рассказывать тем более. Даже к друзьям младше себя по возрасту, к которым относился с особой нежностью, например к Юрию Трифонову, обращался на «вы», хотя тот, забывшись, мог отвечать ему «ты». Вообще умел держать людей на расстоянии, не допуская лишних вторжений в свой внутренний мир.

Так что, скажем, о фронтовых отличиях Слуцкого иные знакомые могли разве догадываться по упоминанию в одном из давних его стихотворений, описывающем повторяющиеся от года к году встречи со вдовой погибшего друга, — «Память»: «Я носил ордена. После — планки носил. // После — просто следы этих планок носил. // А потом гимнастёрку до дыр износил // И надел заурядный пиджак».

Я знал Бориса Абрамовича в годы, когда на нем давно уже был этот самый «заурядный пиджак». И, кажется, только раз, и то в праздник Победы, видел пришпиленные у левого карманчика пиджака разноцветные колонки наградных планок. Поразило — многоэтажье, сколько их! И только после смерти Слуцкого узнал: у него было четыре советских ордена, немало медалей и еще болгарский орден «За храбрость».

Именно Слуцкий был тем человеком, который впервые познакомил меня с Юрием Трифоновым, натурой далекой от внутренних канонов и обручей, младше его на шесть лет, почти неизменным тогдашним его спутником. Забавно, что произошло это после заседания приемной комиссии Союза писателей. Двенадцать лет прошло после того, как подобная же комиссия заочно мутузила кандидатуру самого Слуцкого при приеме в члены СП. Теперь он сам был членом ареопага. И со свойственным ему чувством ответственности и совестливости за состояние литературы относился к этим обязанностям, как и ко всему, за что принимался.

Итак, было это в конце зимы 1968 года. Шел прием в Союз писателей. Вместе с другими соискателями, из которых смутно вспоминаю только театрального критика и драматурга Александра Свободина, я ожидал решения своей участи. Высший ареопаг — московская приемная комиссия — заседал где-то на дубовых антресолях Центрального Дома литераторов, а мы коротали время в писательском буфете, потому что, как известно, самое вкусное пиво и самые вкусные бутерброды те, на которые ты пока не имеешь права.

Наконец желанный и роковой момент настал, в буфет, разминая ноги, начали спускаться отзаседавшие члены приемной комиссии. Большинство направлялось по пути ко второму выходу — в раздевалку.

При всех идеологических казусах и курьезах, о которых упоминалось, сами по себе нравы по приему в Союз писателей порой граничили с монастырской строгостью. Многое до последней минуты не разглашалось. Хотя к той поре со Слуцким мы были уже года два знакомы и поддерживали добрые отношения, но я знал лишь, что он один из членов приемной комиссии. И все. Это и больше ничего. Тайна окружала тот момент, когда из куколки должна была или не должна вылететь бабочка.

Легко представить, как мы, соискатели, из-за своих столиков в разных концах и углах небольшого зала, все вместе и каждый в отдельности, воззрились на проходивших. Наверное, это была забавная картина, не хуже немой сцены из «Ревизора»: позы, лица, взгляды, в которых в зависимости от темперамента застыл вопрос, много вопросов.

Бездушно проследовать мимо, не разрешив их, человеку мало-мальски знакомому было невозможно.

Слуцкий подошел ко мне.

— У вас все в порядке, — со свойственной ему деловитостью, за которой угадывалась особая утонченность натуры, сообщил он. — Вы приняты, поздравляю! — Он лодочкой протянул жилистую руку, ритуально потряс мою и изготавился идти дальше.

Смешно признаться, но лицо мое, как у принятого в институт абитуриента, должно быть, отобразило борьбу чувств: радость, да, конечно, но и смятение, растерянность, любопытство, — я не знал, что сказать, о чем спросить, а главное, как остановить Слуцкого, который, развернувшись по-военному, уже намеревался уходить.

Нужные слова за меня сказал вдруг спутник Слуцкого, человек в черной кожаной куртке. Он стоял на полшага сзади.

— Ну что же ты, Борис, так телеграфно? — произнес он и сразу снял мое напряжение. — Не лишни, наверное, и подробности...

Говоривший показался мне знакомым, безусловно, я его где-то раньше видел и хорошо знал. Ему было за сорок. Неуклюжая, чуть мешковатая фигура, коротко стриженные черные волосы, кое-где в еле видных барашковых завитках, с редкими нитками седины, открытый наморщенный лоб. С широкого, слегка оплывшего бледного лица, сквозь тяжелые роговые очки на меня застенчиво и незащищенно смотрели серые умные глаза. Огромный, до отказа набитый книгами портфель, так, что проступали их ребра, которые коленом поддерживал обладатель черной кожаной куртки, дополняли его сходство с университетским преподавателем. В самом деле, не преподавал ли он в МГУ, когда я там учился? Или, может, состоял в аспирантуре? И мы с ним сталкивались на пролетах железных лестниц старинного факультетского здания на Моховой, в читальнях, не раз перебрасывались словами? Но нет, человека этого я видел впервые, я его никогда не знал. Явно он был писатель, больше того, член приемной комиссии. Подумать только — член приемной комиссии!

— Вы хорошо прошли, — без обиняков продолжал он между тем. — При одном воздержавшемся... Борис Абрамович вот рецензировал ваши книги и докладывал на комиссии, а другим рецензентом был Сергей Александрович Макашин, серьезный ученый... Это новость? К чему томить зря, Борис?

Не буду повторяться насчет нравов и тогдашних строгостей приема в СП. А Борис Абрамович недаром имел репутацию человека с повышенной до болезненности щепетильностью. Блюстителем общественных интересов он был не только по духу, но и по букве. Иной раз, чем лучше относился он к человеку, тем решительней и педантичней отделял общественное от личного. Так что только теперь, из случайного разговора, я узнал, что именно он был рецензентом при прохождении моего дела. Разглашать секреты работы приемной комиссии или даже обсуждать ее деятельность вне официальной обстановки он, очевидно, считал неделикатным.

По-своему он отозвался и на призыв собеседника.

— Знакомьтесь, пожалуйста, — вместо дальнейших пояснений предложил Слуцкий и повел рукой. — Два Юрия... (он назвал мою фамилию)... Юрий Трифонов.

— Так, значит, народница была мать у Алексея Николаевича? — скорее для поддержания разговора продолжал Трифонов. Речь шла об А.Н.Толстом и моей документально-биографической книге «Шумное захолустье», которая только что обсуждалась на приемной комиссии. — Писательница? И столько написала? Вот как! Она фигура у вас любопытная... — Затем немного погодя пошутил: — А воздержался при голосовании знаете кто? Сам докладчик, убеждавший других голосовать «за», — вот он, Борис Абрамович! Чтобы не заподозрили в необъективности...

— Ну это уж вы чересчур, Юра! — усмехнулся Слуцкий.

Смущенный, не зная, как себя вести, о чем говорить, я предложил хотя бы по стопке «обмыть» событие.

— Разве по стакану пива, — с готовностью поддержал Трифонов.

Мы еще посидели вдвоем за столиком. Трифонов был в веселом расположении духа, на его припухлом лице плавала удовлетворенная улыбка, можно было подумать, что в Союз писателей приняли не меня, а его.

Это впечатление, будто мы были знакомы с Трифоновым задолго до нашего знакомства, чувство дружелюбия и спокойного, ровного přátельства осталось в памяти от первой встречи. Затем отношения развивались еще почти тринадцать лет, до самой безвременной кончины Юрия Валентиновича.

А ведь этим подарком судьбы я изначально обязан Слуцкому. Он притягивал к себе хороших людей.

Международный детектив

Одним из сочинений Слуцкого, ходивших в списках и при приеме его в Союз писателей первоначально сочтенных антисоветскими, было стихотворение «Про евреев». Даже единомышленники низкорослого, не в меру темпераментного и крикливого драматурга Г. Мдивани вынуждены были, в конце концов, согласиться, что ничего прямо антисоветского, если иметь в виду, конечно, официальные лозунги, там нет. И соискатель искомую красную книжечку члена СП СССР с тисненым государственным гербом на верхней кожаной корочке со второго, правда, захода получил.

Но на Лубянке располагалась известная могущественная организация, которая на этот счет, видимо, имела собственное мнение и секретные основания для того, чтобы от этого мнения не отступить.

Итак, вот он, рифмованный криминал:

Евреи хлеба не сеют.
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.

Евреи — люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.

Я всё это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но всё никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»

Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.

Пуля меня миновала,
Чтоб говорилось нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»

Связывала ли служба КГБ подобные стихи с наличием у автора высокопоставленного военного родственника в Израиле? И если связывала, то как?

Ответ пришел неожиданно и оттуда, откуда меньше всего его ожидаешь. В июле 2007 года я проводил отпуск в подмосковном писательском Доме творчества Переделкино одновременно с Константином Ваншенкиным. По старой памяти сидели за общим обеденным столиком. Константин Яковлевич подарил мне тогда новую свою книгу — недавно выпущенный Издательским домом «Литературной газеты» томик «Простительные преступления» (М., 2006), по преимуществу мемуарного свойства. Среди прочего был там очерк о Слуцком.

Надпись на подаренном томике была теплой, разговоры — откровенными. Так что затрагивались непроизвольно и самые острые и деликатные темы.

«Мы были с ним на "ты". Это немаловажная деталь, многие всю жизнь оставались с ним на "вы"...» — так начинается свой книжный очерк о Слуцком Константин Яковлевич.

В сборнике «Простительные преступления» Ваншенкин первый, если не единственный в нашей печати, подробно прокомментировал интервью бывшего главы израильской внешней разведки Меира Амита, в котором тот подробно говорит о своих родственных отношениях с Борисом Слуцким. Но прежде он касается тех «охотничьих» заходов и «лисыных петель», которые делали службы КГБ вокруг самого Слуцкого и близких к нему людей.

«...В 1974 году, — пишет он, — со мной пожелал встретиться ст. лейтенант КГБ К., курирующий, по его выражению, Московский союз писателей. Главное, о чем он меня спросил: что я могу сказать о Борисе Слуцком?

— О Слуцком? Станный вопрос. В каком смысле — что? Слуцкий — замечательный поэт, один из лучших. И он настоящий коммунист, идейный, принципиальный. Очень честный, болеет за все, что происходит, воспринимает как личное...

Он перебил меня:

— Вы серьезно?

Я удивился:

— Конечно. Прошел войну, несколько наград, вы сами знаете. А как он радуется удачам товарищей, поддерживает молодых! Да если бы все были, как Слуцкий... А почему вы меня спрашиваете?

— Ну ладно, — заключил он разочарованно...»

«Лишь недели через две после тех расспросов о Борисе я встретил его на

похоронах Балтера <...> — продолжает Ваншенкин. — Я подошел к Слуцкому и встал рядом с ним.

— Боря, ты знаешь такого старшего лейтенанта К.?

Слуцкий ответил:

— Из "Советского воина"?

Он любил проявлять осведомленность.

— Нет, — и я рассказал о своей беседе. Борис кивнул и никак ее не откомментировал. <...> Я думаю: почему? Почему он не бросил вскользь какую-нибудь ироничную фразу? Видимо, это слишком насторожило его, ведь он постоянно находился в определенном напряжении...»¹

Интервью с Меиром Амитом провел Давид Маркиш, видный романист, долгое время председатель русской секции израильского Союза писателей, младший сын еврейского классика Переца Маркиша, убитого в сталинских застенках в 1952 году. Старшим сыном был замечательный античник, переводчик и литературовед Симон Маркиш, с которым мы на одном курсе учились в университете. Интервью было напечатано в московской газете «Известия» 2 декабря 1999 года. Родственные связи с Борисом Слуцким — далеко не единственный предмет разговора в интервью. Наряду с этим с человеком таких необычных занятий обсуждались многие другие, более широкие темы. И хотя газета «Известия» напечатала интервью на первой полосе, в политических шумах, суматохе и идеологических поворотах тех дней (меньше чем через месяц Ельцин сложил с себя президентские полномочия) литературная сенсация осталась почти незамеченной. Первым, кто её основательно прокомментировал, был опять-таки Ваншенкин.

Газетное интервью у меня перед глазами.

Должность руководителя внешней разведки в Израиле была засекречена. И даже мать Меира Амита не знала, какой пост занимает ее сын. Знала, конечно, что он крупный военачальник, но чем занимается — понятия не имела. В приводившемся выше и прерванном рассказе шефа разведки мы остановились на том, что его мать в 1964 году собралась навестить в СССР своего брата, отца поэта — Абрама Слуцкого. В советском посольстве, куда она обратилась за визой, ее неожиданно повергли в смятение вопросом: «Как же так, вы — Слуцкая, а ваш сын Меир Амит?» «Мама была встревожена, — продолжает рассказ интервьюируемый, — сомневалась — ехать или не ехать... а я ей сказал "Езжай! То, что они знают — гарантия твоей безопасности". Но Борис и Фима не пришли с ней повидаться, они все же испугались. Можно их понять».

«Попробуем разобраться, — дает комментарий в своем очерке знаток тогдашних жизненных обстоятельств Ваншенкин. — Вначале, конечно, КГБ не знал, что у Слуцкого такой родственник. Иначе разве бы он выпустил Борю в Италию в составе делегации советских поэтов в 1957 году? Делегация была довольно пестрая: Твардовский, Исаковский, Прокофьев, Инбер, Смирнов, Заболоцкий, Мартынов, Слуцкий. Летели самолетом. Но Заболоцкому из-за болезни сердца врачи лететь запретили. Слуцкий вызвался поехать с ним поездом. Это ли не подозрительно? <...> Впоследствии Борис тоже не раз выезжал за рубеж.

Потом они о родстве, разумеется, узнали. Но продолжали держать Амита

¹ Илья Эренбург. О стихах Бориса Слуцкого. // «Литературная газета». 1956, 28 июля.

только за известнейшего общевойскового генерала, не подозревая о его причастности к "Моссаду". Вы только подумайте! — в то время, когда он как раз руководит израильской внешней разведкой (готовит шестидневную войну и пр.), его мать едет в Союз повидаться с братом. Естественно, и она понятия не имеет о его истинной работе и должности. Не может этого знать и Борис — иначе что бы это была за образцово-секретная служба! Ему могло быть известно только, что его кузен боевой генерал».

Тут, впрочем, Ваншенкин, думаю, по собственной доброте и душевной деликатности несколько смягчает смыслы газетного текста, кое-что из него даже вырубая. А текст этот в ряде деталей более резок и определен. Искусный интервьюер Давид Маркиш пускает в ход едкую реплику: «За родство с Меиром Амитом, — говорит он, — в Советском Союзе можно было сесть, и надолго. Борис Слуцкий не пострадал. Как вы думаете, почему?»

— Ну, во-первых, — следует ответ главного профессионала, — всезнайство КГБ было несколько преувеличено. Может, они и не докопались до Бориса. Но, как разведчик, я принимаю худшую версию: докопались, знали. Борис, надо отдать ему должное, умел держать рот на замке. Обо мне он молчал, как рыба, — и правильно делал. *Если бы он заговорил, его судьба могла бы сложиться иначе. Он молчал, и КГБ его не трогал* (эти выделенные мной курсивом слова в очерке опущены. — Ю.О.).

Теперь можно только догадываться, какого внутреннего напряжения и скольких духовных сил и переживаний стоило такое молчание. Даже при всем том, как верно отмечает Ваншенкин, что Слуцкий «всегда был правильным в главной линии, был человеком идеи».

«Я уверен, — делает великодушное щадящее допущение Ваншенкин, — Слуцкий узнал о секретной деятельности двоюродного брата значительно позже (а если — нет?! — Ю.О.), но ведь и крупный войсковой генерал — тоже не подарок! Оказало ли это обстоятельство действие на Бориса? Безусловно, иначе быть не могло».

«Вот такой, если угодно, международный детектив», — заключает свои заметки Константин Ваншенкин.

Вернусь теперь снова к живым впечатлениям — к дням нашего совместного с Ваншенкиным пребывания в Переделкино. К тамошним прогулкам и сидениям в столовой. Фигура Слуцкого интересовала, понятно, отнюдь не только в связи с помянутой детективной историей. Другие всплывавшие темы занимали нас чаще и больше.

Однажды Константин Яковлевич, со свойственной ему доброй, чуть застенчивой и так располагавшей к нему улыбкой, словно он что-то недодумал и стесняется произнести, сказал, что никогда бы, наверное, не написал своей песни «Я люблю тебя, жизнь...», если бы кто и когда-либо принудил его отказаться от фронтовых ста грамм.

Среди литераторов военного (на Западе говорили «потерянного») поколения Слуцкий даже в житейском поведенческом смысле занимал место особое. «Слуцкий был из тех, кто не просто уцелел на страшной войне, но кто был рожден ею — как некая компенсация выбитого напрочь поколения» (Ваншенкин).

Жестокость сломанной судьбы и опрокинутой юности, как и «фронтовые сто грамм», оставили по себе зловещие отметины. Ваншенкин сделал на этот счет

бесстрашное по откровенности признание: «Тогда, после войны, многие поэты открыто и регулярно пили: Твардовский, Смеляков, Светлов, Шубин, Фатьянов... Но особенно это относилось к сверстникам Слуцкого. Одним это помогало, дало возможность расслабиться, других погубило. Сейчас мои слова могут кому-то не понравиться, но если посмотреть правде в глаза, придется признать: это было поколение мужественных алкоголиков. Недогонов, Наровчатов, Луконин, Самойлов, Соболев, Львов, Левитанский, Глазков и др. Сбавить обороты так и не сумел никто. Смогли сбросить, завязать Дудин и Орлов, но такое, как известно, тоже не идет на пользу.

Так вот, единственным непьющим поэтом этой генерации был Слуцкий. На него смотрели, как на чудо.

Он был очень чистый не только в том смысле, что от него невозможно было услышать т. н. ненормативной лексики. Он был наивен в своей положительности, доверчивости, гипертрофированной честности, идейности. Он был слишком правильный, что иных порой немного утомляло».

Впервые о Слуцком и его поэзии в печатаном очерке, добавлю от себя, я написал давно, в 1990 году, именно под таким названием — «Правильный человек». Горжусь, что не промахнулся...

«Он был в жизни очень хороший, — продолжает Ваншенкин, — лучше всех. И это все понимали — даже те, кто его не любил. О других говорили: Мишка Луконин, Сашка Межиров, Юрка Левитанский. Нельзя было представить, чтобы кто-нибудь сказал: Борька Слуцкий...»¹

Сложная система опорных правил, по которым строил жизнь Слуцкий, корнями уходила в его убеждения, в свойства натуры. Духовный мир поэта был рационалистичен по своему существу. Недаром, думаю, Слуцкому так близки были традиции немецкой культуры, он переводил многих немцев, особенно выделяя сверкающий и отточенный скальпель поэтической мысли Брехта. Как и для Брехта, разум был глазами его души.

Внутренняя гармония, в его представлении, воцарялась прежде всего посредством надежных и прочных убеждений. А поскольку религией Слуцкого был Человек, он верил в железную волю и способность человека превозмочь любые жизненные препятствия и достичь, казалось бы, невозможного, если только себя организовать и подчинить высокой цели. Тогда действительно «сказка станет былью».

Старые «Известия» и философия молодости

По свойствам натуры Борис Абрамович неоднократно попадал в самые нелепые и неожиданные ситуации. Праведники, видимо, обречены на это. В самом начале нашего знакомства со Слуцким приключилась одна такая досадная и забавная нелепость, над которой можно было бы только потешаться, если бы дело не разрослось до газетного скандала.

Расскажу об этом еще и потому, что, как вижу теперь, уже по свойствам

¹ Константин Ваншенкин. Слово о Слуцком. Простительные преступления. Воспоминания, рассказы, эссе. М.: Изд. дом «Литературная газета», 2006. с. 294—305. В данном случае цит. стр. 298—299, 302—303.

натуры Слуцкого подобные происшествия в самых различных видах так или иначе должны были неминуемо с ним случаться. Уж слишком он был светлый, возвышенный и правильный человек. А жизнь вокруг столь криводушная, темная и неразумная, что нелепицы такого рода, очевидно, липли к нему и находили его сами.

В рассказе Лескова «Железная воля» один из героев говорит про немцев: «какая беда, что они умно рассчитывают, а мы им такую глупость подведем, что они и рта разинуть не успеют, чтобы понять ее». Сверхрассудительные принципы и железная воля приезжего немецкого инженера Гуго Пекторалиса, представленного в рассказе, в условиях неразумной и темной действительности, да и просто реальных противоречий жизни ведут лишь к тому, что он не вылезает из комических приключений. И рассказ демонстрирует, «что бывает при встрече немецкого железа с русским тестом».

Конечно, я не сравниваю Бориса Абрамовича с незадачливым немцем. Речь идет лишь, как увидит читатель, об отдаленном подобии некоторых жизненных ситуаций, в частности, о том громком скандале, который приключился с ним однажды в стенах газеты «Известия». Тут действительно нечто общее есть.

Но прежде — о той нравственной философии, которую исповедовал поэт.

О Слуцком можно прочитать теперь: праведник... пророк... Но пророк чего? С Богом у поэта-политкомиссара были сложные отношения. В исповедальном стихотворении «Анализ фотографии» с рефреном «Это я, господи» читаем:

Что ты значил, господи,
в длинной моей судьбе?
Я тебе не молился —
взмаливался тебе.
.....
В самый тёмный угол
меж фетишей и пугал
я тебя поместил.
Господи, ты простил?

Что такое — «взмаливался» — мы еще подробно узнаем. Гуманная и жалостливая натура и мечтательность поэта не позволяли видеть в религии врага. Если употреблять философские категории, то тут скорее он был агностиком. Во всех случаях допускал существование в мире неких абстрактных добрых начал, переступать через которые, оставаясь человеком, нельзя. Но в целом все же склонялся к материализму.

А твердо верил Слуцкий в некую справедливую пружину истории. Иными словами — в высшие духовные качества человечества, в беспощадный ход и суд времени, который, как мусор, сметет ничтожное и лишнее, воздаст должное здоровому и сильному, затвердит лучшее. Он был глашатаем людского братства, избравшим в конечные судьи Вечность.

Время отберёт и отберёт:
не спеша, не торопясь, без спора,
молодость и старость отберёт
и с неспешкой той же отберёт
то, что стоит этого отбора.

Сторонник такого естественного отбора, стойкий и прогрессист, Слуцкий

изо всех сил старался этому способствовать. Видел в этом цель жизни и творчества. А это означало взвалить себе на плечи, как делает в решающий миг штангист-тяжеловес, почти неподъемный груз. Тяжесть примера. И в собственном образе жизни, и в писаниях. И там, и тут по мере возможности являть образец будущего, быть нынешним человеком и автором и в то же время творцом предстоящего. Скрупулезным праведником, дальновидным предсказателем и пророком.

Но повседневная жизнь, как известно, не любит ни праведников, ни пророков. Писать об этом приходится только со вздохом. Тому тоже, увы, дает немало подтверждений нынешний рассказ.

Эту книгу, помнится, Слуцкий подарил мне при встрече в Лавке писателей. Было, кажется, начало осени. Б.А. выглядел усталым, слегка хмурым, но полным интереса к окружающему. Он много писал, держался работой и надеждами на спасение жены Тани, в тяжелой болезни которой наступила ремиссия.

Он достал из какой-то случайной сумки эту новую книгу. Не поперек, как делают обычно, а вдоль титульного листа четкими прямыми, едва ли не квадратными буквами сделал короткую, суховатую, в своем духе, надпись: «Юрию Оклянскому от внимательного читателя. *Борис Слуцкий*». Дать он не любил и как-то их избегал.

Называлась она «Продленный полдень. Книга стихов» (М., 1975). Заметьте — не сборник, а именно книга стихов, то есть содержащая композиционный стержень, сквозную главную идею. Идея выражена уже в названии. Полдень — это высшая игра всех жизненных сил, так свойственная молодости. А «продленный полдень» — гимн молодости, понимаемой в самом широком смысле.

В книге три раздела, и каждый кончается стихотворением, так или иначе славящим духовную молодость. «*Лучше быть молодым*» — первый раздел: «Лучше быть молодым! // Все, кто может, — спасайся, беги // в ту страну, где легчайшая юность чеканит шаги!» Второй раздел — «*Самое начало весны*» — ее пейзажные картины с музыкальным повтором: «Весна, весна, конечно, она», с многообразием ее зримых, звуковых, цветовых гамм и даже осязательных примет и радостным чувством новых ожиданий где-то в самых глубинах сердца.

И, наконец, третий раздел, а с ним и вся книга завершается стихотворением «*Утро, которое мудренее*». Тут звучит приятие жизни во всей ее сложности, где каждый новый день торжествует над ночными кошмарами. Жизнь на ущербе (хотя было Слуцкому в то время всего 56 лет), но дожить ее хочется в полную меру сил. В стихотворении не только заряд надежды, согревающий автора, но, как обычно у Слуцкого, и его реальное состояние того времени:

Я отстраню ночные страхи —
пластался с ними я во прахе,
и старость смою я водой,
и стану снова молодой.
.....
Я обнадёжен и утешен
старинным символом, простейшим —
восходом солнышка.
Оно
восходит так же, как давно.

Восходит, как в молодые годы,
а в молодые те года

не замечал я непогоды
и собирался жить — всегда.

А внутри сборника много других стихов, в разных видах славящих физическую, душевную и духовную молодость. Это такие живописные, сочные, со звонкими нотами стихи, как «Любовь к поношенным вещам», «Велосипеды», «Старое синее» (о художнике Фальке) и многие другие. Дух жизнелюбия и молодости славит, в сущности, даже стихотворение «Отец». О том самом Абраме Слуцком, который *«и стариковство... нёс легко, как только лёгкую юность несут»*.

«Ему так хотелось дочитать// газеты за этот век,// выглядывать по утрам в окно, // а днем ходить в кино. // Он годы свои не любил считать, // Поскольку слаб человек. // Зато он любил вспоминать // о том, что было давно»:

— Коли меня, дочка! — сказал отец. —
Коли меня хорошо.
— Я буду тебя хорошо колоть, —
Ответила сестра.
Игла преодолела плоть,
Вялую вену нашла.
Вот так и наступил конец
В полвосьмого утра.

Отец Слуцкого умер почти так же, как и Эренбург, после успокаивающего медицинского укола...

Это к нему, Абраму Слуцкому, в Харьков, десятью годами раньше, изведясь от переживаний, еще более посевев, приезжала навестить такая же, как он, малосведущая в нынешних делах и событиях родная сестра — мать главного израильского разведчика Меира Амита.

Но теперь — назад, к началу нашего знакомства. Именно тогда эта «философия молодости» сыграла с нами обоими некий *неожиданный выкрутас*, а точнее сказать, злую шутку.

Летом 1966 года после окончания аспирантуры Академии общественных наук при ЦК КПСС я очутился по направлению в газете «Известия» на руководящем посту заместителя редактора по отделу литературы и искусства. Для культуры это было тревожное и смутное время. После свержения Н.С.Хрущева, неполных два года назад, в политике и экономике с ползучей постепенностью происходило восстановление слегка поколебленного и расшатанного сталинизма. Но черед художественного Олимпа еще не совсем настал — как выразился однажды в доверительной беседе наш главный редактор Лев Николаевич Толкунов, «политика партии в области литературы и искусства еще не определилась».

Происходившее в обществе скрытое идейное противоборство очертило и линию размежевания внутри отдела, я появился в редакции, когда уже враждовали два лагеря, «левых» и «правых», продолжателей «оттепели» и ее противников. По одну сторону межи высился редактор отдела В.В. Полторацкий с одним или двумя оруженосцами, по другую — были почти все остальные сотрудники, человек до десяти, считая тех, кто трудился в приложении «Неделя». О Викторе Васильевиче Полторацком, поскольку он играл в этой истории главную роль, надо будет сказать отдельно.

Настоящая фамилия Полторацкого — Погостин, а литературный псевдоним он принял в 20-е годы в честь города Полторацка, названного так в память революционера Полторацкого, погибшего в гражданскую войну, — в этом городе Виктор Васильевич родился. Полторацк затем вновь переименовали — в Ашхабад, но литературную известность Погостин получил как Полторацкий. Впрочем, псевдоним Виктора Васильевича легко связывался и с представлением о его незаурядном росте: действительно, чуть не на голову выше обычного среднего мужчины!

Это был крупного телосложения, слегка сутулившийся от своего роста человек лет шестидесяти, по одежде и манере держаться напоминавший вначале не то крестьянина, не то мастерового. Из-за болезней, которые его последнее время преследовали, он ходил с палкой, слегка опираясь на нее и зажав рукоять своей могучей пятерней.

Виктор Васильевич был почтенным ветераном «Известий», на работу в эту газету был призван еще в 1940 году, когда понадобился собственный корреспондент по областям только что воссоединенной Западной Украины. Его очерковый сборник «В дороге и дома», составившийся в корреспондентских разъездах послевоенных лет, был удостоен Сталинской премии.

У Виктора Васильевича были живые черные навывкате глаза, большой плоский рот с прокуренными зубами и на коричневых тонов, помятом, в складках и морщинах, лице простецкое и располагающее к себе выражение. Он и в самом деле был человек не злой, а в житейском обиходе даже приятный.

Действовать он предпочитал исподтишка. На летучках и совещаниях отдела, при обсуждении очередных журнальных публикаций, книг, фильмов, спектаклей и посвященных им статей и рецензий мы хором доказывали, что белое есть белое, а черное есть черное, шумели, горячились, лезли из кожи вон. А Виктор Васильевич молча слушал, избоченясь в своем кресле за письменным столом, вытянув морщинистую шею и внимательно как бы прослеживая немигающим взглядом живых черных глаз аргументы каждого. На видном месте у стены стояла его палка.

Затем, проямлив что-то короткое и невразумительное, объявлял заседание закрытым. Брал свою палку, покидал кабинет и ковылял к лифту. Дальнейшее можно было без труда себе представить: В.В. Полторацкий поднимался на шестой этаж, где располагался редакторат, шел в кабинет к первому заместителю главного редактора А.В. Гребневу, своему единомышленнику и покровителю. И подробно докладывал ему об очередной нашей коллективной ревизионистской вылазке. Вдвоем они вырабатывали план действий. Что же касается обсуждавшихся новинок и оценок расстановки сил в литературе и искусстве, то тут Гребнев и Полторацкий в меру возможностей старались поступить прямо в противовес тому, за что билось большинство отдела.

Встретив меня в такой день в коридоре или отозвав в сторонку после планерки на следующее утро, А.В. Гребнев обычно делал вкрадчивое внушение. Алексей Васильевич, плотный упитанный крепыш, лет за шестьдесят, с плутоватым и в самой их глубине твердым взглядом карих глаз, всегда ходил в черном костюме, белоснежной накрахмаленной рубашке, с аккуратно повязанным галстучком. Он был намного старше меня и разговаривал на как бы прямодушном языке партийца-единомышленника, тоном старого большевика с нашко-

дившим юнцом. Это была давно усвоенная им и известная всей редакции шутивая ерническая манера, отнюдь не исключавшая серьезности выводов.

— Ай-яй... — грозя своим толстым розовым пальчиком, говорил Гребнев. — И когда ты станешь под красное знамя революции?

— Да вроде я никогда из-под него не выходил, Алексей Васильевич? — оставаясь в пределах навязанного шутивого тона, отвечал я.

— Нет, нет! — увещевал Гребнев. — Ты все за этого балалаечника Твардовского, за «Новый мир», а там — осиное гнездо контриков...

— Да что вы, Алексей Васильевич?! — вспыхивал я. — Как можно так говорить?!

— Нет, парень, ты — эсер, эсер! Да к тому же правый... Сделай себе выводы. Учти, пока не поздно...

Благие моменты наступали, когда подолгу отсутствовал Полторацкий, а бдительность Гребнева слабела, отвлеченная борьбой с первым пером редакции Анатолием Аграновским и натиском задиристых журналистов других отделов. Тогда на страницах правительственной газеты появлялись одобряющие отзывы на публикации журналов «Новый мир», «Юность», «Вопросы литературы», на находившиеся в центре дискуссий произведения Ч. Айтматова, Ф. Искандера, А. Кузнецова, В. Войновича, рецензии на фильмы Антониони и Феллини, на спектакли Г. Товстоногова, Театра на Таганке Ю. Любимова и т. д.

Но все-таки случалось это редко. Затраченные титанические усилия не шли ни в какое сравнение с выходом реальной продукции на газетную полосу. «Коэффициент полезного действия у нас, как у паровой машины, — пять процентов», — полушутя заметил однажды сотрудник отдела М.Н. Хитров, ушедший вскоре ответственным секретарем в журнал А. Твардовского «Новый мир». И это была сущая правда.

Пенсионерская буча

Но тоска есть тоска, а жизнь есть жизнь. Давно уже хотелось мне напечатать в «Известиях» поэтическую подборку Бориса Слуцкого. Я был поклонником его стихов, но встречаться с самим поэтом тогда еще не доводилось.

Однажды по собственной инициативе я позвонил Б. Слуцкому. «Наверное, не напечатаете... Что ж. Стихи принесу», — был короткий ответ.

На следующий день Слуцкий появился в редакции — на вид плотный здоровяк, среднего роста, с красноватым лицом, упрямой белой шевелюрой, с жесткими седыми усами и внимательными синими глазами. Он казался человеком чуть замедленных реакций, что могло быть признаком рассудительного нрава при сангвиническом темпераменте, душевной уравновешенности и, конечно же, несокрушимом здоровье. Ему было в ту пору 47 лет.

— Значит, здесь вы и работаете? — дружелюбно оглядев меня и обведя глазами потолок кабинета, произнес Борис Абрамович. — Мне о вас говорили... Попробуем? — Он протянул пухлую картонную папку, завязанную белыми тесемками. — Здесь все стихи новые, нигде не печатались...

Меня поразило, сколько в папке было стихотворений: тридцать, сорок, может, пятьдесят...

— Но мы не сможем напечатать больше четырех-пяти стихотворений! — почти с мольбой вырвалось у меня.

— Вот и хорошо. Отберите сами... — подтвердил Слуцкий. — А остальное пришлите пакетом. Желаю успехов! — И, оставив меня в загадочном недоумении, Слуцкий удалился.

Дня три, наверное, я время от времени принимался перечитывать и, как пасьянс, компоновать в различные варианты коротких газетных подборок принесенные стихи. И чем дольше это делал, тем больше оценивал прозорливую предусмотрительность автора. То, что показалось мне вначале поэтической безалаберностью либо беспечной щедростью таланта, было и умным, точным расчетом, основанным на знании капризов и прихотей ежедневной политической газеты.

Стихи были по преимуществу пейзажные, философские, лирические, посвященные так называемым вечным темам и почти начисто лишённые малейших признаков той злободневной актуальности и учительных гражданственных прописей, которых обычно домогаются от поэтов в массовой политической газете. А как в «Известиях» без гражданственности? Тем более — когда температурный градус, измеряющий состояние общества, все больше склонялся на «заморозки». Да ведь и от кого тут зависело последнее слово?! Ни талант, ни живописные краски сами по себе здесь были не нужны. Стихов было много, а выбрать нечего!

Я уже начал ощущать сосущую пустоту под ложечкой, как вдруг осенило. Среди машинописных листков в папке некоторые стихи содержали так называемые городские пейзажи, попросту говоря, зарисовки происходящего на улицах большого города. Если поставить эти стихи в ряд, то получалась довольно интересная картина повседневного быта столицы, конечно, без заводов, стахановских вахт и ударныхстроек, но зато той уличной реальности, которая складывается в целостное и завораживающее ощущение повседневного человеческого бытия, скажем, где-нибудь в районе Бульварного кольца.

Вот сама атмосфера столицы, учуянная где-нибудь со скамеечки городского сквера, — стихотворение «Звуки»: «Гул над городом, над // Городскими // Шумом, шорохом, шепотом: // Угловатые крылья раскинул // Гул над городом...» Вот мгновенная, как электрический разряд, встреча в уличном потоке взоров двух людей — случайная и единственная перекличка взглядов — короткий разговор душ — стихотворение «Взор»... Дерево в окне городской квартиры: «Если дерево в окне растёт, // Вырастает, сколько надо за год, // Легче жить, не замечаешь тягот...». Голубой май, зацепившийся за ветки деревьев на бульварных аллеях. Пенсионеры, сгрудившиеся, как весенние грачи, вокруг самодельных столиков, составленных скамеек, играющие кто во что горазд — в шашки, в шахматы, забивающие «козла» в домино («Весна»).

Остальное было уже делом нескольких минут. Живо сложилась подборка из пяти стихотворений. Нашелся даже «паровоз», как называют такой стих в газете, — то есть граждански самое ударно звучащее стихотворение. «Экскурсия» — о детях из Рязани, высыпающих из троллейбуса, чтобы посмотреть Третьяковку, а также по возможности закупить учебники: «Четыре пятых класса, // Примерно сорок мальчиков, // Примерно сорок девочек, задрали головенки: // Какая высотная, // Какая высокая, // Какая хорошая // И громкая Москва!»

Замечательно! Само собой родилось и название — «Городские мотивы».

Прошло два или три месяца — для «Известий» одно мгновение. Кипение страстей в отделе между тем в очередной раз достигло пика — большинство сотрудников разошлись с В.В. Полторацким, кажется, по всем позициям и по всем вопросам, кроме необходимости отмечать предстоящее 50-летие Советской власти.

Гребнев при встречах в коридоре едва здоровался, показывая при этом краем сочувственного взгляда, как он умел, что я для него человек конченный, которому по-человечески он, тем не менее, готов помочь найти другое место работы. Конечно, вне пределов редакции. А деловые мои появления у себя в кабинете, когда бывал в хорошем расположении духа, встречал новой кличкой: «А-а... Господа офонаревшие! Опять, наверное, какую-нибудь заумь принес? Смотри, рабочий класс вам не простит!»

Кличку — «господа офонаревшие» — он приклеил после того, как нам удалось опубликовать небольшую поэму Андрея Вознесенского «Монолог с примечаниями», написанную в результате его поездки в США. Согретые молодым чувством стихи о мраке людской разобщенности и роли художника в мире стилистически были отмечены некоторыми экспрессионистскими изысками. Отсюда и словечко «офонаревшие», которое перекликается с одним из главных образов поэмы: «Мир мраку твоему. На то ты и поэт, что, получая тьму, ты излучаешь свет». Потребовался руководящий звонок из Международного отдела ЦК партии, организованный Вознесенским, чтобы «пробить» публикацию в «Известиях» (1967, 17 января).

С Полторацким, а через него и с Гребневым мы разругались тогда вдрызг. Но, может, это иногда и хорошо — доводить отношения с начальством до мыслимых пределов остроты. В обстановке жесткого противостояния иной раз легко удается то, что проходило бы мучительно трудно или вовсе не имело шансов на успех.

Так и случилось с подборкой стихов Б. Слуцкого. Пыхтел, подписывая ее в набор, Полторацкий. Морщился и кривился Гребнев. Тем не менее подборка «Городские мотивы» была одобрена и без всяких поправок и изменений напечатана, по тогдашним меркам, сравнительно даже быстро («Известия», 1967, 18 марта).

Это был крошечный триумф! Я немедленно позвонил Слуцкому, поздравил и отложил для него несколько захваченных прямо из-под ротационных барабанов пахнущих свежим типографским скипидарчиком номеров газеты. Как хорошо, когда осуществляется то, что ты давно задумал, даже пусть маленькая твоя мечта! Как приятно чувствовать себя не дрессированной газетной белкой, бессмысленно мечущейся по редакционным этажам, выполняя нелепые указания начальства, а человеком, приносящим реальную пользу!

Приблизительно с таким горделивым чувством ходил я некоторое время, в таком розовом тумане жил. Неприятности начались через несколько дней. И голову сняли нам, как говорится, не большим бревном, а соломиной. Причем в результате Слуцкий был с громким скандалом отлучен от газеты «Известия» и, насколько мне известно, больше никогда в этой газете не печатался.

Самым грозным союзником Гребнева—Полторацкого оказались многие из тех пенсионеров, которых так хорошо изобразил в своих стихах Слуцкий, живописуя, как они мирно играют в шашки и забивают «козла» на городских бульварах.

Стихотворение «Весна» было такое:

Только сугробы начнут белеть,
пенсионеры начнут болеть,
а к февралю безо всякой меры
разболеются пенсионеры.
Но те, кто дожил до мая месяца,
хотя зажился уже давно,
обязательно должен встретиться
на бульваре за домино.
Только вешняя лужа высохнет,
пенсионер к скамейке присохнет —
то как листик из кустика высунут,
то над шахматами полусогнут.
Только выглянет первая травка,
пенсионер пристынет к лавке,
зелёной, как эта же трава.
И домино вступает в права.
Игры настольные и настенные —
этим безо всякой меры
интересуются настырные
и настойчивые пенсионеры.
Они повторяют свои сражения
в масштабе шахматной доски.
Не слишком горестны поражения,
зато победы довольно легки.

Началось с отдельных возмущенных звонков: «Почему это поэт Слуцкий в вашей газете смеется над стариками?!» — «Как смеется?! Он пишет чуть с юмором, но любя. А потом, все, что он изобразил, — правда!» — «Послушайте! Я — полковник медицинской службы в отставке, был на фронте и сейчас посильно не прекращаю полезной деятельности, пропагандист райкома партии. А какую "правду" изобразил ваш Слуцкий?! У него получается, будто все пенсионеры, как вороны стаи, только и слетаются на бульвары забивать "козла"...» — «Но почему же — все: он так не говорит. К тому же это — стихи, а не статья...» — «Да, но стихи в газете! И какой образ старой гвардии?! Сплошные нахлебники и тунеядцы!» Или: «Я — заслуженная учительница школы РСФСР. Меня возмутили стихи Слуцкого. Хорошенький пример подают старики молодежи! Целые дни лоботрясничают на бульварах, разлагаются, выжили из ума. А газета это пропагандирует. Стыдно!» Или: «Я — бывший шофер автобазы. Что же получается? Старички за свою жизнь притомились, в кои веки выбрались погреться на солнышке, забить кон в домино, а Слуцкий их сразу — на карандаш. Из-за таких, как Слуцкий, старикам и пенсию не прибавляют!»

Потом пошли письма, повалили валом, который вскоре перерос в шквал. Особенное возмущение вызывал стихотворный зачин: «Только сугробы начнут белеть, пенсионеры начнут болеть...» И дальше: «Но те, кто дожил до мая месяца, хотя зажился уже давно...» Из писем рвался почти единодушный вопль: «Что это поэт Слуцкий гонит стариков на кладбище?! Разве зимой болеют одни пенсионеры?! И что значит — "зажился"? Как понимать?!»

И понеслось-поехало: «Почему это поэт Слуцкий пишет, а газета поощряет: "...интересуются... настойчивые пенсионеры"? Разве настойчивость — свойство одних пенсионеров?! А — "настырные"?! Это же — оскорбление! За такое судить надо!» Каждый день почта приносила к тому же и коллективные протесты.

Письмо активистов какого-то собеса, постановления партийных собраний ЖЭКов, резолюцию из интерната старых большевиков и т. п. Стали поступать и жалобы, пересылаемые в редакцию из вышестоящих инстанций.

Когда количество протестов перевалило за три сотни, в воздухе запахло оргвыводами. Я это видел по лицу В.В. Полторацкого — он стал как-то особенно ласков и дружелюбен по отношению ко мне.

Однажды вызвал к себе в кабинет и сказал:

— Напортачили, напортачили... Ничего не поделаешь! Придется извиняться... Но как? Чтобы зря не трепать авторитет газеты, мы в редакторате посоветовались. Позвоните Слуцкому. Предложите ему написать личное письмо обиженным читателям. Пусть объяснит, что его неправильно поняли, что он всегда хорошо относился к старикам...

— Но, Виктор Васильевич! Это и так очевидно. Он же напечатал в газете поэтическое произведение. Он не будет этого делать...

— Нет, нет! И пусть там же приведет доказательства хорошего отношения — выдержки из своих книг, из различных стихотворений. Знаете, где речь идет о стариках и о старости. Что-нибудь такое — потеплее, заботливое, трогательное. А мы отпечатаем его письмо листовкой в типографии и с короткой сопроводительной разошлем по всем адресам. Тогда отпадет нужда отмежевываться от его позиции в газете...

— От какой еще — «позиции»?! — взвился я. — Вы же сами только что говорили, что это недоразумение... Глухота к поэзии. Восприятие всего, что печатается в газете, как политической директивы. Беда наша горькая. Сами воспитали такого читателя...

— Вот поэтому мы и предлагаем такое решение, а не другое, — невозмутимо настаивал Полторацкий. — Убедите Бориса Абрамовича. Тогда, по крайней мере, часть вопроса — со Слуцким, газетой и читателями — будет закрыта, — заключил редактор отдела.

Когда я позвонил Слуцкому и рассказал ему о создавшейся ситуации, отведенные нам сверху роли, к моему удивлению, вдруг неожиданно и круто поменялись. Я высказывал робкие сомнения относительно надобности письма, а Слуцкий решительно и твердо считал, что такую листовку разослать надо и обязательно от его имени.

— Но вы же знаете, Борис Абрамович, — для очистки совести говорил я, — что нашлись газетные читатели, которые даже Чуковского за стихотворение «Муха-Цокотуха» обвиняли в любви к мухам и в пропаганде антисанитарии...

— Ваш пример неудачен! — возразил Слуцкий. — Там — досужие глухари, занимающиеся кляузами от безделья. А здесь — старые люди, может, чего-то и недопонявшие, но оскорбленные и обиженные. Надо извиняться...

Сошлись на компромиссе: текст листовки для верности мы сочиним вместе, а подпишет его Слуцкий.

На следующий день, сидя за моим столом в редакции, мы, как два нерадивых школьника, принялись за сочинение злополучного письма. Начальные абзацы родились в полном согласии и без особых трудов. Первый — выражал огорчение автора цикла «Городские мотивы» от того, что его неправильно поняли. Второй абзац начинался с предложенной мной и горячо одобренной Слуцким фразы: «Я всегда любил стариков и много о них писал...»

Требовалось привести подкрепляющие эту мысль поэтические примеры.

Борис Абрамович деловито ткнул рукой в сторону лежащей на краю стола синей книжицы — сборника своих стихов «Сегодня и вчера»...

Этот сборник, захваченный из дома Слуцким, с тех пор так и остался у меня. На последних его страницах, в разделе «Содержание», галочками отмечены названия четырех стихов, целиком посвященных интересовавшей нас теме. И вот теперь я будто воочию увидел, как, зацепившись вдруг за тайную преграду, споткнулся и рухнул безудержно несший нас вначале конь вдохновения и оба мы стремглав полетели вниз, лицом в грязь... Стихи были об этом, да не те!

Как же я не сообразил раньше?! Казалось бы, так просто! Это можно было чуть ли не просчитать, даже не заглядывая в сборник. Забавно только, что сам автор не видел этого. Старость, в понимании художника, — это приближение смерти, ледяные страшные ее дуновения, которым стоически сопротивляется человек, пока они не собьют его с ног. Но что же хорошего и обнадеживающего можно сказать о приближении смерти? О противоборстве человека в той схватке, исход которой в сущности предreshен?

Умирают мои старики —
Мои боги, мои педагоги,
Проповедники торной дороги,
Где шаги мои были легки.

Вы, прикрывшие грудью наш возраст
От ошибок, угроз и прикрас,
Неужели дешёвая хворость
Одолела, осилила вас?

Умирают мои старики,
Завещают мне жить очень долго,
Но не дольше, чем нужно по долгу,
По закону строфы и строки.

А те старики с московских бульваров, они гневались на поэта за то, что он утверждал неодолимость законов природы? Казенные оптимисты, забросавшие редакцию письмами, распекали поэта так, будто это он выдумал хворости, недуги, безобразящую человека старость, вынужденное прозябание на пороге ухода и самое смерть. А лучше бы они оценили другую мысль, всегда скрытую или откровенно звучащую в этих стихах, — призыв к человеческой стойкости, к сопротивлению до конца. И стихи о стариках, старости и смерти у Б.Слуцкого — это тоже, в сущности, стихи о сражении за жизнь, о долге. В чем-то солдатские стихи. Ничего более радужного и утешительного поэт предложить не мог.

Так я пишу теперь. Рассуждаю себе спокойно — когда не надо насиловать себя сочинением дурацкой листовки, не надрывается истерическими трелями на столе телефон, не дергают и не растаскивают во все стороны ажиотаж и суэта неотложных газетных дел и обязанностей, не дурманит легкой изжогой нелепая западня, сулящая впереди по меньшей мере выговор. А тогда...

Я лихорадочно листал сборник. И утыкался в пустоту: для листовки не подходило ничего! Ровным счетом ничего! Прочитай такое бульварные бодрячки и казенные жалобщики, они окончательно нас растерзают.

В одном стихотворении поэт описывал целые «старушечьи кварталы» на какой-то городской окраине: «Старух было много, стариков было мало://То, что гнуло старух, стариков ломало.//Старики умирали, хватаясь за сердце.//А стару-

хи, рванув гардеробные дверцы, // Доставали костюм выходной, суконный, // Покупали гроб дорогой, дубовый // И глядели в последний, как лежит законный, // Прижимая лацкан рукой пудовой. // Постепенно образовались квартиры, // А потом из них слепились кварталы, // Где одни старухи молитвы твердили, // Боялись воров, о смерти болтали... // Вставали рано, словно матросы, // И долго, темные, словно индусы, // Чесали гребнем редкие косы, // Катали в пальцах старые бусы...»

Конечно, все, что написал поэт, было сущей правдой. Но что бы сказали на это полковник — внештатный пропагандист райкома или заслуженная учительница школы РСФСР? Это было еще почище, чем бесполезные забивальщики «козла» на московских бульварах. Целые кварталы «бесполезных» людей!

Два остальных стихотворения вроде бы даже и назывались подходяще, хоть прямо переноси в листовку, — «Я люблю стариков» и «Преимущества старости». Но о чем они были?! О Боже! Опять — о том же! Конечно, Слуцкий — поэт трагической темы. Но нельзя же до такой степени, настолько?! Не могли бы он, хотя бы для всякого пожарного случая, написать что-нибудь повеселее?!

Я листал сборник, а Борис Абрамович смотрел на меня со стоической серьезностью своими голубыми глазами.

Кажется, я захохотал первым. Невозможно все-таки с таким ученым видом заниматься нелепостями! Авторы писем клеймили поэта, но обижались они на законы природы. И смешение представлений и понятий, вызвавшее обиду, было тем более искренним, что оконце правды — колонка стихов Б. Слуцкого — глянуло на непривычного читателя с газетных полос, в изобилии полнившихся обычно ложным оптимизмом и казенной бравадой. Читатели здесь были ни при чем, как, в сущности, ни при чем был и Слуцкий.

Вот почему незачем было понапрасну себя мучить. После заверений в лучших чувствах к старикам следовало поскорее закругляться. Вот разве что сочинить несколько осторожных и необидных фраз о коренных понятиях и круговращениях бытия — о молодости, старости, жизни и смерти, — выдержав их в духе оптимистической мысли о преемственности поколений и неистребимости человечества. Так, чтобы не вызвать встречную бурю вопросов, возражений и протестов. Типографская листовка была рассчитана на то, чтобы погасить газетный скандал, а не разжигать его дальше.

Едва лишь мы четко осознали задачу, как конь вдохновения вскачь помчал нас дальше. Пригодились и названия стихов — «Я люблю стариков» и «Преимущества старости» (о, конечно, только названия!). Чтобы привести хотя бы одну связную поэтическую цитату, пришлось пойти на легкую хирургическую операцию в стихотворении «Умирают мои старики...» Эту начальную строчку мы безжалостно отсекли. Зато после фразы письма: «Я много писал о стариках...» пример звучал теперь более чем подходяще: «...Мои боги, мои педагоги...» и так далее, по тексту, вплоть до слов: «...Неужели дешевая хворость...», которые мы тоже отсекли. Получалось замечательно!

Вычитав письмо с машинки, я направился в кабинет к Полторацкому, куда вскоре приглашен был и Борис Абрамович.

Полторацкий числил себя прежде всего даже не прозаиком, а поэтом, притом также поэтом военной тематики. Бориса Абрамовича он встретил как самого уважаемого и заслуженного коллегу. Замечаний по письму у него не было, недоразумение, по его словам, теперь полностью развеяно, конфликт

исчерпан. Текст очень хороший. В одном месте он только позволил себе вычеркнуть лишнее слово «смерть», достаточно и того, что осталось. Но тут, он надеется, особых разногласий не будет. Слабое возражение Бориса Абрамовича, что, кажется, и было-то всего одно упоминание «смерти», вызвало у Виктора Васильевича только лучезарную улыбку и заверения, что «так лучше» и «достаточно старости» и «болезней». А то, знаете ли, «начнут снова писать»... В общем же письмо убедительное! Спасибо за помощь! На прощание Виктор Васильевич улыбнулся самой обаятельной из своих улыбок, дружески потряс руку Слуцкому и пригласил его дальше сотрудничать в «Известиях».

Листовка была отпечатана, разослана. И сама история начала вроде бы отодвигаться в прошлое, как вдруг получила неожиданное продолжение. Причем по каким-то законам фантазмагии, очевидно, свойственным реальной жизни, продолжение это случилось не когда-нибудь, а будто злая шутка в первоапрельской упаковке — именно 1 апреля.

В тот день, придя в редакцию и раскрыв свежий номер «Известий», я без особого интереса скользил взглядом по газетным полосам, где, как знал, материалов нашего отдела не было. И вдруг на пятой полосе среди статей по экономике глаз зацепился за строчки, значение которых я даже не сразу понял, хотя смысл их был более чем ясен: «...стихи Б. Слуцкого... Редакция сожалеет, что опубликовала эти стихи». К тому же «стихи Б. Слуцкого о пенсионерах» без каких-либо оговорок были названы «шуточными». В этом и заключался, видимо, расчет на появление опровержения именно первого апреля!

Общее название публикации гласило — «Не поле перейти» («Известия», 1967, 1 апреля, № 78). Под ним была подверстана корреспонденция — очерк о старой ткачихе, поступивший из города Иванова. Очерк как очерк, проходивший явно не по нашему отделу. Но ему предшествовал редакционный врез, выделенный жирным шрифтом, вся суть была в нем.

В стиле редакционного вступления легко угадывалась неумолимая рука газетного труженика Виктора Васильевича. Сначала шел теоретический посыл, состоящий из общих фраз: «Люди преклонного возраста, которые ныне стали пенсионерами, — говорились там, — прошли славный путь. Это они на своих плечах вынесли великие трудности становления и укрепления первого в мире Советского государства. Все силы, весь жар своего сердца отдавали они строительству новой жизни. Они честно заслужили право на отдых и глубокое уважение».

В следующем абзаце наносился короткий, как в фехтовании на рапирах, рассчитанный и окончательный удар: «К сожалению, кое у кого иногда проскальзывает и пренебрежение к старости. Так, недавно в «Известиях» были напечатаны шуточные стихи Б.Слуцкого о пенсионерах. Вольно или невольно поэт обидел людей преклонного возраста. Редакция сожалеет, что опубликовала эти стихи».

И затем снова совершался переход на спокойные эпические тона: «Сегодня мы печатаем заметки писателя М. Шошина о старой ивановской ткачихе».

Конечно, ткачиха была здесь совершенно ни при чем. Прямой полемической притяжкой к редакционному врезу звучал разве последний абзац у М. Шошина: «Я сам уже немолодой человек. Но когда иду по родному рабочему городу и встречаю таких людей, как... (следует фамилия героини. — Ю. О.), мне хочется поклониться им за все, за все...»

Вот это был номер! Я чуть не подавился всеми этими абзацами, чуть не задохся от ярости и бессилия. Что же получилось?! Поэта сначала упросили объясниться, рассеять недоразумение, извиниться, а затем его же публично высекли в печати. Выходило, что Б. Слуцкий не добровольно вызвался унять обиды непонятливых читателей, действовал не по собственному великодушию, а шел на попятную, каялся, как прижатый к стенке уличный прощелыга и грубиян, вынужденно производил над собой экзекуцию в печатной листовке. И газетная порка только затвердила это самобичевание! Как говорится, поделом вору и мука! Во всяком случае, так это выглядело в глазах сотен читателей, уже получивших письмо поэта.

Хорошенькое дельце! И главное, я в нем участвовал. Эта мысль ожгла особенно нестерпимо. И поверит ли мне Слуцкий? Могут ли такие важные редакционные заявления делаться без ведома заместителя редактора отдела? Не буду описывать, как я метался от своего стола в кабинет Полторацкого, оттуда к телефону, как звонил Слуцкому и т. д. История эта была неприятной для Бориса Абрамовича — прекратилось, как уже сказано, его сотрудничество в «Известиях». Но о своей репутации в его глазах я беспокоился напрасно.

В этом я еще раз убедился в 1968 году, во время чувствительного для себя события — приема в Союз писателей, о котором уже упоминалось.

Добавлю, пожалуй, лишь вот что. Теперь, когда в далекую даль ушли тогдашние события и сам себе кажешься порой персонажем давнего представления, интересно было извлечь из всепоглощающего небытия уцелевшие осколки — разыскать, например, стенограмму заседания. Эту стенограмму приемной комиссии от 30 января 1968 года удалось найти.

С возвратившимся чувством молодости и не утоленным в свой срок любопытством читал я, как сдержанный и дотошный Б.Слуцкий препарировал на этом заседании одну из книг соискателя, биографическую повесть.

Всего-то полторы машинописные страницы занимает зачитанная им рецензия. Но в ней подмечено многое из того, к чему я тогда стремился и чего, может быть, до сих пор пытаюсь достичь в своей литературной работе. Сказано и о предпочтительном жанре, к которому тяготеет автор, рассмотрено и соотношение компонентов повествования — биографии, литературного быта, истории, документа и литературоведческого анализа, дана оценка и того, как написана книга («с некоторой щеголеватостью, но талантливо»). И при всем том отзыв насыщен примерами и ссылками на текст. А в заключение — сдержанный и суховатый вывод члена приемной комиссии, уж очень в его духе — одной фразой: «По этой книге у меня вполне благоприятное впечатление...»

Переводчик — перевозчик

Не прошло и года, как я тоже ушел из газеты «Известия», получив приглашение вести дела в Совете по критике и литературоведению Союза писателей СССР. Теперь мы чаще встречались с Б.А. в Центральном Доме литераторов и на писательских собраниях. Случались и важные смысловые беседы.

Григорий Бакланов в мемуарном очерке «Мой сосед Борис Слуцкий» (несколько лет они жили в коммунальной квартире на двух хозяев) пишет:

«Обычно часа два-три с утра он переводил стихи, с каких языков — не суть важно, переводил по подстрочникам: это был заработок, на это он жил, как многие поэты в то время».

Такое можно бросить вскользь, наверное, даже и про Бориса Пастернака и про кого там еще? Вполне допускаю, что подобное, наверное, тоже случалось. Но все-таки художественный перевод, как и для других поэтов первого ряда, не был для Слуцкого ремесленной поденщиной или отхожим промыслом.

Он владел сокровищами мировой поэзии. И одним из вернейших способов освоения художественного опыта считал для себя перевод. Конечно, главным при этом была идея духовного сближения народов, дорогая для Слуцкого:

Пучины розни разделяют страны.
Дорога нелегка и далека.
Перевожу,
как через океаны,
Поэзию
в язык
из языка.

Перевозя, «как через океаны, поэзию в язык из языка», Слуцкий был лощаном высокого класса. Украинский, немецкий, английский, польский, сербский, болгарский он так или иначе знал, в других случаях пользовался подстрочниками. Однажды мне довелось воочию увидеть ту неистовую добро-совестность и блеск мастерства, которые отличали Слуцкого-переводчика.

Я работал тогда над биографической книгой о выдающемся немце драматурге Бертольте Брехте и его сотруднице, соавторе и возлюбленной Маргарет Штеффин, подолгу жившей в Москве, знавшей русский язык и осуществлявшей его жизненные и творческие контакты с Советским Союзом (книга потом дважды выходила под названием «Повесть о маленьком солдате»). По ходу работы приходилось сравнивать имеющиеся на русском языке поэтические и прозаические переводы этого писателя с оригиналами. Тогда еще не было ни позднейшего однотомника Брехта в «Библиотеке всемирной литературы», ни даже сборника «Б. Брехт. О литературе и искусстве». Вообще, за исключением пьес, Брехт был представлен русскому читателю куда скудней, чем сейчас.

Кроме классики перевода 30-х годов — С.Третьякова, В.Стенича, С.Кирсанова — были, конечно, и хорошие современные переводы. Политическую лирику и сатиру, сонеты и зонги из пьес Брехта постоянно переводил и Слуцкий.

А как сильно звучали тогда с подмостков новорожденного Театра на Таганке зонги Брехта в «Добром человеке из Сезуана», переведенные Слуцким: «Песня о дыме» — этот положенный на разные голоса гимн утраченным иллюзиям — или аккомпанировавшие время от времени сценическому действию стенания нищего бродячего китайца — уличного торговца водой — «Песня водоноса во время дождя»...

Но имевшиеся на русском языке тексты составляли лишь малую толику по сравнению с двадцатью томами собрания сочинений Брехта, вышедшими в ФРГ. А приемлемые переводы — и вовсе каплю в море. И второе было куда страшнее первого. Не забуду почти панического чувства, которое меня охватило: на

русском языке чаще всего был совсем не тот Брехт, которого я читал по-немецки. Не тот писатель, не тот человек.

Как передать такое? Наверное, это было не лучше, чем если бы, скажем, дремучий туземец из Полинезии, никогда не покидавший своего островка, вдруг затянул нашу протяжную песню «Летят утки» или бы начал представлять главную роль в пьесе Чехова «Дядя Ваня». Но какая же биографическая книга без цитат, без истолкований текста? Что же делать?

К тому же новая мысль вдруг поразила меня до дрожи. Я не знаю большинства иностранных языков, ну, а что если та же картина и с книгами Бальзака, Шекспира и кого там еще?! Ведь это означает, что всю жизнь я читал не Джека Лондона, не Бальзака, не Хемингуэя, а только их скверных переводчиков. Мало того, что нам лгут в школах, в институтах, в газетах, по радио и телевидению, так еще и вместо классиков мировой литературы подсовывают ряженых самозванцев?! Мы запутаны, обмануты, ничего не знаем, ни за что не можем поручиться.

Я вдруг почти зримо увидел, нет, не «железный занавес», а те глухие стены между народами, которые образовались с тех пор, как рухнула Вавилонская башня и началось разделение языков и народов. Люди, не знающие иностранных языков, сидят за этими стенами, а шарлатаны-переводчики только изображают, будто разбирают их, эти преграды. Ужасное чувство! Однако — что же делать с Брехтом?

С этой своей бедой я и помчался к Слуцкому.

Мы встретились в фойе Центрального Дома литераторов, и Б.А., с суховатой любезностью пожав мою руку и опустившись в кресло, тут же приступил к делу.

— Да, да! — сказал он своим ровным невозмутимым голосом. — Брехт — философ, мудрец, политик. Наверное, самый умный из писателей XX века. Опошлен у нас соблазнами буквального перевода. Но имейте в виду — прямота и обнаженность речи Брехта тоже двух типов. И разных степеней. Есть такая, где загадочную простоту не истребит даже механическая надиктовка. Помните короткое стихотворение «Замена колеса»? «Я сижу на обочине дороги и слежу, // как шофер меняет колесо на машине. // Мне не по душе там, откуда я уехал, // меня никто не ждет там, куда я еду. // Отчего же я с таким нетерпением жду, // когда шофер поменяет колесо на машине?» Дух поэта сохраняется сюжетом. Другое — когда все держится на одной мысли, там дело совсем швах! По-немецки — оратория, по-русски — газетная сухомятина...

И Борис Абрамович с ходу прочитал мне целую лекцию об особенностях художественного мышления, поэтики и стиха Брехта. Главное, пожалуй, что он утверждал: Брехт — народный писатель, владевший всеми богатствами живой разговорной речи, мысливший как бы дуплетом — изощенный интеллигент и плебей, человек с улицы — в одном лице сразу. Это и создавало тон его голоса, неотразимость его философских раздумий, убийственную остроту политического сарказма.

Заговорили и о собственных переводах Слуцкого. Сатирическая ода «Примкнувшим» или сонет начала 30-х годов «Когда распались мы на Ты и Я», обращенный Брехтом, кстати, к своей долголетней соратнице Маргарет Штеффин (героине моей повести), почти исключительно основаны на поисках точных соответствий и максимальных аналогий в звучании и лексике русского стиха.

Однако часто сохранить силу содержания и остроту подлинника не удастся иначе как с помощью значительных отлетов художественной фантазии.

В качестве удачного примера Слуцкий сослался на знаменитый «Бараний марш», пародировавший национал-социалистский партийный гимн — «Песню Хорста Весселя». Этот перевод для театра и эстрады сделал поэт Аркадий Штейнберг. И помню, как лихо несся со сцены воинственный припев: «Шагают бараны в ряд. // Бьют барабаны...»

Сатирическая пародия на партийную песню написана Брехтом в конце 30-х годов, когда еще не полностью была изведена бездна нравственного падения, в которую завлек немецкий народ фашизм, обративший миллионы немцев в жертв и палачей одновременно. В оригинале стихотворение называется «Kalbermarsch» («Марш телят»).

Несомненно, телята — более симпатичные и вызывающие сочувствие существа, чем бараны, появляющиеся в переводе, сделанном десятилетия спустя. Во всяком случае, первый образ более подходил немецкому поэту для обозначения своего народа в пору, когда писалось стихотворение. Точно так же, как это обозначение совершенно неприемлемо для русского восприятия после всего перенесенного и увиденного в жестокие годы Отечественной войны.

Первые строки оригинала буквально звучат так: «За барабанами вышагивают телята. Кожу для барабанов они поставляют сами...» Переводчик, подчеркивая маршевый ритм бодро шагающего на бойню стада, по существу, изображает то же самое: «Шагают бараны в ряд. // Бьют барабаны, — // Кожу для них дают // Сами бараны».

Ради главного образа переводчик, правда, идет на вынужденную неточность частной реалии, чего нет у Брехта: барабаны все-таки изготавливают из телячьей кожи. Однако в целом несколько вольный перевод ярко и сильно передает именно то, что сатирически выразил Брехт.

...Борис Абрамович сидел против меня, выпрямившись в кресле, и, испытующе глядя своими добрыми синими глазами, старательно внушал и втолковывал. Время от времени словно бы прикидывал про себя, насколько доходят до собеседника разумные наставления.

— В русском языке достаточно средств, чтобы Брехт чувствовал себя так же естественно, как на немецком... Переводить надо бережно и смело... Учтите, что полностью повторить можно только мертвое, а живое полностью повторить нельзя...

С этой встречи я ушел притихший и успокоенный. И в дальнейшей работе над книгой, ломая голову над сложностями перевода, не однажды вдруг вспоминал Слуцкого, слышал интонации его голоса. Хочется сказать — голос лоцмана...

Поскольку речь зашла о художественном диапазоне поэта, может, уместно будет высказать пару соображений общего порядка.

Пушкинско-есенинская линия в поэзии Слуцкого значит не меньше, чем традиция гражданской лирики Блока и Маяковского. Да и ограничиваться одной отечественной культурой тут было бы неверно. Большое воздействие на Слуцкого, безусловно, оказала поэзия Бертольта Брехта. Слуцкий, скажу так, не только, как мог, по жизни старался помочь Владимиру Высоцкому, но самым строем своей поэзии предшествовал ему.

Знаменитые «прозаизмы» Слуцкого в начале его пути вызвали яростные дискуссии в критике. Горячее одобрение одних и бранчливые проработочные нотации других. (О, те, кто поставлен был на страже, чуяли в нем бунтаря!) Свою творческую зависимость от гражданской поэтики мятежной музыки Слуцкого признавали затем и многие авторы следующего за ним поколения.

Все это, прежде всего, собственное творческое достижение поэта. Однако же не без оглядки на опыт предшественников. Употребив слово «организм», Пушкин тут же оговорился, как известно: «Извольте мне простить ненужный прозаизм». Историю крутого обновления лексики и канонов поэтической речи за счет живых ключей разговорного языка русская поэзия ведет издавна — особенно бурно, может быть, с басен Крылова, с «Горя от ума» Грибоедова, с «Бориса Годунова» и маленьких трагедий Пушкина до «Анны Снегиной» Есенина и далее...

Поэзия Слуцкого как будто бы уже естественно и органично не различает речь стихотворную и разговорную. В данном случае это две взаимопроникающие и связанные друг с другом стихии. Поэзия и речь обыкновенных людей приближены друг к другу до невозможного предела. Но тайна и чудо заключаются в том, что стихотворное высказывание при этом не перестает быть поэзией, остается высоким искусством. Таков этот замечательный мастер поэтической речи.

Праведник, который не шадит себя ради некой сверхценной идеи, всегда загадка для окружающих.

Вот ведь вроде — живет человек рядом с вами, скромно, кажется, максимально открыто, ни на что особенное не претендует. Талант, конечно, крупный, но ведь и крупные таланты бывают разные. А потом, с течением лет, оказывается, что жизнь его полна необыкновенных поворотов, казусов, загадок и тайн и сам он — сплошная загадка. Именно так происходило и произошло с Борисом Слуцким.

Тяжелым потрясением в общественной жизни нашей страны, принесшим окончательный перевес и победу силам консервативной бюрократии и богдыханского подавления человеческого духа, явилось вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.

Гусеницами танков на дорогах Чехословакии были раздавлены не только «пражская весна» и реформы А. Дубчека, но и последние надежды и иллюзии передовой интеллигенции и мыслящей части общества на либеральные послабления и реформы в нашей стране. На стенах домов Братиславы и Праги, вдоль улиц, по которым мчались советские танки, жители вывешивали самодельные плакаты со словами Маркса: «Не может быть свободным народ, который поработщает другие народы». Увы, эти отчаянные крики подавленных чехословацких братьев оказались ужасным пророчеством для нас самих на последующие почти двадцать лет...

Именно тогда на высших пультах государственного управления словно повернута была последняя решающая рукоять, включавшая стопор общественного застоя. И год от года, месяц от месяца меркла, блекла, выцветала общественная жизнь...

Все невыносимей и томительней становились, например, партийные собрания в писательском клубе. В памяти сохранились отдельные разрозненные картинки последующего десятилетия. Большой зал ЦДЛ, рассчитанный человек на шестьсот, в те годы иногда заполнялся, может, лишь на четвертую часть, а все

равно казалось, что с мертвенной тусклостью сияет свисающая с высоких сводов огромная хрустальная люстра и в зале не хватает воздуха.

Между просцениумом, с возвышающимся на нем и протянутым почти во всю поперечину зала пышным и многолюдным столом президиума, убранном бордовым сукном, слегка выдвинутой вперед могучей светло-коричневой дубовой трибуной с государственным гербом СССР на лобной части и густо населенной «галеркой» в глубине зала, где шла своя, не относящаяся к собранию жизнь, несмотря на постоянные призывы председателя — пересест поближе! — пролежала «мертвая зона» из нескольких десятков рядов кресел. Лишь кое-где в этой бежевой пустоте одиноко торчали лысые и седые писательские головы. Сплошь занятыми были разве первые три или четыре ряда кресел. Там сидели, надо полагать, самые дисциплинированные, самые образцовые и самые примерные члены партии.

И вот что удивительно — именно в этих первых рядах, бок о бок с подслеповатыми и глухими старыми большевиками, верткими подхалимами и немощными писателями-ветеранами, я почти всегда видел и Бориса Абрамовича; его седую голову, вытянутую красноватую шею, края одутловатых полных щек, по-мальчишески оттопыренные крупные уши. Он сидел напряженно, почти не двигаясь, алели мясистые мочки ушей. Что же делал здесь этот человек, которого теперь называют пророком?

Не помню ни разу, чтобы он выступал, лишь иногда с места задавал вопросы ораторам или вносил предложения. Он был «правильный коммунист» и хотел глубже изнутри понять, что происходит, хотел оставаться полезным. Внутренне он осуждал систему, на которую положил столько сил и которую защищал с оружием в руках. Но не отступился от нее, не покинул в лихолетье, не спешил вынести ей окончательный приговор, даже когда она после короткого возрождения заново тяжело занедужила и многие уже видели, что безнадежно.

И тут снова хочется вернуться к философским убеждениям Слуцкого, к его вере в медленный, но неотвратимый прогресс человечества. В поступательное движение истории. Кажущаяся лоскутность главных понятий и представлений, на которые опирался Слуцкий, часто была просто внешней. Тем не менее мировоззренческие парадоксы взглядов и поведения этого праведника поражали многих. Резко и четко выразил проблему поэт Олег Чухонцев, близко знавший Слуцкого не одно десятилетие.

Интересен и значителен его недавний мемуарный очерк «В сторону Слуцкого. Восемь подаренных книг» («Знамя», 2012, № 1), проникнутый непреходящим удивлением перед духовной сущностью этого человека. «...*Можно, оказывается, иметь гуманистические убеждения, оставаясь ветхозаветным большевиком*, — пишет он там. — И это меня озадачило, пожалуй, больше всего и заставило задуматься: так ли все однозначно? Лишь позднее я заметил (после многолетнего общения), что добровольные клятвы юности уживались в Слуцком, как ни странно, со стихийным ревизионизмом, *восстанавливая в правах равновесную картину его поэтического космоса* (курсив всюду мой. — Ю.О.). Да и советизм его, выходца из низов, был явно демократического, если не плебейского свойства, т.е. не только антибуржуазным, но и последовательно антитоталитарным и антиноменклатурным (при его верности партдисциплине!), и это противоречие было изначально чревато драмой если не двоемыслия, то постоянного душевного дискомфорта, надлома и надвигающейся душевной катастрофы».

Катастрофа, в конце концов, и разразилась.

Жена комиссара

Ко второй половине 70-х годов судьба сжала Слуцкого в немилосердных тисках. В короткие темные лоскуты беспамятства сжался ночной отдых. А между тем на глазах долго и тяжело болела, точнее сказать, медленно умирала любимая жена.

Остается рассказать о том, как Слуцкий сломался. Последним полем сражения стала для него борьба за жизнь жены.

Слуцкий женился поздно и как-то даже неожиданно для многих. После переезда в Москву отставной майор-инвалид долго странствовал по съемным коммунальным углам. У Слуцкого есть даже стихотворение «Угол» — о том, как он был жильцом у старухи Кати: «Вот я в снятом за небольшие // деньги // небольшом углу. // Здесь пишу стихи от души я // и гляжу в оконную мглу». Потом, когда постепенно убавлялась военная разруха, ветеранов-писателей стали расселять на собственный метраж в коммунальных квартирах. Слуцкий был холостяк, то есть сосед самый удобный, нехлопотный, и чтобы получить коммуналку на пару с ним, среди писательских семей выстроилась даже целая очередь. Григорий Бакланов, известный впоследствии прозаик и главный редактор журнала «Знамя», с женой были, кажется, пятыми в этой очереди. Но те четверо получили отдельные квартиры, а жребий выпал им.

Соседи по коммуналке редко бывают закадычными друзьями. Надо отдать должное откровенности и выдержке мемуариста. Нынешние высокие признания литературной значимости поэта, каковы бы те ни были, не заставили Бакланова кривить душой и изменять честности восприятия в описаниях былого. В характере Слуцкого, с его точки зрения, было немало странностей, обременительных и тягостных для окружающих. Этим он объясняет нередко возникавшее между ними недопонимание и бытовые конфликты, которые в ряде случаев живописует подробно.

О будущей жене Слуцкого Тане — Татьяне Борисовне Дашевской в очерке «Мой сосед Борис Слуцкий» говорится сперва как об одной из очередных пассий замшелого холостяка из числа тех, которых не обязательно даже провожать: «...Поначалу все было так житейски просто: за полночь он захлопывал за ней дверь и даже не шел провожать к метро»; «...злые языки утверждали: конечно, это она женила его на себе»

«Однако закоренелым холостяком он был до тех пор, пока не появилась Таня, высокая, интересная, с характером. И Боре, и нам стало ясно: надо разъезжаться». После выполнения пяти строгих пунктов по обмену жилплощади, принципиально и четко выставленных педантом Слуцким, долголетние соседи разъехались.

С Татьяной Борисовной мне самому встречаться не пришлось. Ограничусь поэтому свидетельствами очевидцев. Поэт Инна Лиснянская рассказывала мне о ней так:

— Татьяна была моложе мужа лет на десять-одиннадцать. До того очень коротко была замужем, но об этом не распространялась. Легкая, подвижная, нарядная, она очень отличалась от основательного и скромно одетого Бориса. Но по закону взаимного дополнения подходила ему. И хотя женился Слуцкий довольно поздно, далеко за тридцать, казалось, что они жили вместе всегда. Таня

обладала каким-то дипломом о высшем образовании, но при Слуцком нигде не работала, была добрым духом семейного очага. Красивая, светловолосая, тонкого сложения, щеголяла в модных ярких брючках и редкостной зеленой заграничной дубленке. Светская женщина. Главное и лучшее украшение скромной двухкомнатной квартирki Слуцких, обходительная и заботливая хозяйка, ненавязчивый дирижер дружеских компаний. А кроме того — печатала на машинке рукописи, была первым критиком и советчиком.

Для сдержанного и сурового на ласку Бориса, изведавшего по сравнению с Таней, кажется, на две жизни больше, в их бездетной семье она как бы соединяла все сразу — любимую женщину, литературного соратника и чуть ли не ребенка — в одном лице.

Подробно и много пишет о Татьяне в своем мемуарном очерке Олег Чухонцев. «Начало и середину семидесятых, — рассказывает он, — я вспоминаю как самое тяжелое свое время — время испытаний. Трудно было получить работу (переводческую), за несколько месяцев я потерял родителей, семья треснула, книга зависла. Единственное счастье этих лет — Коктебель, которое открыло мне семейство Слуцких, Б.А. и Таня, Татьяна Дашевская...

Они меня и подбили на эту поездку, видя, как я издергался и надорвался на бесконечных проводах близких... Б.А. выхлопотал у директора хорошую комнату для меня (тогда комнаты распределялись на месте...), и Таня сразу поволокла меня на набережную и стала показывать местность, как экскурсовод: "Это дом Волошина, вот та горная гряда называется Хамелеон, потому что в течение дня меняет цвет освещения..." Я обалдело озирался и шурился от света, мало что видя, а Таня продолжала воображаемую экскурсию. Было в ней что-то легкое и естественное, как в бунинской Русе, и я понял: Слуцкому очень повезло с ней. Красивая и деликатная, она была не то что застенчива, но закрыта точно, и никогда не говорила о себе. Даже ее ближайшие подруги Галя Евтушенко и Таня Винокурова (Рыбакова) мало что о ней могли рассказать, кроме того, что знали все. Она носила широкую плетеную шляпку, старалась быть в тени, и не только фигурально...

Тогда, весной 74-го, я узнал, что Таня давно и неизлечимо больна..., что через Лию Брик Б.А. удалось вывезти ее в Париж на лечение, болезнь удалось приостановить, но она должна была быть крайне осторожна: избегать солнечных лучей, соблюдать режим, вести себя осмотрительно. И я многое понял о них. Все эти годы они жили с ощущением отсроченной катастрофы, ожидая худшего и встречая каждый день как подарок. Отсюда и замкнутость, и жадность их к людям».

Но Слуцкие не только позаботились об исстрадавшемся неприкаянном молодом поэте. Они изыскали средство если и не излечить, то поумерить боль его душевных ран. Поразительно, что бывший суровый комиссар, казалось бы, столь далекий от шалостей любовных карнавалов и тонкости романтических переживаний, которого упрекали, что в своих стихах он вообще редко и мало пишет о любви к женщине, проявил при этом чудеса изобретательности, достойные какого-нибудь римского повесы или бурша с Монмартра.

«А Коктебель был место не только людное, но отборно людное, — продолжает свой рассказ Олег Чухонцев. — Кого только не прибывало к благодатному (тогда) берегу. Я был допущен в круг его постоянных обитателей, старожилов и приезжавших на сезон, и дух некой вольницы, не без снобистского

фрондерства, пронизывал каждый уголок этого славного места. Все быстро знакомилось со всеми, завязывались дружеские и деловые связи, вспыхивали курортные романы, перераставшие иногда в браки, а Б.А. был опытным сватом, чем гордился. Именно он познакомил меня с Ириной Поволоцкой, Ирой, ставшей потом моей женой.

А проделывал он это оригинальным манером. Будучи сам не знаком с выбранным объектом обольщения, он подходил к нему с каким-нибудь бесхозным ребенком и вовлекал в разговор на тему воспитания (вот, мол, оставляют без присмотра), после чего представлял якобы случайно появившегося знакомого и через минуту-другую, извинившись, отходил, предоставив дело случаю. Так он познакомил на пляже моего товарища Камила Икрамова с его будущей женой Олей. Так познакомил и меня с Ирой, правда, на этот раз они разыграли представление вместе с Таней... Еще две весны мы встретили там вместе, всего две весны, но их трудно забыть».

Та форма лейкемии, рака крови, которая обнаружилась у Тани, — неизлечимая и чаще всего скоротечная болезнь, человек сгорает в считанные месяцы. Но с присущей ему солдатской верностью и искренним убеждением, что человек, если только по-настоящему захочет и не будет щадить себя, может все, Борис Абрамович вступил в единоборство с самой смертью.

Надо сказать, что немало помогала в этом и Таня, у которой неожиданно для окружающих обнаружили сильный характер и твердость духа. Она даже удивляла некоторых знакомых легкими упоминаниями о том, что смертельно больна. Но никогда не жаловалась.

Спасение жены Слуцкий сделал целью всей своей дальнейшей жизни. Он творил чудеса. Целыми неделями и месяцами не отходил от Тани, нянчился с ней, как с ребенком. Доставал какие-то немислимые лекарства, отыскивал в разных краях страны редких специалистов, преодолевая тысячи трудностей, не однажды отправлял жену на лечение в Париж... И что же? Смерть, поколебавшись, начала отступать. В болезни возникали длительные ремиссии. Иногда Тане было даже настолько хорошо, что Слуцкие несколько лет подряд выезжали на летний отпуск в Крым, в тот самый Коктебель, и вечерами купались в теплом море.

Но лейкемия лимфатических узлов неизлечима. Таня медленно угасала.

Последний приступ болезни случился в писательском Доме творчества в Малеевке.

В эти роковые дни бывшие квартирные соседи Баклановы оказались там тоже. Общая коммуналка была теперь далеким, как легенда, воспоминанием. «Много лет спустя, когда наша дочка уже не в коляске лежала, — пишет Бакланов, — а закончила первый курс института, мы на студенческие каникулы поехали в Малеевку вчетвером: дети и мы с Эллой. Там в это время жили Слуцкие. Таня была плоха, от столовой до своей комнаты доходила в два приема, по дороге сядет на диванчик, вяжет, набирается сил. Лицо пергаментное, глаза темней стали на этом бескровном лице. Но такие же, как прежде, прекрасные пышные волосы, страшно подумать — мертвые волосы...

А зима стояла снежная, солнечная, мороз небольшой, градусов 10, ели в снегу, иней по утрам на лыжне, — вдохновенно продолжает мемуарист. — Возвращаемся с лыжной прогулки, надышавшись, стоит у крыльца машина "скорой помощи". Я счищал снег с лыж, вдруг вижу — бежит Боря Слуцкий в

расстегнутой шубе, без шапки, ветерок был, и редкие волосы на его голове, казалось, стоят дыбом. Никогда не забуду, как он метался, совсем потерявшийся, да только никто уже и ничем не мог помочь».

В те дни в Малеевке находилась еще одна неразлучная пара — поэты Инна Лиснянская и Семен Липкин. Лиснянская постоянно навещала больную. Мне она рассказывала:

«Собирала Таню в больницу, та держалась мужественно. Уже не могла пошевелиться, лицо без кровинки, бледное как простыня, а распорядилась бодро: "Возьмите то-то... там!"»

На следующий день она умерла. Последний миг в больнице запечатлен в стихах Слуцкого:

Я был кругом виноват, а Таня мне
Всё же нежно сказала: — Прости! —
Почти в последней точке скитания
По долгому мучающему пути.

Преодолевая страшную связь
Больничной койки и бедного тела,
Она мучительно приподнялась —
Прощения попросить захотела.

А я ничего не видел кругом —
Слеза горела, не перегорала,
Поскольку был виноват кругом,
И я был жив,
а она умирала.

Слуцкий выглядел потусторонне, вспоминала Инна Лиснянская. И на похоронах, и в ближайшие недели от всяких попыток вступить с ним в контакт отговаривался, почти механически твердя одну и ту же фразу: «Таня в тот последний день сказала, что Инна очень добрая». Больше от него ничего нельзя было добиться. Даже заполучить его к себе на обед Лиснянской и Липкину, жившим в Москве по соседству, так и не удалось.

Смерть жены явилась не просто страшным ударом для Слуцкого, опрокинувшим весь его жизненный уклад. Она нанесла непоправимое поражение последним его попыткам одолеть судьбу, задержаться в жизни, идейно и нравственно сокрушила остатки его стоицизма, которому он следовал всегда. Она стала окончательным крахом его воззрений.

После похорон Борис Абрамович много ночей не спал. Затворившись у себя в кабинете, он писал и писал. Стихи лезли из него неудержимо. Откуда-то брались, слагались, многими десятками... Пока не пошел на убыль судорожный взрыв энергии. Пока поэт не выплеснулся до конца, не опустошился, не иссяк, весь не израсходовался в творческой вспышке. И это были последние стихи в жизни, которые он написал...

«В последующие три месяца после смерти Тани, — сообщает Григорий Бакланов, — он написал книгу стихов, он продолжал говорить с ней».

Жить дальше было незачем и не для чего. Когда-то он написал в стихах о своей умиравшей почти девяностолетней старушке матери, которую он, отсиживая в больнице, день ото дня кормил с ложечки, как беспомощное дитя, — «вся исписана страница этой жизни». Теперь так же, до конца, была «исписана» его собственная страница.

Песня поэта оборвалась. Но физически он оставался жить, и продолжали печататься новые книги и неизвестные стихи Слуцкого, до читателя доходил свет уже погасшей звезды.

Появившийся в 1978 году сборник «Неоконченные споры» открывается стихотворением «Тане»:

Ты каждую из этих фраз
перепечатала по многу раз,
перепечатала и перепела
на лёгком портативном языке
машинки, а теперь ты вдалеке.
Всё дальше ты уходишь постепенно.
.....
Всё то, что было твёрдого во мне,
стального, — от тебя и от машинки.
Ты исправляла все мои ошибки,
а ныне ты в далёкой стороне,
где я тебя не попрошу с утра
ночное сочиненье напечатать.
Ушла. А мне ещё вставать, и падать,
и вновь вставать.
Ещё мне не пора.

Том стихотворений «Избранное. 1944—1977» (М., 1980), выпущенный издательством «Художественная литература» к его 60-летию, Борис Слуцкий предварил печатной надписью, вновь обращенной к жене, не к ее памяти, а к ней самой, так, будто бы она живая: «*Посвящается Татьяне Дашевской*». Он жил уже только прошлым.

Неоконченные споры

Последний сборник, составленный из стихов, который он готовил на исходе сил и предчувствуя даже, что силы никогда не вернутся, что жизнь закончена, вышел через год после смерти Тани. О многообразном содержании этой книги и длинном шлейфе острых гражданственных стихов, издавна ходивших по рукам, но и на этот раз не пропущенных цензурой, отчасти уже упоминалось. За бортом остались многие стихи о казарменном социализме, о Сталине, о фальшивой морали, воцарившейся в стране, об античеловеческой природе правящей бюрократии и т.п.

Борис Слуцкий назвал эту книгу очень уж в своем духе — «Неоконченные споры» (М.: 1978).

...Неоконченные споры
не окончатся со мной.

Я читал сборник, когда Слуцкий уже находился в больнице. Это довольно объемистая книжка, около ста пятидесяти произведений. Тон задают стихи «окончательных истин», к которым пришел автор. Он слышит «звездные разговоры» (название одноименного стихотворения). Много поэтических рассуждений о жизни и смерти, о преодолении страха, о сострадании, жалости и милосердии, о творчестве. И, конечно же, без чего не может быть Слуцкого, — о человеческой стойкости, о вечной ценности живого. Иллюзий почти не осталось. Трезвый и безжалостный взгляд на себя пронизывает книгу.

О горечи тона и о том внутреннем приговоре, который он собирался вынести самому себе, можно судить хотя бы по стихотворению, шутливо названному «Литературная консультация». Интересно оно еще и тем, что здесь Слуцкий ставит как бы беспощадную точку в своей «философии молодости». По крайней мере — для себя самого, каким он стал, теперешнего. В иронической форме он подводит итог собственной жизни и делает жесткий вычеркивающий жест. Трагедия гибели прикрыта насмешкой:

Молодому поэту казалось, что я был всегда,
Молодому поэту казалось, что мне хорошо.
Между тем, между тем, между тем
он счастливей меня.

Лучше юная зависть, чем старый успех.
Лучше юная неудача во всём,
чем такая законченность, когда закончено всё
и не хочется начинать ничего.

Я могу ему дать совет. Я могу позвонить.
Я, конечно, замолвлю словцо.
Он, конечно, не может мне подарить ничего,
кроме гула в стихах.

Может быть, он бездарен, но бездарь его
молода.

Может быть, он завистлив, но зависть его
молода.

Может быть, он несчастен. Его молодая беда
лучше десятилетий удач и труда.

Потому что начало счастливей конца. Потому
что мне нечего, нечего выдать ему,
кроме старой сентенции, лёгкой, как дым,
что не мне хорошо. Хорошо — молодым.

Почти космическое ощущение беспредельной сложности жизни, заявленное еще в «Лошадях в океане», разрослось в настойчивый мотив поэзии Слуцкого. Даже маленькая жизнь человека — «черта между датами» (название!) — необъятный космос: «Черта между датами двумя — //река, ревушая ревмя, // а миг рожденья — только миг, // как и мгновенье смерти, //и между ними целый мир. //Попробуйте измерьте».

И у каждого в этом мире свое предназначение, от исполнения которого нельзя уклониться. Лично себе, перед последним броском, поэт представляется скорей всего «собакой с миной на ошейнике», четвероногим камикадзе, описанным в одноименном стихотворении: «Хмурая военная собачка // с миной на ошейнике идёт. // Собачей в расстёгнутой рубашке // За собой её ведёт...// По своим каналам информации // — ветер, что ли, сведения нанёс — // перспективы для собачьей нации // знает этот хмурый, хмурый пёс».

Конечно, и в этом в определенном смысле прощальном сборнике есть стихи, вызванные приливом жизненных сил, источающие притягательные соблазны, яркие краски и прелести бытия. Достаточно назвать нарядный и безмятежный — «Очередной отпуск». Но это именно лишь паузы и короткие передышки в главном переживании, которым захвачен поэт.

Он подводит итоги, старается определить главные нравственные ценности в этом скоротечном и жестоком земном существовании. И каковы же они? Слуцкий не отказывается от того, что утверждал прежде. Но взгляд поэта становится шире, оценивает себя и людские поступки с позиций вечности.

Вот они, стихи о долге — «Самый старый долг»: «Самый старый долг плачу: // с ложки мать кормлю в больнице...» Природа поменяла местами самых родных людей двух поколений — уходящую из жизни старушку-мать, хлопотунью и бывшую музыкантшу, и сына. В конце пути, как он прежде оглядывался на отца, теперь оглядывается на мать.

Или вот стихи о том, что остается нравственно самого ценного в человеке, когда он физически изнашивается, — «Стариковские костюмы»: «Изнасились, а кроме того, прохудились, // Поистратились, кроме того, издержалось // То, что бурей носилось, // Смеялось, // Гордилось. // Что осталось? // Остались лишь совесть да жалость».

Долг, совесть и жалость — может быть, самые устойчивые и прочные из нравственных скреп, которые остаются в людях до конца.

Меняются и самооценки и творческие ориентации поэта. Выше всех — гармоничный Пушкин и затем Некрасов с его музой народной мести, скорби и печали. Но теперь среди образцов мировой художественной классики даже притягательней Толстого, Щедрина и Гоголя для него Достоевский, певец жалости и сострадания. И еще — Шекспир, бард огненных страстей. Показательна стихотворная декларация — «Похвала средним писателям»: «Средние писатели видят то, что видят, // пишут то, что знают, // а гении // вроде Толстого, Тургенева, // не говоря уже про Щедрина и Гоголя, // особенно Достоевского, // не списывают — им не с кого...».

Или же так — в стихотворении «Большие монологи»: «Но лишь глаза открою, // взирают на меня // шекспировские брови // над безднами огня».

Эти качества поэзии Слуцкого, быть может, особенно полно выразившиеся в сборнике «Неоконченные споры», и отмечал впоследствии в газетном отклике на кончину поэта Давид Самойлов, его друг и литературный соперник, вспоминая о почти пятидесяти годах отношений с ним. Теперь, когда все было кончено, не к чему было лавировать и нечего скрывать.

Вот почему прежде всего Д. Самойлов пишет о личности покойного, о том, какой ценой доставалась тому его «правильность»: «Слуцкий казался суровым и всезнающим... Те, кто близко его знал, хорошо понимали, что под этим жестким обликом скрывалась душа ранимая, нежная и верная... Он казался монолитом и действительно был целен, но эта цельность была достигнута преодолением природы не гармонической, раздираемой противоречиями и страстями».

И вот что интересно: те самые противоречия и страсти, что в жизни взнуздывал в себе Слуцкий, старался подавить, скрыть и упрятать поглубже, и которые, доверясь свойствам и порывам его таланта, изливались в стихах, — и оказывались на поверку самой сильной стороной его творческой природы. Так что Слуцкий-поэт не просто взламывал хорошо тренированный образ, который иные в житейском обиходе принимали за единственно подлинный облик Слуцкого, лучшие его стихи высвечивали и обнажали по существу то главное, кем был Слуцкий-человек. И прежде всего — его большую сострадательную душу.

«В военном поколении, — отмечает Давид Самойлов, — богатом яркими талантами, Слуцкий был одним из признанных лидеров. Он был не только другом, он был учителем своих сверстников...» И дальше: «Рано проявились в поэзии Слуцкого черты, которые до сих пор скрыты от многих читателей. Он

кажется порой поэтом якобинской беспощадности. В действительности он был поэтом жалости и сочувствия... Я уверен, что именно так надо рассматривать поэзию Слуцкого, и черты жалости и сочувствия, столь свойственные великой русской литературе, делают поэзию Слуцкого бессмертной».

Способ самоубийства

Недаром в одной из медицинских книг говорится, что затяжная депрессия, помимо физических причин, это измышленный прием ухода из жизни, намеренный способ самоубийства.

В писательском Доме творчества Дубулты, под Ригой, где одно время находился Слуцкий, друзья заметили, что он не вышел из своей комнаты к завтраку, затем к обеду... Он лежал на кровати, заложив руки за голову, и неподвижно смотрел перед собой. Когда его спрашивали, почему он опять не выходил из комнаты, Борис Абрамович отвечал только: «Просто я никого не хочу видеть». У него началась тяжелая затяжная депрессия.

Александр Межиров, навещавший Слуцкого в больнице, рассказывал мне, как Борис Абрамович впервые переступил порог общей палаты для душевнобольных, где находилось еще пять или шесть постоянных жильцов. Опустившись на указанную ему койку, Борис Абрамович осмотрелся, затем так, чтобы слышали все присутствующие, вежливо, но строго предупредил: «Учите, я ни с кем не разговариваю!» Затем лег, натянул на голову одеяло и замолк.

В начале долгих больничных скитаний Слуцкого навестил Олег Чухонцев. Визит воспроизведен в его мемуарном очерке. Есть там и фраза Слуцкого, свидетельствующая о значении, которое он придает религии: «Я был неправ. Все, что увеличивает удельный вес человека в этой жизни, все религиозные доктрины, они нужнее всего». Мемуарист ее никак не комментирует. Между тем она вырвалась не случайно. Она выражает важный момент в многолетних духовных исканиях поэта, начавшихся еще в военные годы. Вот одно из прямых подтверждений.

У Слуцкого есть баллада «Госпиталь», написанная осенью 1945 года. Действие происходит в полевом госпитале, наспех оборудованном в сельском клубе, исконном помещении православного храма. В похожем госпитале на Смоленщине с первым фронтовым ранением лежал сам Слуцкий: «Здесь // ставший клубом // бывший сельский храм, // лежим // под диаграммами труда, // но прелым богом пахнет по углам — // попа бы деревенского сюда!»

«В такой именно госпиталь, — вспоминал позже Слуцкий, — меня привезли вечером 30.7.1941 с ранением в плечо. Здесь я провел ночь под диаграммами труда, висевшими на замазанной церковной живописи». Остальное — отголоски слышанного рассказа в переплаве поэтического вымысла. Согласно сюжету баллады, неподалеку друг от друга оказались двое тяжело-раненых — пленный немецкий унтер-офицер и наш комбат: «Под фресками в нетопленном углу // Лежит подбитый унтер на полу. // Напротив, // на приземистом топчане // Кончается молоденький комбат. // На гимнастерке ордена горят. // Он. Нарушает. Молчанье. // Кричит! // (Шёпотом — как мёртвые кричат.) // Он требует, как офицер, как русский, // Как человек, чтоб в этот крайний час // Зелёный, // рыжий, // ржавый // унтер прусский // Не помирал меж нас! // Он гладит, гладит, гладит ордена, // Оглаживает, // гладит гимнастерку // и плачет, // плачет, // плачет // горько, // Что эта просьба не

соблюдена. // А в двух шагах, в нетопленном углу, // Лежит подбитый унтер на полу. // И санитар его, покорного, // уносит прочь, в какой-то дальний зал, // Чтоб он, // своею смертью чёрной // комбата светлой смерти // не смущал».

Саркастическая ирония: «*Чтоб он своею смертью чёрной комбата светлой смерти не смущал!*»! Вроде бы все на стороне умирающего комбата: и ордена, свидетельствующие о прежнем героическом поведении, которые он демонстративно гладит и гладит, и сочувствие окружающих, и действия санитаря, который уволаскивает валяющегося на полу покорного умирающего пленника куда-то подальше. Понятна и ненависть к одному из врагов, которые в Отечественную войну столько натворили на нашей земле. И все-таки комом застревает в нормальном человеческом восприятии, что мученические процессы смерти, когда от умирающего уже ничего не зависит, разделены на «черный» и якобы «светлый». Хочешь того или нет, но поведение умирающего комбата выглядит как последнее самолюбование, фальшивая рисовка и театральщина. Тем более, что происходит все это в бывшем храме, где и в настенных фресках, и в самом воздухе еще витает прежний божественный дух смирения и прощения.

Этой грубоватой и достаточно прямолинейной по внешнему рисунку балладе, которую многие коллеги считали вещью приемлемой, но вполне проходной, Слуцкий придавал исключительное значение в своей духовной и творческой биографии.

В разделе «Мои стихотворения» его автобиографических заметок выделены и разбора удостоиваются только четыре стихотворения, три из которых снискали широкую известность — «Лошади в океане», «Физики и лирики» и «Давайте после драки помашем кулаками». Четвертое — широкому читателю неизвестный «Госпиталь»...

«ГОСПИТАЛЬ» в моей литературной судьбе имеет чрезвычайное, основополагающее значение... — подчеркивал Слуцкий. — Сочиненная примерно за год до этого «Кёльнская яма» — тоже стихи, но сочиненные как бы сами по себе, по вдохновению и притом сразу, в одну ночь. А «Госпиталь» задумывался, выстраивался, писался, переписывался в течение многих месяцев, точнее говоря, лет». Как видим, не месяцев и дней даже, а лет.

Более того. После «Госпиталя» поэт из-за болезни три года вообще ничего не писал. «Болел я так активно и целеустремленно, — признается Слуцкий, — что часто думал — писать больше не придется и «Госпиталь» — единственное стихотворение, которое нравится мне самому».

Конечно, при постоянных доработках текста Слуцкий постигал и некоторые важные для строя баллады секреты поэтической формы. Но главным все-таки оставалось содержание. «О чем, собственно, стихотворение? — продолжает он. — О взаимном ожесточении, мало свойственном мне, как и большинству людей. Но охватившем обе воюющие армии... До сих пор в «Госпитале» мне нравится отношение к религии, понимание непростоты, неполноты, неоконченности ее упразднения» (курсив мой. — Ю.О.). Об этом, собственно, и написана баллада.

В другом повороте весьма сходную мысль Б.А. развивал теперь перед навестившим его посетителем.

Религиозные, вернее сказать, философско-религиозные искания Слуцкого — тема особая и до сих пор нетронутая. Но линия обращений поэта к идее Бога от первых фронтовых потрясений и до конца жизни очевидна. «Я тебе не молился — взмаливался тебе», — написал он в одном из приводившихся стихотворений. «Взмаливался» — то есть душою вызывал к Богу в самые трудные,

безысходные и мучительные моменты существования. А сколько их было в этой его тяжелой и праведной жизни — трудно подсчитать. Доходил ли при этом столько перестрадавший человек до евангельской мольбы отчаяния: «Господи! Помоги моему неверию» — кто скажет. Верней всего, останавливался на полпути. Избавление было так близко и так недостижимо. Душа его билась, как бабочка о стекло...

Но вернусь к рассказу О. Чухонцева: «Б.А. лежал на койке, предложил мне сесть. Сильно поседел. Усы неряшливо топорщились. Койка железная, байковое одеяло, рядом, у противоположной стены — стандартный столик с единственным стулом, за ним чугунная батарея, больше ничего...» После необходимого бытового разговора Б.А., помогая собеседнику, сам заговорил о Татьяне: «Я думал, это я поддерживал ее все эти годы, двенадцать лет, а это она меня держала...» Потом через большую паузу: «Я был неправ. Все, что увеличивает удельный вес человека в этой жизни, все религиозные доктрины, они нужнее всего». Пауза. «Вот дадут тебе вместо жены банку с пеплом...» Потом через паузу: «Приходят ко мне, рассказывают про кинофестиваль. Про фильмы, чтобы отвлечь. А мне хочется разбить голову о радиатор!» Дальше не помню — это был не разговор, а монолог, даже не монолог, а отдельные фразы, которые он глухо выкрикивал кому-то, кого не было с нами... Надо было прощаться. Вдруг как-то остро — осмысленно, как прежде, посмотрел на меня в упор: «Вы с Таней или с Ирой?» (Таня — бывшая жена, а Ира — та, с которой Слуцкие познакомили рассказчика в Коктебеле. — Ю.О.). Я замешкался от неожиданности, а он, не дожидаясь ответа, отвалился к стене... Больше я его не видел».

Так, произнося по большей части только самые необходимые слова, он пролежал в больничных палатах несколько лет. Иногда читал книги, связно, но без особого интереса разговаривал с посетителями. Всегда вежливо благодарил за визит, за передачу, но просил поскорее уйти, потому что устал, ему тяжело их видеть, трудно поддерживать беседу.

Одному из близких друзей, который, заблаговременно позвонив по телефону, собирался приехать, даже со вздохом соболезнования ответил: «Нет... Не надо... Не к кому приезжать».

В заболевании Слуцкого просматривалась странная, однако же, своя логика. Жизнь не хотела развиваться по тем разумным и добрым установлениям, как того чаяла нежная и справедливая душа поэта, она не захотела быть правильной, не подчинилась его воле. И тогда он сделал свой выбор — сам отвернулся от такой жизни... Но альтернатива у жизни, как известно, одна — небытие, смерть.

В те короткие периоды, когда Борис Абрамович выписывался из больницы и жил дома, раз или два мне доводилось видеть его в коридорах литфондовой поликлиники, куда он приходил на процедуры. Слуцкий двигался по коридору неестественно прямо, будто шел в пустоте. Смотрел на встречающих слепо в упор, не слыша приветствий и не замечая знакомых лиц. Это было страшно.

Существуют разные способы самоубийства. Хемингуэй — тоже в значительной мере военный писатель, как и Слуцкий. Может, и от этого еще — один из любимых его авторов. Он покончил с собой в июле 1961 года, когда ни о чем подобном Б.А. даже и не помышлял. Но причины для такого конца были сходные.

Бравый храбрец и отчаянный кутила, Эрнест Хемингуэй, страдавший наследственной депрессией, последние годы жизни из-за этого подолгу лежал в

нервно-психиатрических лечебницах. Он не мог больше писать, как прежде, а новые машинописные страницы доставляли ему страдания. Уровень был негодящим, постыдным. Борясь с явным и неизбежным разрушением личности, писатель мучительно искал избавления. Однажды при транспортировке из дома в одну из больниц другого американского штата он незаметно для сопровождавших попытался выпрыгнуть прямо в облака из летящего самолета. Неоднократно делал попытку застрелиться, от чего его спасала неотступно следившая за ним любящая жена. Но однажды в какие-то минуты она не углядела. И Хэм, пробравшись в подвал дома, покончил с собой из охотничьей двустволки, нажав на спусковой крючок пальцем разутой ноги. Из той самой любимой охотничьей двустволки, с которой, взяв ее наперевес, кажется, еще не так давно бродил в Африке, по снегам Килиманджаро. Через три недели без малого ему исполнилось бы 62 года.

Военный комиссар Б.А. был более спокоен и рассудителен. Он не накладывал на себя руки. Не проглатывал две пригоршни снотворных таблеток (как сделала сломавшая шейку бедра престарелая Лиля Брик), не выпрыгивал из окна, не бросался под поезд, не вешался и не стрелялся. Но мысленно и на деле вычеркнул себя из жизни. Прежнего Слуцкого больше не существовало. Не было — и все. Нет! Он ушел, скончался, умер, пропал. И о том, прежнем Слуцком, он не хотел даже ничего больше слышать и знать. Ни как тот прежде жил и существовал, ни что его прежде занимало и окружало, какая сохранилась о нем память в людях. Ничего. Ровным счетом ничего.

Дело доходило до парадокса. В те дни и ночи, когда он после похорон Тани, затворившись от всех, говорят, три недели подряд, а может, и гораздо больше, днем и ночью писал стихи, было там и обращение к друзьям, звучавшее, как завещание: «Умоляю вас, // Христа ради, // с выбросом просящей руки, // раскопайте мои тетради, // расшифруйте дневники».

Завещанием эти строки, безусловно, и являлись. Именно этим и занимался его душеприказчик Юрий Болдырев. Но теперь даже и исполнение собственного завещания Слуцкого не интересовало.

...Последние три года Борис Абрамович провел в Туле, в семье младшего брата Ефима, в прошлом подполковника (Меир Амит повысил его в чине), а теперь ведущего инженера заводского конструкторского бюро. Среди родных он вроде бы даже отогрелся душой, стал чуточку приходить в себя. Очень совестился только, что обременяет близких, и старался быть им чем-то полезным.

Строго следил, чтобы младший племянник вовремя готовил уроки, занимался с ним арифметикой и чистописанием. Обязательно сам после общей еды мыл посуду. Впрочем, и здесь не хотел показать, что чем-то интересуется сверх принятых на себя семейных обязанностей. Когда брат или невестка заставляли его одного в комнате читающим газету, мгновенно старался запрятать газету под стол или даже сесть на нее. Никто не должен был думать, что внешний мир хоть каплю его занимает.

В тот день Борис Абрамович, позавтракав, как всегда, перемыл на кухне посуду, протер и расставил по полкам и проволочным секциям тарелки, блюда, чашки, стаканы, разложил в ящиках чистые ложки, ножи и вилки. Вышел с кухни в соседнюю комнату. И на пороге рухнул замертво. У него случилось кровоизлияние в мозг. Борис Слуцкий умер так же, как и жил. Исполнив свой долг, по-слуцки.

Золотые страницы «ДФ»



* * *

В воздухе души свободно летают, как мухи.
Даже свободней — как рыбы в проточной воде.
Души, конечно...
Но есть ещё, помнится, духи.
Всё это — там! — по земным представлениям: нигде.

Господи, Господи!
Приговорённый стою —
Смерть у стены не страшна и не радует битва.
Если молитвой я струны твои достаю,
Дай мне уйти — без вражды! — как уходит молитва...

Бригадная похлёбка

Рассказ

На четвертом году войны аймак второй бригады, или, по уличному прозвищу, Аймак чукоедов, обезлюдел и погрузился в безмолвие. Казалось, что в этих ветхих избах, занесенных по самые окна снегом, нет и не может быть жизни. Только хилый дымок, курившийся над чьей-то крышей, давал знать: мы еще живы, мы еще живы...

Война призвала с хлебных полей пахаря и сеятеля на свои изрытые снарядами поля.

Теперь пахарями, сеятелями колхозных полей стали молодайки-солдатки, созревшие к выданью девушки и девушки-подростки. И почва, как будто чуя отсутствие мужика-хозяина, оскудела урожаем.

Голод подкрался к деревне исподволь, но недоед начался на втором году после неурожая, когда съели скудные прошлогодние запасы. Взрослые, зная по прежней жизни, что войне сопутствует голод, безропотно терпели, подростки же понимали, что все съестное послали на фронт, а малыши, едва помнящие недавнюю сытную жизнь, думали, вернее, им казалось, что хлеб у них отнял плохой немец и папы ушли, чтобы вернуть этот хлеб своим детям. Они хотели есть, с утра до вечера хотели есть, терзая матерей голодным плачем.

Сопутствуют войне и болезни. И до войны, бывало, чахотка убивала целые семьи. И никак невозможно было вылечить. Старики говорили, что в прежние времена, при царях, башкиры не знали этой болезни. Одни уверяли, что чахотку занесли заводские рабочие вместе с водкой, другие — что это большевики заразили народ за непокорность.

Не обошла чахотка и Минзифу, дочь раскулаченной семьи Низамитдина и Муниры. Незадолго до войны Низамитдин вернулся откуда-то из Сибири, где работал на шахте, и поселился в маленькой, как баня, избушке, потому как прежний «кулацкий» дом ему не вернули. И умер, выхаркивая изъеденные чахоткой легкие. Наверное, от отца и перешла болезнь Минзифе. И затаилась до времени в ее крови. И она, молодая, веселая, хохотунья и певунья, не заметив болезни, успела выйти за грамотного, тоже голосистого парня Миндибая

Анатолий Генатулин (Талха Юмабаевич Гиниатулин) родился 20 апреля 1925 года в д. Уразово Учалинского района. Воевал, награжден орденами Славы, Отечественной войны. Народный писатель Республики Башкирия. Автор книг «Вот кончится война», «Нас остается мало», «На пороге родного дома», «Что там за холмом» и др. Отдельные рассказы и повести переведены на многие языки, изданы за рубежом.

Рахматуллина и родить сына. Но в сорок втором, получив «бумажку», почернела лицом и погасшим взглядом устала куда-то в пустоту. И вот тут-то набросилась на нее притаившаяся чахотка.

Поначалу пыталась лечиться, заваривала какие-то травы, ела «алою», столетник, росший в горшках на подоконнике, но при скудной еде и с душой, загнанной горем, не смогла одолеть болезнь. Потом малость отошла от горя и, осознав, что теперь весь смысл ее жизни — это ее сын, шестилетний Рифат, с головой ушла в заботу о нем. Накосила за рекой и перевезла на ручной тележке стожок сена для коровы и воз соломы из колхозной скирды. Только с дровами было трудно. Пришла в правление, к председателю Юнусу, старику лет под шестьдесят, который руководил колхозом вместо ушедшего на фронт Рамазана: мол, помощи с дровами семье погибшего фронтовика. «Поможем, обязаны помогать, — сказал Юнус. — Только вот кого я пошлю за десять верст за дровами... Зимы еще нет... Поможем».

Помогли. На задворках умершей недавно старухи Магрифы догнивала старая баня. Раскатав ее, перевезли бревна во двор Минзифы. Двуручной пилой Минзифа одна распилила пересохшие осинового бревна.

Молодую картошку стали есть уже в июле. Теперь Минзифа спокойно думала: что бы с ней ни случилось, зиму они переживут не в холоде и не в голоде. Хлеба, правда, не будет, но молоко, картошка с катыком не дадут умереть.

Однажды к ним зашел бригадир Шарифулла, негодный для войны старик. Он ни за что не хотел взваливать на свои старые плечи дела и заботы второй бригады («Какой из меня бригадир, кто будет меня слушаться?»), но когда ему намекнули на трудармию, он, не зная, что стариков ни на войну, ни на трудовой фронт не волокут, согласился.

Говорили, что как-то в правлении, когда на старика напустился «бронированный» председатель сельсовета Лукманов с руганью, — мол, почему у тебя на молотье никто не работает? — старик сказал: «Кого я заставляю, голодают ведь, силенок нет для работы, жалко их, варили бы хоть, как до войны, похлебки, может, вышли бы». Лукманов сказал: «Война, бабай, никого не жалеет. Если бы на фронте командиры жалели красноармейцев, мы не били бы фашистов!» — «Оно, конечно, я понимаю, но люди уже пухнут», — ответил старик. С того дня на молотье и на току к обеду стали варить бригадную похлебку.

Шарифулла поздоровался и как-то робко спросил:

— Как вы тут, не голодаете?

— Слава Аллаху, картошки выкопали шесть мешков, корова доится. Хлеба, конечно, не видим...

— Потерпите уж. Вот в газете пишут, что немца бьют уже в Польше, до Германии недалеко. Может, и муж вернется...

— Как он вернется, если в бумаге было написано «погиб»?

— Бумажка, она и есть бумажка. Бывает, ошибаются. Вон на скрипача Шаяхмата тоже была бумажка, а он в Уфе в госпитале лежал... — сказал бригадир. И еще раз так робко: — Минзифа, может, выйдешь на току поработаешь... а то одни ребятишки, какая работа от них, голодных... Сейчас на работе похлебку варят, бери с собой и мальчику, похлебаеете горяченького.

До первых заморозков Минзифа работала на току, сортировала зерно и отвозила на сушилку, после сушки — в амбары. В сентябре у нее пошла горлом кровь, и, обессилев, она слегла.

Всматриваясь в сына, словно пытаясь запомнить его личико, она думала о том, что будет с ним, если она помрет. И однажды высказала ему свою печаль.

— Мама, не умирай! Папа вернется! — выкрикнул Рифат.

— Если ты говоришь «вернется», он обязательно вернется. После войны жизнь снова будет такая же хорошая, снова будем петь веселые песни. Как мы с папой твоим пели... Едем на покосы — поем, возвращаемся — поем. У папы был голос красивый, когда он пел в гостях, выпившие мужики плакали. Как-то раз даже в клубе пел. Приехали какие-то дяди из Уфы, искали людей с хорошими голосами, и папа, может, в Уфу поехал бы, а тут война...

Болея, она готовила кое-какую одежонку для сына. Брюки мужа перешила для мальчика на вырост, починила сарыки, а пальтишко и ботинки, тоже на вырост, у него уже были.

В октябре, с первым зазимьем, резко похолодало, и Минзифа перешла на печь. В ноябре, после второго зазимья, ударили морозы, река ушла под лед и стал санный путь. К зимним холодам кончались дрова. Поленья из пересохших бревен сгорали, как солома, и не давали тепла.

Многие люди в годы войны, не имея возможности возить дрова из дальнего урмана, рубили и ломали сушняк за рекой и возили на ручных санках.

— Мама, я пойду нарублю за рекой сухой ольхи и протоплю печь, — сказал Рифат.

— Иди. Только осторожно махай топором, ногу не заруби, — отозвалась мать.

Рифат перешел по льду реку. Кое-где ветер смел со льда снег, лед еще был тонкий, прозрачный, как стекло, и мальчик видел, как на отмели по желтому песку проплывают рыбки.

За рекой в урмной чаще все было знакомо по летним заходам в это непролазь. Ольха, черемуха, кусты шиповника, боярышника, смородины. Если углубиться дальше — щедрая по осени калина. Ягоды, конечно, обобрали еще осенью, остатки поклевали птицы. Идти дальше сквозь заросли мешали санки. Мальчик узнал старую добрую черемуху. Она, толстая, высокая, все еще не засохла и летом обильно плодоносила. Ребята объедались черемухой и улыбались черными зубами. Сейчас она стояла голая и неприглядная, без листьев и белых цветов. Она спала до весны. Мальчик потрогал дерево — оно как будто было теплое. Вот несколько ягодок, мерзлых, сухих, но высоко. Летом он лазил туда и ломал ветки, сейчас дотянулся до ягодок, что висели ниже, сорвал и похрумкал сухими ягодками, напоминающими вкусом щедрое лето. Потом сорвал с колючих кустов мерзлые ягоды шиповника, нашел смородинку. Вот если бы все здесь было съедобное или если бы Аллах, жалея нас, развесил на ветках блины, пироги с ягодами...

Наломав и нарубив ольховый сушняк, он поволок дрова к деревне. Думал о том, что вот сейчас придет домой, а там папа вернулся...

Через день он снова перешел реку и углубился в чащобу дальше того места, где намерен рубить сушняк. И увидел высокий тростник с красивой головкой. Курай. На нем можно играть песни. В их деревне чаще звучала гармонь. На свадьбах, на праздниках играл на скрипке скрипач Шаяхмат. Он единственный умел играть и на курае.

Рифат срезал курай, принес домой. Мать сказала:

— Был бы жив отец, он тебе гармонь купил бы...

— Он жив, он жив! — выкрикнул мальчик.

— Ну если ты говоришь: жив, значит, он жив, — отозвалась мать.

Шаяхмат жил в третьем от проулка доме со стороны реки. Захватив тростник, Рифат зашел к скрипачу. Жена его, тетя Сакина, спросила:

— Как мама?

— Она на печке, болеет, — ответил мальчик и обратился к скрипачу: — Дядя Шаяхмат, научи меня играть на курае.

Шаяхмат повертел в руках сухой тростник, вздохнул:

— Это не будет играть.

Рифат приуныл, шагнул было к двери, но тут услышал:

— Постой, не уходи. Сакина, принеси-ка курай.

Сакина принесла из горницы курай — настоящий, желтовато-белый, гладкий, с дырочками.

— Вот он, настоящий курай, — сказал Шаяхмат. — В Уфе в госпитале мне подарил его башкир из Сибая. Рана у него была тяжелая, в живот, никак не заживала. Жена привезла ему курай из дому. И он играл для раненых, раненые башкиры, слушая курай, плакали... И научил меня играть. Когда я выписывался, говорит: «Шаяхмат, вот дарю тебе свой любимый курай, я, может, помру, а ты играй наши любимые долгие напевы». А я тебе дарю.

— А ты сам?

— Я не кураист, я скрипач. На скрипке у меня лучше получается.

Он приложил курай к левому углу рта, впритык к желтым от табака зубам, и заиграл. Рифату почудилось, что он с макушки высокой-высокой горы озирает землю, и земля эта, очень красивая и печальная, уходя за горизонт, все ширится и ширится...

— Теперь попробуй ты, — сказал Шаяхмат, вытер кончик курая рукавом и подал мальчику. — Левой рукой берись за нижний конец, вот так, палец держи вот на этой дырке. Зубы верхние целы?

И объяснил, как приставить к зубам верхний конец курая и как при помощи пальцев и губ извлекать долгий красивый звук. Я вижу, ты мальчик сообразительный, у тебя получится.

Дома с порога сообщил:

— Мама, дядя Шаяхмат мне курай дал и научил играть! Но он у меня еще не играет. Я научусь, мама, и буду играть, как дядя Шаяхмат!

— Учись, сынок, учись. Когда меня не будет, мои и папины песни твой курай будет петь.

— Не говори так, мама! — сердито возразил Рифат, — ты будешь, и папа будет!

— Будем, сынок, будем. Вместе будем ездить на покосы, мы с папой будем петь, а ты будешь играть на курае...

Днем она слезала с печи, варила картошку, ели ее без хлеба и катыка. Корова доилась, но молока хватало только забелить чай. Она оказалась яловой, потому что в стадо ее не выгоняли, боясь, что, как уже случилось с коровами и бычками соседей, увезут ее на мясо. Кормили травой, что наскребли за рекой и возили на ручной тележке.

В начале марта Минзифе стало совсем худо. Она больше не слезала с печи, мерзла. Буйствовал мартовский акман-токман, и послать за реку мальчика за сушняком Минзифа опасалась.

— Ломай плетень... Папа вернется — новый забор поставит.

Рифат развалил плетень, разрубил пересохшие прутья и протопил большую печь, затем плиту. В избе потеплело.

В свободные от хозяйственных забот часы Рифат пытался выдуть из курая звук, похожий на песню, дул до потемнения в глазах, но курай не хотел петь. Идти к Шаяхмату за советом стеснялся.

Однажды мать позвала его к себе и усталым голосом сказала:

— Сынок, сходи к Камиле, пусть поможет мне перелечь на саке.

Тетя Камила сказала:

— Конечно, не умирать же ей на печи.

— Не умрет она! — выкрикнул Рифат.

— Не умрет, не умрет, только не кричи, — сказала тетя Камила.

Дома она поверх старого шерстяного паласа постелила стеганое одеяло, положила чистую перину, и они вдвоем осторожно переложили Минзифу на чистую постель, а пропахшие болезнью тряпки вынесли в чулан. Потом тетя Камила сварила картошки и ушла. Вечером Рифат перебрался на мамино место.

Он, еще когда был маленький, любил карабкаться на печь и прятаться там за трубой от жизни взрослых. Там и тогда жили тараканы. Перед войной отец морил их, а теперь они снова вернулись. Рифат мирно уживался с ними, они были существа невинные, не кусались, как клопы, днем дремали, облепив трубу, а ночью разбрелись в поисках еды, шуршали где-то.

Минзифа совсем ослабла, с трудом вставала и, держась за стены, ходила к тазику.

Она, как-то пугающе странно всматриваясь в лицо сына, произнесла слабым голосом:

— А ведь я думала: женю тебя, и у меня будут внуки. — Помолчала. — Рифат, запомни вот эту песню, мы с папой любили ее петь. Правда, у меня сейчас такого голоса нет, грудь больная...

И слабым голосом пропела протяжную песню...

Редко кто к ним заходил. Даже тетя Камила как будто стала забывать их. Часто заглядывала только мать Азата, тетя Карима, соседка через дом. Азат тоже подрастал без отца, от которого вот уже столько лет не было ни слуху ни духу.

Тетя Карима кручинилась:

— В деревне у Минзифы столько родни, хоть кто-нибудь помог бы мне помыть маму твою в бане. Одна я не могу, я ведь тоже еле хожу от голода. Совсем Бога забыли...

Рифат понимал, — случайно слышал разговоры взрослых, — они боялись заразиться чахоткой. Особенно стали бояться после того, как фельдшер с марганцевого рудника, навестив больную, сказал: «Неаккуратно живете, из одной посуды с детьми едите, чахоткой можно заразиться даже от дверной ручки, когда заходите к больному, почаще мойте руки».

Как-то Рифат спросил у мамы:

— Мама, в одной твоей песне ты пела о каком-то городе Шамшарифе. Где этот город?

— Не знаю, сынок. Песню эту я слышала от твоей бабушки. Она говорила, что в том городе зимы не бывает. Я знаю другой город, Самарканд. Папа рассказывал. Там тоже зимы не бывает, там яблоки растут, хурма.

— А далеко от нашей деревни этот город?

— Папа говорил, что очень далеко, на юге.

— А где юг?

Тут она раскашлялась, сплюнула в тряпку и через силу проговорила:

— Не стой рядом, когда я кашляю...

Однажды, продувая курай до головокружения, он вдруг извлек высокий протяжный звук. Запомнил, как это вышло, и повторил, и зажимая пальцами по очереди дырочки, понял, что курай поет голосом то низким, то высоким. Это было вечером на печке, и он, радуясь, что получилось, нечаянно уснул. А утром, желая похвалиться перед матерью, крикнул:

— Мама, у меня получилось, курай играет!

Мать ему не ответила. Не ответила и на повторное обращение. Очень уж было тихо в избе.

Рифат слез с печи, подошел к саке: мать спала, глаза были закрыты, дыхание не чувствовалось. Рифат притронулся к ее лицу — оно было холодное. Вечером он протопил печь, но к утру изба выстыла.

«Мама замерзла!» — подумал Рифат и побежал к тете Камиле.

Тетя Камила с бабушкой и дочкой Таслимой жила на соседнем аймаке, что у подножия Пожарной горы.

— Мама замерзла! — выдохнул с порога Рифат.

— Чего орешь?! Как замерзла? Не топил, что ли?

— Топил. А у нее лицо холодное... И не кашляет...

Тетя Камила на минуту онемела и, как от сильной боли, запричитала, застонала:

— А-а-й, а-а-й, как я буду ее хоронить?! Кто будет долбить мерзлую землю?! Иди домой, чего стоишь! Протопи плиту, поставь греть воду, зайди к бабушке Гайше, скажи: мама умерла...

Рифат потом не помнил, как бабушка Гайша, повитуха аймака, и тетя Карима, соседка, переложив мать на скамейку, обмыли, снова положили на край саке, запеленали в саван. Ночевать Рифат пошел к тете Камиле, а бабушка Гайша, оставшись одна возле покойницы, читала еназу.

А на другой день надо было копать могилу. Земля промерзла до двух метров, оттает только в июне...

Тетя Карима сказала:

— Иди к бригадиру. Пусть похоронит маму твою.

Рифат нашел бригадира у ворот, в сугробе, наметанном ночью, — он пробивал тропку к калитке.

— Шарифулла-бабай, мама сказала, чтобы ты ее похоронил.

Потрясенный смертью матери, мальчик стал ошибаться в сознании. Ему казалось, что привычный мир развалился и стал ощущаться как два мира. Голоса мамы и тети Камилы были очень похожи, наверное, это мама сказала «иди к бригадиру...», хотя краешком сознания Рифат понимал: мамы нет. Но как это — мамы нет?! Как же это без мамы?! Она, запеленутая в белый саван, лежит на краю саке...

— Что-что?! — опешил бригадир, всматриваясь в мальчика незнакомым взглядом.

— Мама умерла, — нашелся Рифат, — ее надо закопать.

Старик помолчал и сердито сказал:

— Как?! Вот ты скажи мне, как я ее похороню?! Сам я не могу копать мерзлую землю. Заставлять баб, старух, ребятишек? Все голодают, болеют. Скоро я сам помру, кто меня похоронит? — Он занес во двор лопату и уже спокойней сказал: — Идем.

Дома были тетя Камила и соседка тетя Карима. Шарифулла подошел к саке, помолчал, вытирая тылом ладони глаза, сказал:

— Какая была женщина! Какая была семья, люди завидовали! — и ушел. И через полчаса под окном остановилась лошадь.

Вернувшись, бригадир уже спокойно распоряжался.

Вдвоем с тетей Камилей завернули тело в старый палас и вынесли на сани. Рифат присел сбоку. Тетя Камила и соседка остались дома. Когда ехали по улице, никто их не провожал, никто не выглянул из ворот, но в окна, кажется, глядели...

Въехав в покосившиеся кладбищенские ворота, остановились возле торчащего из земли большого камня.

— Вот здесь лежат твои деды, — сказал старик. — Подсоби.

Тело мамы оказалось совсем легоньким. Положив его на снег возле камня, направились к воротам.

— А когда ее закопают? — спросил мальчик.

— Похоронят... Ни один покойник не остается на земле.

Тут Рифат почувствовал, что не хочет уходить с кладбища, от маминого тела. Ведь он, сколько помнил свою жизнь, всегда был рядом с ней. А теперь там, куда возвращается, там нет мамы...

— Я пойду пешком, — сказал он и слез с саней, и, преодолевая желание вернуться на кладбище, побрел к деревне.

Тетя Камила сказала:

— Будешь жить у нас.

Рифату нигде не хотелось жить без мамы, но он промолчал.

Корову, которую уже нечем было кормить, тетя увела в свой двор. В подполе осталась только картошка, подпол был еще теплый, да скоро потеплеет и на дворе.

— Весной картошку будешь сажать, — тетя взяла одеяло, перину, а матрасик, на котором умерла мама, выбросила на задворки и сожгла.

Теперь в маленькой, как землянка, избушке их стало четверо. В маленькой избе и саке было неширокое. Бабушка спала с краю возле сундука, на котором громоздились перины, одеяла. В первую ночь для Рифата на саке не стелили. Таслима, двоюродная сестра, старше Рифата года на три, сказала:

— Пусть не ложится рядом со мной, а то его вши переползут ко мне.

— Завтра я его обноски прожарю в бане и его вымою, — сказала тетя Камила и постелила для племянника на тесной скамейке между столом и стеной.

Еды, то есть хлеба, не было. Ели картошку в мундире, запивая чаем из мятрушки, или катык с черной лепешкой.

— Вот какой хлеб мы едим, — говорила тетя Камила, — мякина да лебеда с картошкой. От лебеды у тебя судороги будут. Ты не бойся. Как начнутся, сильно шевели ногами и руками.

Маленькая, как шалаш, избушка требовала мало дров. Охапка березовых полешек — и жарко, как в бане. А березы были в полуверсте от деревни. До войны строго запрещалось рубить эти березы на дрова. Но в годы войны валили все березняки в окрестностях.

Тетя Камила выпросила у бригадира лошадь и сани и вместе с Рифатом поехала в лесок. Рубила она, а Рифат обрубал ветки. Этих дров хватало на целый месяц, да еще топили баню. Живя у тети, Рифат почувствовал, что тетя Камила оказалась вовсе не такой, какой виделась ему в довоенном младенчестве. Тогда она, казалось, души не чаяла в племяннике. Наверное, любила его. И голос у нее был другой. А сейчас, когда она злилась, голос ее делался и вовсе чужим, пугающе резким. А еще она невзлюбила его курай — именно тогда, когда у Рифата стало что-то получаться.

— С утра до вечера дуешь в свою свистульку... А двор тонет в навозе... Вот сломаю я твой курай и брошу в печь! — грозила она. Отложив курай, Рифат уходил убирать лепешки кизяка, оставленные у калитки хлева его же коровой, и вспоминал маму — та никогда не разговаривала с ним таким злым голосом и не ругала из-за навоза. И к своей ругани тетя еще и прибавляла: — Папа твой тоже все пел и пел, а пристроить сени к вашему дому так и не нашел времени.

Однажды пилили дрова. Кривая суковатая береза плохо держалась на козлах, двуручная пила, которую, видно, давно не разводили, то заедала, то выскакивала. Тянуть пилу на себя у Рифата силенок было маловато.

— На себя тяни, а не толкай на меня! — сердилась тетя, а когда пила выскочила из вихляющей лесины, произнесла чужим голосом: — Ты мужчина или нет?! — и выругалась: — Твою мать!

Рифат, как и многие люди в деревне, по-русски не говорил, понимал только редкие слова, а ругательные, стыдные, слышал от взрослых мужчин (правда, от отца никогда) и от подростков на улице.

Он опешил, бросил пилу и вернулся в дом. В доме была только бабушка. Таслима еще не вернулась из школы. Бабушка, как всегда, сидела на саке возле сундука и перебирала четки. Она плохо видела и спросила:

— Что так рано вернулась?

— Бабушка, это я, — отозвался Рифат. — Бабушка, тетя меня ругала стыдными русскими словами.

Помолчав, бабушка произнесла, растягивая слова:

— Дитя мое... сирот не любят... Подойди ко мне. — Рифат подошел. Бабушка костлявыми пальцами потрогала его лицо и спросила: — Мама тебя мясным супом не кормит, что ли?

— Мама умерла! — громко ответил Рифат.

— Все умирают... давно не заходила к нам... Пусть зайдет... Мне надо кое-что сказать ей...

— Мама умерла! — еще громче повторил Рифат.

Он надел пальтишко, перешитое из маминого старого пальто, овчинную отцовскую шапку и, захватив курай, ушел домой.

Он вытащил палочку, воткнутую в дверную петлю, шагнул внутрь. В избе было холодно, но все еще пахло дыханием жизни. Рифат наломал прутьев и растопил плиту. Знакомо загудел домашний огонь. И печь, и голые доски саке, и кисейные занавески на окнах, казалось, были рады его возвращению. Он снял с сундука шерстяной палас, который мама стелила только по праздникам и к приходу гостей, постелил на саке, и в избе стало уютно, как при маме. Потом поднял из подпола полведра проросшей картошки, вымыл в большой кастрюле и, нарезав тонкими кружками, положил на раскаленную плиту. Поел поджаренной обугленной картошки, успокоился, почувствовал, что мама дома, наблюдает за ним и тихо плачет.

Вечером пришла тетя Камила. И с порога:

— Чего ушел?! — Рифат упрямо молчал. — Люди подумают, я тебя выгнала. Я тебя выгнала? Не кормила?! Иди домой!

— Нет! — сказал, как отрубил Рифат.

— Чего орешь? Сказала, иди домой!

— Не пойду... Я никогда не пойду жить к вам!

— Ты чего это, а? — опешила тетя.

— Ты ругала меня стыдными русскими словами! — уже спокойнее произнес Рифат.

— Ну, ругала в сердцах... Прости меня, — примирительно сказала тетя. — Иди домой.

— Не-е-т!

Тетя ошеломленно помолчала и заплакала.

— Что я, по-твоему, соловьем должна заливаться? — говорила она, плача. — От дяди вестей нет... Таслима бросила школу... Бабушка твоя совсем сумасшедшая — не понимает, что Минзифа померла.

Когда тетя ушла и душу пронзила печаль, он взял курай и попытался играть. Вдруг получилось, и он вывел любимую песню мамы... Ему показалось, что курай поет ее голосом. И он впервые после ее смерти заплакал...

Если кошка-мать однажды не вернется к слепым котяткам, чтобы покормить их молоком, котята, сбившись в тесный комок, умирают голодной смертью...

Так сироты аймака второй бригады в голодной тоске собирались в кучу.

Рифату хотелось, чтобы ребятишки собирались у него, но они сторонились его избы. Может потому что дом, в котором умер человек, им казался нежилым и мрачным, как кладбище. Ведь даже тараканы куда-то исчезли. Может им после смерти хозяйки жить здесь стало невмоготу?

Рифат иногда заходил к другу Азату. Если они пили чай, тетя Карима приглашала Рифата к самовару, клала на скатерть перед ним ломоть черной лепешки и повторяла уж который раз:

— Вот смотри, что мы едим... не хлеб, землю едим...

Иногда Азат сам заходил к Рифату. Так как у Рифата не было черной лепешки, он угощал друга нарезанными кусочками картофеля, поджаренными на раскаленной плите.

Но чаще собирались у Киньяка в его просторной избе. Мать Киньяка, тетя Сафия, правда, не угошала ребятишек лепешкой, но и не прогоняла. Как будто даже не замечала их. Говорили, что после смерти мужа она тронулась умом. Муж ее, Сабур, был сыном богатого хозяина Низам-бая, владевшего табуном лошадей из пятидесяти голов, жившего в большом доме из пяти комнат с резной галереей с выходом в палисадник с сиренью. Классовый враг. Перед самым раскулачиванием Низам-бай благополучно скончался. Осиротевшую многодетную семью не стали раскулачивать, но из дома выселили: там сначала была школа, потом засели деревенские начальнички — сельсовет и правление колхоза. Пожив у родичей, кулацкая семья срубила маленькую бедняцкую избушку и стала жить колхозной жизнью.

В отрочестве Сабур жил с клеймом «кулацкий сынок», потом работал в колхозе — куда бригадир пошлет, отслужил два года в Красной Армии, женился, и к началу войны уже редко кто вспоминал о его классовой принадлежности. Повестка из военкомата пришла на третий день объявления о начале войны. Сабур сходил на могилу отца, помолился и вечером, сказав жене «не хочу умирать за его колхозы», пошел в хлев и повесился.

После смерти мужа Сафию как подменили. Она стала сторониться людей, настороженно молчала, как будто боялась несправедливого обвинения или грязного оскорбления в спину. А в колхозе работала безотказно и старательно. Здоровая, сильная телом, вязала до трехсот снопов, метала стога и, посланная в урман, как на каторгу, валила лес. Как они жили, мать и сын, никто не интересовался. Киньяк иногда исчезал из деревни — на руднике жил его дядя, но возвращался — видно, не очень там были рады лишнему едоку.

Киньяк был заводилой и затейником мальчишеской второй бригады. Он был старше их, даже один год проучился в первом классе, но во второй не пошел — не до науки, когда в брюхе пусто.

На руднике он научился «балакать» по-русски и ругаться матом. А еще русским и башкирским частушкам. Чтобы рассмешить ребят, иногда распевал:

Стоит девка на горе,
Ветер шарит в подоле,
Бесстыжий ветер и шпион,
Куда заглядывает он?

Или:

Военная норма —
Десять граммов корма.
С голодухи не помрёшь,
Девку замуж не возмёшь.

К Киньяку приходили только мальчики второй бригады. Девочек, может, мамы не пускали, считая зазорным для них приходить в мальчишескую компанию. Приходили Ахмадулла, Васим, Мубарак, Камил, Зиннатулла, Апуш и Габдулхай. Кроме Киньяка, у всех отцы были на войне. «Бумажку» о гибели мужа получила только мать Васима. У Мубарака отца не было, а деда взяли в трудармию. Все верили, что отцы живы и, победив фашистов, вернутся героями. Потом к ребятам присоединились Рифат и друг его Азат. Теперь к частушкам Киньяка прибавилась музыка.

Рифат уже мог проиграть на курае несколько маминых песен, и печальных, и веселых. «Рифат, давай еще».

Но ни шутки, ни музыка не могли утихомирить голодную тоску мальчиков. И мысли и разговоры были только о еде. Хайбулла и Мубарак, у которых пропала корова, семенную картошку съели, к весне опухли, и их глаза-щелки смотрели на мир тускло и безучастно.

— Когда папа был дома, мама и мне, и папе каждый день давала по яичку.

— А моя мама к обеду варила пшеничную кашу. Все ели из большой миски. Пиалу с маслом ставили посреди миски. Берешь ложкой масло, маслишь кашу перед собой — и в рот. Ели только по очереди, сначала папа, мама, я, потом братишка. А если он нарушал... Папа своей деревянной ложкой трах его по башке! Он не плакал — потрогает рукой голову и опять за кашу. Была бы каша, он бы не опух и не умер...

— Мама говорит, что всю пищу отправляют на фронт.

— И яички тоже?

— А как же? Без яичек у красноармейца силы не будет, чтобы побить этого немца-фашиста. Дядя Ильхам говорил: палвану Садрыю перед сабантуем колхоз давал сто яиц с птицефермы, Садрый съедал сто яиц и три миски каймака и всех других борцов кидал на лопатки. Во как!

Детское воображение рисовало мальчикам, как их отцы, поев яичек, бросаются в атаку и убивают фашистов.

— А по мне, самое вкусное — это блины. На большой сковороде они плавают в масле...

— А пельмени! Мы с папой целый чугунок съедали. Мы съедем, мама опять варит. Когда зимой папа уезжал на извоз, мешок замороженных пельменей брал с собой...

— А самое вкусное — это свежее испеченный хлеб. Мама вынет из печи, разложит на саке, прикроет полотенцем, а запах на всю улицу. Дурковатая Сажид, вечно голодная, на запах хлеба тут как тут. Мама отрежет мне горячий ломоть — язык проглотишь...

— Она же умерла. Опухла и умерла...

Однажды Киньяк сказал:

— Ребята, айда на улицу, пойдем понюхаем.

— Чего понюхаем?

— Мама говорит, что у всех колхозных начальников припрятана мука, а сейчас от их домов на улице пахнет блинами.

— Ну, понюхаем. Сыты, что ли, будем?

— А может, будем.

— Понюхали, и полное брюхо блинов... — погладил Мубарак свой живот, пустота и запалость которого чувствовались под ветхой рубашонкой. Засмеялся только Киньяк, а опухшее лицо и глаза-щелки Хайбуллы остались безучастными.

— Кто не хочет — голодайте, а мы с Рифатом идем добывать себе хлеб, — сказал Киньяк, надевая рваную телогрейку, оставшуюся от отца.

Пошли по деревне, остановились против дома бухгалтера Хакимьяна, ушедшего на войну с первых же дней, от которого тоже не было вестей.

— Рифат, играй, — сказал Киньяк, — хотя блинами здесь не пахнет.

Рифат поиграл, но к музыке никто не вышел. — Играй еще.

Рифат завел «Буранбая». Звякнула щеколда калитки, и вышла жена бухгалтера.

— Чего вы тут дудите?!

— Мы артисты... мы голодные, — ответил Киньяк. — Нам бы хлебушка...

— Нет у нас хлеба. Сами голодаем. Уходите! — ответила женщина и захлопнула калитку.

Пошли дальше.

— Нюхай воздух, Рифат, — сказал Киньяк. — Мой нос сопливит, плохо чует запахи.

Шли дальше, играли под окнами. Перед домом бригадира Муллахмата, который тоже пропал на войне, Киньяк даже спел под курай свою частушку: «Военная норма, десять граммов корма...»

Из покосившихся ворот вышел старик с палкой, дал мальчикам две картофелины в мундире и сказал:

— Играйте, детки, играйте. А то мы уже забыли, что такое песня.

Картошку съели на ходу и уже дошли до дома завскладом, хромого Галиба, уверенные: у кого что в руках — то же и в зубах.

— Понюхай, — сказал Киньяк.

Рифат принюхался: в запахе талого мартовского снега, навоза, дыма ощущался тонкий и живой дух свежееиспеченного хлеба, дух, который просачивается наружу через любые щели.

— Блины? — спросил Киньяк.

— Нет, хлеб.

— Значит, только что вынули. Играй!

Выглянула из калитки жена Галиба по прозвищу Ситака и твякнула:

— Вы чего тут шумите?

— Мы не шумим, мы артисты, мы голодные! — проговорил Киньяк.

Ситака, буркнув: «Тоже мне артисты», — захлопнула калитку. Рифат продолжал играть. Снова звякнула щеколда, вышел младший сын хромого Галиба, Сабит, придурковатый мальчик, который с ребяташками второй бригады соседнего аймака не играл. Он вынес кусок хлеба, отдал Киньяку. Киньяк разломил кусок, ломтик отдал Рифату, поднес кусок ко рту, сплюнул и крикнул:

— Не ешь! Он поссал на хлеб!

Рифат, сразу не поняв, о чем это Киньяк, хотел было пожевать, но, почувствовав в мокром куске отвратительный привкус, выплюнул. А Сабит ухмыльнулся и захлопнул калитку.

— Понюхали! — произнес Киньяк и крикнул в сторону пахучего дома: — Аллах накажет вас за это!

Не найдя спасения от голода у ворот сытых домов, Киньяк стал думать о других способах добычи еды. Красть? А что красть у таких же голодных? А те,

у кого кое-что припрятано, вешают большие замки. Да если поймают, забьют насмерть, как забили Абдулхая, и закопают в навоз.

Думал Киньяк, думал и додумался:

— А давайте залезем в колхозный склад. Там еды — ешь не хочу. Вынесем мешок белой муки и раздадим голодающим. Только об этом — никому. Кто проболтается — убьет голодных детей, и его Аллах проклянет.

— А если поймают?

— В тюрьму посадят.

— Детей в тюрьму не сажают.

— А как откроем склад? На двери большой замок. Ключ нужен.

— Ключ в кармане хромого. Я знаю, как его вытащить.

Никто не поверил Киньяку: залезть в колхозный склад — это тебе не колхозную репу воровать. Мальчики затею Киньяка не приняли всерьез и тут же забыли. Только простодушный и легковёрный Азат рассказал матери.

— Ой, что вы затеяли?! — испугалась тетя Карима. — Разве можно воровать? Ведь в тюрьму посадят!

— Киньяк говорит, детей не сажают, — возразил Азат.

— Как не сажают? Сейчас всех сажают. За колосок сажают. Вон Бибизада горсть пшеницы взяла на току — сидит, и дети голодают...

Бибизаду, мать троих детей, засудили еще осенью. Люди думали, что посадят на восемь лет, а ей дали всего год. Быть может, судьи пожалели женщину с тремя детьми.

Работая на току, на сортировке зерна, она из-под веялки украдкой пересыпала пшеницу в голенища своих сарыков и завязывала тесемку. Дома жарила пшеницу, молола на ручной мельнице и варила талкан. Дети не голодали. Кто-то заметил, как она ворует колхозное зерно, и донес в правление. Председатель сельсовета Лукманов и милиционер из района остановили ее на выходе из ворот тока. А детей сердобольные начальники «пожалели» — оставили без кормильца только на один год.

Старшая, четырнадцатилетняя Тагзима, пошла работать на медный рудник. По двенадцать часов работала в забое, ковыряла кайлом медную руду и выносила в корзинах к грабаркам. Выполнив норму, получала семьсот граммов хлеба. В каждое воскресенье с кусками собранного за неделю хлеба напрямик через перевал, носящий пугающее название Кешеульган, шла к братишкам. Старшему, Вагизу, шел седьмой год, а младшему, Айнуру, прозванному «жопоногий», было пять. Приходила и в лютые морозы, и в непроглядные бураны. Говорила, что не боится ни холода, ни бурана, ни волков, боится только скалы, возле которой погиб человек, ей казалось, что он выйдет оттуда и отберет у нее хлеб...

В марте, в дни лютования акман-токмана, в воскресенье Тагзима не пришла. Почему сестра не пришла, где она сейчас — никто не знал и никто ничего не сказал мальчикам. Бригадир Шарифулла как-то в правлении заикнулся: мол, ребятишки голодают, надо бы их поддержать. Председатель сельсовета Лукманов ответил, что у колхоза нет возможности кормить детей воровки, — надо было ей самой думать о своих детях. Если бы не завфермой Таскира, голодная смерть детей Бибизады никого бы не тронула. От мужа Таскиры, Курбана, давно не было вестей, единственный сын тоже был на войне. Таскира считала, что если она спасет несчастных детей Бибизады от голодной смерти, Аллах смилостивится и убережет от вражеской пули мужа и сына. Но недремлющее око закона разглядело доброту завфермой, и стукач донес на нее начальству.

Таскиру вызвал Лукманов. Таскира шла в замешательстве: неужели головомойка из-за каких-то беспорядков на ферме?

Она никогда раньше не бывала в прокуренном кабинете Лукманова. Войдя в кабинет, с порога уткнулась взглядом в большой портрет в простенке. Усатый человек, немного похожий на дядю Загира по прозвищу Шырмыйык (Густой), встретил ее улыбкой из-под усов, такой доброй, что даже родной отец не всегда улыбается так своему дитяти.

— К нам поступили сведения, что ты колхозное молоко раздаешь по деревне, — сказал Лукманов без улыбки. У Таскиры потемнело в глазах. — Ты должна понимать, что сейчас все для фронта, все для Красной Армии.

— Как не понимать, я очень даже понимаю: пусть наши красноармейцы будут сыты и скорее победят фашистов, — проговорила Таскира, пытаясь представить, как красноармейцам перед боем дают молоко. — Только как быть с детьми, они ведь этого не понимают, они хотят кушать, пухнут от голода. Как быть с ними?

— Вопрос не ко мне, — ответил Лукманов. — Чтобы больше этого не было.

Но Таскира, рассудив, что нечего председателю сельсовета соваться в божеское дело, по вечерам продолжала носить голодным детям бутылки с молоком, спрятанные в дерматиновой сумке.

Снег, скудный этой зимой, сошел с полей, с пологих склонов холмов, белел только местами в распадках. Когда высокое солнце подсушило прошлогоднюю стерню, бабы и ребятишки вышли на поля собирать колоски, просыпавшиеся в прошлогоднюю жатву из-под ножей жнеек и единственного комбайна на пшеничных и ржаных полях. До войны и в первые военные годы на колоски выходили школьники, а в прошлом году не успели убрать хлеб — полили обложные дожди. Не распогодилось и в сентябре, пали ранние зазимки. И колоски перезимовали под снегом.

— Земля подсохла, идите собирать колоски, — сказала Азату тетя Карима. — Только идите всей бригадой — одному много не собрать. Принесите побольше — промою, подсушу, пропущу на ручной мельнице и сварю вам бригадную похлебку. — И еще посоветовала: — Берите с собой гусиное крылышко, в стерне бывает осыпка овсюга, сметайте аккуратненько, овсюг тоже дает хороший навар. Возьмите с собой и Хайбуллу. От полевого воздуха, может, малость повеселеет.

Апрельское хлебное поле виделось мальчикам унылой пустыней...

Колосков было много. Собирали в ведро. Хайбулла, тот ползал на коленях по стерне и, найдя колосок, совал в рот. Киньяк растирал в ладонях и тоже кидал в рот. Недалеко от них собирала какая-то женщина из верхней деревни. И тут из-за склона Балкая показалось двое верховых. Женщина, увидев их, бросила ведро и заторопилась к близкому березняку. Вершники проехали мимо мальчиков, будто не заметив их. Когда они удалились, женщина вернулась к своему ведрку.

— Тетя, ты чего это испугалась? — спросил Киньяк.

— Как не пугаться? Это же Лукманов с Юнусом, — ответила женщина. — В прошлом году не разрешали собирать колоски, гоняли.

Кроме Киньяка, старшего в детской бригаде, знающего от матери многое о жизни деревни, никто не знал ни о Лукманове, ни о Юнусе и не понимал, почему людям запрещали собирать просыпанные во время жатвы колоски...

Собирали в ведро и осыпки овсюга, сметая вместе с землей, и зернышки каких-то сорняков.

На другой день тетя Карима в большом казане сварила похлебку из смолотых в ручной мельнице зерен пшеницы, промытого овсяга, проросших картофелин и еще каких-то трав и кореньев. Похлебка получилась наваристая, и хлебный дух варева чувствовался даже на улице.

К бригадному котлу пригласили и соседских девочек, Фаузию и Санию. У обеих отцы были ранены, написали письма из госпиталя. Отец Сании написал, что рана зажила и его выписывают в часть, — и больше писем от него не было. Отец Фаузии написал из Уфы, что выздоравливает и скоро вернется домой...

Как в многодетных семьях, ели из одной большой миски. Только Хайбулле тетя Карима налила отдельно в пиалу и сказала:

— Тебе я даю немножко. Желудок твой от голода стал маленьким, много съешь — стошнит. А вы, ребята, тоже не очень налегайте, похлебки еще много, придете завтра и доедите.

Опорожнив миску, мальчики и девочки продолжали сидеть вокруг скатерти. Эта общая еда смутно напомнила детям хорошие довоенные годы, когда отцы были дома, и каши, и пшенной, и рисовой в масле, было вдоволь...

Киньяку на сытый желудок захотелось музыки.

— Рифат, бери курай, но играй не голодные песни, которые мы играли перед воротами хромого, играй сытые, — повелел он.

Рифат заиграл. Одну, другую мамину песню.

Притихнув, дети слушали внимательно. Курай своими звуками не только рассказывал о печали, но и ласково уговаривал: дети, не унывайте, потерпите, все это скоро пройдет. Придут хорошие времена, счастливая жизнь...

— Рифат, давай веселую, — сказал Киньяк.

Рифат заиграл плясовую, и Киньяк спел новую частушку:

Военная форма,
Два колоска норма,
С голодухи не помрём
И фашистов мы побьём!

Тетя Карима похвалила Рифата:

— Какой ты молодец! Вернется отец — не нарядуется.

Наутро, доев остатки похлебки, бригада снова отправилась на колоски. В этот раз собирали у подножия горы Мышагыр, на прошлогоднем пшеничном поле.

Остро заточенной палкой мальчики выкапывали перезимовавшие под снегом клубни саранки. Киньяк, Мубарак и Рифат пошли с топориком в ближний березняк и на стволах берез сделали надрезы, и березы стали источать сладкий сок, мальчики пили его через соломинку. К одному надрезу Киньяк привязал бутылку, приспособив к надрезу полоску войлока и опустив ее кончик в горлышко, — собирал сок для матери.

Однажды утром, когда Рифат, еще не желая подниматься и снова начинать жить без родителей и еды, долеживал под одеялом, в избу вошла Таслима, и с порога:

— Все дрыхнешь? Так же будешь спать летом, когда бригадир придет выгонять на работу? — и поставила на столик возле окна бутылку. — Я принесла тебе молочка, но не от твоей коровы, она яловая, а наша еще в марте отелилась. Кормим только соломой, молока мало, теленок сосет. Почему не заходишь? Мама обижается. Или мы тебе чужие? — Рифат слушал из-под одеяла и молчал. — Мама говорит: пусть вернется и живет у нас. Бабушка спрашивает: «Почему Минзифа с моим внуком не заходит к нам?»

Рифат слушал сестру молча, и помня свою недолгую жизнь у них и слова бабушки, пробормотал под одеялом:

— Сирот не любят!..

Дети Бибизады все-таки одолели зиму. Не зная, что с сестрой, почему она не вернулась, как возвращалась с рудника в любую погоду по воскресеньям, они все ждали ее. Мальчиков спасло от голодной смерти молоко с колхозной фермы, которое украдкой выносила завфермой Таслима.

Когда потеплело и земля и дороги подсохли, старший, Вазих, решил идти к матери, которая, как говорила Тагзима, рубит лес в Арше. Сестра объяснила, где эта тюрьма, называемая Аршой. «С той стороны от нашей деревни, где утром поднимается солнце, — рудник. Там я копаю медную руду и живу в бараке, а в той стороне, где вечером опускается солнце, в сосновом урмане — Арша. Там мама рубит лес и живет в тюрьме». На вопрос «Далеко это от нашей деревни?» Тагзима ответила: «не очень» и показала на хребет к западу. «Видишь гору, видишь скалы? Мы с мамой ходили туда за брусничкой. Поднимешься на макушку горы и спустишься на ту сторону — там и Арша».

В ясные дни этот Уральский хребет виделся как будто очень близко, так что не усталым детским взором просматривалось каждое дерево на склоне, а в туман и в дождь хребет отдалялся и казался недостижимым.

В сознании мальчика рисовалась картинка: вот они пойдут на эту брусничную гору, которая, конечно, ничуть не выше гор за деревней... И найдут маму.

И вот как-то рано утром Вазих растормошил братишку, крепко спавшего на перинах:

— Вставай, жопоногий. Пойдем к маме.

— Я кушать хочу, — отозвался Айнур.

— Придем к маме, она даст нам хлебушка. Опять описался... Вставай!

Когда потеплело, они оба ходили уже босиком, и ноги у них были в цыпках, которые трескались и кровоточили. А зимой Вазих ходил в больших ботинках, оставшихся от отца, а младший — в больших маминых сарыках, хотя он редко выходил на снег. Но к маме надо было идти босиком, потому что босиком быстрее добежишь. Вазих надел старый отцовский пиджак, который можно было носить и как пальто. А на Айнуре были только рубашонка и пропахшие мочой штанишки. Перед войной у них была сшитая для них одежда, но они давно выросли из нее...

Никто не видел или не обратил внимания, как два мальчика прошли по деревне и вышли на дорогу, ведущую в сторону гор. Утро было солнечное, прозрачное, и горная гряда виделась близкой: побежишь — и ты там. Хотелось есть. После вчерашних нескольких глотков молока, принесенного тетей Таскирой, они ничего не ели. Вазих отходил от дороги и искал в траве и в кустах что-нибудь съедобное, но из прошлогодней сухой травы и созревшей палой листвы ничего съедобного еще не выросло.

Пройдя мимо невысоких каменистых холмов и по пустынным полянам, они близко к полудню увидели лесистый склон. Напившись из ручья, еще долго шли к подножию, где дорога незаметно пошла вверх. А когда брели по крутому склону, небо над горами потемнело от облаков, нанесенных холодными ветрами. Айнур хныкал и говорил, что не хочет идти к маме, хочет домой. Вазих, взяв братика за руку, тащил его почти волоком и ругался:

— Шевели ногами, жопоногий! Хочешь ползти на попе, как ползал, когда маленький был?!

— Не хочу идти к маме, хочу домой! — повторял малыш. И плакал, плакал не переставая.

Стал моросить холодный дождь.

Пока добрались до вершины, стало смеркаться. Айнур весь обмяк, плакал и пытался сесть или лечь на дорогу. Надеясь добрести до Арши засветло, Вазих волок его дальше. И тут его осенило: надо бежать дальше под гору и добежать до этой Арши, но с Айнуrom не добежишь. Лучше его оставить на горе и вернуться за ним вместе с мамой. От отвел братика в сторону от дороги, посадил под лапы высокой ели:

— Посиди вот здесь. Я добегу до мамы, и мы за тобой придем.

— Я хочу домой! — хныкал мальчик.

Оставив братика под елью, Вазих пустился бегом по склону, как он считал, в сторону Арши. Мокрые холодные камни жгли босые пятки, от ударов о камни саднило пальцы ног. Если местами камня на дороге было меньше, то там ноги скользили по мокрой глине.

Вдруг дорога снова пошла на подъем. Видимо, она поднималась на соседнюю гору. Теперь Вазих был уверен, что с этого холма увидит Аршу. Но забежав на гребень, он увидел в сумерках тот же лес и горы в лесах, где высокие, где пониже — темными волнами они уходили к горизонту. Остановился, перевел дух и, подумав, что дорога эта должна же наконец привести к Арше, и надеясь скоро увидеть Аршу или дым из трубы тюрьмы, он побежал дальше.

Мелкий дождь сменился снегом. Потом снег повалил крупными хлопьями отвесно, тяжело, лег на лапы елей, налип на ветки начавших распускаться берез и выбелил все вокруг.

Снег в апреле был не в диковинку в отрогах Уральских гор, но тут он обрушился на голову одинокого маленького путника...

Напуганный белой мглой, Вазих остановился, постоял, дрожа всем своим существом и безутешно заплакал: «Мама, где ты, мама?!»

Даже горное эхо не ответило ему.

Тогда он сообразил, что надо бежать обратно под гору, к братику. Вдвоем будет не так страшно, и они, как в зимние холода в нетопленной избе, свернувшись в комок под елью, переждут ночной снегопад, а утром побегут домой. Или, может, по дороге проедет человек. Если в Аршу — подвезет к маме, если в обратную сторону — то в деревню... И пошел вверх. Но, пробираясь в темноте по склону, как он думал, к большой ели, он в ужасе почувствовал, что под его босыми ногами нет каменистой дороги, только снег, а под ним перегной из палой листвы и мертвая трава. Высматривая дорогу, он бросился влево, потом вправо — дороги нигде не было. Тогда он стал кричать, звать братика: «Айнур, где ты, Айнур?!»

По его представлению, он уже должен быть на том холме, откуда до большой ели рукой подать. «Айнур! Чего молчишь, жопоногий?!»

Может, он посидел под елью и побрел обратно? Вот дурак! Ведь один не дойдет!

Обессилен и от страха, чувствуя в груди тошнотную усталость, дальше по склону он полз на четвереньках. Полз и всплакивал-вскрикивал: «Мама!» Дрожал от холода и страха, хватал ртом снег. Ему хотелось лечь на землю и закрыть глаза... Он дополз до толстой березы, белой, как голенища маминых сарыков, обнял ее и прижался щекой. Он не понимал, как и куда удаляется от этого безжалостного мира...

О победе раньше всех узнало колхозное начальство — из района позвонили в правление. Потом узнали учителя, школьники, кто все еще ходил в школу, и остальные. Многих сельчан, ослабевших от голодной зимы, устало-равнодушных даже к собственной жизни, эта весть не тронула, но в некоторые души вселила слабую надежду... Выгоревший флаг на крыльце сельсовета заменили свежим кумачовым полотном. Семьям фронтовиков, погибших или пропавших без вести, колхоз выписал по килограмму ржаной муки. Когда жены и матери зароптали, мол, почему так мало, дети голодные, председатель сказал:

— Если всю муку сейчас раздам, чем буду кормить сеяльщиков? Потом сенокос подойдет...

Вернулся только Сабрай Низамитдинов — неожиданно для жены и ребятишек. Сойдя с попутной подводы, сильно припадая на покалеченную ногу, он пошел к воротам и лицом к лицу встретился с женой, выходящей из ворот, которая не ждала мужа в этот день. Он лежал в госпитале недалеко от дома и, выписавшись, опередил письмо о своем возвращении. Едва узнав мужа, женщина бросилась к нему на грудь и зарыдала. Сабрай тоже заплакал. Так они, плача, и вошли в дом... Солдат еще долго не показывался людям, как будто в деревне его и вовсе не было. Бабы, когда шли к реке за водой, спрашивали у его жены:

— Не узнала, твой не встречал там наших?

— Он ничего не говорит, а ночью кричит во сне.

Жизнь пошла своим чередом, теперь уже послевоенная жизнь. Но без сытости и душевного покоя... Работы стало непроворот. А силы в руках и сердце не прибавилось. Начался весенний сев. Самая тяжелая работа на земле. За плугом по мокрой борозде тащились четырнадцати-пятнадцатилетние подростки. Рычаги трактора держали слабенькие руки девчушек. Тракторы часто ломались и простаивали.

«Эх, ребятки, ребятки! — вздыхал бригадир Шарифулла и, как будто спохватившись или пожалев ребятишек, которым впору было только играть, добавлял: — Молодцы, стараются...»

Пока подростки и женщины, питаясь скудной бригадной лапшой, пахали, засевали колхозные поля, мальчишки, которых бригадир по их малости и малосильности еще не посылал в поле, занимались добычей пищи из почвы. Пищи этой, зеленой, разного вкуса, выросло немало. На парах поднялась кислица, на сенокосных лугах — щавель и дикий лук, на каменистых склонах холмов проросли дикий чеснок и кисленькая козья капуста. Жевали даже некоторые цветы. И ранняя молодая крапива была вполне съедобна.

Пастись на земле иногда ходила вся мальчишеская бригада. Не брали только ослабшего Хайбуллу.

Поглядывали на урему за рекой. Там цвела черемуха. Но ничего съедобного за рекой еще не было. Едва завязались плоды смородины, а до черемухи и боярышника было далеко. Да и река пока не вернулась в летнее русло.

Как и зимой и ранней весной, когда вместе добывали кое-какую еду, бригадиром был Киньяк. Он недавно погостил на руднике у дяди и вернулся в островерхой красноармейской шапке, с большой красной звездой. Эту буденовку подарил ему дядя и рассказал, как его отец, вернувшись из армии в «шапке Буденного», отдал ее младшему сыну; младший сын давно вырос — «на, теперь носи ты».

Киньяк не знал о смерти своего отца. В тот день, когда отец повесился, он был у бабушки. Мать сказала, что папа уехал на войну. И никто из взрослых не открыл ему правду, а из ребят мальчишеской бригады знали только двое, Азат и Рифат, но они тоже молчали или забыли и считали Киньяка сыном

фронтовика... Островерхую красноармейскую шапку Киньяк никогда не снимал. Быть может, даже спал в ней.

Весной в клубе стали показывать кино. О победе над фашистами фильмов еще не было, крутили уже знакомые — о победе над беляками — «Чапаев», «Мы из Кронштадта»... И тут красноармейская шапка, шапка Буденного, пригодилась. Перед началом кино, когда динамо-машину только запустят, ктонибудь в клубе кричал: «Киньяк, потуши лампу!»

Киньяк снимал шапку, становился на скамейку и суконное острие на макушке втыкал в дырку на дне десятилинейной лампы, — керосиновый свет гаснул, и на экране начиналась война.

Пришли теплые майские дни. Заречье пенилось белым цветением, деревня благоухала черемухой, потом черемуха отцвела и в палисадниках душно запахла рябина, робко распускалась сирень. До поздней ночи в уреме шелкали и выводили свои трели соловьи, днем куковала кукушка, как будто вздыхала, сожалея о быстротечности весны. Прислушиваясь к этим голосам весны, Рифат пытался воспроизвести их на курае...

Как-то раз Рифат зашел к Азату домой — там пили чай и, как всегда, пригласили к столу; тетя Карима положила перед соседом ломоть лепешки, испеченной на сквороде, и налила чай из мятрушки. Спросила:

— От отца вестей не было?

— На него же бумага была, — ответил Рифат.

— Не верю я этим бумагам, — вздохнула тетя Карима. — На Сабрая тоже была бумажка, а он в госпитале лежал. Может и твой папа лечит раны, написать не может.

Рифат уже подзабыл отца, помнил только мать, но и она уже отдалялась в зыбкой детской памяти.

— Азат, давай пойдем за реку. Там, где брод, вода только по колено, я видел, как переходила бабушка Магарифа.

— Давай и Киньяка возьмем, — сказал Азат.

Киньяк, как бывало и раньше, давно не показывался в аймаке второй бригады. Тетя Сафия сказала, что сын куда-то ушел. Может, на рудник к дяде подался.

Пошли вдвоем. Река текла в летних берегах, там, где зимой Рифат переходил с дровами в санках, струилась по желтой гальке прозрачная вода, в завитушках и ряби которой посверкивали чешуей некрупные белые чебаки, а серые пескари, припав брюхом к песку, стояли на месте.

На том берегу начинался мир, не похожий на мир к востоку от деревни, где холмы с березовыми колками, кустарником и дикой вишней на склонах, а вдали — густые большие леса, правда, поредевшие по опушкам от топора военных лет. Зато с ягодниками и обильным травостоем на еланях.

А здесь — ольха, черемуха, сухостой, обвитые хмелем калина, боярышник, смородина, черная и красная, местами колючий шиповник.

Если от берега идти вглубь — там кочкарник и древняя старица, зарастающая хвощом и кугой, затоны.

Дальше в неведомые, нехоженные дебри заречной земли никто летом не заглядывал. Оттуда доносились какие-то голоса, кто-то ухал и мычал по-бычьему, курлыкали журавли, но их нежное курлыканье перебивал чей-то злорадный хохот. Будто злясь на кого-то и дразня, трещали сороки.

Ягоды смородины были еще зеленые, кислые. Мальчики стали есть эти незрелые плоды. Но чем больше отправляли их в рот, тем сильнее хотелось есть.

— Рифат, иди скорее сюда! — вдруг закричал Азат. — Смотри, что тут!

Идя на голос друга, Рифат почувствовал странный запах, который не был знаком его детским ноздрям. И подойдя близко к кустам красной смородины, увидел спящего на траве Киньяка.

— Он умер, — испуганно сказал Азат.

Киньяк был неподвижен. На его лице застыло удивление. Глаза были открыты, казалось, он смотрел на ветку смородины, нависшую над его лицом.

— Давай побежим... скажем тете Сафие!

Они вернулись к Киньяку вместе с тетей Сафией. Поглядев на сына, она показала на то, чего давеча мальчики не заметили: около рта и на рубашке около шеи подсохла блевотина с непереваренной зеленой смородиной.

— На голодный желудок много съел кислого, — сказала тетя Сафия. — Сердечко его не выдержало.

Она сходила домой и вернулась с куском конопляного рядна, завернула в него полузасохший трупик и отнесла на кладбище. Выкопала рядом с могилой бабушки неглубокую могилу и похоронила сына вместе с буденовкой на голове. Так Киньяк, заводила и затейник мальчишеской бригады, стал могилным холмиком...

Подошел сенокос. В довоенные годы косьба и стогование для взрослых были летней страдой, а для юнцов и подростков — чем-то вроде летнего праздника. Верхом на лошадях — на водопой, и, если стоговали близко к реке, в обеденные часы — купание, рыбалка. Лето тогда было теплое, с быстроходными грозами, вода в реке как парное молоко, по ночам тепло, как в протопленной избе. Быть может, сытому и веселому человеку так казалось. В те годы в поле на обед варили конину, давали кумыс. Возвращаясь с лугов на телегах, груженных пахучей травой, женщины пели хорошие песни.

В год послевоенного полуголода, стога тоже ставили на тех же лугах и заречных тугаях, но мужчин из довоенной бригады не было. Только дети, подросшие за годы войны. И старый бригадир с женой. А мальчишек брали в поле, чтобы малость подкормить бригадной похлебкой на вольном воздухе.

Ребята посильно работали. Рифат и Азат возили к стогам волокуши с копной, а Мубарак с Васимом подгребали граблями. «Чище подгребайте, не оставляйте, — ворчал бригадир Шарифулла и, жалея мальчишек, вздыхал: — Эх, ребятки, ребятки, что было бы с вами, если бы не колхоз?»

Кухаркой была жена бригадира, тетя Магира. Когда обедали, в миски мальчиков лапшу из ржаной муки она наливала погуще. Набив лапшой животы, но не наевшись, мальчики, пока паслись лошади и отдыхали старики, разбредались в поисках чего-нибудь съестного. Если работали близко к реке, то в заречную урему, к смородиновым кустам, если ближе к холмам — на ягодники, где на склонах поспевала земляника.

Теперь женщины возвращались с лугов без песен. А Рифат каждый раз подходил к дому с мечтой-надеждой: вот сойду с телеги около своего дома, а у ворот стоит папа. Потом сыграю ему на курае мамины напевы...

За все лето вернулся только Ишбулат Сабитов с покалеченной разрывной пулей рукой. Парень он был малорослый и единственный в деревне рыжий. Отца у него никогда не было. Какой-то заезжий старатель некоторое время жил у его матери и обронил свое семя. Наверное, чувствуя свою ущербность, Ишбулат был гонорист и драчлив. Девушки его не любили, парни сторонились. Еще в школе он влюбился в одноклассницу Нажибу, но она посмеялась над ним,

обозвав рыжим уродом. И вот он, малость подросший, с медалями на груди, хотя и покалеченный, вернулся.

Однажды, выпивши, влекомый еще не забытой тоской, он завернул к дому Нажибы и угодил в самый разгар девичьих посиделок. Несколько девушек сидели на саке. Перед ними, на скатерти, стоял эмалированный чайник, видно, с кислушкой.

Ишбулат весело поздоровался и услышал ответ Нажибы:

— Зачем пришел? Мы тебя приглашали?!

Опешив от такого приема, он хотел было шагнуть к двери, но тут высунулась Марзия, рябая некрасивая девушка:

— Какие парни остались там, а этот урод вернулся!

Кто-то хихикнул.

Все они с детства были свои, еще недавно в классе вместе сидели за партой... А Нажибе он с фронта написал несколько писем, но она не ответила. Всколыхнувшаяся в нем обида напомнила: «Это меня, фронтовика, награжденного медалью «За отвагу»! Там, на передовой, я такое пережил...» — и он не выдержал:

— Ах вы, суки! Да, я урод, зато я один на всех вас. Захочу — так любую... А ты, Нажиба, наверно подумала, что я пришел свататься к тебе? Жди! Захажнешь перестарком!

Нажиба сошла с саке, молча подошла к Ишбулату и огрубевшим кулаком трактористки заехала по роже солдата. Ишбулат пошатнулся и, защищая лицо здоровой рукой, попятился к выходу. Второй удар настиг его уже в дверях. Он споткнулся и упал.

— Девки, бейте его! — крикнула Нажиба.

Девушки дружно сошли с саке и стали бить лежащего солдата. Били босыми ногами, стараясь попасть в мужское место. Что было бы с солдатом, если бы девушки были обуты...

После посещения девичника Ишбулат месяц пролежал в районной больнице. А Нажибу за избиение фронтовика уpekли на год в белорецкую тюрьму.

Ранним августовским утром к Рифату зашли бригадир Шарифулла и тетя Камила. Увидев тетю, он насторожился — пришла увести к себе жить?

— Вставай, одевайся! — велела тетя.

— Зачем? — спросил Рифат, решив про себя, что не вернется к ним.

— Поедешь в детдом. Вот Шарифулла отвезет тебя.

— Я никуда не поеду! — отрубил Рифат, не в силах представить себя далеко от деревни, в каком-то детдоме.

— Сынок, это приказ. Ты знаешь, что такое приказ. Теперь будешь жить только по приказу, — сказал бригадир. — Давай живо, как солдат.

Рифат неохотно вылез из-под одеяла, надел пальтишко, сарыки и фуражку с помятым козырьком. А когда взял курай, тетя Камила рассердилась:

— Зачем берешь свою свистульку? Там играть на курае у тебя не будет времени. Там ты будешь учиться.

Рифат промолчал, но курай из руки не выпустил.

Уезжая, он не испытывал ни печали, ни сожаления. Спросонок он еще не осознавал, что навсегда расстанется с ребятами из мальчишеской бригады и рекой своего детства...

Ефим Бершин

Эпоха обречённая моя

* * *

И когда это было — мне вспомнить уже не дано.
На царапину памяти не наложить подорожник.
Но всплывают ночами, как кадры цветного кино,
балагула, весёлый портной и безногий сапожник.

Три ошибки войны по ошибке оставлены жить
в этом маленьком городе, там, где по воле Господней,
вечным Жидом назначен был каждый расстрелянный жид,
под стволом автомата встававший на край преисподней.

Три ошибки судьбы выпивали сперва по одной,
бесконечный свой спор завершая едва ли не дракой.
Балагула — уздечкой, портняжьим лекалом — портной,
а безногий сапожник сурово размахивал дратвой.

И на их пиджаках полыхали войной ордена
за Берлин и Варшаву, за взятие рая и ада.
За безногую жизнь осушали стаканы до дна
и за то, чтобы помнилось то, что и помнить не надо.

Три ошибки беды — рядовой государственный сор —
как подбитые птицы, клевали субботнюю пайку
и тянули вино, и тянули пустой разговор,
и тянули, напившись, свою «тумбала-балалайку».

Где я видел их лица? Зачем выплывают они
из далёкой страны, нагоняя тоску и усталость,
из забытых времён, от которых остались одни
головешки пожарищ, и даже страны не осталось.

На руинах страны догорел окровавленный век,
что охотился так, как за дичью охотится лайка.
Только ветхая память осталась, сухая, как Ветхий Завет.
Только три старика. И суббота. И «тум-балалайка».

* * *

Марине Кудимовой

Когда закончится гражданская война,
нам будет явлена единственная милость —
определить, чья большая вина
в том, что случилось или не случилось.

Когда в лесах завоюет тишина,
а снайперы, уставшие по целям
работать, выпьют горькую до дна,
по рыночным закупленную ценам,

когда воронки зарастут травой,
и снова обретётся чувство меры,
останутся до новой Мировой
последние минуты или метры.

Лесные звери выйдут из лесов,
и Гамлет, ослепительный и лёгкий,
пойдёт на бой за тени всех отцов,
убитых и освищенных с галёрки.

Но Бог не выдаст, и свинья не съест.
И мужество останется в почёте.
И на погостах крест пойдёт на крест.
Всё будет хорошо в конечном счёте.

И голубь принесёт благую весть,
запрятанную в гроздьях винограда,
что жизнь не кончилась, что жизнь, конечно, есть
не только на вершине Арарата,
но в Химках или Солнцево. Бог весть,
где для героев сыщется награда.

* * *

Маше Ватутиной

Бог в России живёт не в хоромах
и не в храмах, где льётся елей.
Бог живёт на накупленных кронах
облетающих тополей.

Бог живёт на дубах и осинах
и плетёт за узором узор
на иконах пронзительно синих
чудотворных озёр.

Дышат тайной древесные руны
на свистящем пространстве пустом,

где Дажьбог породнился с Перуном,
а Перун породнился с Христом.

Пахнет кровью таёжная месса.
Рвётся в небо январская стынь.
И молитва почти неуместна,
как и выбор святынь.

На развилке меж адом и раем,
где блуждают лишь ветры одни,
ты поймёшь, что не мы выбираем.
И не нас выбирают они.

* * *

Это цвет вытесняет цвет,
уменьшая короткий век его.
Это боль сочится, как Новый Завет
просачивался из Ветхого.

И как будто бандитской финкой — в бок —
я нанизан, как туша — на вертел.
Это во мне умирает бог,
который в меня так верил.

* * *

И снова я к тебе не успеваю.
И мне уже, наверно, не успеть,
не выдохнуть, не встать и не посметь
сказать тебе, что я не успеваю.

Я знаю: за чертой готовят плаху!
Да будет казнь!
Да будет на заре!
Мир праху твоему! Свобода — праху,
свободному, как кровь на топоре,

в театре, где история — раба,
безгласная служанка Мельпомены,
рожденная, как Ева из ребра,
из синтеза коварства и измены.

Как та Иерихонская труба,
невинная приспешница Навина,
история преступна и невинна,
невинна и преступна, как раба,
страшащаяся вечно не успеть
на вечный пир, на собственную смерть.

Вот так и я к тебе не успеваю.
И мне уже, наверно, не успеть,
не выдохнуть, не встать и не посметь
сказать тебе, что я не успеваю,

что по пятам за мною из огня,
поспешно за собой мосты сжигая,
бежит, бежит, за мной не успевая,
эпоха обречённая моя.

Султан Яшуркаев

Пасха

Рассказ

Апрель в восточном Казахстане — месяц не теплый, неяркого еще солнца едва хватает на расплавку свинцовых слитков посеревшего снега, тяжело осевших в низинах промерзлой степи. Да и светит оно неполный день: то прорвется сквозь толщу тоже свинцовых облаков, то эти облака обматываются вокруг него так, что ни один луч не может пробиться к земле. И все равно на проталинах сквозь серую прошлогоднюю траву первой бородкой на лице юноши пробивается чуть заметный пушок зелени...

Босые ноги переносят мальчика от одного серо-зеленоватого островка к другому. Тяжелый для детской спины, наполовину заполненный мешок пригибает хрупкое тельце к земле. Рубашка и штанишки на нем из тонкого выцветшего ситца, с плохо заметными рисунками. Ситец этот — подарок дальнего родственника Сайд-Хамзата. Он и его друг Али, проникнув через крышу, обворовали сельский магазин. Штуку ситца поделили между чеченцами, что живут в этом селе, давая только тем, у кого есть дети. Перед тем как сшить из него одежду, ситец долго мяли, терли, валяли в пыли, потом стирали — делали его старым, неузнаваемым... некраденным.

Мальчик устал, он бы остановился и, опустив мешок на землю, передохнул, но боится, что потом ему не поднять его снова на спину, а ему во что бы то ни стало надо донести его скорей до дома.

Стадо коров, что он пасет, не будет ждать его — далекими красными пятнами по краям горизонта разбредется по всей степи, но он вернется, быстро obeжав вокруг всю степь, соберет эти «пятна» снова в стадо. Что в том трудного, когда нет на спине этого тяжелого мешка. Это даже лучше, чем стоять на месте и смотреть, как отощавшие за зиму коровы пытаются откусить грязные остатки прошлогодней травы. И ногам хуже, когда стоишь, они прилипают к мерзлой

Яшуркаев Султан Сайдалиевич — чеченский поэт и прозаик. Родился в 1942 году в селе Эшилхатой Веденского района, ЧИАССР. Окончил Грозненский пединститут и юридический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова. Работал учителем, следователем прокуратуры, в Верховном Совете ЧИАССР. Пишет на чеченском и русском языках. Лауреат премии «Дружбы народов» за журнальный вариант книги «Царапины на осколках» (Книга вторая, «ДН», 2010, №№ 6—7). Произведения Султана Яшуркаева переведены на французский, немецкий, польский, чешский и ряд языков стран СНГ. В настоящее время живет в Бельгии.

еще земле и деревенеют от холода. Бегать — тепло! Недавно он сделал хорошее для себя открытие: знает теперь, как отогреть ноги, не бегая. В первый раз это вышло у него непроизвольно. Издали он увидел, как от свежего коровьего помета, круглой жидкой «лепешки», стал подниматься пар. Его осенило, что это тепло, и он побежал к нему — замерзшая нога радостно замерла в дымящемся паром помете, тепло ласково потекло вверх по телу. Позавидовавшая первой, другая нога тоже окунулась в это тепло. И ему показалось, что его уложили в колыбель и стали тихо качать. Теперь, после такого открытия, когда женщины, выгоняя по утрам за ограду скотину, причитали: «Бедный мальчик, смотрите, он же босой», — он не считал себя бедным...

«Вот донесу мешок, — думает он, — и мама будет жить». Она очень удивится, когда он принесет и покажет ей много куриных яиц, крашенных во все цвета. Подумает, что он принес их из сказки. Он и сам не знал раньше, что такие бывают, что их почему-то красят в разные цвета. Интересно, сколько их в мешке? Много. Плохо, что он умеет считать только до десяти. Это потому, что в школу не ходит.

Только бы донести. Маме он сразу даст три яйца: красное, синее и желтое. Самое красивое выберет для Хеди. Он и Мусе дал бы, но тот еще совсем маленький, ему молоко нужно. Съест мама сразу три яйца и тут же выздоровеет, у нее в груди появится много молока, и тогда она покормит Мусу. Теперь все будет хорошо.

От такой уверенности мальчик чувствует радость, и нести тяжесть ему легче, ноги его, хотя и гнутся, как сырые прутья клена, но пытаются даже бежать, это мешок на них давит, а они рвутся из-под него.

Вчера, когда зашел к соседке тете Кахе, он слышал, как женщины говорили о маме: «Кончается бедняжка». Они-то думали, будто он не знает, что это означает. О смерти он знает давно, с тех пор, как умерла Меда...

Меда была младшей сестрой его матери, еще совсем молодой. Она вся горела, плавилась в жаре, с лица ее струйками лился пот. Она попросила воду, и он дал ей напиться. Схватив посиневшей рукой алюминиевую кружку, Меда, стуча зубами о край, жадно глотала воду. Потом рука ее, вместе с кружкой, упала. Он потянул кружку, но пальцы Меды не отпускали ее. Она вся напряглась и больше не шевелилась. Он плакал, вцепившись в кружку. Ему казалось, если он отберет у Меды кружку, она снова заговорит, но от руки через кружку шел холод... Тогда ему и шести лет не было. Меда говорила: «Скоро, Юса, тебе будет шесть». Теперь она так не скажет, и ему никогда не исполнятся эти шесть лет. Он тогда долго плакал, потом уснул на груди умершей Меды. Сколько прошло времени, пока пришел дядя Алман, он не знает, кажется, уже было утро. Дядя Алман — старший брат его матери и брат Меды — поднял его на руки. Он снова плакал...

Бабушка, дядя Алман, дядя Имран и Меда жили в горах. Его забрали к ним, когда родилась сестренка Хаза. Потом ему рассказывали: он сердился, что родилась эта девочка и отобрала у него мамину грудь, хотел, чтобы мама давала грудь только ему, а не ей. «Ты же уже большой», — стыдила его мама. Тогда и приехал дядя Алман, увез его к себе, еще выше в горы.

Уже потом он узнал, что маму, сестренку Хазу, его самого и всех людей из аулов выселили на эту холодную землю, называющуюся Казахстаном. Он долго оставался с родственниками матери. Когда бабушка была жива, она рассказала

ему сказку про страшного царя, который куда захочет, туда и выселяет много людей. «Его зовут Сталин?» — спросил он у бабушки, но она замахала руками, а потом закрыла ему рот своим изорванным клетчатым платком.

Бабушка вскоре умерла, и сказки ему стала рассказывать Меда. Его дяди и другие мужчины на худых-худых колхозных лошадях, запряженных в длинные телеги, уезжали из дому на два-три дня за керосином для колхозных тракторов. Меда сажала его себе на колени, обнимала за голову и, раскачивая, не то пела, не то причитала. Сказки ее были не страшными, а красивыми, он и сейчас помнит их.

«Когда мой родненький вырастет большим-большим, высоким-высоким, я наряжу его в белую черкеску, серебряным опояшу кинжалом, на коня посажу длинногривого, белою накрою буркою, на красавице Мелх-Азни, у которой косы из солнечных лучей, женю его и сама на свадьбе буду танцевать в белокрылом габали*. Жить мы будем высоко в горах, где реки текут молочные и медовые, на деревьях яблоки растут золотые, на склонах гор играют ягнята и белая девушка по имени Счастье ходит из аула в аул с большой корзиной и раздает людям красивые сказки», — напевала ему Меда.

Потом она заболела. Вместе с ней заболела и сказка. Тогда, по ночам, он пробирался в деревенские огороды и приносил охапками зеленый лук, чтобы Меда поела его и выздоровела. Однажды он поленом убил крысу. «Ты будешь у меня смелым», — сказала Меда. И он стал смелым. По ночам уходил все дальше и дальше от дома. Было ему и страшно, но он знал, что ничего не должен бояться, и разные ночные чудовища его не трогали.

Дядя поднял на руки мертвую Меду и ушел. Вернулся не скоро. Мальчик плакал и требовал отвести его к Меде. Дядя прижал его к себе, и он подумал, что тот сейчас отведет его к Меде. Он схватил дядю за плечи. Они дрожали. Он понял, что дядя тоже плачет, и ему стало его жалко. Все говорили, что мужчина плакать не должен.

Однажды у них появился незнакомый мужчина. Ему сказали, что это его отец. Он думал, что его обманывают. Его дяди были молодыми, красивыми и высокими, а пришелец был не молодым, не красивым и не высоким. Но дядя Алман сказал, что он должен уехать с ним. Он бы ни за что не послушался, если бы ему не сказали, что он прокатится на железной телеге, которая сама, без лошадей, может ехать от одного края света до другого и называется «огненной почтой». Тогда он согласился.

Отец привез его в большое село, которое называлось «станцией», и там они сели на «огненную почту», которую русские называли «поездом». Ехали они долго-долго. В вагоне все ели больших рыб, перевязанных веревочками, будто боялись, что они снова убегут в воду. Люди и ему давали кусочки. Говорили, что эта рыба печеная. А еще люди угощали его сухарями. У одного дяди, что ехал с ними рядом, был мешок, он прятал его под полкой, на которой спал. Но из мешка шел запах — он не хотел прятаться. Запах дразнил его, звал к себе таким сладким шепотом, какого он никогда не слышал, и ему хотелось забраться под полку, откуда тот звал. Чтобы не слушать его, он забирался на самую верхнюю полку, но запах тоже умел ходить и лазить — забирался к нему наверх, звал, тянул вниз — к мешку, в котором жил.

Однажды ночью сосед достал мешок и засунул в него руку. Тогда запах выскочил весь из мешка и бросился на него. Он стал отбиваться, но тот не

отставал. Дядя схватил запах и стал его есть, запах был красный и круглый, потом он узнал, что называется он яблоком. Этот дядя думал, что все спят, поэтому и начал есть его, а запах вырывался у него из рук и шел к нему. И он ел его...

Когда они с отцом сошли в городе Семипалатинске с поезда, запах тоже сошел с ними. С тех пор они всегда вместе, и когда ему очень голодно, он ест его, и становится легче... Еще он помнит, как в том же поезде один русский мужчина прищемил ему дверью палец. Было больно, и он плакал. Этот дядя был хороший, очень жалел, что так получилось, гладил его по голове и говорил много слов, ни одного из которых он не понимал. Потом, когда поезд где-то остановился, купил ему большую печеную рыбу и сказал: «Ну, не плачь, будь мужчиной». Хотя он и этого не понял, но сразу стал мужчиной — перестал плакать и стал есть рыбу. Эта рыба и запах долго его кормили. Но потом рыба кончилась. Тогда он пошел к двери и целый день стоял у нее, чтобы ему еще один палец защемили, но никто не сделал этого.

В большом, пыльном, жарком городе Семипалатинске отец купил ему стакан красного напитка — он назывался «морс» и оказался таким вкусным, что ему захотелось выпить сразу десять стаканов, но у отца не было больше денег.

В село Семеновку, где их ждала мама, добирались они с отцом долго. Много дней шли пешком по песчаной дороге. Идти было трудно, ноги вязли в песке, но не мерзли. Поздно ночью они пришли в какой-то дом. В маленькой темной комнатке, куда они вошли, было три женщины. Одна — совсем маленькая, старая, будто свернутое рваное одеяло, другая была моложе и самой высокой, третья — совсем молодая, но не такая красивая, как Меда. Все они были в старых, со многими дырами, платьях, и лица у них были желтыми. Он знал этот цвет, это был голод. Одна из этих женщин должна была быть его мамой, но он не знал которая. Они ему не понравились все, и ни одну из них он не хотел взять себе в матери, но та, высокая, кинулась к нему и стала обливаться слезами. Ему сделалось ее жалко, и он стал смотреть на нее. Ее лицо медленно начало походить на лицо Меды.

На нарах лежали двое детей, обернутых в тряпки. Они оказались его сестрой и братом. Ему сказали, что девочке Хеде два года, а мальчику Мусе три месяца, а сестренка Хаза давно умерла.

Утром он обошел весь дом. В сенях увидел небольшой фанерный ящик, в нем обнаружил зерно ржи, но его было так мало, что виделось даже дно ящика. Он понял, что в доме съестного ничего нет. А он-то думал, что голод остался там, на другой земле, откуда отец его увез.

Семья их перешла жить в саманный дом, состоявший из двух низеньких комнатушек и маленьких сеней. Фанерный ящик отец оставил тем двум женщинам... и они голодали.

Однажды пришел сердитый мужчина в военной форме, которого звали Комендант и которого все боялись. Страшно кричал, ругал отца за то, что тот без разрешения поехал за сыном. Одно слово он произносил много раз. Он этого слова не знал, оно было длинное, как поезд, в котором они ехали, и называлось «са-бо-таж-ник». Он его запомнил, потому что первая половина этого слова на чеченском языке означает «мыло». Потом комендант увел отца с собой, и отец не вернулся.

Недалеко от их дома живет дядя Миколай. Он работает на колхозной

подводе, в которую впрягаются две лошади. Осенью этот Миколай возит зерно в деревянном кузове подводы, вечером выметает из кузова то, что остается после разгрузки на колхозном току. Однажды, когда совсем стемнело, мальчик забрался в этот кузов и стал выковыривать из щелей между досками зернышки. Набралось целая горсть. Он стал делать так каждый вечер. Потом в деревянной ступке соседя Акбедая делал из зерна крупу и готовил кашу, давал ее больной маме, сестре и брату. Так телега Миколая кормила их целый месяц. Но однажды Миколай подстерег его и так стегнул по спине шестиколённым бичом, что он воробушком взвился над телегой и камнем упал на землю. Шрам от этого кнута у него и сейчас на спине под мешком, что нарочно упирается, чтобы он не донес его до дома.

Мешок становится тяжелей, а село будто стало на ноги и убегает, а он должен догнать его. Их дом стоит почти на краю, но все равно, если мерить дорогу этим тяжелым мешком, идти еще много. Он пытается обмануть себя, будто гнется не под тяжестью мешка, а мешок сам несет его по степи, как тот поезд, в котором они когда-то ехали с отцом. Он и глаза зажмурил, чтобы сэкономить силы, не видеть, как далеко еще до села.

Отвисший на спине мешок тянет назад, пытается осадить его на землю. Решив подтянуть его выше к плечам, он изо всех сил дергает его наверх, но мешок не поддается, это он нарочно, чувствует, что у него почти не осталось сил. Мешок вырывает из его рук свой скрученный конец и, как усталый человек, садится на землю и его сажает рядом с собой. От обиды хочется заплакать, но он не делает этого, чтобы мешок не подумал, что он его не дотащит.

Сырой, белесый туман еще стелился над землей. Ни в село, ни из него никто не шел и не ехал. Сквозь туман холодным пятном половинки незрелого арбуза пыталось выглянуть утреннее солнце. Нагревшееся под тяжелой ношей тело мальчика начало стыть. Ему захотелось взять что-нибудь из мешка и съесть, но вспомнились мама, сестренка и братик, которые были очень голодны, и он дал себе слово, пока не накормит их, себе ничего из мешка не брать.

В пастухи его никто и не нанимал. Он днями ходил по селу и степи. Иногда приносил что-нибудь съестное: то сладкую траву, то коренья какие-нибудь, которые пробовал сам и считал съедобными, а съедобным было все, что можно было жевать, не ощущая во рту противной горечи.

Однажды он увидел возле колхозных амбаров Большую Марфу. Все ее звали так. Она действительно была большой. В селе еще одну тетю звали Марфой, та была худой и маленькой; отличая их, и говорили: «Большая Марфа» и «Маленькая Марфа». Большая Марфа звала свою корову, пасшуюся далеко, у забора МТС, та не хотела идти домой. Тогда он сбегал туда и пригнал корову, ему все равно нечего было делать. Большая Марфа поманила его пальцем, привела к себе во двор и вынесла горсть квашеной капусты и почти толстый ломтик ржаного хлеба. Когда она в следующее утро выгоняла со двора корову, он уже стоял там. Большая Марфа ничего ему не сказала. Он подобрал с земли хворостинку и погнал корову в степь, прихватив еще коров бабы Зины и старой учительницы, имени которой не знал. Большая Марфа долго качала ему вслед большой, закутанной в пуховый платок и оттого похожей на копну сена головой. За околицей маленькое стадо его пополнилось еще несколькими коровами. Весь день он пас их, выбирая самые травянистые места.

Вечером встречавшие коров женщины качали головами, как и Большая Марфа утром.

На следующий день Большая Марфа дала ему молока в стеклянной банке и велела банку вернуть. Он сразу снес молоко матери и вернулся с банкой. Теперь каждое утро ему что-то давали, вечером тоже. Были и вредные женщины, ворчавшие, что им пастух не нужен, но Большая Марфа так смотрела на них, что они сразу замолкали. Так он стал пастухом. Сосед Году вырезал ему из старого комбайнового ремня кнут. Обычно он прогонял стадо мимо русского кладбища. У чеченцев тоже было свое кладбище, но оно находилось по другую сторону села, далеко. Взрослые говорили, что та сторона ближе к Кавказу, где они родились.

Русские могилы красивые. Каждая обнесена оградой из крашенных кольшиков. В изголовье одних возвышаются кресты, других — звезды. Они тоже покрашены. Чеченцы говорят, что кресты ставят тем, кто верил в Бога, звезды — верившим Сталину.

Сегодня утром на русском кладбище издали он увидел много народу. Подумал, что кого-то хоронят. Он подошел поближе. Он знал, что на русских могилах плачут так же, как и на чеченских. Но эти люди почему-то не плакали, а смеялись, обнимались, целовали друг друга, им совсем не было печально.

Первым его заметил и позвал высокий мужчина, имени которого он не знал, но много раз видел, как тот ремонтировал колхозные железные бороны. Тот был высоким, и на нем был длинный пиджак. Он не хотел подходить слишком близко, ему помнился кнут дяди Миколая, но у этого лицо было не такое, и он решился.

— Ну-ка, держи, постреленок! — сказал мужчина и положил ему в ладонь маленькое круглое солнышко и добавил: — это сам Христос тебе дает!

Солнышко оказалось крашеным куриным яйцом! Потом этот Христос указал на него другим людям и что-то им сказал. И все стали протягивать и давать ему цветные яйца, румяные калачи, красные булочки, кусочки сахара, и везде вокруг слышалось: Христос воскрес... Христос воскрес... Христос... Христос... Христос...

Он растерялся: куда ему все это положить? Край его ситцевой рубашки переполнился доверху, а ему все протягивали и протягивали. Тут подошла Большая Марфа и сказала:

— Беги домой и принеси мешок.

Он растерялся: как он все это оставит и пойдет домой?! Большая Марфа подтолкнула его в спину. И он побежал так быстро, как не бегают даже жеребенок, отставший от матери.

Когда он вернулся, Большая Марфа помогла ему сложить подарки в мешок, а Христос взвалил наполовину заполненный мешок ему на спину, спрашивая при этом: «Унесешь?»

Не отвечая, он побежал под мешком в сторону села.

Теперь мешок сошел с его спины и не хочет идти домой. Он пытается подлезть под него и встать, но тот сползает и снова ложится на землю. Тогда он решает потащить его волоком. Это у него получается, но вскоре он замечает, что мешок мокнет. Он начинает бояться, что все в нем попортится, и останавливается. Ведь ему надо дать матери три целых яйца, тогда она сразу же выздоровеет и ему не придется, как тогда у Меды, тянуть из ее холодной руки кружку.

«Хороший человек этот Христос, — думает он, — как и Большая Марфа». От этой мысли ему становится легче.

Вдруг на горизонте появляется всадник. Он медленно приближается. Но он едет по дороге, до которой от мальчика далеко, и ему не успеть до нее добраться. Мальчик тянет мешок к дороге. Мешок идет за ним несколько шагов и останавливается, прилипая к холодной и сырой земле. Всадник скоро проедет. Но лошадь останавливается, потом медленно поворачивается в его сторону и идет вперед. Ему становится страшно: «Сейчас этот человек подъедет и отберет мешок!» Всадник приближается. Мальчику становится еще страшней, но тут он узнает всадника: это дядя Гани. Тот тоже его узнает и улыбается ему издали, маша рукой, с которой свисает короткий кнут. Про него все говорят, что он не боится и самого Коменданта и русскую грамоту знает лучше русских.

— Ты что здесь делаешь, Юса? Что это у тебя? — спрашивает Гани, подъезжая и указывая кнутовищем на мешок.

— Христос кое-что дал, — отвечает он тихо.

Гани смеется, свесившись с коня, поднимает мешок, потом и его, приговаривая:

— Э, да ты раза в два легче своего мешка.

Лошадь трогается. Гани заглядывает в мешок. Мальчику это не нравится.

— Кто, говоришь, дал? — продолжает он посмеиваться.

— Христос...

— Это где же вы встретились?

— Там, у русских могил. Он такой высокий, с белыми волосами... И сам дал, и другим тоже велел, тогда и те дали...

— А ты знаешь, кто такой Христос?

— Знаю, он весной колхозные бороны ремонтирует.

Гани смеется. И снова:

— Да ты знаешь, мальчик, кто такой Христос?

Он молчит.

— Эх ты, — Гани уже не смеется. — Христос же у христиан — Бог. У них сегодня праздник — Пасха.

Гани еще что-то рассказывает, но мальчик его не слушает, он знает лучше, сам видел того, кто дал ему красное яйцо...

Аркадий Штейнберг

Рассказ бронебойщика

Быль

В юбилейный год Победы представляю на страницах журнала «Дружба народов» первую публикацию поэмы «Рассказ бронебойщика» Аркадия Штейнберга (1907–1984), известного поэта, блистательного переводчика и художника, участника Великой Отечественной войны, пережившего два лагерных срока и спасавшего от болезни и смерти заключенных в лагерях Ветлосяна.

У Аркадия Штейнберга немного военных стихов, хотя он любил вспоминать о войне, о боевых сражениях, о работе переводчика, о допросах пленных немецких офицеров и солдат. Когда Аркадия спрашивали: «А вы убивали на войне?», он отвечал: «Да, я убивал на войне и чувствовал себя абсолютно правым».

Среди военных стихов Штейнберга наиболее памятли «Могила Неизвестного Солдата» (1932) и «День Победы» (1965).

Я день Победы праздновал во Львове,
Давным-давно я с тюрьмами знаком.
Но мне в ту пору показалось внове
Сидеть не пересылке под замком.

Тогда же, в плодотворном для Штейнберга 1965 году, появится его программное стихотворение «Вторая дорога»:

В ту ночь мне открылась в видении сонном
Дорога, одетая плотным бетоном,
Дорога до Бога,
До Божьего Рая,
Дорога без срока,
Дорога вторая.

Недавно в нашем домашнем архиве я случайно нашла маленькую поэму «Рассказ бронебойщика».

Аркадий Штейнберг прошел не всю войну, но несмотря на это дослужился до чина майора и был награжден «Орденом Отечественной войны 2-й степени» и медалью «За боевые заслуги».

Пусть публикация этой маленькой поэмы напоминает о том, что даже в самые страшные годы на полях смертельных сражений были поэты.

Наша рота числится отдельной.
Где какой прорыв или нажим —
Кличут нас, и мы семьёй артельной
На отхожий промысел спешим.

Есть меж нас немало бородатых
Крепышей, что помнят старину,
Что дрались когда-то на Карпатах
В первую германскую войну.

Не подмок их порох сбережённый,
Коль сгодились воевать ещё.
«Наши жёны — ружья заряжены...»
Запоёшь, намяв стволом плечо!

Запоёшь, а про себя доволен,
Хоть невмочь пошевелить мослом.
Каждый бронбойщик словно болен
Золотым своим ремеслом.

Дай солдату снасть ему по нраву,
И солдат рванёт со всех корней.
Дай такую боевую справу,
Чтоб солдат почуял силу в ней.

Ты задень солдата за живое,
Объясни про воинскую честь,
Он тогда оружие пудовое
До победы будет несть и несть.

Тяжеленько нам пришлось вначале...
Думали: а вдруг не устоим?
Только ружья нас и выручали
Безотказным действием своим.

Нынче мы и сами не откажем,
Роту нашу люди не корят.
Что по танкам, что по дзотам вражьи
Бей в упор, не пропадёт заряд!

Давеча мы были с батальоном;
Брезжил свет белее молока,
По-над взгорьем, припадая к склонам,
Снеговые стлались облака.

На хребты, на сгорбленные хаты
Покрывало смутное легло.
Сизый день, что голубок хохлатый,
Голову упрятал под крыло.

Затемно мы хлеба пожевали,
Всухомятку, что и говорить!
Думали, удастся на привале
Концентраты пшённые сварить.

Думали, сейчас НЗ припрячем,
А закусим середь марша, днём,
Чаем побалуемся горячим,
По сто грамм положенных глотнём.

Там, гляди, добьёмся ротной кухни,
Малость отдохнём и снова в строй.
Только наш обед возьми да ухни!
Подвела погодка, день сырой ...

Отмахали с вёрсту от селенья
И смекаем: ветер не к добру.
С моря дует — жди увеселенья,
Если не тотчас, то ввечеру.

Так оно и выдалось! К полудню
Ростепель случилась как назло.
Глина потекла подобно студню,
Киселём дорогу развезло.

Напридачу повалил снежище,
День померк, хоть лампу засвети!
Нет ни кухни, ни горячей пищи,
Разве им, сердешным, доползти?

Ну а нам — шагать, без передышки.
Командир с часов не сводит глаз.
Срок подходит. Крой во все лодыжки!
На передовой заждались нас.

Отдыха не будет ни минуты.
Лезь вперёд, не выдавай, друзья!
Продирайся сквозь чапыжник лютый,
Плюх в ручей, когда в обход нельзя!..

Заполночь, в беззвёздной тьме студёной,
Лязгая зубами и дрожа,
Вышли мы растянутой колонной,
На опушку, возле рубежа.

Дыбом встали мёрзлые шинели,
Словно шерсть, топорщатся оплечь;
Даже сапоги залубенели,
Ни тебе идти, ни сесть, ни лечь!

Отогреться негде да и нечем:
Водки нет, костры запрещены...
Как расскажешь словом человеческим
Будничные тяготы войны?

Что же нам теперь — кидаться оземь,
Выспаться, пускай в последний раз?
Если все мы ноги поморозим,
Кто же утром выполнит приказ?

Делая крутые повороты,
Уминая снег, ломая лёд,
Танцевали стынувшие роты
До рассвета, ночью напролёт.

Прыгали в удушливом тумане,
Истово бранились невпопад
До тех пор, пока на зорьке ранней
Из лесу не вышел к нам комбат.

Он кивнул — мы двинулись под сосны,
Сколько было нас, до одного,
Увидали отблеск купоросный
На щеках увядших у него.

Увидали розовые шрамы,
Славный след, оставшийся навек,
Увидали огонёк упрямый
Из под вялых, наслезнённых век.

Глядя поверх сучьев поределых,
Молвил он и словно слушал сам:
«На своей земле, в своих пределах,
Мы, как волки, бродим по лесам.

Мы, как волки на морозе, пляшем,
Стужу нестерпимую кляня...
Жадный вор в дому расселся нашем,
Тешится у нашего огня.

Жадный вор бесчестит наших милых,
Счастьем нашим лакомится всласть,
Пакостит на дедовских могилах,
Нашим хлебом набивает пасть.

Кто дал право вшивому бродяге,
Дозволенье кем ему дано,

В нашей хате пить из нашей фляги
Наше заповедное вино?...»

Командир потупился сурово
И пошёл, ступая тяжело,
Но его бесхитростное слово
В пепел всю истому пережгло.

Речь его запомнится до гроба —
Словно паутину обмела!
Мы очнулись, и святая злоба
Сердце залепила, как смола.

Смертный стыд, великое страданье
Мы собрали в яростный комок,
Чтобы к сроку выполнить задание,
Чтоб никто в бою не изнемог.

Вышибли из блиндажей и дзотов,
Порешили окаянных псов
И станицу, крепко поработав,
Заняли в одиннадцать часов.

Вот она, заветная награда —
Хлеба кус, глоток речной воды!
Смотришь на людей, а сердце радо:
Не пропали тяжкие труды.

Наша Русь, родимое гнездовье,
Пепелище наше, отчий дом!
Чёрное твоё убранство вдовье
Мы рукой сыновней отведём!

Мы придём, овеянные стужей,
Зноем опалённые степным,
На плечах — стволины верных ружей,
А в мешках — запас патронов к ним.

Не сложна солдатская основа,
Пытанная кровью и огнём:
Дай солдату правильное слово,
Чтоб солдат почуял правду в нём.

Ты задень солдата за живое,
Объясни про воинскую честь,
Он тогда оружие пудовое
До победы будет несть и несть.

1965

Борис Голлер

Неназванное

Несколько страниц о войне

Друг, назови меня по имени.

Ю. Тынянов

— Почему вы не пишете мемуаров? (Или — «...ты не пишешь»?)

Я отвечал однозначно. По роду занятий я слишком много времени провел, погружаясь в исторические источники — и в мемуары в том числе. Меня пугает условность мемуарного жанра, его ангажированность — не только личностью автора, но и изменчивостью самой этой личности. Всякий мемуарист, вольно или невольно, пытается соединить в своем рассказе две эпохи: ту, отдаленную, о которой он вспоминает, и ту, в которой существует сейчас. А это — разные времена и разные люди.

Потому я не сразу решился написать эти несколько страниц о войне. Да и какой из меня свидетель? Мне было только 10 лет, когда она началась, и не было 14-ти, когда закончилась. А с другой стороны... Она была и осталась самым главным переживанием моей жизни. Которое всегда лежит отдельно от всех. Даже от счастья.

Перед войной

Если б я в самом деле рискнул обратиться к мемуарам, я начал бы, верно, с трех вспышек памяти, которые остались совсем на грани ночного беспамятства детства. Вот одна из них. (Дату, конечно, после проставит история.) 1 декабря 1934. Утро выходного дня. Я в комнате с отцом. Входит мама: «Сергей на кухне сказал, что в Смольном убили Кирова!..» (Сергей был соседом по коммунальной квартире. Его, должно быть, убили на войне, потому что после войны в его комнате оказались совсем другие люди.) Отец начинает поспешно одеваться. Наверное, еще одевают меня — декабрь. Потом папа берет меня на руки, и мы выходим. На улице он сажает меня на плечи. Мы идем по улице. Куда? Я не

Голлер Борис Александрович — писатель, драматург, историк, эссеист. Автор множества пьес, а также эссе-исследований по русской литературе и истории XIX века. Роман Б.А. Голлера «Возвращение в Михайловское» (книги Первая и Вторая) публиковался в журнале «Дружба народов» в 2003 и 2008 годах.

знаю. Не уверен, что и отец в ту минуту знал. Просто шел весь город. К Смольному. Потом мне расскажут, что отец, еще курсантом командирских курсов, слушал Кирова и даже стоял в карауле во время одного его выступления. В городе Кирова любили и звали Мироныч.

Мы жили в Ленинграде, в коммуналке в центре города — в сравнительно большой комнате (с окном в угол двора, фактически в стену) совместно с целой кучей маминых родственников. Любовь мамы к своим родственникам и повседневная связь с ними в свое время сыграет не самую благостную роль в моей жизни. Но пока мне три года, и я живу в собственном пространстве, какое предоставлено судьбой. И здесь ничто не стесняет меня. Среди обитателей нашей комнаты некто высокий, с окладистой бородой. Муж старшей тетки Ф. (его всегда звали по фамилии). Даже имени не знаю. Я зову его Аба — от слова «борода». Кажется, я таскал его за эту бороду.

Муж моей тетки Ф., Аба, почти в тот же день исчез навсегда — даже из памяти своей жены. Только не из моей — уж не знаю почему. Он был старый большевик и один из близких сотрудников Кирова. Его расстреляли почти сразу. Тетка, да и вся наша семья не пострадали только оттого, что он был тетке муж гражданский. Репрессии коснулись его официальных родственников. В частности, лежачей больной — его официальной жены. Наверное, он очень мою тетю Марию любил, если наше убогое жилье с множеством людей в комнате, да еще с маленьким ребенком, предпочел своей роскошной обкомовской квартире. Да и тетка была очень красивая женщина. Правда, очень советский человек. Где-то после войны, в опасные поздние сороковые, она не постеснялась сказать при мне: «Партия разобралась в нем раньше, чем я...» (Ну, может, хотела успокоить своего нового мужа. Все ведь знали, что она того, другого, любила.) А в конце пятидесятых, когда все плакали после доклада Хрущева, плакала и она. И вспоминала, как он перед арестом прибежал к ней: «Меня исключили из партии, я — враг народа. Если я — враг народа, то кто же друг народа?..»

Даже четверть века спустя, в пору хрущевской оттепели, я вряд ли мог понять, что в тот день, 1 декабря 1934-го, началась особая история моего города. Кроме общей истории страны. Это была как бы добавочная пайка к общим страданиям. Не только тридцать седьмой, но еще и тридцать четвертый: убийство Кирова. Не только война, но еще блокада — почти 900 дней. «Постановление о журналах "Звезда" и "Ленинград"». «Ленинградское дело» — 1949-й.

И теперь, из других времен глядя на толпу людей, стекающуюся с разных улиц к Смольному 1 декабря 1934-го, я словно пытаюсь заглянуть не только в их лица, но в их дальнейшую судьбу, какая еще неизвестна им.

Как ни странно, я помню и тридцать седьмой, к сожалению, даже слишком ярко. Я был сыном инженера-строителя. И уже лет с четырех знал, что мать опасается ареста отца. Он был строитель-проектировщик и вечно мотался в командировки, в том числе на какие-то аварии. Что-то построили не так по его проекту, что-то падает... И это спокойно могли счесть «вредительством». Это было чуть не главное слово эпохи: «вредитель». Все равно что «враг народа». Помню, как воронки въезжали ночью, и отца за занавеской у окна в какой-то тоскливой позе. (Я об этом рассказал потом в одноактной пьесе «Мальчик у телефона».) Должно быть, не только в нашем окне в тот момент стыли люди за

занавесками и смотрели в растерянности, куда направятся прибывшие — в какую парадную.

Потом отец получил письмо из Москвы об аресте старшего брата. (Лицо его представляю себе и сейчас.) Он письмо прочел, сжал в кулаке, и маленький бумажный комок бросил на верхнюю крышку пианино. (Брат отца в 1919 году был арестован и приговорен к смерти белополяками за подпольную коммунистическую пропаганду в польских восках. Казнь заменили каторгой, с которой он бежал трижды. В тридцать седьмом это все сочли достаточным основанием, чтоб вкатить ему еще 10 лет лагерей.) Я и сейчас вижу тот бумажный комок на крышке нашего старого семейного «Offenbacher'a», доставшегося нам от бабушки. Не маме, а ее младшей сестре, но той негде было его поставить, и инструмент жил у нас. За этим пианино меня долго и безуспешно пытались учить музыке. А у меня и так было много дел.

В общем мне хорошо жилось до войны. Ну, во-первых, я рано начал читать и читал с удовольствием. Во-вторых, был двор. А во дворе — масса интересного. Поленицы с дровами, из которых мы строили крепости. Игра в мяч через сетку — сетка была натянута поперек двора, чуть не в каждом дворе — это было для старших. А подвалы, чердаки — это было для нас. Подвалы готовились на случай войны стать бомбоубежищами (так считалось). Ничего для этого не делалось, но они всегда были открыты. Мы там бродили толпами, а с нами бродили крысы. Еще было развлечение забираться по парадной лестнице на самый верх, на пятые этажи — но не по ступенькам, а по их выступам, которые торчат за перилами. Это было опасно, но бесконечно привлекательно. До сих пор не понимаю, как ни один из нас не грохнулся тогда.

Во дворе, кстати, я и начал писать. То есть, писать непосредственно я еще не умел, и мой первый рассказ записал во дворе на скамейке вместо стола мой приятель-первоклассник. В тетрадке в три линейки. Много лет спустя мы встретились с ним. Полный широкоплечий полковник спросил меня: «Неужели до сих пор, Боря?..» Я ответил: «До сих пор!» — «Боря, так это ж — болезнь!» Не знаю. Наверное!

А еще у нас было кино. Я верю в предопределение. Как верил в него Михаил Юрьевич Лермонтов, последней частью своего романа «Герой нашего времени» сделавший новеллу «Фаталист».

Первым фильмом, на который меня взяли в кино — четырех лет отроду (верно, не с кем было оставить) — стал немой кинофильм «Поэт и царь». Я его покадрово помню до сих пор. И почти уверен, что мои занятия той эпохой большую часть жизни, темы той эпохи — все пошло оттуда. А первой постановкой не кукольного, но «взрослого» театра, на которую я попал, была опера «Евгений Онегин», которая, кстати, мне не понравилась. Да и сейчас не нравится — как драматическое произведение.

Но главным все же было довоенное военное кино...

Во второй половине 30-х появился в нашем доме дядя Петя — муж самой младшей сестры мамы. С этой теткой родной я не ладил после. А с мужем ее — другое дело. С ним мы были близки, хотя в нашей семье с трудом принимали его. «Нас потрясали одинаковые страсти», — как говорил Бабель. Дядя Петя был из Донбасса, из Горловки. Впрочем, и мамина семья — из Краматорска. Он был большевик, коммунист. То есть из комсомольцев первого или второго призыва и недавно в партии. Он жил романтикой социализма и Гражданской войны. Он

даже моего папу в каком-то семейном споре однажды назвал «буржуем», что было глупо и небезопасно в те дни. Его часто выгоняли с работы — не помню, сколько раз. И жена за это пилила его. Было слышно за стенкой, и я его жалел. Он во все вмешивался, что считал неправильным, несправедливым и несоответствующим идеям социализма. (Как он не сел в то время, я не понимаю!) Он всюду требовал того социализма, который ему обещали в 17—18-м году и который жил в нем. Потому всегда попадал впросак на службе. Но когда его выгоняли в очередной раз и он оказывался дома на несколько дней, он ходил со мной в кино. И мы с ним пересмотрели все героические советские фильмы. «Чапаева» я смотрел несчитанное число раз.

Мне было шесть или семь. А дяде Пете — 24—25. Но если на экране скакала красная конница, мы вместе на весь зал кричали «Ура!». Не мы одни — многие кричали. Моя родная тетка говорила с издевкой, что у нас обоих «конники в голове». «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин // И первый маршал в бой нас поведет...», «Если завтра война, если завтра в поход, // Будь сегодня к походу готов...» Не готовы оказались — что делать? И как неважно воевал «первый маршал» (товарищ Ворошилов)! Но это все после.

Война и еще не война

Для меня война началась раньше, чем для многих. Папа мой был мобилизован во время Финской кампании — так ее называли, эту странную войну. Он собирался в командировку, почти выходил из дому, чтоб ехать на вокзал. Но тут вошел красноармеец и принес повестку. Так отец оказался на Реболском направлении командиром автобронероты. У матери на нервной почве отнялись ноги, и она не работала. Наша няня Маруся отказалась брать жалование и ухаживала за всеми. Кроме меня и матери была еще сестра, которой был всего год. В Ленинграде вечерами ввели затемнение, хотя авианалетов, кажется, не было. На улицах появились странные люди в такой же форме, как у красноармейцев, только с маленькими погонами. Погоны, до сих пор считалось, носят только белогвардейцы. Теперь их придали для важности бойцам так называемой Финской народной армии, а финны, с которыми воевали, именовались белофиннами. Почти сразу появился анекдот: почему, если есть финские мины, то не могут быть минские финны? Впрочем, «минских финнов» было не так много. Был брошен в бой в основном Ленинградский военный округ. Слухи о финских минах, о «кукушках» — снайперах, засевших на деревьях, о лыжниках, наносивших ночные удары по нашим войскам в лесах, полнили город. Особенно это волновало семьи, у которых на войне были близкие. Потому и я знал подробно об этом. Когда шли уже переговоры о мире с Финляндией и завершались даже, чуть не в последнюю ночь, штурмом был взят Выборг. И при этом полегло много наших бойцов.

Отец вернулся с войны мрачный и какой-то растерянный. Ну да, он воевал, как все, у него погибали товарищи, было несколько обстоятельств, в которых, можно было считать, он уцелел чудом. Война есть война. И он был, в общем, не робкого десятка. Но он был инженер-строитель, вообще крупный инженер. Он не терпел беспорядка и неумения делать свое дело. Его это просто бесило. Кроме того, он прошел командирские курсы при Тухачевском и не раз призывался на

военные сборы. И увидел там, на Финской, в каком состоянии армия находилась теперь и что с ней случилось в 30-е. Он рассказывал о красноармейцах, брошенных в зимнюю войну в шинелях, в сапогах или в ботинках с обмотками. (Полушубки появились позднее и не у всех, валенки также.) Финская армия была с автоматами, а наша в основном с винтовками и т.д. Финская была вся почти на лыжах, а в нашей лыжников не хватало. От отца мы услышали об огромном количестве обмороженных бойцов, о потерях, которые были просто от неразберихи.

Вообще год сороковой после конца финской войны представляется каким-то странным. Люди задумались о чем-то. Вдруг снова негромко заговорили о фашизме. Эта тема фактически выпала из разговора, была перерублена пактом Молотова—Риббентропа. Знаменитая речь Молотова, возвещавшая нам: «Мы должны понимать, что слова "агрессия" и "агрессор" теперь меняют свое значение. Что агрессорами являются как раз западные страны, а Германия страной, стремящейся к миру...» — что-то в этом роде. Тогда это все повторяли на разные лады. Черт с ним, с этим пактом, и в какой мере он в самом деле был вынужден, не знаю. Но что полностью была прекращена на два года антифашистская пропаганда, дорого стоило нашему народу в первые месяцы сорок первого. Да и не только нашему. И коммунистическим партиям оккупированной Европы, которые в тех условиях одни поначалу могли оказать какое-то сопротивление фашизму. Но они ведь привыкли равняться на Советский Союз! А он был «в мире» с Германией. Это «непротивление злу» сыграло и зловещую роль в том, что война показалась многим столь неожиданной. Но у меня, к счастью, был умный отец. Откровенная радость ощущалась в нашей семье, когда в Москве стали печатать роман И.Эренбурга «Падение Парижа». Сама публикация была каким-то нонсенсом при том, что у нас официально немцы все еще ходили в «заклятых друзьях». Роман был четко «профранцузский». (Сам я, разумеется, прочел его потом, но помню, как читал отец и восхищался.) После занятия немцами Парижа что-то дрогнуло и в официальной нашей пропаганде. Мрачное предчувствие уже носилось в воздухе. Вести с Западного фронта, где союзники дрались с Германией, стали более ровными, нейтральными. В них проскальзывало сочувствие. Сдача Парижа и отступление англичан от Дюнкерка на судах — это все уже словно и нас касалось.

Лето сорокового было все равно каким-то почти блаженным. Оно было вовсе не дождливым и в меру жарким. Осталась где-то у сестры семейная фотография: мы на пляже в Сестрорецке с отцом. Отец лежит на песке, а рядом с ним какой-то длинноногий смеющийся мальчик, шурящий на солнце. Ко мне он уже не имеет отношения.

Первые часы

В эссе о Петербурге несколько лет назад я назвал себя «человеком с канала Грибоедова». Хотя вырос я у Фонтанки, на улице Рубинштейна. И обе школы мои выходили на Фонтанку. Но почти всю войну, с перерывами, конечно, где бы я ни находился, мне снился один и тот же сон: залитый солнцем сквер у Казанского собора и памятники Кутузову и Барклаю де Толли. Хотя это место до войны я и видел, возможно, всего один раз. Два от силы. Но сон тот означал

для меня, что я когда-нибудь сюда вернусь. Я и сейчас канал Грибоедова люблю в городе более всего. Да и во всем свете тоже.

...И снова я оттягиваю начало. Не знаю почему. Наверное, это очень тяжелое начало.

До войны мы снимали дачу где-нибудь под Ленинградом. В основном, в районе Сестрорецка: Разлив, Тарховка и сам Сестрорецк. В сорок первом отец нас вывез на дачу почему-то раньше обычного. В начале июня.

Перед выездом дня за два произошел эпизод, заметный в моей жизни, и для меня он имеет прямое отношение к теме. На Рубинштейна, в начале улицы, на углу помещалось знаменитое перед войной, да и после, «Кафе-автомат», где теперь «Макдональдс». В кафе меня родители отпускали иногда за мороженым. У входа в кафе, у самого тротуара, был газетный киоск. Журналы и книги там тоже продавали. Я увидел книгу в бумажном переплете, газетное издание: «Блок» и купил вместо мороженого. Вечером я спросил у отца, кто такой Блок? Отец сказал, что это великий русский поэт. Я удивился, я думал, что знаю уже всех русских великих поэтов. В книге были поэмы «Двенадцать», «Скифы» и «Возмездие». Если для всего другого требовалось время, то «Скифы» захватили меня. Я читал и перечитывал и выучил пол-поэмы наизусть и без конца повторял...

Да, скифы мы, да азиаты мы
С раскосыми и жадными очами.
Для вас века, для нас — единый час,
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас —
Монголов и Европы.

Эти строки для меня явились каким-то входом в войну.

Дача в Разливе была в чудном доме с садом и с милыми интеллигентными хозяевами. И родителям пришлось убеждать хозяев, чтоб они сдали дачу семье с двумя детьми и еще тетке с годовалым ребенком. Обещали, что дети, то есть я в особенности — как старший, не будут портить ничего в саду.

Утром в воскресенье отец пошел на станцию за квасом: мама собиралась готовить окрошку. День был солнечный, даже слишком яркий — день по характеру, скорей, для средней полосы; у нас, на северо-западе, такие выдаются редко. Отец взял меня с собой. Мы купили квас, еще что-то на рынке и батоны в магазине и уже возвращались домой. У синего высокого забора дерматологической клиники (говорили, что там лечат от волчанки) мы остановились, потому что радио-тарелка над больницей, укрепленная на фронтоне, вдруг заговорила каким-то особо торжественным или тревожным голосом: сейчас выступит председатель Совета Народных Комиссаров Вячеслав Михайлович Молотов. Конечно, мы стали слушать. Речь эта всем известна. Более всего поразило не то, что это случилось уже, а слова, в каких это было подано: «Без предъявления каких-либо претензий к Советской стороне» — это еще можно было понять. Но «вероломное и неожиданное нападение»... Уже недели две по радио передавали, что немецкие войска скапливаются у наших границ. Да и «вероломно»... Они до сих пор так на всех нападали. Но почему-то еще недавно говорили, что они «стремятся к миру». Всю дорогу к дому мы с отцом бежали, верней, бежал он, а я едва поспевал за ним. Я даже спросил: «Ты чего бежишь?» — «Чудак! Мне на войну идти!» В итоге мы расплескали весь квас и почти все молоко. (Молоко тогда носили в бидонах).

В тот же день папе удалось нанять грузовик, и мы переехали в город. В последние дни (опять некое предопределение!) я зачитывался книгой Тарле «Наполеон» (наверное, она только что вышла) и успел дочитать ее. За неделю до того, в воскресенье, ее привез дядя Петя — она была из его заводской библиотеки, он захватил ее с собой, чтоб не скучать в поезде, а я выклянчил у него на несколько дней. Что-то, а книги я умел выклянчивать. Но в момент лихорадочных сборов я бросился ее искать и не мог найти, да так и не нашел. И главное, что волновало меня в тот день, что я затерял дядину библиотечную книгу. Вероятно, не только я, десятилетний ребенок, но многие взрослые утыкались тогда во что-то бытовое, сиюминутное и не могли понять, что вступили в другую жизнь, в другой мир — где за книгу, к примеру, уже можно и не отчитываться. Но придется отчитываться по-другому и за другое...

Вечером мы прибыли в город. Был яркий летний июньский день, всюду слепило солнце. На улицах, на всех лотках отливала по меньшей мере тремя цветами роскошная спелая черешня. И на всех улицах и со всех вокзалов шла почти одинаково праздничная, явно с отдыха, толпа — с узлами и баулами, с кошелками и авоськами, в легких платьях, в сарафанах для пляжа, с пиджаками на руке, с полотенцами через плечо... И было впечатление, что никто ровным счетом ничего не понимает.

Мой день рождения

Я пишу эти строки в свой день рождения, 3 июля. Только 73 года спустя.

Первые дни после объявления войны все было скорее странно, чем страшно. Где-то шла война, где-то гибли люди, над Ленинградом повисли аэростаты воздушного заграждения. Но где воюют (и как), где линия фронта? Было похоже, что наши отступают. Но даже всегдашних источников информации о событиях — слухов — почти не было. «От советского Информбюро...» Сводки передавались каждый день и по несколько раз на дню, но абсолютно неконкретные. В них пытались обходиться вовсе без топонимики: «На (таком-то) направлении наши войска вели бои с превосходящими силами противника». Сплошной повтор, словно заело пластинку: «...с превосходящими силами противника, с превосходящими силами противника...» Я этот прием застрявшей патефонной пластинки через много лет, в 60-х, использую в ремарке своей пьесы «Миф о десанте», чтоб обозначить время. «... с превосходящими силами противника...» А собственно, почему и откуда взялись они, «превосходящие»? Нам ведь говорили всегда...

Отец уже 24 июня вступил в дивизию Народного ополчения. Часть формировалась в городе, и он часто бывал дома. Но и он ничего не мог объяснить.

3 июля, как раз в мой день рождения, выступил Сталин.

Мы слушали стоя — все взрослые, кроме маленькой сестры. Стояли навтыжку перед черной домашней радиотарелкой и слушали. Стояли не из почтительности, как понимаю сейчас, а из ощущения значимости момента. Радиотарелки в домах были по размеру почти такие же громоздкие и неказистые, как уличные. Почему-то они были черные. Сталин говорил глухо, кажется, волновался, и грузинский акцент его был в этой речи сильнее, чем обычно.

Знаменитая речь: «Дорогие соотечественники, братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!» Мы впервые узнали, что происходит на самом деле. Что армия отступает, что потеряна территория почти всей Белоруссии, часть Украины, Прибалтика... Как же так? Мы же знали, что у нас непобедимая армия! Что воевать мы будем всегда только на чужой территории. «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и свой вершка не отдадим!» Пели ж мы столько лет! Пели!.. По-моему, именно в этой речи вождь не преминул задеть «плаксивых интеллигентов», которые, вроде, первые могут предаться панике в тяжелый момент. (А может, это было в другой речи?) Это был главный пункт его и всегдашняя главная мишень его расправ. В том числе словесных. Интеллигенты. Зачем это было ему сейчас? Интеллигенция в тот момент как раз заполняла военкоматы и пункты формирования частей народного ополчения и обижалась, когда ее не брали. По болезни. По возрасту. Надо сказать, что и собственный этот комплекс неполноценности в интеллигенции к сему времени был воспитан советской властью — ох, как воспитан! После отметят не раз, что бывший семинарист, порвавший с Богом, разрушивший такое количество церквей, по приказам которого было убито или отправлено в Соловки столько священников, вдруг вспомнил впервые истинно христианское обращение «Братья и сестры!», казалось, вовсе забытое в стране, которую он вел. (Куда? На этот вопрос нет вразумительного и полноценного ответа по сей день, и вряд ли я услышу его при моей жизни. И есть только вера, что кто-нибудь, когда-нибудь услышит его в окончательном виде, этот ответ!) Говорят, его мать повторяла до конца дней: «Лучше бы он стал священником!» Возможно, в самом деле лучше бы! Он не поехал, как известно, даже на ее похороны в Грузию, а послал кого-то вместо себя. Кажется, Микояна.

А мы стояли и слушали молча. Не помню, дослушал ли речь до конца мой отец. Но он вдруг выскочил из комнаты. С силой хлопнула дверь. Через полчаса примерно он вернулся с пакетами. Там было все. Сладости, которые мы видели довольно редко. Шоколад, фрукты... Свежий кефир, молоко. Свежие, с подрумяненной корочкой, пахнущие пекарней хлеб и булка. Шпроты и другие консервы...

— Садитесь! Ешьте! Это в последний раз! (И буквально заставил нас сесть за стол.)

Он был прав. Через день-два полки в магазинах уже были пусты.

Волейбольная сетка

Первое, что исчезло с нашего двора, — волейбол. Я говорил уже, что в нашем, достаточно узком дворе-колодце старого петербургского доходного дома — впрочем, «доходным» его давно уже никто не называл, — поперек двора меж двумя напротив друг друга расположенными черными лестницами (парадной считалась только одна — в центре двора) была натянута волейбольная сетка. Играли две команды. Как это переносилось всеми прочими жителями дома — этот бесконечный стук в замкнутом пространстве двора, — уже не помню. Я был в том счастливом возрасте, когда такие вещи нас мало занимают. Да и сам был из тех, от кого было шумно во дворе. В волейбол играли старшие — компания спаянная и праздничная. И вызывавшая зависть у нас, младших. С ними мы

только здоровались, они нам кивали небрежно. Они мало замечали нас, но однажды, когда я по глупости обидел кого-то, кто был меньше меня и, значит, слабей, я получил внушение от кого-то из них, и весьма внятное. Не физическое, нет, но доходчивое в высшей степени, и с высоты роста того, кто говорил. Команд как таковых не было — ребята менялись местами. И когда я вспоминаю наш двор до войны, я всегда вижу эту толпу ребят с двух сторон от сетки. Но... «на площадке танцевальной — сорок первый год!» И все вдруг разом пропали. Как индейское племя, о котором остались только легенды. С Гитлером не поиграешь — ни в футбол, ни в волейбол — тут другая игра.

Странно! Я совсем не помню дня, когда узнал о нашем отъезде. В тот день, по-моему, отец просто позвонил маме из своей части и велел ей быстро собираться. Создан интернат для детей его учреждения, интернат вывозят в тыл, и матери, которые могут ехать с детьми, едут как вспомогательный состав. Ибо часть детей поедет без родителей. (Сперва, помню, и этот вопрос обсуждался: возьмут ли вообще матерей.) Мама тут же вписала еще свою младшую сестру с ребенком: ему было чуть больше года. Это был сын дяди Пети. А еще соседка по двору, мама Миши Лапковского, пришла к моей маме и спросила, не можем ли мы взять с собой ее сына Мишу. Миша был не то что мой товарищ, он был старше года на три, но мы были соседи и дружны. И мать позвонила в интернат и записала его как своего племянника. Но соседка, к сожалению, раздумала в последний момент отправлять сына. По-моему, всем казалось еще, что все это ненадолго — эта война. Миша был бы с нами, конечно, где бы мы ни были, и, может, как-нибудь выжили бы все вместе. А так... Он остался жив в блокаду, но не выжил от ее последствий. Такая сложилась у него судьба. И мама, и я никогда не переставали жалеть о том и думать, что все могло выйти иначе.

А потом был переполненный перрон Московского вокзала. Я видел впоследствии много вокзалов и многолюдных перронов. Сезоны летних отпусков, торжественные встречи, кого-то провожают, кого-то встречают. Но ничего подобного я не видел никогда и, надеюсь, не увижу. Это не был отъезд, это был исход. Знак беды. Перрон, перроны, много перронов. Вагоны плацкартные, комбинированные, спальные. Теплушки встrevали между ними, и в теплушках тоже были люди, и у теплушек было полно людей. Составы. Они протягивались куда-то вдаль из самого центра города искривленными линиями, прочь отсюда, напоминая собой вывихнутые руки этого города. И над всем этим било солнце. Июль. Кажется, никогда ни до, ни после лето не было таким безумным, ярким, слепящим в этом хмуром городе. Над вокзалом висели бессильные аэростаты воздушного заграждения. Налета ожидали в любой момент, и об этом тоже говорили в толпе. Толпа колыхалась, раздвигалась на миг, пропуская кого-то еще, и сдвигалась снова, цепenea. Где-то плакали громко, где-то громко смеялись, столь же натужно, неестественно. Мы с трудом нашли наш состав и вагон. Молодая женщина, властная, с красивым лицом и легкой проседью в волосах, с военной полевой сумкой через плечо у одного из вагонов заглянула в список: «Да. Это здесь! Я начальник интерната! (Назвала себя). Документы!» Я не помню, успел ли я проститься с отцом и вообще с кем-нибудь. Слишком тесно, слишком напирала другая из толпы. Отец был в военном, тетка Мария, военврач, тоже, и дядя Петя в чем-то похожем на гимнастерку. Они быстро оказались оттеснены в сторону другими провожающими. А когда поезд тронулся, все побежали, и наши тоже побежали, постепенно отставая от поезда и

исчезая в толпе. Первой отстала тетка, потом отец. Последним бежал за составом дядя Петя. Долго бежал — пока не оборвалась платформа и не стали расходиться уже сами по себе подъездные пути. А я держал в окне, подняв на руки, его маленького сына, чуть больше года... Больше они не увидятся.

Отец моего братишки, Петр Яковлевич Толчинский — инженер, коммунист — был трижды комиссован, то есть забракован медицинской комиссией: у него был белый билет и тяжелая язва желудка. Он мог уехать, но остался в городе. С третьего раза он попал в истребительный батальон по борьбе с диверсантами и умер в госпитале в Ленинграде 5 мая 1942 года, после первой блокадной зимы. В последней записке, которая дошла до жены, когда его уже не было в живых, мы прочли: «Просто я хочу есть...»

Но я верю в генетику, в гены и генетическую память. И на каждом шагу убеждаюсь в справедливости этой веры. Сын дяди Пети видел отца совсем маленьким. У его отца была любимая пословица: «Мастер Пепко делает крепко!». Он так говорил, чуть похваливаясь, если что-то удавалось ему. Я же сказал, он был из Горловки, донбасский. А там такой смешанный язык: русский, но с украинизмами. Так вот, его сын этого выражения помнить никак не мог. И рассказывать ему точно никто не рассказывал. Но однажды, когда моему двоюродному брату исполнилось 13 или 14, он вдруг, безо всего, и даже, кажется, без особого смысла, явственно произнес: «Мастер Пепко делает крепко!» Как будто изнутри сами собой явились эти слова.

Когда я вернулся домой в начале июня 44-го, не было больше во дворе волейбольной сетки.

Кипяток

Был такой анекдот много после — не слишком остроумный, право, а теперь уж и старый, но он, как нынче говорят, «в тему». Иностранец проехался по России на поезде, спрашивают о впечатлениях. Говорит, ему все понравилось, только станции почему-то все с одинаковым названием! — Как так — с одинаковым? — А когда подъезжаешь, видишь всюду большими буквами: «Кипяток». Людям иных времен, может, и не совсем понятно. Но на нашем пути по стране летом, осенью и зимой 41-го, да и на обратном пути, летом 44-го — кипяток был главной проблемой. Добыть кипятку редко означало возможность заварить чай, чая не было, как правило, но просто иметь воду для питья или чтоб продезинфицировать рану. Ран обычных, бытовых было очень много. В поездах вода из кранов часто не шла, да ей и не доверяли, а все катаклизмы вроде войны сопровождаются кишечными палочками. И от расстройств такого рода гибнет почти столько же невоенных людей, сколько под обстрелами и под бомбами. Кипяток был главной проблемой и лично моей в том числе. Я был старший мальчик. У матери была больная нога, и кроме того ей боязно было оставлять маленькую сестру: вдруг тронется поезд раньше времени. Потому за кипятком бегал я с бидоном. Как только поезд останавливался на станции — уже на подъезде все высматривали, где эта спасительная надпись: «Кипяток», — люди спрыгивали с подножек всех вагонов, спотыкаясь и падая, и неслись, натываясь друг на друга и перепрыгивая через рельсы. А по другим рельсам тоже шли поезда, и приходилось бежать наперерез прибывающему. Иногда чуть-чуть не

под колеса — кипятилок, кипятилок! Огромная разнополая разноцветная толпа. Растекшаяся по всей длине подошедшего состава и на бегу стягивающаяся к некоему центру, ориентируясь на заветную надпись. Взгляд в спину этим людям: вид сверху — из окна вагона или с крыши его — мог напомнить, верно, полотно Босха. (Конечно, эта ассоциация явилась мне много после.) Но... «все члены МОСХа не стоят одного члена Босха», как известно, и эта картина так и не появилась среди полотен, посвященных советскими живописцами великой войне. (А какое название роскошное могло быть у нее, реалистическое: «За кипятиком»!) Не забудьте, что надо было еще успеть вернуться и не опоздать на свой поезд. Многие опаздывали. Потому что, сколько поезд стоит на станции, никто никогда не знал. Не объявляли. И сколько раз мы, отъезжающие, видели в окно этих растерянных, не добежавших, отставших. Вернуться вовремя. Не расплескать бесценное достояние: кипятилок. Не обжечься заодно. И успеть найти свой вагон.

Еще сложнее, чем с водой и даже едой, было в пути отправление естественных надобностей.

Война — катастрофа и неминуемо ведет к вымыванию на время из человека каких-то нормальных чувств, привычек, потребностей, брезгливости или стеснительности. Уже где-то в 60-х мне попались в «Новом мире» мемуары военных лет одного из руководителей тыла армии. Там, в частности, приводилась цитата из выступления профессора-медика, главного гинеколога Красной армии, о чудовищном положении женщины в военных условиях. Просто потому, что она женщина. Читая это, я вспомнил нашу «дорогу никуда» от Ленинграда до Сибири.

Вагоны были так забиты людьми, что вагонные туалеты (в теплушках их вовсе не было) находились в самом отчаянном положении. А представляете себе, что такое туалет на забитой поездами и людьми станции? А еще надо его найти и выстоять очередь... И не потерять свой состав. Потому, когда поезд останавливался, мужчины, те, кто не бежал за кипятиком, выстраивались в ряд, чаще всего за собственным вагоном, считая, что из окон, которые по другую сторону от двери вагона, это как бы не видно. А женщины? Женщины лезли под вагоны! Потом вылезали из-под них, оправляя платья. А у вагонов стояли мужики и курили, и среди них было достаточно тех, кто с интересом наблюдал эту сцену. И я помню эти жалобные, остановившиеся, эти беспомощные глаза женщин, вылезавших из-под вагонов. Они же были — некоторые во всяком случае — чьи-то любимые, свои, несравненные, оберегаемые от чуждого взгляда. Нет, конечно, я был мальчишка, всего десять лет — и многое понял после, но мне кажется, что смутное переживание было во мне и тогда, неоформленное, жалкое, но было! Я, к примеру, очень переживал за мать. И за нашу приятельницу Нину, совсем молоденькую, красивую блондинку, которая ехала с грудным ребенком.

Мы с мамой ехали на Урал, в Камышлов, к дяде моего отца, который был туда эвакуирован с заводом. Там уже находилась младшая сестра папы с мальчиком моложе меня года на три. Почему моя питерская тетка, мамина сестра, не поехала сразу с нами, до сих пор понять не могу. Обычно они с мамой не расставались.

Сентябрь 1941-го. Мы сидим трое суток на станции Данилов. Где фронт, неизвестно. Но слухи, что близко. Вдалеке временами слышатся взрывы: кажется, бомбят соседнюю станцию. На площади перед вокзалом толпа, и этой

толпы — тысяч десять, может, пятнадцать. Женщины, старики, дети... очень много детей. Слава богу, еще тепло и нет дождей. Раз в день открываются двери вокзала, и выносят еду на подносах. Пирожки с капустой. Кормят всех, но по эвакуодостоверениям. Нас пятеро: мама, я с сестренкой и Нина с младенцем. Она отправилась с нами из интерната, ей тоже надо на Урал. У нее какое-то осложнение после родов: потеряла слух. Поэтому мы — ее уши и разговариваем за нее. С мамой они как-то понимают друг друга. Ее ребенку меньше шести месяцев. Она жена папиного товарища. Когда его не станет где-то в 70-х, некролог будет подписан Брежневым. Он закончит путь первым замминистра. Но к тому времени они с отцом вовсе разойдутся по жизни. Поезда проходят мимо нашей станции, но не открывают дверей. А как их открыть? — хлынет толпа. Только подошел поезд, из дверей появляются здоровенные амбалы-проводники и заслоняют вход мощными плечами. В толпе, где все всё знают, рассказывают про них, что их специально ставят «на бронь», то есть освобождают от призыва, чтоб охранять поезда.

Трое суток — и выбраться со станции у нас никаких надежд. На четвертые, ночью, бродя вдоль путей (все бродят, делать что-то надо, кроме того, чтобы прислушиваться к взрывам), мама встречает какого-то сцепщика поездов. И почему-то обращается к нему. Он ей внушает уважение своей огромной фигурой, хотя она его боится немного (потом признавалась). Помогите нам попасть на поезд! Он соглашается. Мама имела в виду, что это, конечно, за плату. Утром рано к проходящему составу выходит вся наша экспедиция. Вышел и наш провожающий. Огромный, одутловатый, лицо какое-то серое, глаза запрытаны, неразговорчивый. Мне он кажется свирепым. Нина тоже как будто опасается его. Но это — единственная наша надежда. Подошел поезд, всё, как обычно. На пороге встали мощные проводники. А наш спутник чуть поднялся по ступенькам и негромко сказал проводнику: «А ну, пропусти женщину с ребенком», — и сильно сдвинул его плечом в сторону. Тот на секунду растерялся. Но Нину с ребенком сцепщик уже подхватил и продвинул в вагон. Следом были мама с сестрой и я. Проводник, кажется, опешил вовсе. Я и сейчас не понимаю, как это произошло. Однако наши вещи остались на платформе. Их было совсем немного, вещей, но там было самое необходимое! И тут поезд тронулся. И тогда провожающий стал вбрасывать наши вещи в вагон, в раскрытую дверь, а проводник подвинулся в сторону и даже помог ему. Поезд набирал ход. Мама выскочила вперед, на первую ступеньку, и попыталась протянуть деньги, хотела даже бросить на платформу. Но он только улыбнулся и махнул рукой. Он улыбался впервые за наше краткое знакомство. И то была открытая человеческая улыбка радости от содеянного добра. Только и всего. Само собой понятно, что мы так и не узнали его имени.

Спустя несколько минут мы уже протиснулись в купе комбинированного вагона, и кто-то чуть подвинулся на скамейке, чтоб дать нам место. Все места были только сидячие, разумеется. И Нина тотчас укуталась пеленкой, как всегда делала, и принялась кормить ребенка. А проводник, тот самый, даже принес нам чистое полотенце. Одно на пятерых. Оно было все в черных разводах, но чистое. Правда, первым моим подвигом стало то, что я его почти тотчас уронил в зловонную жижу в туалете. И мы потом не знали, куда его деть.

Быстро холодало. Приближался Урал. Не станции Камышлов, где мы высадились ранним утром, в пустом зале ожидания моя трехлетняя сестра,

которую уложили спать на скамейке, обмочила легкое единственное пальто матери. Наверное, слишком сладко уснула от усталости. В шесть утра заговорила радиотарелка: «От советского Информбюро. После упорных и ожесточенных боев наши войска оставили город Киев». (Мы после узнаем, что это голос Левитана.) И какое беспросветное одиночество поселилось в зале от этого сообщения!

Недели через две к нам в дверь той комнаты в бараке, в какой нас приютили родственники и где мы и так уже были вшестером, постучали. Я открыл дверь. На пороге стоял некто неузнаваемый. Моя тетя с ребенком на руках! Прижатые друг к другу, заснеженные, когда снег уже примерз к ним, и как бы обнятые зимой, они напоминали собой одну снежную бабу.

— Как же ты не встретила (маме)?

— Я не получила телеграммы. — Телеграммы и вправду не было, почта ходила плохо.

Папин дядя принял и тетку с сыном. В семье у нас его звали по фамилии: «дядя Кабаков». Он был закоренелый холостяк и человек одинокий во всех смыслах, работник среднего звена одного из ленинградских заводов. Рассказывали, что у него в молодости была любовь: он любил женщину, которая вышла замуж за другого, между прочим, за одного из его племянников, брата моего отца. И он остался один на всю жизнь и продолжал любить ее. Во всяком случае, когда он хотел похвалить за что-то, допустим, меня, он говорил, что я напоминаю ему кого-то из ее детей. Но это он дал приют в войну трем семьям с детьми и заботился о них. Если б была еще какая-то семья, он бы принял ее тоже. Похоже, он, как сцепщик со станции Данилов, не рассуждал о таких вещах. Кстати, его племянник, тот самый, один из моих дядьев, был со своей женой всю жизнь ох как несчастлив!

Эвакуация была великим кочевьем моей страны и испытанием всех этим кочевьем. На прочность, на способность к адаптации, на человечность.

Для меня самое сильное и нестерпимое личное воспоминание о войне — железнодорожная станция в тылу с двумя поездами на путях. Пришедшими навстречу друг другу. И один — поезд теплушек, двери раздвинуты, и в дверях, за ограничительным брусом, словно упершись в него, — молодые солдаты. Поезд идет на фронт. Ребята молча глядят на тот, другой состав. Из спальных вагонов. Окна скрыты занавесками, но в окне все ж мелькают там и сям загипсованные ноги, забинтованные головы... Госпиталь. Это направляется в тыл отработанный человеческий материал великой войны. А те, молодые, здоровые, со встречного поезда, молча глядятся в этот состав, как в зеркало.

Теперь я вхожу мысленно в эти поезда — в один, потом в другой. Чтоб попытаться взглянуть на тот, встречный, глазами тех, кто смотрел оттуда.

И почти сразу мелькает другое. Это еще в августе, в первые месяцы войны. Рядом с нашим интернатом в Ярославской области был колхоз. И речка. И длинная-длинная проселочная дорога — сплошь песок. На этой дороге часто вечером сходились девушки. Что называется, сбивались в стайку. Все в длинных цветных платицах, в сарафанах от Казимира Малевича — времен до «Черного квадрата». И пели нестройными голосами, но как-то слишком пронзительно. Как-то слишком высоко. И все тянули наверх, все выше, все печальней...

Милый, я не виновата,
Да и ты не виноват...
Виновата Красна армия,
Да райвоенкома-ат!

Я эту песню больше нигде не слышал никогда. Вряд ли она была разрешенной в ту пору. Да только деревня далеко, кто услышит?..

Цветастые платица. И черный квадрат!

Отец

Война неожиданно выпустила из объятий отца. Это случилось нечаянно. По-моему, он до конца дней так и не понял как. Только что он получил новое назначение — командиром пехотной роты. И стоял в очереди в отделе формирования за получением документов. За высоким барьерчиком симпатичные девушки в военном выдавали какие-то бумажки.

— Ой, товарищ, вы инженер-строитель?

— Да.

— Вы не знаете случайно таких-то и таких-то? (Ему подали какой-то список.) На них приказ из ГКО!

ГКО — Государственный комитет обороны. В бумаге, которую ему подали, было примерно два десятка фамилий и приказ об отзыве означенных специалистов в тыл на строительство военных объектов. Где-то шестой или седьмой в списке шла его собственная фамилия. Сколько я знаю, он до конца дней размышлял над этой превратностью судьбы, спасшей его, но не коснувшейся его товарищей. Провоевавши совсем немного — всю Финскую и примерно два-три месяца этой, он никогда не забывал о войне.

Он мальчишкам роздал ордена,
Штатское купил себе с полочки,
Но сидела за столом война
И кусок брала себе получше...

Было такое изумительное четверостишие раннего В. Британишского.

У отца уж точно до конца «сидела за столом война». Это я знаю. И преуспевающий инженер, главный конструктор института, существовал в нем всегда совместно с тем командиром пехотной роты, погибшим где-то под Ленинградом. (Это сказывалось и на отношении к близким. Ко мне в том числе.)

Во всяком случае, когда на заводе в Сибири, который строился с его участием, загружались стотонные бункеры, рассчитанные и придуманные им так, что они держались на каких-то почти миниатюрных подвесках, он трое суток не возвращался домой и ходил под этими бункерами. Нам это рассказал потом кто-то из его сослуживцев.

Он проработал потом главным конструктором института до 86-го года своей жизни и работал бы еще, если б неожиданная и уже безнадежная онкологическая операция не оборвала все.

Хозяйка

Так вышло, что где-то в середине ноября отец мог вызвать нас к себе вместе с тетей, разумеется, и моим маленьким двоюродным братом. Стояли уже морозы, а в Сибири в особенности та зима выдалась на редкость холодной, так же, как на редкость светлым и жарким было лето сорок первого. Это сказано, по-моему, во всех воспоминаниях. Была та же дорога, уже описанная, и в конце концов мы оказались в небольшом деревянном доме в маленьком сибирском городке Старо-Кузнецке, на берегу реки Томи. Через реку был перекинут большой мост, а за ним, на том берегу, более современный город с каменными домами, Сталинск. (Сейчас они объединились в один, Новокузнецк.)

Мы снимали в этом доме малюсенькую комнату, метра четыре, примыкавшую к сеним. Там жили отец, мать и сестра, и две кровати в общей комнате, считавшейся гостиной. На одной спал я, на другой — моя тетка с сыном.

Хозяйкой дома была красавица-полька. То есть она считалась красавицей старшими моими, я-то в ту пору, должно быть, еще мало что понимал. Наверное, в ее надменных устах, серых глазах и носике с горбинкой было что-то или чудилось что-то. К ней приехала родная сестра с ребенком из Ленинграда. Вот она была совсем обычной внешности. Своих детей хозяйка, по-моему, не имела. Она была вдовой известного в свое время инженера К., начальника крупной стройки, расстрелянного в 37-м. Отец мой то ли знал его раньше, то ли слышал о нем. Сейчас у нее был другой муж, рядовой инженер какой-то местной конторы. Он был высокий, очень скромный, словно потерянный, с жалостными темными глазами — шорец по национальности. Такая небольшая сибирская народность. Он жил не здесь, с женой, а у матери неподалеку, а к жене лишь навещался временами, когда его пускали. А чаще вечерами навещались «поклонники».

— У Ванды поклонник (кажется, ее звали Ванда)! — оповещала старуха — мать хозяйки с гордостью женщины, у которой тоже все это было когда-то, да вот прошло! Она, верно, прежде была тоже красива, но старость сделала ее похожей на ведьму. Поклонники были разные. Явно почти все семейные. Были ли они близки с этой женщиной или только помогали ее, осталось неясным, кажется, и моим старшим — матери и тетке, которые, что греха таить, иногда меж собой судили о ней. Иногда это получалось при мне, и я, естественно, запоминал.

«Начальник станции», — объявляла старуха. Или: «Директор по снабжению!» Называю для примера. Или еще торжественней: «Евхей пхишел!» — намеренно картавя. Однажды, ни с того ни с сего, сама хозяйка завела разговор с мамой: «Вы думаете, ваш Александр Ефимович какой-то особенный? Не такой, как все? (Это было про отца.) Мне стоит только мигнуть или поманить пальчиком!» Я не выдумываю, это я услышал нечаянно своими ушами. Иногда она начинала разглагольствовать о положении на фронтах, и тут выходило совсем ужасно. Это было в пору самых тяжелых боев под Москвой.

— Уж не умеем воевать, так сдавались бы! Чего людей зря гробить?

Мама после этих разговоров тихо плакала в углу. Мы с удовольствием ушли бы от нее, сняли бы другое жилье, но городок был заполнен приезжими под завязку.

Настал день, когда мобилизовали и мужа хозяйки. До этого он имел какую-то бронь. Он пришел проститься и долго сидел в углу и смотрел на жену, не отрываясь. Напомню, я жил в проходной, что звалась гостиной, И многое происходило на моих глазах. На прощанье она сказала мужу: «Только помни! Если тебе оторвет хоть палец — ты мне не нужен!» Так и сказала. А он стоял перед ней и моргал темными безответными глазами.

Малюсенькая комнатка родителей и сестры располагалась рядом с сениями. И в сениях, в огромных мешках стояли замороженные пельмени. Это запасалось хозяевами на зиму. Уборная была во дворе. Мороз 40 градусов. Раз три или четыре за зиму из дыры поднимались высоким жестким конусом застывшие экскременты. Их приходилось разбивать ломом...

Наро-Фоминск

В школу я ходил во вторую смену. Она работала в три смены: слишком много наехало детей. Был яркий солнечный день. В Западной Сибири много таких дней, когда отчаянный мороз и, вместе, какое-то необыкновенное солнце. Было около полудня, и я как раз вышел на центральную площадь городка. В центре ее было кольцо трамвая, он отсюда уходил через мост в Сталинск, за реку. Было 11-е или 12-е декабря 1941-го.

Я огибал площадь слева, а справа тарасились на площадь растянутые по дуге серые дома, похожие один на другой. У магазина в центре дуги, за трамвайной линией, стояла огромная очередь. За хлебом. Или еще не завезли или завезли только-что. Это был уже хорошо знакомый мне мир, знаки которого я считывал легко. Когда я вышел, началась эпопея с Настькой. Так ее звали. Это была несчастная сумасшедшая девушка, которую все знали в городе — тихая и жалкая, которой почему-то все немного боялись. Жалели, но боялись. Она появлялась откуда-то незаметно, подходила и заглядывала вам в глаза. И этот взгляд пугал. Кроме того, она была вся во вшах. Вши тогда не были в диковинку, у всех они были, меня тоже отмывали чем-то пахучим. Но у нее, казалось, их было как-то особенно много. И когда она приближалась, все невольно отшатывались. А еще у нее была манера присаживаться по естественной надобности прилюдно и где угодно. И тогда все вокруг принимались кричать: «Настька! Ты что, Настька!» Она спохватывалась и начинала бежать, вздернув юбки, под которыми не было белья. В общем, на площади был момент, когда все занялись Настей. И вдруг заговорила радиотарелка над магазином, громко и торжественно: «... наши войска перешли в наступление под Москвой. Враг разгромлен и отброшен от Москвы». Не помню, говорилось ли что-то про пленных, но о разгромленных немецких частях было в полный голос. И далее: «Освобождены города...» — шел длинный список городов и городков Подмосковья, среди которых почему-то раза два или три в разном контексте был упомянут Наро-Фоминск.

По-моему, сообщение повторялось еще и еще. И вся площадь передавала друг другу: «Наши наступают! Взяли Наро-Фоминск!». И никто, слышите, никто на всей площади не переспросил: «А что это за город? Большой он или маленький?» Все поверили вдруг, что знали про этот город всегда и тосковали о нем. «Наро-Фоминск взяли! Наро-Фоминск!» После всего ужаса отступлений последних месяцев и бесконечных «оставили, оставили» освобождались наши

города. И огромное солнце сибирской зимы полыхало над площадью надеждой! Еще вилась огромная очередь за хлебом вдоль площади. Еще бежала несчастная Настя вдоль трамвайных путей, высоко задрав юбки, а за ее спиной без конца трезвонил трамвай. Все равно было счастье. Всем показалось, что это начало конца войны, что все, что теперь будет — ого-го! Хотя это было от силы лишь начало начала. И все еще было впереди: Сталинград, блокада Ленинграда, и Курск, и Прохоровка, и Висла, и Одер, и все-все — вплоть до Зееманских высот и Берлина. Но никто не думал об этом тогда. Была победа!

И я, мальчишка 10 лет, без конца повторял про себя: «Наро-Фоминск».

Недавно, вспоминая, я заглянул в Википедию и узнал, что Наро-Фоминск был не весь взят тогда. Только до реки Нары. Что освобожден он был окончательно где-то 26 декабря армией легендарного генерала Ефремова. Который после, в окружении под Вязьмой со своей 33-й армией, отказался вылететь на присланном лично за ним самолете: «Я пришел сюда с этими солдатами и уйду только с ними!» — и вскоре погиб в бою.

Я никогда в жизни так и не попал в Наро-Фоминск, хоть не раз был в Москве. И считаю это своим упущением. Но я хотел бы, чтоб жители этого города знали, что был момент, пусть краткий, когда, верно, не только в далекой Сибири их небольшой город показался вдруг всем самым главным из городов России. Самым важным. Даже важнее Москвы!

О картошке

Я, наверное, имею право сказать, что всегда был голоден: с 41-го по 48-й. (Потом уж было не так.) Но в 46—47-м меня еще было опасно сажать за стол, когда приходили гости и выставлялись какие-нибудь нехитрые яства. Я мог повести себя неприлично. Я иногда просто «хватал со стола» — так это называлось. Уже в 20 лет, и в 22 года, при росте в те времена приличном (мы были низкорослое поколение) — 168 см, я весил всего лишь 42 кг.

Осенью 42-го нас со школой отправили в колхоз помогать уборке картофеля. Нам было по 11 лет. Мы работали весь день до позднего вечера — без еды, без питья. Никто не озаботился. Поздним вечером, уже в темноте, нам вынесли вареную картошку — по картофелине на каждого. Конечно, даже без соли. Правда, картофелина была прекрасная: большая и рассыпчатая. И я помню, как мы жадно ели, сгрудившись в каком-то мрачном помещении и сидя на полу.

Летом 42-го меня отправили в пионерский лагерь. «Отправили» — очень смешно, потому что лагерь был здесь же, в городке, и вечером я приходил домой. Лагерь располагался на старом кладбище. Там было много деревьев, почти лес, и нам было довольно весело играть в этом лесу, не обращая внимания на прочие элементы антуража. У входа на кладбище сбоку был смонтирован большой деревянный стол, за ним нас чем-то кормили. У нас была дама-воспитательница, очень добрая старуха, «из бывших», как тогда называли. Когда мы совершали какой-нибудь неэтичный поступок, она закатывала глаза и стыдила нас. Однажды девочка по фамилии Зицерман за неимением носового платка достала козу из носа и аккуратно отерла руку о краешек обеденного стола. Наша «классная дама», всплеснув руками, закричала почти в ужасе: «Зыцерман! Зыцерман!» Как сейчас помню этот голос и эти выкаченные глаза. Боже мой, то ли еще мы делали!

На этом кладбище, когда мы играли в войну, я случайно наткнулся в кустах между могил на больного мальчика, чуть старше меня. Он лежал там на подстилке и читал книгу. У него было что-то с ногами (врожденный вывих, как я узнал потом). Он поднял голову и стал мне вполне внятно объяснять, почему мы неправильно обходим наших противников. Оказывается, он с интересом наблюдал за нашей игрой. Мы познакомились, и я обрел друга на всю жизнь — Игоря Лиоренцевича. (Он недавно ушел из жизни.) Он тоже тогда писал стихи, и это нас сблизило.

На лето 42-го и потом 43-го нашей семье выделили на выселках небольшой огород: в несколько грядок. Тут уж я был хозяином. Отец слишком много работал и слишком мало бывал с нами, и я его плохо помню на огороде. Мы засевали грядки морковью, свеклой и огурцами. Но основное, конечно, была картошка. Картошку сеяли по-особому: не полностью, а только срезанными верхушками с глазками. Остальное шло в еду. Картошку я сеял, окучивал, выкапывал. И могу утверждать, если кому-то, не дай бог, когда-то это понадобится: картофель, засеянный не клубнями, а только верхушками, «глазками», дает не меньший урожай! Уверю вас — ничуть не меньший!

Я рассказывал, как отец после речи Сталина закупил всяких продуктов, усадил нас за стол и сказал: «Ешьте! Больше этого не будет!» На мой день рождения ровно год спустя мама привезла мне в подарок с рынка два осклизлых леденца...

О первой любви

«У меня не было первой любви, я сразу начал со второй...» — было у Жюля Ромена. Я расскажу о той первой, которой не было и о которой нигде никогда не говорил.

Как бы ни были противны мне дом Ванды и проходная комната, где стояла моя кровать, он все же имел свои достоинства. И одно из них — окно, выходившее во двор. Оно смотрело на соседний дом, в котором тоже было окно, глядевшее на нас. И за этим окном была девочка Галя. Она была из Москвы и чуть старше меня. И она была прекрасна.

Как мы познакомились, не помню, но остальное врезалось навечно, сделалось пристрастием и дальним светом. Потому никому и не рассказывал никогда. Два ребенка, брошенные в жерло кипящей истории, затерянные среди сводок Информбюро и похоронок. Мы ходили в школу — иногда вместе, она училась классом старше. Два или три раза я имел счастье — мне было позволено нести ее портфель из школы. Однажды мы переходили через трамвайные пути на той самой площади, и зазвенел трамвай: совсем близко, опасно, почти у нас под ухом. Верно, мы заговорились. И я успел выпихнуть ее перед собой за линию, а сам достойно следом перескочить через рельсы. Однажды, может, не заметив того, мы шли с ней часть дороги из школы, взявшись за руки.

Дома ей жилось лучше, чем мне. Я жил на съеме, мне даже не всегда можно было торчать у окна. А она жила у родственников — то ли матери, то ли отца — и пользовалась, конечно, большей свободой. У нас было о чем поговорить: мы оба любили читать. Когда я раздобыл однотомник Лермонтова — у нее тоже был такой, — мы уселись с ней однажды, каждый за своим окном, и листали каждый свой томик, ища одни и те же картинки, чтоб издали показать их другому — окно в окно. И очень радовались, когда в слабом вечернем свете узнавали ту или

иную иллюстрацию. Это была какая-то утонченная игра. Почти объяснение в любви. Да это и было объяснение в любви. Хотя никто из нас не решился бы назвать это по имени.

Но нас разлучили в итоге. Я сказал, что она жила с родственниками, среди них были кобылистые молодые девицы, размашистые — не только на язык. Они стали ее дразнить за то, что она дружит с нерусским мальчиком. Могло это пойти и из моего дома — от старой карги, матери Ванды: что трудного было сказать соседкам в ее обычном ведьминском стиле? А они подхватили. Все произошло быстро, Галя сперва сносила молча, хмурилась, потом призналась мне — не помню, в каких словах. А потом... Она сама выдала мне зло некую рацею, в духе того, что слышала в доме по моему поводу. Я обиделся и ушел. Мы перестали встречаться. Верней, я старался с ней не видаться. Тогда она сама начала переживать. Раза два она поджидала меня на пути в школу. Хотела что-то сказать, помириться. Но я остался непреклонен. Надо признаться, я много страдал и без того по той линии, какую задела она. Сибирь той поры не была краем торжества социалистического интернационализма. Меня часто поколачивали. На какое-то время это даже стало системой: меня встречали по дороге из школы и били. Тут было много причин. К примеру, я хорошо учился. А в нашем классе это было дурным тоном. К тому же, я считался надменным: откровенно не участвовал в некоторых подвигах местных ребят. Ну и так далее. В общем, мне хватало обид и без Галиных слов. И тогда случилось нечто почти невероятное. Я же сказал: она жила с родственниками — местными, и родственники были молодые, и знали тут всех, в том числе кое-кого из местной шпаны. Наверное, она пожаловалась кому-то из старших. И тогда меня стали бить уже целенаправленно. (Хоть это было трогательно по-своему. Но я это понял потом, когда стал вообще что-то понимать.) По дороге из школы меня встречали гурьбой незнакомые ребята и спрашивали этак в лоб: «Будешь дружить с Галей П. ?» — «Нет, не буду», — отвечал я упрямо и получал свою порцию тумачков. Впрочем, тогда били не так страшно: меня всего один раз били ногами, и то несильно. Вообще-то в ту пору бить ногами считалось неприлично. Когда я водил в садик сына более сорока лет назад, все уже было совсем иначе.

То, что взрослые разлучили двух птенцов, ничего еще не смысливших в жизни и желавших только добра, было одной из примет страшного и беспощадного времени. Но, наверное, еще чем-то, всеобщим. Галя была красива какой-то необыкновенной красотой. С ней рядом даже я, мальчик вполне заурядной внешности, смотрелся как-то иначе, наверное. И оба мы вырывались своим видом и нашей дружбой из трудности и заурядности бытия. Это было красиво. «Красота спасет мир» — безусловно, но когда? Красоты люди чураются, как уродства, легче прощают преступление. Нас обязательно надо было разлучить. Жалел ли я о своей непреклонности? После да, жалел! Вспоминал ли ее? Да. Но поздней. В конце 43-го мы вообще переехали в другой район. Я ее больше не видел.

Но можно считать, с того вечера, когда мы с Галей показывали друг другу картинки из окна в окно, начался Лермонтов в моей жизни. И поскольку Лермонтов продлился на всю мою жизнь, то и она в этой жизни была. Но это отдельный разговор.

А Галя... «Я говорю с подругой юных дней, в твоих чертах ищу черты другие...» — это тоже из Лермонтова. Все равно, я никогда не поверю, что тебе

сегодня столько же лет, сколько мне! (Даже больше чуть-чуть, ты ведь была немного старше.)

Это я имел право стариться! А ты — нет!

Книги

Поначалу в эвакуации я ужасно томился отсутствием книг. Меня спас случайно приятель по школе, которого после оторвали от меня, по тем же причинам, между прочим, что Галю. Но поначалу он мне очень помог. У его папы было несколько подшивок журналов 20-х годов: «Всемирный следопыт», «Вокруг света». И там была великолепная научная фантастика и приключенческая литература. Достаточно высокого уровня и совершенно забытая. К ней надо бы обратиться и лучшее переиздать. Я говорил об этом с некоторыми издателями, но не получил отклика. Эти несколько подшивок сыграли большую роль в моей судьбе. Потому что привычка к чтению не пресеклась у меня, как это произошло со многими.

Однажды на пожаре какого-то дома, когда разлеталось что ни попадя, мне буквально под ноги ткнулась обгоревшая, без начала и конца (переплета не было), толстенная книга. Это была то ли хрестоматия, то ли вузовский учебник, и там много оказалось стихов символистов. Через много лет мой друг, блистательный специалист по литературе того времени Леонид Константинович Долгополов, сказал мне, что это, верно, был учебник Михайловского. С этой книги я стал по-настоящему читать стихи. Неизвестно как они выучивались у меня изусть. И тут начался мой собственный «роман воспитания».

Меня потрясла тогда сказка Ф.Соллогуба (цитирую по памяти, как запомнил тогда):

«Шел человек и плюнул три раза. И ушел.

И сказал один плевок: — Он ушел.

И сказал другой плевок: — Он ушел и нас оставил.

А третий сказал: — Он только затем и приходил, чтобы нас оставить!»

В этой сказке было нечто болезненное, но и знакомое: то, что мешало мне жить и чего я навидался в войну.

В 1942-м в Сибири ко мне привязалась «терциана»: малярия-трехдневка, неизвестно как добредшая со мной до этих мест. Я подхватил ее в единственную мою довоенную поездку с родителями на Кавказ. Теперь она ожила. Это, в сущности, болезнь жарких стран. Малярийные комары («анофелесы» — может, есть еще другие?) не терпят холода. «Человек никогда не сможет привыкнуть к холоду!», — говорил Амундсен, великий полярный исследователь, прошедший полжизни в Арктике. Так и малярийные комары — не привыкают. В городе не было ни хинина, ни акрихина. Ими просто не запасались за ненадобностью. А я погибал — мне было 11 лет. Каждые несколько дней меня трясла лихорадка. Три дня. И каждые три были трудней предыдущих. Длилось это месяцы. И вот тогда моя тетка Мария, видный военный врач в блокадном Ленинграде, не знаю каким способом добилась разрешения послать посылку в Сибирь. Опять же не знаю, как посылка дошла из осажденного города через целую страну. Но пришло все в целости и сохранности, только обертка чуть надорвана — три книги: двухтомник Лермонтова 1941-го года под редакцией Б.Эйхенбаума и еще лермонтовский однотомник со стихами и прозой, изданный Детгизом для

старшего возраста: там был «Герой нашего времени» (вот этот одноклассник мы и читали с Галей).

Все три книги были проложены порошками с хинином. Я стал выздоравливать.

Я увлекся Лермонтовым, как можно увлечься только в детстве и в юности. Много позже, слава богу, я смогу написать о нем, в частности, как о первом нашем батальном писателе, с кого собственно пойдет наша литература о войне — от прозы Толстого до «окопной прозы» Отечественной войны. Мальчишкой я не думал в подобных категориях. Просто с Лермонтовым было легче жить в войну, осмысленней, я бы сказал.

Где-то осенью 43-го пришла из Москвы первая в жизни рецензия на мои стихи. В «Пионерскую правду» я их отправил давно и, признаться, не ожидал ответа. Прошло полгода, я и писал уже несколько иначе. Передо мной, как перед взрослым, извинялись за задержку ответа («в редакции долго не было литконсультанта») и, естественно, говорили о том, что какие-то стихи слишком публицистичны, плакатны. Например:

Полки к Днепру! По шляхам, по дорогам,

Где стонет люд под вражеской пятой...

Все правда. И плакатно. И публицистично. Я ведь попутно увлекался и Лермонтовым, и символистами. И сам кое-что понимал уже. Но я был мальчишка войны и ни о чем другом, кроме того, что наши идут к Днепру, думать не мог. По вечерам я расстилал карту и смотрел, где они примерно...

О Гале я еще не сумел бы написать тогда. (Не знаю, умею ли сейчас.) Пройдет лет десять, и я брошу писать стихи именно по той самой причине — по причине моей стеснительности перед всякой лирикой. Перед всем, что откровенно — про себя и от себя.

Хунхузы

Нигде не встречал в воспоминаниях ничего о судьбе в войну стройбатов, состоявших из жителей среднеазиатских республик. А судьба их была мрачной. В общем, трагической. Я не знаю, кому пришло в голову мобилизовать в строительные батальоны уже достаточно пожилых людей, направить их на военные стройки Сибири, не снабдив ровно ничем, даже обмундированием. Они ходили в своих халатах, с большим вырезом на груди в сорокаградусный мороз. Все почти были седые. Болели и умирали, а если точнее — мерли, как мухи. Они почти не знали русского языка. Им мало кто сочувствовал. А если кто выражал малейшее сочувствие, они жаловались и плакали. И смотреть на это спокойно было невозможно. Местные звали их хунхузами, чаще презрительно, хотя хунхузами в этих местах принято было звать только китайцев. Но... наверное, не нашлось другой клички. Сколько раз я слышал от них такое жалобное: «Дом далекий! Узбекистан!» И кивали по-восточному своими мудрыми седыми головами. И слезы текли... Мальчишки-ремесленники в мороз срывали шапку с головы старого узбека, а он бегал за ними и молил отдать. А мороз был сибирский, настоящий. А как они произносили это свое «Узбекистан»? Сколько тепла было в этом слове, сколько человеческой муки!..

Шпана вела себя еще хуже, чем взрослые. А что взрослые? (Отвлекусь от темы.) Как-то в наш дом зашла женщина из местных, еще не старая, но мне она

показалась пожилой (наверное, мать моя в очередной раз меняла какие-то вещи на продукты). Она сказала моей маме: «Вот у вас мальчик играет, — это про меня, — а мой сын сбежал!»

— Как это — сбежал? — спросила мама.

— Ваш мальчик слышал, наверное, в прошлом году на огородах ремесленник зарезал ремесленника? Так тот, кто зарезал, был мой сын! И зачем бежал? — Она подробно рассказала, что бы она сделала, если бы сын не бежал: и прокурора бы умаслила, и судью — выпустили б на поруки. Потом на указательном пальце одну фалангу отмерила другим пальцем и с необыкновенной теплотой произнесла: — Всего такой кусочек ножичка сунул! И прямо в сердце!

Я эту интонацию запомнил на всю жизнь. И сам мотив — не только оправдания, но почти нежности матери к преступлению, совершенному сыном, — стал потом одним из главных в первой моей пьесе: «Десять минут и вся жизнь» — о судьбе летного экипажа, сбросившего атомную бомбу.

Я иду по улице, навстречу катит телега. Какая-то кладь покрыта рогожей. Возница сидит на передке, лениво помахивая кнутом. Я огибаю телегу сзади, и там, где рогожа чуть отвернулась, вижу ноги. Ступни торчат. Спрашиваю возницу:

— А что это? — Мне 12 лет, и я испугался.

— Та... хунхузов везу! — ответил возница и огрел коня.

Телега удаляется. Рогожа еще чуть приподнялась, несколько больших, черных, загорелых ступней смотрят на меня. Вот и все!

В воспоминаниях декабриста Ивана Якушкина рассказывается о первых заседаниях первого революционного тайного общества в России, еще Союза Спасения, — в 1816 году. Армия только что вернулась из французского похода. Участники обсуждают против чего, собственно, они собираются бороться. Там и крепостное право, и положение солдат в армии при рекрутском наборе и 25-летнем сроке службы... А последним пунктом было: «Полное неуважение к человеку вообще».

Госпиталь

Нас, школьников, часто водили в госпиталь к раненым. Мы выступали перед ними. Считалось, что раненым солдатам легче, когда они видят детей. Возможно, так оно и было. «Пришли наши помощники!» — говорили врачи. Во всяком случае, пребывание в госпиталях осталось для меня одним из главных волнующих переживаний. Дети читали стихи или пели песни. Танцевать было негде — уж больно узкое пространство. Но теперь не помню, может, кто из девочек и танцевал. Палаты четко делились на солдатские и офицерские. То есть с 43-го уже точно не говорили «командирские палаты». Армия менялась. Слово «офицер» перестало быть словом «белогвардейским». В офицерских палатах было меньше скученности и воздух свежей. Но мы, не только я, в общем-то, любили выступать в солдатских. Там мы, вроде, были нужнее слушателям, и отношение к нам было более внимательным. Я читал этим людям, прошедшим сквозь ад, Лермонтова: «Бой с барсом» из «Мцыри» и еще «Бородино», они слушали и, казалось (или мне теперь кажется), невольно сравнивали про себя это, написанное пером, со своим собственным несравнимым опытом. Наверное,

мы им казались наивными. Иногда посреди выступления кто-то просил судно или кому-то делали укол. Это ничему не мешало и ничего не прерывало. Пел какой-нибудь мальчик простую детскую песенку, а они слушали молча. Они ведь и бились за то, чтоб эта песня звучала. В госпитале нам было хорошо. Мы многого не понимали, конечно, в том числе физических мучений этих людей. Но здесь была надежда. В отличие от улицы, где приставала шпана, где стыли очереди за хлебом, где мешались мелочи жизни, и люди косились или могли раздражаться друг на друга, в госпитале была общность: народ и страна. То, что после безошибочно назвала по имени Ахматова: «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был...»

Именно там, в госпитале, во время одного такого концерта перед праздником, я услышал весть — не весть, а крик, «победы торжество». Влетел кто-то с улицы: «Товарищи! Город Киева взяли!» Так и слышу сейчас — в родительном падеже! Мы все кричали «Ура!» и долго не переставали кричать. И тогда мне привиделся пустой осенний вокзал на Урале. Станция Камышлов. И как мы слышали об оставлении Киева «после упорных и ожесточенных боев...» Наше полное и беспросветное одиночество в ту минуту.

Месяца через два или три все показывали на невысокого франтоватого лейтенанта с одной рукой, только что выписанного из госпиталя. Он получил «Звезду Героя» за то, что при наступлении, раненый, со знаменем переплыл Днепр. За ним бегали решительно все местные девушки.

В городке много солдат и офицеров долечивалось после госпиталя. И я тогда уже заметил, что у девушек пользуются большим успехом ребята, которым не нужно уже возвращаться на фронт. Если у них и недоставало руки, ноги... «Что тут удивительного? Каждый дом — это прежде всего надежда!» — будет сказано много после в моей пьесе «Десять минут и вся жизнь».

Наша немка

«Она была прекрасна, как мечта...» — строка лермонтовская. Но могла появиться и у Гейне. Лермонтов любил Гейне — понимал, переводил. В строке есть что-то от немецкой лирики.

Та, о ком я пытаюсь рассказать, внешне напоминала собой героиню знаменитого фильма «Девушка моей мечты», в конце сороковых потрясавшего своим легкомыслием наши отвыкшие от легкомыслия сердца — что подростков, что старших. Это был один из первых немецких фильмов, пришедших к нам после войны. Только эта (назовем ее Луиза, отчества не помню) была, пожалуй, еще красивей Марики Рекк, игравшей главную роль в фильме. Умнее, добрей. Но все равно — ни дать, ни взять немецкая юнгфрау, точь-в-точь, образец того, что гитлеровцы считали в женщине признаками истинно арийской расы: блондинка с золотистыми то ли серыми, то ли голубыми глазами, с розоватыми щеками, с необыкновенной фигурой, как теперь понимаю. Она была немка по национальности, высланная откуда-то из центральной России. У нас в школе преподавала немецкий язык. Она одевалась очень просто, но была необыкновенно изящна, даже в самой простой одежде. Она была хорошей учительницей — не раздражалась, была ласковой. Искренне расстраивалась, если мы чего-то не знали. А случалось это часто, ибо, как я уже говорил, не учиться в школе считалось хорошим тоном.

Она ненавидела фашизм и очень страдала от того, что делали немцы на оккупированных территориях. Тогда как раз шла пора освобождения наших городов и сел, и отовсюду приходили мрачные известия. Печать и радио кричали о зверствах немцев, и кричали справедливо. Мы часто видели ее заплаканной. Она дружила с моей мамой, а мама дружила с ней и сочувствовала ей. Мама узнала как раз тогда, что в Мариуполе погиб целый клан ее близких родственников: родной дядя с дочерьми, с невестками, с внуками, и, помню, обнявшись, они плакали вместе.

Луиза все повторяла: «Как же так? как же так?» — и говорила о том, что думала, будто знает свой народ, а оказалось, не знает!

Когда был освобожден Киев и туда выехала комиссия по расследованию (ее возглавлял, кажется, Алексей Толстой), впервые появились сведения о Бабьем Яре. Это потом про Бабий Яр старались не говорить, но в войну все было не так. Вообще, в войну все было не так, как после войны.

Луиза говорила моей маме: «Поверьте, Белла Осиповна! Когда я вернусь домой... Я пойду в библиотеку, я погружусь в книги! Я хочу понять — откуда это взялось и как это могло произойти... Как это случилось с моим народом?» Она задавала вопросы, на которые нет ответа по сей день. И не только в немецкой истории.

Маме было тогда около сорока, Луизе — 23, от силы 24. «С глазами, полными лазурного огня, с улыбкой розовой, как молодого дня за рощей первое сиянье...» (Опять Лермонтов.) Она была, верно, девушкой, как теперь можно понять, — такой несовременный вариант, и была по-девичьи наивна. Помню, как на нее глазели мужчины, даже наши суровые преподаватели мужского пола — редкие тогда. Но ухажеров у нее не было. Она была немка. Такие дела...

Двое из Сталинграда

О великой Сталинградской битве много говорили тогда, ее эпизоды без конца пересказывались. В госпитале я залиvisto декламировал раненым бойкие строфы Маршака о сдаче армии Паулюса:

Лежат, уложенные в штабель,
Напоминая о былом,
Десятки генеральских сабель
С одним фельдмаршальским жезлом.

Они были напечатаны, кажется, в «Правде». Как-то вечером, придя поздно с работы, отец вдруг усадил нас с мамой и стал читать какой-то текст. Из газеты или журнала. О том, как в Сталинграде баржи с беженцами переправлялись через Волгу, а немцы их бомбили. И когда баржу подорвали, одна мать сказала сыну семи лет: «Ты прыгай, я попробую спасти ее (он был старше сестры)!» — «Мама, можно я поцелую тебя?» — сказал мальчик и прыгнул. Плавать он, конечно, не умел. А потом муж не мог простить жене, что она не спасла сына. Вот и все.

Зачем отец нам прочел это — не знаю. Он не был по природе сентиментальным, но сам ужас нечеловеческого выбора, перед которым может быть поставлен человек, просто его потряс. Он повторил дважды, как мысли вслух: «Она сочла, что девочка беззащитней. Но они оба были беззащитны!» Сестре было пять лет.

Может, невольно примерял к себе: он ведь тоже был отцом двоих детей и думал о нас.

Но мой рассказ о другом.

В начале зимы 1944-го, в жестокий мороз, в метельный вечер, к нам в дверь постучали. Мы жили тогда уже не в доме Ванды, а в шестером в сравнительно большой комнате в каменном доме, четырехэтажном. Отец получил на строительстве это жилье.

Я открыл. На пороге стоял высокий мужчина с ребенком на руках: мальчик прильнул к его плечу. Ребенок был весь засыпан снегом — ну точно, как мой двоюродный братишка в Камышловое осенью 41-го. Только постарше — лет трех примерно. Мама пригласила их войти и раздеться, стала готовить чай. Конечно, фруктовый, который тогда пили. Мужчина раздел и разул мальчика, тот присел на краешек старого дивана и почти мгновенно заснул.

С этой семьей мы были знакомы немного. Но историю ее кто только в городе не слышал. Отец был инженером, много моложе моего. Лет 26 — 27. Почему он был не в армии, сказать не могу, — по болезни или имел «бронь». Они были из Сталинграда. Приехали втроем года за два до того: муж, жена и этот малыш. Жена была очень красивой женщиной того типа, который принято называть «роскошной женщиной». Может, она и была таковой. Только немного полновата, как мне казалось даже тогда и теперь кажется. (Ее тоже многие знали как хирурга местной поликлиники. Когда у меня начался фурункулез, она меня дважды оперировала.) По приезде они втроем получили комнатку в небольшой квартире, где за стенкой, в другой комнате, поселился начальник всего строительства. Человек лет сорока с бритым черепом и комиссарского вида, как и полагалось начальнику. Я его тоже видел не раз. Так вот, чуть ли не через месяц после приезда жена переселилась из одной комнаты в другую — в той же квартире. К начальнику строительства. Бросив не только мужа, но и ребенка. С тех пор отец воспитывал малыша сам. Как ему это удавалось или кто помогал ему — бог весть! Он ведь работал, как работали тогда все мужчины, кто не был в армии, то есть беспощадно. Так прошли два года. Мы не были особенно близки, но почему-то он зашел проститься именно к нам (отца дома не было). Он сказал, что они с сыном уезжают. Кажется, просил маму передать кому-то письмо.

— Куда же вы едете? — спросила мама.

— В Сталинград!

— Но там же, говорят, все разрушено!

— Ничего, Как-нибудь! — он улыбнулся мягко.

В его лице в общем-то достаточно видного мужчины был один недостаток: оно было слишком мягким. Отчего, наверно, некоторым женщинам оно могло казаться беспомощным. Мужчины с такими лицами, как правило, не пользуются успехом.

Мама стала уговаривать, чтоб они остались — хотя бы до утра.

— Я вам постелю. Я возьму у соседей матрас.

— Нет-нет! — он поблагодарил.

— Ну, куда ж вы? В такую метель!

— А нас здесь никто не ждет! — сказал он с той же мягкой улыбкой, добавив, что хочет попасть на поезд.

Они и ушли в свое «никто не ждет». А мы еще долго говорили о них. И мама

все волновалась, как они будут добираться, и, по обычной своей привычке искать что-то утешительное в самых безнадежных обстоятельствах, сказала мне:

— Видишь, война все-таки идет к концу. Люди возвращаются в Сталинград!

А через месяц-полтора после их отъезда случилось несчастье, про которое тоже говорил весь город. Погиб начальник строительства. Тот самый. Он шел, задумавшись, через подъездные пути, и на него наехала сорвавшаяся с тормозов платформа.

К его жене-хирургу прибежали бабы:

— Беги! Там твоего убило!

Вот и все вроде. Мы ничего больше не слышали о ней.

Отца с сыном мы тоже потеряли из виду. В войну связи быстро устанавливаются, но так же быстро разрушаются. Например, маме не пришлось бы в голову сказать: «Вы хоть напишите по приезду!» Но я почему-то часто думал о них, хотел, чтоб они уцелели в этом дальнем разрушенном городе. А ставши взрослым и вспоминая, размышлял о том, когда же люди начнут ценить доброту. Мечтал, чтоб мальчик выжил. Дети тогда часто умирали. Если все было в порядке, мальчику теперь должно быть около семидесяти.

Возвращение

Мы возвращаемся домой, в Ленинград. Все получилось неожиданно, но такие вещи всегда происходят неожиданно. Тетка Мария, та самая, военный врач, прислала нам вызовы вскоре после окончательного снятия блокады. (Тогда в город можно было попасть только по спецвызову, подписанному лично Попковым, председателем горисполкома.) Она провела в городе всю блокаду и, верно, соскучилась по своим. Во всяком случае, в письмах она настаивала, что пора. Так вышло, что, когда мы собрались ехать, начальник моего отца, известный инженер, получил назначение в Ленинград, резко повышавшее его статус, и ему предоставили вагон-теплушку для переезда его большой семьи. Он этот вагон кое-как оборудовал полатами в несколько ярусов, даже туалетом, и взял с собой нас: мать, сестру, мамину младшую сестру с мальчиком, меня и еще одну свою приятельницу. Отец оставался достраивать объект.

Мы выехали в начале мая и ехали больше месяца. Весна выдалась ранняя и бурная, даже в Сибири. А когда мы вступили в пределы средней полосы России, там было настоящее лето. Я запасся в дорогу каким-то толстым сборником стихов поэтов пушкинской эпохи — сам Пушкин там был тоже — и длинный путь был скрашен. Особенно привел меня в восторг Языков, к которому, признаюсь, нынче равнодушен вполне.

Дорога туда была такой же в принципе, как дорога оттуда: столь же часто встречались поезда-госпиталя с ранеными бойцами. Возможно, их стало и больше: армия теперь наступала, а в наступлении всегда больше потерь. Так же ехали на фронт и стояли в открытых теплушках завтрашние бойцы. Столь же много было неустроенных людей, ищущих что-то, кого-то, просто кипятка на станции. Только общее настроение было, конечно, другим. То же «великое кочевье» — только на него падал иной свет. Было больше надежды в людях, больше шумного и на повышенных тонах обмена военными новостями. Но все же что-то изменилось и к худшему, нельзя было не заметить — наверное, в людях проявилась усталость, а может, что-то еще, что после скажется.

Чуть не на всех длинных стоянках можно было набрести на какой-нибудь конфликт. Выяснялись отношения:

— Я-то был на фронте. А ты где был?

— Мой муж воевал! А твой что? Оборонял Ташкент?

Вся страна давала убежище эвакуированным, и Узбекистан был на одном из первых мест в этом смысле. («Дом далекий! Узбекистан!») А сыны его так же сражались на всех фронтах и умирали рядом со всеми. Но почему-то именно слово «Ташкент» стало в определенном контексте ругательным. На годы. Женщины постоянно шпыняли друг друга, стараясь уколоть по линии женской чести и поведения во время войны:

— Я мужа ждала, а ты что? Сучка офицерская!..

С женщинами было особенно трудно: кто только не брался обсуждать их судьбу, их поведение, их любовь. Но они сами, надо отдать должное, тоже старались.

В войну почти все женщины спали с лица, стали выглядеть усталыми, замотанными, старше своих лет, иногда — много старше. Это было естественно. Но родилось, порой почти непонятное, неприятие красоты. Иногда просто ненависть. Красота винилась во всех грехах, и красивая женщина сразу подозревалась в порче (об этом, кстати, было у Симонова: «Если родилась красивой...»). Воистину нет объяснения человеку — пристрастиям и отторжениям его! Господь ему судья! Мне было уже почти 13, я многое чувствовал и не мог не сравнивать невольно эту злобу и жесткость, даже жестокость, с той готовностью помочь друг другу, с тем взаимным теплом и заботой, что так часто проявлялись на дорогах в тяжкие дни отступлений 41-го.

Ехали мы долго, как я сказал, но настал день, когда на каком-то разъезде или у разрушенной станции на остановке вошли пограничники в фуражках с зеленым околышем: «Ваши документы!». И после проверки: «Можете ехать!».

Вскоре поезд тяжело и грузно взошел на мост. Внизу была Нева, ее верховье. Мост был военный, построенный военными строителями, одноколесный, очень высокий и очень узкий. И совсем без перил. И поезд медленно-медленно полз по нему. Так что примерно на полчаса или сорок минут мы будто зависли над бездной. Мы вползали в город, как вползают в сон...

Мы с мамой и сестрой покинули наш вагон где-то около 12 часов дня 4 июня 1944-го на станции Обухово, рядом с кладбищем Памяти жертв Девятого января, где теперь покоятся мама и ее сестры. Часть нашего «экипажа» — младшая тетка с сынишкой — осталась в вагоне, и вагон еще маневрировал дня три, покуда мы смогли забрать их и взять свои вещи. А мы двинулись в город. Зрелище поначалу было страшным. Сплошные пустыри и воткнутые в землю таблички с названиями улиц. Первая улица Александровской фермы, Вторая улица Александровской фермы... И ни одного дома! Кое-где на пустырях виднелись огороды. Можно было подумать, что весь город таков. (Наверное, это были улицы сплошь деревянных домов, и в войну их просто спалили.) Лишь минут через сорок начали попадаться отдельные жилые дома, тоже частью разрушенные. Где-то часа через три или четыре пешего хода мы вышли на Советский проспект (ныне Суворовский) в районе Второй Советской. Город, конечно, был сильно разбит, но это был город. Много развалин, но много и целых домов. Некоторые окна были распахнуты настежь — июнь. От кого-то мы узнали, что в этот день в городе впервые пустили троллейбус по одной линии. Но мы его еще не видели. На большей части окон вместо стекол были фанерные

щиты. А стекло, оклеенных бумагой по диагоналям, как показывают в кино, оставалось совсем мало. Наверное, это оказалось ненадежно. Мы вошли во двор на Четвертой Советской, где жила тетя Мария, поднялись на 4-й этаж. И так как ее, естественно, дома еще не было — время рабочее, стали ждать, притулившись к подоконнику одним маршем ниже. Удивительно: за два часа, может, больше, нашего ожидания никто не вышел из парадной, никто не вошел, никто не появился даже на лестнице: народу в городе еще было не так много. Наконец раздался стук двери вниз, и кто-то стал медленно, совсем медленно подниматься. Шаги были тяжелые. В просвете между перилами я увидел седую голову, кажется, женскую. Я отвернулся: не она! Я говорил уже, что тетка в семье считалась красавицей, да она такой и была: пепельные волосы, огромные серые глаза, пышная фигура, что ценилось в те времена. Меж тем женщина поднялась по лестнице и остановилась перед нами: это была худошавая седая старуха. И это была моя тетя Мария, Мура, как ее звали в семье. Она провела в городе вместе с мужем все 900 дней блокады. Нет, после она поправилась, стала снова статной. Только осталась совсем седой. В отличие от других, она никогда не красилась. Возможно, от гордыни. Она, по-моему, до конца дней не привыкла к тому, что ее красота прошла.

Через день я побежал туда, куда мечтал попасть все эти годы. Дворец пионеров на Фонтанке. Я вошел в здание с колоннами, то самое, меня никто не спросил, кто я и куда, да кажется, и спрашивать было некому. Я вошел в коридор на втором этаже — совершенно пустой. Передо мной были только двери, двери и таблички с разными надписями. Задние выглядели пустым, но было ощущение, что пустота кажущаяся. Где-то какой-то гуд — не голоса, гудение. Я толкнул дверь с табличкой, на которой было написано: «Студия художественного слова», и оказался в комнате, полной ребят.

— Ты кто? Хочешь заниматься с нами? — спросила меня грациозная, подтянутая седая женщина за столом.

— Хочу! — сказал я.

Белоголовая и черноглазая на цыганский манер женщина оказалась профессором Марией Васильевной Кастальской. Ученицей Станиславского. И я ей многим обязан — при всех своих расхождениях с системой Станиславского. Тем, например, что умею устраивать читку пьесы. Это мне очень помогло в жизни как драматургу. В ее нарочитом, слишком горячем, слишком заинтересованном взгляде на ученика, когда она слушала, как он читает текст — глаза блестели почти ненатурально, — было что-то от всех портретов Станиславского. Однажды она сказала нам об актрисе, игравшей трагическую роль:

— Не нужно кричать, не нужно руки заламывать. Достаточно просто расстегнуть воротничок. — И это была школа!

В тот первый день, толкая дверь за дверью и входя без спросу в аудитории, я записался разом в пять кружков. В том числе в литературно-творческий. Последним был шахматный. Преподавателя я так и не увидел, меня окружили ребята примерно моего возраста.

— Ты играешь в шахматы? — спросили меня.

— Ну да, — сказал я, — только плохо!

— Сейчас мы дадим тебе мальчика! Он будет тебя готовить! — И позвали кого-то.

Я попытался неуклюже возразить, что мне нужен учитель, а не мальчик.

— Не бойся! Этот мальчик уже сыграл вничью с гроссмейстером Левенфи-

шем. И чуть не выиграл у такого-то (назвали известную шахматную фамилию). Но... там сложилась, понимаешь, такая ситуация на доске... — Они начали длинно и заинтересованно объяснять.

Тут мне вмиг стало хорошо, совсем хорошо. Как не бывает. Комфортно. Мне больше ничего не было нужно. Ко мне подвели того самого мальчика. Он был моего возраста. Ну, старше на полгода, не больше. Он протянул мне руку.
— Витя Корчной!

Я так и не научился играть толком в шахматы. Научился чему-то другому — какая разница? А он стал одним из крупнейших шахматистов двадцатого века. Гроссмейстер Корчной. Шахматы ведь не просто игра, но борение духа. Мы года два дружили, а потом как-то разминулись с ним. Не разошлись, а именно разминулись. Но я всегда следил издали за его успехами и неудачами. И болел за его непростую шахматную судьбу.

С кружком литературно-творческим мне, однако, не повезло. Меня выгнали вскоре. Во-первых, я был самый младший, все прочие кружковцы были старше года на три. А в отрочестве это значит много. Я был рядом с юношами или почти юношами, а мне было только 13, и меня не принимали всерьез. Мои сотоварищи кое-что уже понимали о себе. Но я тоже, как всякий пишущий, что-то о себе понимал. Ко мне относились без особого интереса, а мне было просто скучно. К тому же я был смешлив от природы. Тут наш руководитель, писатель Сергей Исаакович Хмельницкий, задумал провести вечер кружка, позвать критиков. И к вечеру написал стихотворное вступление, очень высокопарное — длинное и вовсе бесталанное. И поручил мне как участнику другого кружка — художественного слова (о чем все знали) его на вечере прочесть. Хотя не выпустил меня (единственного) читать собственные стихи. И когда я стал читать на репетиции этот текст, меня стал разбирать смех. Ей-богу, он был справедливым! И каждый раз, когда я принимался читать, я начинал хохотать. Нестерпимо. Со мной бывает такое, и спустя 70 лет бывает. Меня выгнали в итоге. Наш учитель был типичный советский писатель и хотел на вечере показать кружок с лучшей, чисто советской стороны. Что уж тут поделать! Кроме того, время было такое, что это требовалось показывать. Но я в 13 лет этого не понимал.

Пройдет четыре года, и в 48-м я окажусь одним из четырех школьников — участников Всероссийского съезда поэтов, который проходил в Ленинграде (Игорь Масленников — ныне кинорежиссер, Владимир Британишский, Лев Ку克林 и я). Но это произойдет благодаря уже другому учителю молодых, Глебу Сергеевичу Семенову. Который будет мэтром и началом начал для пишущих всего нашего поколения в Ленинграде.

А Дворец пионеров станет на целый год моей alma mater. Целый год я буду жить только им и тем, что происходит в нем. И это будет последний год войны. Потом мой отец решит, что мои школьные дела слишком опасно накренились, и заберет меня оттуда. И я буду только временами появляться во Дворце в разных студиях и отвыкну от него. Начало было слишком прекрасным, чтоб оказаться долгим.

Вообще Дворец пионеров был одним из немногих удавшихся коммунистических экспериментов. Может, самым ярким и самым удавшимся. Фасадом их идей в той части, где эти идеи действительно существовали, и до той поры, покада они сами не обрушили с треском эти идеи. Не знаю, описан ли где-нибудь как следует подвиг Ленинградского Дворца пионеров в войну — его сотрудников, воспитателей, учителей, писали об этом или уже перестали писать,

но Дворец фактически работал в Ленинграде с кратким перерывом всю блокаду и был, естественно, одним из главных центров Сопротивления города. Одна лишь танцевальная группа А. Обранта чего стоила! Она выступала в войну в частях, оборонявших Ленинград, и на кораблях Балтийского флота. Дворец задуман был, кажется, еще Кировым, открыт в середине 30-х, и во главе его стояли люди, которые знали, к чему они стремятся. Директором был замечательный педагог Натан Михайлович Штейнварг, его, конечно, сняли в 49-м — как было в скетче у Райкина: «...в рентгене у него было что-то не то».

Как-то много лет спустя, уже совсем взрослым, на улице я встретил Марию Львовну, завуча Художественного отдела дворца. Мы поздоровались, она узнала меня. Я назвал свою фамилию и услышал в ответ:

— Извините! Фамилию не помню, а мальчика помню!

Осенью 44-го, в сырость, в холод, когда фонари на улицах светили бог знает как тускло, я вошел в сильно пострадавшее от бомбежки здание Дворца Белосельских-Белозерских, где в некоторых уцелевших комнатах ютились учреждения, в том числе райком комсомола, и попросил принять меня в комсомол.

Может, это звучит сегодня несовременно. Может быть. Но, как сказал Мандельштам в Воронеже: «Ни от кого не отрекаюсь — ни от живых, ни от мертвых!» Не отрекаюсь, например, от своей пьесы «Матросы без моря» о матросах революции — хоть нынче и не публикую ее. Все равно ее время придет. И от того мальчишки я тоже не отрекаюсь. Хоть он совсем не я сегодняшний — больше, чем не я. Но я сострадаю и чуть завидую ему.

А свой двор я застал совсем пустым. Нет, через какое-то время воротилось несколько ребят из эвакуации. Но это были ребята моего поколения. Из старших не вернулся почти никто. Помните две команды? И волейбольная сетка исчезла. Через год после войны или позднее появился Вова Р., очень высокий интеллигентный парень. Он воевал и уцелел. Родители его умерли здесь. И очень долго он оставался единственным, кто вернулся с фронта. Кажется, это угнетало и его самого. Ему было тяжело. Когда он шел через двор, то словно жался к стенке, словно стеснялся самого себя. Он-то знал, что из многих окон невольно, из-за занавесок, глядят ему вслед и вспоминают своих. Особенно это стало заметно, когда он женился. Как будто на девушке, которая ждала его всю войну. Она была, наоборот, маленькая, пухлая и очень скромная. Она была похожа на него. Они проходили через двор всегда молча, словно крадучись — сейчас это трудно понять. Будто она тоже стеснялась собственного счастья.

Еще позднее вернулся Миша Р. с нашей лестницы — квартира напротив. За его отцом дважды приходили в тридцать седьмом (он был в двадцатых нэпманом). Миша был человеком совсем другого типа: шумный, летчик. Он рассказывал, что служил вместе с сыном Сталина Василием. Тоже летчиком. И наперекор всяким слухам отзывался о нем с симпатией.

Ребятам нашего двора из старшего поколения я посвятил через четверть века диптих одноактных пьес «Поколение 41» («Мальчик у телефона» и «Миф о десанте»). Это было уже в 1968-м. Спектакль в Ленинградском ТЮЗе, в который входили эти новеллы, быстро сняли с постановки: «Мальчик у телефона» был про тридцать седьмой год. А танки в августе 68-го уже вошли в Чехословакию. Пьеса «Миф о десанте» была о судьбе десанта из молодых моряков-добровольцев Кронштадтской базы, который высажен был в порядке отвлекающего удара в Петергофе в октябре 41-го и погиб. В пьесе, в раковине

замершего фонтана, в котором отключена вода, под безрукой статуей Венеры умирают от жажды мальчишки, не знавшие любви: «У меня любви не было. Ребята рассказывали. Интересно». И последний танец Венеры с уходящим на смерть десантом. Фавн играет на свирели «Синий платочек»...

С «Десантом» оказалось не легче. Его поставили отдельно в Мурманске, в Театре Северного флота в паре с инсценировкой рассказа «Соль» Бабеля. Спектакль назвали громко: «Через годы, через испытанья». И о нем был целый подвал в «Комсомольской правде»: «Как можно писать о героике Отечественной войны в обветшалых мифологических образах?» Мурманскому обкому советовали заняться своим театром. Впрочем, тогда же и почти такое же письмо я получил от известного в тот момент драматурга, считавшегося «прогрессивным», которому по глупости подарил распечатку пьесы. Он разве что к обкому не обращался. Все остальное было то же самое. Но «Десант» был снят театром с постановки ранее появления статьи вместе с другой моей пьесой «Матросы без моря» — о матросах революции. Эта пьеса была снята на приемке (и потом запрещена на 20 лет). На заседании Политуправления в театре нам с режиссером Мишей Царевым крепко досталось. Управленцы старались как могли: «Что это у нас за драматургия пошла? Какие-то сны, какие-то фавны?» Ругая нас, они вдруг начинали заодно поносить Хрущева, давно снятого к тому времени. Больше всех старался, как сейчас помню, полковник Колкер, возможно, пытался «оправдать» фамилию. Не слишком удобную в ту пору.

Один из самых ярких критиков в погонах бросил нам в лицо, чуть не задохнувшись от собственной смелости: «Вы думаете, нам обязательно нужна идейная пьеса? Вовсе нет! Пусть будет безыдейная — просто развлекательная. Матрос поразвлечется и отправится выполнять свой долг. Но если идея... она должна быть железобетонная!» — и с силой сжал руку в увесистый кулак.

Пьеса «Матросы без моря» была впервые поставлена только в перестройку. На сцене другого «морского» театра — Черноморского флота.

А «Десант» писался мною в Москве, в снятой комнате, в очень тяжелую для меня и, если честно, просто голодную пору. Но все равно, когда рука вписала сама собой (такие вещи рука пишет сама, это точно!): «Фавн заиграл на свирели "Синий платочек"» и еще последний диалог: «Удержи меня на этой земле, любовь!» — «Не могу! У меня нет рук!» — вся моя не слишком простая, а в чем-то нескладная литературная судьба показалась мне неслучайной и ненапрасной.

«Десант» ставили с тех пор не один раз. В 2005-м молодые ребята, которые хотели создать новый музыкальный театр в Петербурге, заказали мюзикл композитору М. Аптекману. Его поставили в День Победы в Театре Эстрады. И я снова был среди своих зрителей двух возрастов: совсем юных и совсем седых. И среди ребят нашего двора из двух волейбольных команд...

«Настоящий конец большой войны»

Куриль я начал в тринадцать. Когда меня спрашивали, почему так рано, я рассказывал иногда про нашу экскурсию в зоопарк с одним из кружков Дворца пионеров — где-то в начале осени 1944-го. Мы смотрели на зверей, обошли все самое интересное, а потом нам сказали, что нас побалуют. И повели к ларьку. Это был один из первых ларьков газированной воды в городе. Только газа пока не было. И нас угостили простой водой, подкрашенной сладким сиропом. И тот,

кто не знает, как вкусно пить простую воду со сладким сиропом даже без газа, может посмеяться над нами.

Зато папиросы продавались на каждом шагу. Ими торговали инвалиды. Они сидели на корточках или просто на земле у всех магазинов, где продавалось курево. Секрет был в том, что обычным людям, военным в том числе, это курево отпускалось по коммерческой цене, а инвалидам — по государственной, куда более низкой. И они могли торговать этими папиросами. Сигарет тогда не было. Боюсь, мы вообще не знали, что это такое. Папиросы продавались не пачками, а россыпью. И россыпи эти лежали в грязных кепках инвалидов. И это было единственное, что могло манить нас тогда.

Были ли среди нас такие, кто не закурил? Были, конечно, Но их немного.

По Невскому еще шли трамваи. Вообще-то они еще долго ходили. На Аничковом мосту трамвай замедлял ход. Тут мы вскакивали на него большой компанией. К улице Маяковского, у кинотеатра «Художественный», трамвай разгонялся. Тут мы и соскакивали с него один за другим, презирая клаксоны машин, которым иногда мы прыгали почти под колеса. Только движение, разумеется, было небольшим, не то что в 60-х, уж не говоря о сейчас. Как никто из нас не сломал себе голову тогда, не знаю, обошлось. Оказавшись на тротуаре, мы торжественно закуривали. Однажды меня на этом поймал мой дядя — муж тети Муры. «Молодец, Борис! Молодец», — сказал он с издевкой. Мне крепко досталось. Но все равно курил я долго потом, больше сорока лет.

И инвалиды войны у магазинов с россыпью папирос в кепках остались в нашей памяти навсегда. Инвалидов было много. Они шныряли в толпе, ловко маневрируя своими скромными дорожными средствами — маленькими плоскими тележками на колесиках. Очень часто на этой тележке помещался только торс фактически до паховых впадин — остальной части тела не было. Иногда это средство управлялось всего одной рукой. И как блестяще управлялось, с каким шиком! Помню совсем молодого матросика в бескозырке. Его можно было всегда почти встретить на углу Пролеткультовской — теперь Малая Садовая. У него были огромные голубые глаза и лицо Сергея Есенина, невероятно похож, а бескозырка заломлена лихо, с вызовом. Потом, через год где-то, я увидел его там же с лицом, опухшим, испитым, словно одеревеневшим. Поэтических ассоциаций уже не возникало.

Инвалиды эти разом исчезли с городских улиц в конце 46-го или в начале 47-го. Их выселили всех. Говорят, отправили в какие-то интернаты — на Валаам, еще куда-то. Об этом мало написано. Во всяком случае, мне не попадалось. Я встретил это только у великолепного писателя и художника Эдуарда Кочергина. Город не знал их судьбы. Просто понял, что они исчезли с улиц, да и то не сразу, и не все заметили. Наверное, нельзя было, чтоб они разрушали своими культями, своими тележками на колесиках благообразный фасад социализма и напоминали, что они есть!

Был такой фильм польского режиссера Ежи Кавалеровича «Настоящий конец большой войны». Он прошел у нас под другим названием — «Этого забывать нельзя». В прокате любили менять названия зарубежных фильмов: чтоб было попроще и победнее смыслом.

В 46-м вышло «Постановление о журналах "Звезда" и "Ленинград"». Я стоял перед газетой «Правда» с этим постановлением и ничего не понимал. Зачем это сейчас? И что это значит? Зощенко я знал мало как писателя тогда, но Ахматову

читал, особенно ее стихи в дни войны. Моя мама вообще-то знала мало стихов и редко их читала, но Ахматову часто читала наизусть. Журнал «Ленинград» был закрыт, мы слышали, что в город прислан из ЦК, от самого Сталина, некто Еголин — руководить единственным теперь ленинградским журналом. Фамилия ничего не говорила. Спустя много лет, уже в 60-х, услышу некую байку, ходившую в писательских кругах. В те дни зашла случайно в редакцию «Звезды» Анна Семеновна Кулишер, известная переводчица французской прозы и в писательских кругах — легенда, которая существует до сих пор и немного напоминает легенды о Раневской. Анна Семеновна славилась среди прочего тем, что последней узнавала новости, о которых успели уже поговорить решительно все. И зайдя в редакцию и ничего не зная, она по привычке направилась к столу заведующей редакцией, чтоб позвонить по телефону дочери.

— Что вы! — сказали ей, — нельзя, Еголину может понадобится телефон! — Телефон у завредакцией был спаренный с телефоном главного редактора.

— Какой Еголин? — она пытается все равно взять трубку.

— Анна Семеновна! Нельзя! Еголин!

Но та не понимает, буквально вырывает трубку и кричит в телефон:

— Представляешь, черт-те что творится, здесь какие-то новые порядки! Какой-то Еголин! Мне не дают позвонить, узнать, что Уфирька ел, как он покакал.

Уфирька был любимым котом Анны Семеновны.

Рассказывают, сама Анна Андреевна Ахматова пришла в Литфонд в день, когда вышло это постановление, ничего о нем не зная, и начала вести обычные светские разговоры. И на нее смотрели, как на привидение.

В 48-м началась истерия по поводу «группы театральных критиков-антипатриотов». Ругали пьесы хорошие, или сносные во всяком случае. Возносили просто бездарные. Винили критиков, которые этими последними не восхищались. И трудно было читать официальные выступления некоторых известных писателей, которые всю эту чушь одобряли.

Чуть не каждый номер «Литературной газеты» приходил со статьей, содержавшей пересмотр отношения к тому или другому из видных советских писателей, уже ушедших из жизни. В одном номере — поругание Ю.Н. Тынянова, в другом — поэта Эдуарда Багрицкого, в третьем — или это был журнал? — чудовищная статья Важаева с ниспровержением Александра Грина. После я встретил, кажется, другую статью критика, где он, напротив, Грина хвалил. Когда наша учительница литературы — между прочим, очень хороший педагог, методист Герценовского института — присоединилась на уроке к статье, поносившей Тынянова, я хлопнул партой и вышел из класса. Потом на меня кричали в учительской. И я получил первую в жизни тройку по сочинению — «за косполитизм». Я дважды процитировал в тексте сочинения зарубежных писателей — Б.Шоу и Р.Роллана.

В том же году начался разгром университетской науки на филологическом факультете Ленинградского университета. Громили школу покойного академика А.Веселовского, одного из самых крупных дореволюционных исследователей литературы. А попутно почти все другие школы, сложившиеся в науке после Веселовского. В том числе и выросшие при советской власти и пытавшиеся соединить филологию с социалистическим мышлением. У нас шел десятый класс, и мы, конечно, были в курсе университетских проработок — те,

разумеется, кто интересовался литературой. Наша преподавательница даже просила нас посещать эти собрания. Но я отказался. Зато наш первый ученик аккуратно туда ходил и в классе с аппетитом делился впечатлениями.

На трибуны поднимались аспиранты и бывшие аспиранты, и даже студенты, и с пафосом костерили своих вчерашних или сегодняшних профессоров. Обличали. Особенно старались аспиранты с кафедры советской литературы. Правда, и другие стремились идти в фарватере. Старых заслуженных филологов клеймили как путаников и двурушников, распространявших сплошь и рядом в литературе вредные теории и взгляды. Седые почтенные люди, много сделавшие в литературе и для литературы, поднимались в ответ на трибуны и каялись униженно. Признавали ошибки. Клялись больше не повторять. Просили дать им время для исправления. В итоге одних изгоняли из университета, других оставляли под присмотром и с сокрушенной репутацией. Надо же было после этого входить в аудиторию к студентам и что-то говорить и сохранять хоть какое-то лицо при этом! Я лично был свидетелем того, как один профессор, которого побили, но оставили в университете (он был отцом моего товарища), отправлялся каждый вечер навестить своего друга — другого профессора, которого очернили и изгнали: тот лежал с инфарктом. Это был Б. М. Эйхенбаум, кстати, крупнейший тогда специалист по Лермонтову. А сам профессор был видным исследователем творчества Достоевского. (Сам Достоевский в то время тоже пребывал в опале). Спустя какое-то время, в начале хрущевской «оттепели» или в самую «оттепель», некоторые участники тех аутодафе выйдут каяться тоже. Это будет отрадно само по себе, но поздно, к сожалению. Я думаю, филологический факультет Ленинградского университета от того погрома не мог оправиться еще несколько десятилетий. Может быть, и до сих пор не оправился.

Это все был тоже «настоящий конец войны».

Правда, в том же 48-м было последнее — вперед на многие годы — отрадное событие в моей начинавшейся едва литературной жизни.

Всероссийский съезд поэтов, проходивший в Ленинграде. Его старшими участниками были многие знаменитые к тому времени поэты войны. Я помню Семена Гудзенко в просвете двери перед входом в аудиторию, где читают стихи. Он стоит высокий, ладный, чуть прислонившись к притолоке головой...

Мне кажется, что я — магнит,
Что я притягиваю мины.
Удар! — и лейтенант хрипит,
И смерть опять проходит мимо!

У него было лермонтовское ощущение батальной поэзии.

Мы не от старости умрём —
От старых ран умрём.
Так разливай по кружкам ром —
Трофейный, рыжий ром...

Он и умрет не от старости — от старой раны в голову. Всего через несколько лет, совсем молодым.

По залам прохаживался Сергей Орлов, автор одной из самых известных строк поэзии войны. (А бывает, что одна строка в поэзии — это очень много!)

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат...

Странно, я так и не увидел его разговаривающим — только слушающим и слышащим. У него было удивительное лицо — вовсе обгорелое, без бровей, без ресниц: он горел в танке. Он не сидел в зале, а именно прохаживался по залам особняка Союза писателей на Воинова, где в каждом зале читали стихи, а он прислушивался, ловил что-то нужное только ему и уходил...

Сам этот особняк сгорит в конце перестройки, а когда его восстановят, он уже не будет больше Домом писателя. Хотя его следовало сохранить в этом качестве. Он был живой историей. В чем-то великой, в чем-то очень страшной. Здесь много что происходило. Здесь топтали Добычина и жарко аплодировали разбойным докладам А.Жданова. Здесь жены отрекались от мужей. Но здесь и дважды распятый Михаил Зощенко бросил в лицо Друзину, может, самую важную фразу из всего, что наговорили здесь за все времена существования этого Союза: «Писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации!»

Поэты на съезде, конечно, перессорились меж собой — московские с ленинградскими. На то они и поэты. Нас, «маленьких», это не касалось. Зато мы успели услышать последнюю лекцию Григория Александровича Гуковского, автора книг о Пушкине, о Гоголе, блестящего литературоведа, хотя во многом и типично советского. Его арестуют буквально через две-три недели, и он погибнет в застенке.

В 49-м после громкого процесса были расстреляны почти все руководители блокадного Ленинграда во главе с Алексеем Кузнецовым, в ту пору секретарем ЦК, а в войну — первым секретарем горкома партии Ленинграда. Кузнецов, Попков, братья Вознесенские... Их обвинили в том, что они собирались то ли отделить Ленинград от России, то ли сделать его снова столицей России, а Москву оставить лишь столицей Союза. Это называлось «ленинградское дело». О нем сейчас почти забыли.

Мы под Колпиным скопом стоим,
Артиллерия бьет по своим.
Это наша разведка, наверно,
Ориентир указала неверно...

Поэт А.Межиров столько раз переделывал эти стихи, чтоб они попали в печать, что трудно найти сборник, в котором они были бы в истинном виде...

Я помню на набережной Фонтанки заколоченные двери ликвидированного тогда же Музея обороны Ленинграда.

«И тьма накрыла ненавидимый прокуратором город...»

За что он так ненавидел этот город? Возможно, считал, что, если однажды здесь — правда, при скромном его участии, не самом главном, но все же! — произошла революция, то это может случиться еще раз. Или ему казалось, что город прожил слишком долго в блокаде, в беде, конечно, не совсем без приказов сверху, но как-то на особицу, отдельно стоящей колонной, без неусыпного и всевидящего. И мало ли что могло за это время прийти в голову его жителям и даже его руководителям?

Или все проще, страшней? Он ведь недаром отменил вскоре День Победы.

Человек-победитель его смушал. Пугал. Он явился слишком сильным с войны. Взял себе волю. Человеку могло показаться, что, если он сумел одолеть Гитлера, то способен и собственную страну изменить. Это было опасно. И следовало несколько окоротить этого человека.

Летом 50-го года, когда я был в студенческом летнем военном лагере при воинской части, мы ехали на понтоне вдоль широкой и вольной реки на северо-западе. Мы плыли тремя понтонами. Нас было человек двадцать. Городские ребята, студенты — только в гимнастерках и в мокрых пилотках. Было жарко. Справа на пути уходили в воду мостки, с которых обычно деревенские женщины стирают белье. Но тут было нечто необыкновенное: целый женский колхоз высыпал на берег. Одни женщины, и ни одного мужчины. Случайно это было, пришли искупаться? Мы ехали, а они смотрели на нас. Их было много — разного возраста. Среднего. Совсем молодые. Целая толпа. Не в купальниках, а в белых лифчиках и в тех чудовищных цветных панталонах с резинкой на бедре почти над коленом, какие наши матери проносили всю войну и еще долго после носили. Эти панталоны бездарно портили женскую фигуру. (Один знаменитый в ту пору французский актер в пятидесятых годах, побывав в России, скупил эти панталоны и устроил выставку в Париже, что-то вроде: «Белье российских актрис». Актер был хороший, даже выдающийся, только это было подло, ничего не скажешь!) Про этот женский колхоз из переселенцев мы знали, что он неподалеку. И что в нем почти одни только женщины. Оттуда в часть приезжали бабушки и звали ребят приехать на вечерок, когда отпускают из части. «Надо побыть с женщинами», — говорили они. И добавляли просто и обыденно: «Мальчики, нам дети нужны!» Умеет же русский человек сказать вот так в лоб самое важное — и без стеснения.

Это тоже был «настоящий конец большой войны».

Я редко смотрю телевизор или совсем не смотрю. Только в День Победы и близко к нему. Но года два назад показали пленку, которая, вроде, долго была в забвении или просто потеряна.

День Победы — 9 мая 1945-го — в Ленинграде. Толпа идет по Невскому.

Я вижу эту толпу и ищу в ней себя. Я тоже там — мне 14 лет. Мы все идем к главной площади города. Не помню, звалась ли она тогда уже Дворцовой? Или была еще Урицкого?

«Чтобы она была такая — взглянуть и глаз не отвести!» — писал Сергей Орлов о грядущей победе. Ну, вот она — глядите!

И надо постараться не слышать — и сейчас не видеть в воспоминании, — как на углу Невского и Пролеткульта кто-то зовет: «Люди советские, помогите бандита задержать!» — и у него кровь течет с лица. А мимо идут люди советские, победившие Гитлера и самую страшную военную машину фашизма, и стараются не смотреть. Бандитов в городе много — это тоже последствие войны. Мир трудней войны — всегда так было, всегда так будет! В войну есть ясность более или менее — кто друг, кто враг. В войну понятней, за что надо жертвовать жизнью.

И все равно... «Глаз не отвести!» Это День Победы в Ленинграде.

Я пытался на этих страницах рассказать то, о чем никогда не говорил. И назвать по имени какие-то вещи, которые не так просто назвать.

Томит неназванное.

Александр Орлов

Наш век сырыми войнами рождён

Томка

Тамаре Фёдоровне Востриковой

У Томки в руках похоронка —
Папочка, папа погиб! —
Запричитала девчонка.
Голос мгновенно охрип.

Села в гружёные санки,
Фото достала отца.
Слёзы в глазах у пацанки
Потяжелее свинца.

Валенки, шапка и ватник,
Мамин пуховый платок,
Девочка, школьница, ратник,
Только замёрзла чуток.

Роет и роет окопы
В десять свои с небольшим.
Гости пришли из Европы.
Юнкеры, зарево, дым.

Александр Орлов — поэт, прозаик. Родился в 1975 г. в Москве. Окончил Литинститут имени А.М.Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории. Автор трех стихотворных книг «Московский кочевник» (2012), «Белоснежная пряжа» (2014), «Время вербы» (2015).

В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Москве.

* * *

Я чувствовал себя немецким пленным,
Сходящим потихонечку с ума.
Таращились доходные дома
В белёсом мраке на Кривоколенном.

Казалось: сквозь мерцающие хляби
Ко мне из прошлых лет обращены
Восставшие из барельефной тьмы
Веневитинов, Пушкин, Обер, Кнабе...

И Строганова пышный особняк —
Изгнанник милосердной в прошлом эры —
Менял свои столетние размеры
И близился, как одичалый враг.

Смешались две германские войны,
И словно под прицелом штурмгевера
Моих мечтаний пламенная вера,
Ушла на встречу к призракам весны.

* * *

Со взором одинокого подранка,
Зайдя в сельмаг,
Измерит молодая онежанка
Мой тихий шаг.

Осенний вечер на берёзах высох,
И второпях
Она заговорит о белых лисах
В родных лесах.

И, поправляя мешковатый ватник,
Что позабыл
Герой войны, приземистый волчатник,
Прадед Акил,

Вдруг позовёт в ночное Заонежье,
Где на карбас
Опустится созвездие медвежье,
На лунный час.

* * *

Ты веришь сугробам? Они мудрецы:
Кого не возьми, он и зорек и сед,
Учёт бесконечных и строгих бесед
Ведут от рождения зданий торцы:
Пред ними стоишь, одинок и раздет.
Ты — вечный ответчик, они же — истцы,
И так до скончания ветреных лет.

И кажется: только тебе невдомёк,
Когда был затеян морозный процесс,
Какой у сугробов действительный вес,
Но дворник решительный быстро помог —
И вот пошатнулся и твой интерес.
Быть может, тот дворник — уже полубог,
Сошедший на миг с вдохновенных небес.

Не только твоё промерзает нутро —
Иди и смотри на сгущение масс —
Рождает минута межсуточный час,
Сплетение судеб вершится в метро,
И только великий горячий наказ
Приносит на землю с рассветом ядро:
Ведь всё это создано Богом для нас.

* * *

Столетье платежей и ипотек —
И кажется, что будет только хуже —
Но так же на асфальте мёрзнут лужи
И прячется в одежды человек.
Дорога к Богу разве что поуже.

Поуже, да ещё не всем видна —
Нет светофоров, постовых, разметки —
Лишь птицы красногрудые на ветке,
Целительница — полная луна
И звёзды, заменившие таблетки.

Наш век сырыми войнами рождён,
Контуженный, в потёртом камуфляже,
Он выстоял в эпоху распродажи,
Он выжить, как и прошлый, обречён.
Его понять вы не пытайтесь даже.

Валерий Грозак

Я еще не вернулся с войны

Киевские истории

От автора

Все герои этих историй реальные люди, и повествование целиком состоит из их рассказов.

1. Григорий Гурьев

Когда я познакомился с Рарой Ларионовой, нам было по двадцать два года. Познакомились осенью, расписались весной. Пришли из ЗАГСа, мама Рары Клотильда Ивановна купила вина, выпили по рюмочке и пошли гулять на Днепровские кручи. Что нас объединяло, так это безумная любовь к музыке и вообще к искусству. Но нас обоих выгнали из художественных институтов, меня из Московского, а Рару из Киевского. Это было время, когда одна за другой вздымались волны сталинского мракобесия, подозрений и арестов. В газетах, например, можно было встретить такое: «...будьте бдительны — некоторые художники под видом работы на этюдах, пользуясь уединением, высматривают и зарисовывают военные объекты». Тогдашний нарком Ягода заявил, что существует молодежный заговор против советской власти, и пошли-поехали чистки среди молодежи.

После того как десятки студентов нашего института были арестованы, а меня самого дважды вызывали на допросы, я решил больше не испытывать судьбу. Нарочно забросил учебу, дурачился на переменах, старался, чтобы меня, как можно быстрее выгнали. Наконец, я был отчислен и вернулся к родителям в Киев. А Рару вышибли из-за парня, который ей симпатизировал и провожал ее из института домой. Там до романа было далеко, ну просто засиживались в институте до десяти-одиннадцати часов, Раре идти домой через глухой переулок, и он провожал ее. Это были голодные годы, а парень деревенский, и он поехал на каникулы домой. Он увидел, что половина села вымерла. Родители его — еле живы. Уже не хоронят в гробах, а прямо в яму, уже нет сил у изголодавшихся таскать этих мертвяков. Он вернулся как не в своем уме.

Грозак Валерий Михайлович — режиссер, кинооператор. Родился 27 июня 1941 года. Окончил ВГИК. Работал на разных киностудиях Украины. Снял пять художественных и несколько десятков документальных фильмов, некоторые из них были отмечены призами на кинофестивалях. Автор книги «Жизнь моя, кинематограф» (Киев, 2011 г.)

Живет в США.

Журнальный вариант.

И тут в коридоре кто-то из ребят спрашивает: «Как там на каникулах, как там твои старики?» И его вдруг прорвало, он разрыдался, стал какие-то слова выкрикивать... Ну, пока хлопцы бегали за водой, туда-сюда, кто-то уже пошел и звякнул... И его на другой день забрали, и с концами. Потом кто-то вспомнил: «Так он же провожал Ларионову Рару! Ага!» Нашли предлог, что она дерзко разговаривала с кем-то из педагогов, вступала в споры по вопросам искусства, и выставили ее из института. Рара очень тяжело это переживала.

Однажды Рара принесла мне какую-то бумагу, некое заявление и попросила меня подписать, а через пару месяцев неожиданно-негаданно оказалось, что меня вызывают в консерваторию на приемные экзамены. Я их хорошо выдержал и, благодаря Раре, стал учиться по классу гобоя на факультете деревянных духовых инструментов. Кроме гобоя обязательными предметами были история коммунистической партии, фортепиано и гармония. Учительница по гармонии — это была наша «музыкальная богиня». Студенты придумали ей имя Гармония, и так за глаза ее называли. Особенно она любила хоровые вещи, потому что писала тогда кантату «Аральский дневник» на слова Тараса Шевченко. На последнем уроке учебного года она придумала, что мне надо за лето подготовиться и перескочить через курс. Последний экзамен по инструменту я сдал, надо было играть двенадцать гамм, а я свободно играл все двадцать четыре. Уговорились, что через неделю она напишет программу, по которой я буду заниматься все лето, и мы попрощались. Это было 21 июня 1941 года. Когда шел домой, недалеко от художественного института я увидел очень странный закат, мне город показался таким старинным, почти средневековым. И таким хрупким, что может исчезнуть, как какой-то призрак. А наутро началась война.

Никто не верил, что такое может случиться. Вместе с тем весь страх и ужас первых дней были далеки от того, что ожидало всех впереди. Все оказалось гораздо дольше, тяжелее, страшнее и непостижимее для человеческого разума. Если бы в то время нам показали кинокадры из будущих лет войны, мне кажется, многие тронулись бы умом. 22 июня было воскресенье, но в литейном цеху завода «Большевик», где я работал по ночам, шла обычная плавка. Рев самолетов в 4 часа утра все восприняли как уже привычные военные учения. И вдруг оглушительные взрывы бомб. Как я узнал потом по рассказам, это немцы, долетев до Киева, разбомбили авиазавод и стали бомбить наш. Плавка подходила к концу. Одна бомба попала в наш цех, прямо в купол вагранки. Пробила ее, пробила полтора-два метра кокса, потом рыхлый полурасплавленный металл, все расквасила и в самом низу взорвалась. Разорванный на куски корпус вагранки разлетелся вокруг вместе с битым вдребезги кирпичом. Во все стороны брызнул жидкий металл. Вагранщик Андрей за полминуты до этого через очко шуровал ломом металл, чтобы не налипал шлак. Потом он рассказывал: «Почему-то аж закортело бросить все и уйти, я закрыл очко, стал спускаться по лестнице, и вдруг как шарахнет за спиной жидким металлом». А его напарник Степан продолжал шуровать очко с другой стороны вагранки, и его убило. Я с бригадиром заливщиков был за стенкой, на участке, где льют мелкие детали, это нас спасло. Когда выскочили из-за стенки, смотрим, а вагранки нет... в огромную яму, куда обычно опускают ковш, натекло откуда-то полно воды, она кипит от стекающего в нее расплавленного металла, а на поверхности плавает тело убитого Степана. Многих людей спасло то, что они в это время уже закончили свою работу и мылись в бане под душем. Но они так перепугались, что со страху повыскакивали голые через окна. Завыли сирены, началась тревога, гудят, свистят, а мне нужно было в модельный цех. Это на другом конце завода. Я думаю: «Тревога не тревога — побегу». В это время появляется самолет и начинает сыпать бомбы, какие-то ерундовые, небольшие. Слышу, как они рвутся. Когда я повернул к модельному цеху, где-то недалеко взорвалась бомба и зажужжали осколки, это немного похоже на майских жуков по звуку. Впереди меня шагов за десять прожужжал осколок и выбил окно в цеху. Выбегает начальник цеха, кричит: «Мальчишка, что ты тут делаешь, не знаешь, что тревога?!» Мы оба побежали к воротам, а там стоял охранник, и ему пулеметчик прострелил руку.

Я увидел первую кровь этой войны. Когда тревогу отменили, вдруг стало тихо... абсолютно тихо... Меня почему-то направили в санитарную команду. Там собрались одни девчата, но нужно было два парня, чтобы таскать носилки.

В полдень Молотов начал говорить речь. Созвали собрание, выступал какой-то партийный деятель: «Мы им покажем, мы будем стоять у станков, несмотря на то, что они бомбят». Но прошла еще пара налетов, и завод остановили, пришел приказ об эвакуации. Стали собирать бригаду готовить вагоны, и меня послали на эти работы. Нашему заводу вагонов не дали, а дали только голые площадки. Нужно было достраивать стены и крыши, без умения и без разных нужных стройматериалов. Как хочешь, так и делай.

Постоянно прилетали самолеты-разведчики. Объявляли тревогу, и все бежали в подземелье. А я почему-то не верил, что готова для меня пуля, и никуда не убежал. Самолеты летали так низко, что на немцах были видны очки. Изредка они постреливали, но не прицельно, просто для создания паники, показать, что они хозяева в воздухе. Месяц или полтора я проработал. Сделали мы эти вагоны, не знаю, доехали они до Урала или нет, по дороге их бомбили. Во время этих работ я попал как-то в центр города и, проходя мимо Софийского собора, увидел, что золотые купола закрашивают красновато-черной краской, чтобы не было заметно с воздуха.

В последние дни перед расставанием мы с Рарой брали две табуреточки и сажались, прижавшись спиной друг к другу, чтобы лучше друг друга чувствовать. Мы подолгу сидели молча, часами, не вспоминая ни о какой еде, иногда ночь напролет. Мы ничего не могли сказать друг другу. Боялись смотреть друг другу в глаза. Нашему сыну Валере за две недели до этого исполнился годик.

В военкомате набирали группы по сто человек и приставляли к ним военного с винтовкой, чтобы никто не убежал... Подошла Рара с мамой и маленьким Валеркой на руках.

Как мы уходили. Не так, как это показывают в кино, что с винтовками и в военной форме. Шли как попало, кто в чем был, без всякого оружия. Рара передала Валеру маме и пошла рядом с колонной. Она то шла, то бежала, по дороге заскочила в магазин, купила буханку хлеба, догнала колонну, вручила мне на ходу хлеб и вцепившись обеими руками в мою руку, шла еще какое-то время, что-то лепетала на прощанье, вглядываясь в мое лицо, а потом отстала. Я шел и все оглядывался на нее и думал, что я больше никогда ее не увижу. Она стояла босая — сбросила где-то босоножки, чтобы легче было бежать. Рядом со мной шел пожилой дядька, ну, мне тогда казалось, что пожилой, а на самом деле, вероятно, он был призывного возраста. Посмотрел он на мои оглядывания и с ядовитой иронией говорит: «Ну шо ти оглядаєся? Через місяць-два вона забуде тебе та й піде із якимось німцем». Он взбесил меня так, что я чуть не заехал ему по рылу. Но это было абсолютно неуместно и невозможно. Я, конечно, сдержался, но от этого порыва и попытки совладать с собой у меня в сердце сделался такой жар, такая боль... и вдруг внезапно я почувствовал облегчение — разлука перестала казаться такой ужасной. Потом, уже позднее, я понял, что он вовсе и не гад, он, вероятно, немало повидал на своем веку и знал, что чем грубее оплеуха, тем скорее я очнусь, захотел облегчить мое состояние. Нас привезли куда-то под Полтаву, чтобы обмундировать. С сапогами у меня беда, я перемерял все сорок пятые номера, и все жмут. Другие давно подобрали себе все, а я меряю и меряю, аж пока не нашлась одна такая пара, которая чудом на меня налезла. Патронташи нам достались из тех, что сохранились с Первой мировой войны, такие как на картине Верещагина «Солдат с патронташем». Нам они не пригодились. Что там этот небольшой патронташ. Мы носили патроны в заплечном мешке по полведра. Это не та война. Но все берут патронташи, и я взял... Раскрываю его, а там такими большими буквами штамп с датой выделки: «24 декабря, 1915 год». А это день моего рождения. То есть этот патронташ был пошит ровно в день моего рождения. Он ждал меня 26 лет и дождался.

Все взяли обмундирование под мышку, сапоги через плечо и пошли мыться в маленьком лесном озере. Оно было обрисовано берегами так, что напоминало по

форме фортепьяно. И вода в нем была черная, как крышка рояля. Дно выстлано палыми листьями, они перепрели, и получился такой красивый темный фон. А сама вода, когда берешь рукой, прозрачная, кристально чистая. Из-за сапог я пришел к озеру последний, и вообще я во всем какой-то медленный, пока рассупонился, намылился, все уже успели помыться, и вода из черной стала белой от мыльной пены. Отмываться в такой воде мне что-то не хотелось. Все уже ушли. И вдруг гроза, такой хороший удар грома, и ливень идет стеной прямо на меня. Я мылся под этим ливнем в сполохах молний, и мелькнула в голове мысль, такая хрупкая надежда: «Наверное, это Божье крещение в знак того, что я не буду убит на этой войне»... И вот мы уже при полном обмундировании, во всем новеньком, при оружии отправились тренироваться на стрельбище. Увы, не то что в десятку, но и в саму мишень и даже в фанерку, на которой она приколотая, мне попасть так и не удалось.

В один из первых дней нашли в лесу достаточно глухое место, где должны были формироваться прибывающие войска. Пришла команда соорудить из камыша большие шалаши, человек на двадцать каждый, и рыть колодцы. Меня и еще нескольких солдат послали рыть колодец, еще один колодец рыла другая группа. Но надо же знать, где копать колодец. Так вот, другой группе попался умный офицер, привел свою команду в долинку, и они часа за три-четыре вбили в землю одно за другим бетонные кольца и добрались до воды. А наш офицер поставил нас на возвышении, и мы, хотим-не хотим, должны выполнять все его команды. Загнали в этот холм все свои кольца, потом те, что остались от другого колодца. Выкатывать их на гору еще та была работа... Никто не хотел противоречить офицеру, боялись, что убьет. Кольца кончились, а до воды мы так и не докопались. Вернулся я после целого дня в свою роту, а нашего лейтенанта послали на инструктаж. Вместо него прибыл какой-то сержант. Как только я пришел, он мне заявляет: «Каждый солдат из нашего подразделения принес для шалашей по большой охапке камыша, а ты не принес ничего. Иди и принеси». А я говорю: «Так я же колодец копал». — «Это меня не касается, каждый солдат должен принести охапку камыша». Я пошел. Там было огромное поле, заливной луг, на котором сплошь рос камыш. Но после того как толпа солдат его целый день собирала, там почти ничего не осталось, так, кое-где две-три камышины. Я часа два провозился, собрал оберемок из последних камышей, принес, а он: «Два часа ходил и столько принес, небось, к девчатам бегал в село или по молоко. Накладываю на тебя взыскание». — «Да ни в какое село я не ходил. Вы не имеете права так меня осуждать». — «Один наряд вне очереди!» — «Так нельзя, за что вы мне даете наряд вне очереди, если я прав?» — «Два наряда вне очереди!»

На мое счастье наш лейтенант вернулся и куда-то сержанта отослал. А я на этом примере ощутил весь вкус армейской службы. Мне раньше казалось, что если война, если в любой момент люди готовы расстаться с жизнью, с ними так разговаривать уже нельзя, надо по-другому, это не мирное время. На ужин раздобыли какой-то каши и, смертельно уставшие за долгий день, все повалились спать. И началась такая грозища, гром, молнии одна за другой, одна за другой. Одна другой страшнее.

В конце концов я заснул, и мне приснилось, что это не гром, а что поет мужской хор. Как будто они поют Шевченковскую кантату. А сам я иду по своему заводу, что-то мне надо найти, иду и слышу этот хор, как будто он из-под земли звучит. И вдруг слышу сквозь этот хор и долетающий до сознания гром голос какого-то высшего существа: «Посмотри на землю», — и я вижу, что земля наливается кровью, из-под земли идет кровь и выступает просто у меня на глазах. — «Вот слышишь этот хор? Вот так шумит вода в Днепре, и в ней будет крови больше, чем воды». И с этим я начинаю просыпаться. Мне чудятся крики: «Погром! Разгром!», а это кричат: «Подъем! Подъем!» А мы никак не можем проснуться — устали все. Вот мы встаем, а гроза гремит и ливень проливной. Сплошной такой сеткой. Оделись. Натянули шинели, надели каски, взяли винтовки, вещмешки и пошли. Грязища непролазная, все размыло, дорога раскисла... Только на рассвете дошли под этим непрерывным дождем и громом до какой-то железнодорожной станции. Промокли до нитки. Слава богу,

состав из товарных вагонов был готов, мы туда влезли, поснимали шинели и, наконец, перевели дух.

И так вот мы добрались до Днепра, до его левого берега. Прибыли мы в составе полка, сформированного под Полтавой, тысяча солдат. А всего в этот район бросили целую дивизию, несколько тысяч человек, защищать левый берег и не дать немцам переправиться через Днепр.

Река здесь уже в два раза шире, чем в Киеве, в нее притоки добавились, течение уже нешуточное. Правый берег такой же высокий, как и в Киеве, на нем виднеется какая-то деревенька, и там, на правом высоком берегу, засели немцы... Посередине Днепра остров, не такой большой, но высокий, и с нашей стороны не видно, что там на его другой стороне. И вот долго думали, выгодно ли занять этот остров. Думали-думали и в конце концов обнаружили, что немцы уже на острове. В штабе решили, что надо немцев оттуда выбить. Но как атаковать — нужны лодки. В ближайшем селе обошли все дворы и нашли пять более-менее пригодных лодок. Отыскивали дедов, таких, что понимают в этом деле, попросили их отремонтировать лодки. Они возились с ними, возились и говорят: «Мы сделали все, что могли, а лучше уже нема куда».

Из разных рот отобрали по 10-12 солдат, таких, кто жил у воды и знал хоть чуть-чуть, как с лодками управляться. Из каждой роты послали в штаб вестового, и я оказался одним из них. Когда в штабе примут решение о времени атаки, вестовой должен побегать в свою роту и сообщить. Метрах в пятидесяти от штаба колхозная конюшня, коней давно угнали, стояла пустые, мы постелили в них сена и улеглись спать. Ну, там немножко языками почесали, потом заснули. И так мы проспали полночи, а часа в три дали приказ штурмовать остров. Понесся я в свою роту, доложил лейтенанту, а он страшно взвинченный, весь дрожит. И вообще это все были офицеры не боевые. Уже потом мы видели офицеров, которые прошли через четыре года войны. А эти все были люди штатские. Многие только-только мобилизованные. Наш лейтенант был учителем арифметики в деревенской школе, ну дали ему звание, а понятие о войне у него было самое отдаленное. Я вижу, что он дрожит. Зуб на зуб не попадает. Боже мой, и такому офицеру поручили эту операцию!.. Он поднял отобранных для штурма солдат, и они побежали к лодкам. Прошло, наверное, полчаса, ну пока они добежали, погрузились, отчалили... и вдруг я слышу, заработали пулеметы, не наши... Несколько не очень длинных очередей. Я не знаю как, но я узнавал, стучит «максим» или ихний. Проходит еще часа два, и вдруг возвращается один из тех солдат, еле держится на ногах, продрогший до костей, промокший — осень, вода ледяная, он еле-еле доплелся и, не в силах стоять, опустился на землю. Из их отряда уцелел только он, один-единственный...

А дело было так. Прибежали они к лодкам, стали садиться. Лодки качаются, кто-то из солдат потерял равновесие, с размаху уперся винтовкой в дно и пробил его. Одна лодка вышла из строя. Лейтенант стал размещать солдат на остальные четыре. Он мечется от лодки к лодке, чтобы всех рассадить, и получалось так, что вода уже только на ладонь не доходила до края бортов. В конце концов его самого ни в одну лодку не пустили. Ну что такое младший лейтенант, курсант... В одну лодку не пустили, в другую... все спешно отчаливают, и он остался на берегу. Они выбрали место выше по течению, рассчитали, что к острову их снесет. Когда до острова оставалось уже метров сто, вдруг немцы открыли пулеметный огонь. Они нарочно дали лодкам подплыть поближе. Пробитые лодки под тяжестью людей стали тонуть. На середине реки течение мощное, в кромешной темноте солдаты оказались в ледяной воде с винтовками, их сразу закрутило, они захлебнулись, и все утонули. Один только чудом спасся, доплыл до берега из последних сил. Вот он-то и добрался до нас и рассказал, как все произошло. А нашего младшего лейтенанта утром вызвали в штаб и расстреляли.

На все наше подразделение у нас было три пушки-сорокапятки. Выстрелили из первой — у нее замок развалился. Осталось две. Из второй выстрелили — что-то с дулом получилось. Осталась одна. Но потом куда-то доложили, и прислали батарею из десятка стволов и с ними десять пар лошадей, чтобы их перевозить. Одну из наших рот

послали прикрывать часть берега напротив острова. А в небе низко и безнаказанно кружат немецкие самолеты-разведчики, их называли рамами, так как у них были спарены два фюзеляжа. А зениток у нас нет, и мы сбить их не можем. Рама сразу же засекла эту роту на берегу, и немцы стали с острова лупить по ней из минометов, мины через горку острова легко перелетают. И так меньше чем через полчаса они выбили всю роту, из пятидесяти человек никого не осталось в живых. А у нас минометов нет. Мы не могли их накрыть на той стороне острова. На следующее утро немцы, попив свой кофе, стали готовиться к атаке, чтобы прорваться с острова на наш берег. У нас кофе не было, мы в отличие от них пили чай. Большой такой котел, ведер на сорок, в нем на обед варили суп, потом кто-то ходил в наряд отмывать от супа на чай. Наливали воду, выполаскивали остатки, потом жменями накидывали песок и драили. Наливали воду, выливали и так за час-другой приводили эту кухню в порядок для вечернего чая. Утром этот же чай допивали, а потом опять суп или борщ.

Перед тем как нас атаковать, немцы минометами перебили весь наш артиллерийский дивизион, всех коней и половину, может, людей. А потом, раз артиллерии у нас нет, они, уже не скрываясь, перешли на эту сторону острова и стали на лодках и понтонах двигаться к берегу. Навстречу немцам туда на берег побежали одна рота за другой. И каждый солдат на ходу сбрасывал шинель, потуже подпоясывался и бежал. В кино такого нигде нет. Выросла гора шинелей. Без них легче воевать. Нужна подвижность, нужно быть таким вертким. Шли на смертный бой. И вот каждый солдат бросил шинель, и выросла их целая гора. Метра два высотой и черт знает какой длины.

Мою роту почему-то в атаку не включили. Нескольких солдат из нашей роты и меня послали в разные места вести наблюдение и докладывать о ходе боя. И дали нам театральные дамские бинокли. Это такие финтифлюшки. У нас даже не было биноклей. А в эти ну что можно было увидеть. В отдалении от берега, за рощей, стоял на холме ветряк, и меня послали вести наблюдение оттуда. Я был ростом выше других, может поэтому мне тогда разное доверяли, думали, что я умный. Там наверху я смотрел в промежуток между крыльями ветряка, но за рощей сначала ничего не было видно, только слышно пальбу двустороннюю. Потом я разглядел, что немцы идут широким фронтом. А вскоре стали ползти оттуда раненые. Я уже слез, и они спрашивали меня, где лазарет. А черт его знает, я не знаю, они дальше ползут. Через какое-то время все стихло, стало смеркаться. Раненые уже ползти перестали. Пришел ко мне штабист, который меня знал, и говорит: «Поручаю вам найти капитана Миронова и сказать, что я его жду на пересечении оврагов, он знает каких. Пройдете через эту деревню на косогоре, там песчаный карьер, а за ним артиллерийский дивизион Миронова». И я пошел. Ночь. Жителей, вероятно, уже никого нет. И вот в одном месте меня перестреляют какие-то наши солдатики и ведут в свой штаб. Я вижу, что они в дымину пьяные. Стали допрашивать: «Что? Чего? Куда?» — «Меня послали в артдивизион, человек ждет. Я должен обязательно туда прийти». — «Нет, ты шпион, знаем мы таких».

И заперли меня в какой-то сарай. Но у них там был старшой, он, видимо, проспался и велел меня привести. Снова стал меня спрашивать. В общем, старшой разрешил меня отпустить, но только чтобы я шел назад, обратно к тому, кто меня послал. Ну, я послушался, пошел обратно, а потом решил все-таки их обдурить. Когда минул последнего часового, я сделал большой крюк и этими косогорами все-таки пришел в расположение дивизиона. Но там я в живых уже никого не застал. Капитан Миронов, вероятно, ушел. Я только увидел там десятка два убитых коней, очень хорошие кони. Ночь была светлая, да и глаза привыкли. Я увидел, что лежали убитые красивые лошади, где-то их хорошо содержали. И только они прибыли на фронт, их сразу минометным огнем поубивало. В темноте понять, целы ли пушки, я не мог. Людей не было. Надо было возвращаться к тому штабисту, который меня послал. Пошел такой дорогой, чтобы не попасть опять к этим пьяным солдатам.

Шел песчаными ярами, потом вышел на дорогу, но когда пришел, этого штабного офицера уже не застал, а застал только наших солдатиков, которым

штабной велел дожидаться меня и уходить, и сказал по какой дороге нам надо идти. Мы стали уходить из прибрежной поймы на восток все выше и выше в сторону старого русла Днепра. Вскоре неожиданно наткнулись на пятерых солдат. Они наставили на нас пулемет «максим» и стали спрашивать, кто мы, какого полка, кто командир. Мы сказали, что фамилии не знаем, но что у него есть орден Красного знамени. Они усмехнулись и говорят: «Ну ладно, идите ребята». И мы пошли по дну оврага и вскоре добрались до того места, где располагалась наша часть. Там стояло три больших фургона. В одном противогазы на случай, если немцы применяют газ, а в двух других сухари в больших бумажных мешках для всего полка. Мы должны были все это куда-то везти, но артиллеристы увели оставшихся лошадей, очевидно, чтобы забрать уцелевшие пушки. Потом мы по этим оврагам, не помню сколько дней, пробирались. Там было рядом кукурузное поле, и при звуках самолетов мы прятались в кукурузе. Наш командир куда-то сходил и пришел с приказом, чтобы мы залегли и караулили немцев, а когда те покажутся, чтоб немедленно доложили. Мы пролежали сутки. На другой день идет дед с мешком накошенной травы и спрашивает: «А чего это вы тут лежите?» А мы ему: «Немцев поджидаем». «Так немец же не тут, а там — вы до него пятками лежите». Дед уже пошел дальше, когда вдруг раздалась автоматная очередь. Я впервые услышал близко этот звук. И вот что интересно. Пролетающие автоматные пули не свистят, как пишут всегда, а звенят, как сосульки, когда они, падая, разбиваются — дзинь-дзинь, такой прозрачный красивый звук. Командир наш страшно испугался, послал двоих за дедом: мол, это он стрельнул, у него в мешке автомат. Дед немножко струхнул, но возмутился: «Все на свете переплутали!» Деда отпустили. Немцы еще пальнули. Мы куда-то отошли и присоединились к другой роте, которая залегла в огороде. Позже мы отступили еще немного, там была вырыта траншея, и мы засели в ней. Впереди и позади открытое поле, а невдалеке, в километре от нас, деревня. И вот оттуда идет совсем молоденькая мама с ребенком на руках, точно как моя Рара, когда меня провожала. Тоже босиком, голова повязана косынкой. Идет и собирается перешагнуть через нашу траншею. Ребята говорят: «Куда же ты идешь?» А она: «До немца». «Ты что, шпионские сведения несешь?» — «Да вы что, сдурели, не видите, я же с ребенком. Не могу я в селе оставаться, когда немец ось-ось придет и начнет обстреливать все подряд». — «Не придет, мы их не пустим». — «Пустите, будете снова отступать, я уже знаю, а я пойду туда, где немцы, там пересижу, пока они наше село займут, а потом вернусь до своей хаты». Она стояла, говорила, говорила, потом перешагнула и пошла через нейтралку — страшную полосу, которую немцы называли «ниманс ланд», то есть ничья земля — это жутковато и больше похоже на правду, чем просто нейтральная полоса.

Прошел еще день, прошла ночь, и немцы подошли так, что мы их и не видели, и открыли огонь с близкого расстояния. Так получилось, что за день до этого наш командир все придирался к нам, что не умеем отдавать честь, стоять в строю и поворачиваться по команде «кругом». Особенно доставалось старенькому деревенскому учителю. Это был интеллигент, неловкий пожилой человек, его смущала дубоватость муштры, на военной службе он никогда не был. И ему доставалось от командира больше всех. А когда немцы нахлынули, наш командир куда-то исчез. Я вдруг увидел на расстоянии выстрела троих немцев, идущих в мою сторону, я выстрелил, но мне попала винтовка с кривым дулом, и в ней взорвался патрон — она заглохла. Такое невезение, будто дьявол за спиной стоит.

Деревенский учитель держался до последнего патрона, пока немцы вплотную не подошли и не убили его. А я не заметил, что какой-то немец зашел ко мне с тыла, тихо подкрался и вдруг ткнул дулом автомата в спину между ребрами, точно там, где сердце. В первое мгновение я испытал жуткую досаду: ну как я не услышал его шаги за спиной! Это было очень быстро, не так, как я рассказываю. Перед войной я работал грузчиком и, бывало, бочки с краской в сто килограммов поднимал с пола на колено и в машину. И вдруг подумал: «Как же так, меня убьют, и столько силы пропадет не за понюшку табаку?! Нет, Германия, это еще не конец, придет мой час, и я укокошу немало твоих

фрицев». И я встал и поднял руки. Немец взял мою винтовку за дуло, очень ловко шарахнул о дорогу, и она разлетелась. Мы посмотрели друг другу в глаза. Если отвлечься от расхожего «о-о, мерзкий фашист», то я бы сказал, что это был очень приятный молодой человек, моложе меня на пару лет, такой внешности, какая бывает у рабочих-металлистов высокой квалификации. Он как-то сочувственно кивнул мне и сказал: «Ком (пошли)». Завели меня в большой амбар, а нашего брата там полным-полно... Потом нас начали строить, чтобы перегнать куда-то из этого амбара. Вдруг вижу нашего начальника штаба, он уже без фуражки, это чтоб не видно было, что он командир. Немцы стали спрашивать, кто знает немецкий, и он вызвался. Ему сказали, что говорить. Он обратился к нам: «Есть ли кто-нибудь в строю, кто умеет командовать?». Все промолчали. Он сказал: «Тогда попробую я». И начал как бы неумело командовать. Нас по четыре построили, и мы пошли куда-то недалеко. А там наших еще больше. Смотрю, и наш лейтенант тут, тот что сменил расстрелянного. А дня за три до этого у нас с ним состоялся разговор. Он стал выговаривать мне, что я мямля — не умею себя держать... Спрашивает: «Знаешь, каким должен быть солдат? — и, сделав такую зверскую рожу, кричит — а ну, кому тут морду набить?» Я ему говорю: «Вы знаете, это не мой идеал солдата, я в жизни никого по лицу не ударил и не собираюсь, мое дело воевать, а не морды бить, человека можно наказывать, но нельзя унижать». «Ах так! — кричит. — Мы выйдем к своим, и я буду докладывать о твоей измене!»

И вот мы опять встретились. Он подходит и начинает мямлить: «Ну, знаешь, всякое бывает, ты уж не наговаривай на меня». А он дурак. Во-первых, не постриг шевелюру. Командир пулеметной роты побрил голову, оделся в солдатское, его не отличишь от солдата. А этот еще в самом начале войны ходил неделю на склад и выцыганил себе командирскую гимнастерку из особого сукна, особо пошитую. Любопытный дурак узнает, что он не рядовой, еще и с таким чубом. Но вместе с тем, я ему сказал: «За меня можете быть спокойны — не судите по себе». Потом нас повели дальше и, наконец, привели обратно на территорию тех самых складов, где мы впервые получали обмундирование. Нас пленных было несколько тысяч. Это было окружение, и огромное количество наших войск попало там в плен.

Мы спали в амбарах, а днем сидели снаружи, на чем попало. Среди пленных оказался киевский художник по фамилии Лось, его картины есть даже в музеях. Мы с ним о живописи говорили, он восхищался Врубелем, и у него был замечательный тенор. Как-то собралась вокруг него компания, и начали они петь на три голоса любимые украинские песни. Как прекрасно они пели! На дворе спать было прохладно, поэтому мы забирались в амбар, и так получалось, что я попадал на чердак. Ну и не очень-то хочется туда лезть. После полуночи заберешься, а там люди вповалку лежат вплотную друг к другу. Если где и втиснешься, то потом уже пошевелиться нельзя. И наступает через какое-то время такое состояние, что хоть волком вой — встаешь и уходишь. Лучше мерзнуть на дворе, чем лежать закованным.

Немцы тогда еще не сортировали пленных. Только отбирали евреев и устраивали такие игры. Из-под масла для пушек оставались пустые четырехгранные банки с большими отверстиями. Они заставляли евреев надевать эти банки на головы и приказывали им петь, плясать и барабанить себя по банкам. Если человек выбивался из сил, его лупили чем попало, и он опять начинал плясать, пока не упадет.

На этой базе мы пробыли около месяца. Кормили нас один раз в день, варили суп из убитых лошадей, хлеба вообще не давали. Наварят огромные военные котлы. Все где-то понаходили пустые консервные банки. И все делалось бегом — людей много, и буквально на бегу подставляешь банку повару, и уже другой подбежал. Если кто-то не удержал банку, выронил — остался без обеда. Потом пронеслась весть, что нас куда-то повезут. Среди нас был чудаковатый человек, который старался говорить по-украински, но говорил очень плохо. Он был без шапки и знаков различия. Этот человек придумал такую вещь. Когда он узнал, что нас собираются куда-то везти, он стал подбивать всех, чтобы говорили, что мы из украинской дивизии. Кинул клич,

чтобы нашли пару чистых рубашек и два карандаша — желтый и голубой. Рубашки порезали ножами на маленькие квадратики. Он как-то узнал, что я умею рисовать, и мне поручили нарисовать на этих кусочках ткани огромное количество украинских гербов в виде щита и трезубца, верхняя половина голубая, нижняя желтая. После этого умельцы попришивали нам эти штуки на рукава. Посадили нас в поезд, и мы поехали. В вагоне давка, сотня людей, прижатых вплотную один к одному. Со мной случился обморок, и я сполз на пол. В первое мгновение возникло ощущение, что у меня пропали кости, а вместо них резиновые шланги. Рядом со мной один парень закричал на весь вагон: «У кого есть что-нибудь в зубы, человек сознание потерял». Кто-то передал ломтик сырой тыквы, он сунул мне в рот эту тыкву, и зубы непроизвольно начали жевать, и я ожил. Приехали на Западную Украину. И когда мы вышли из поезда, то все с украинской нашивкой стали в первых рядах. Половина без шинелей, кто в пилотке, кто без. Я был такой измученный, что готов был опять упасть. Территория ограждена колючей проволокой на несколько километров. И тянутся коробки казарм, строгие четырехэтажные корпуса. По обе стороны железных капитальных ворот стоят два эсэсовца в касках с автоматами, ноги широко расставлены, как изваяния. А в сторонке от них почтеннейший седовласый человек, как мы потом узнали, в прошлом директор школы. Он одет во все военное, но без шапки. Сильный ветер треплет его седые кудри, он серьезно, внимательно и без всякой ненависти провожает нас взглядом. Это был комендант лагеря, он был из местных. Лагерная полиция тоже была из местных ребят, не заморенных, хорошо упитанных добровольцев, в основном это были бандеровцы.

Мы распределились по казармам. Порядок был такой: утром все выстраивались в шеренгу, нас пересчитывали, приезжала кухня, и полицаи начинали раздавать баланду. Баланда — очистки картофеля, немытые, с налипшим черноземом, и кормовые бураки, которыми кормят скот. Ну и, конечно, на зубах скрипело страшно, а что делать. Правда, если поболтаешь, часть песка осядет на дно. Но не подошли. Оказывается, наш человек все вынесет. Помню такой случай. Кухню свернули, хотя на дне еще что-то оставалось, и кому-то баланды не хватило. Я попробовал заступиться и сказал, что это же бессовестно — если нас не пристрелили, то надо ж все-таки кормить. И тогда один из лагерных полицаев снял ремень и шарахнул меня по голове пряжкой, под которой был напаян свинец. Лицо залила кровь. Я понял, что больше «выступать» не стану. Давали пайку хлеба из размолотых бураков с добавлением на одну буханку жмени муки. Липкие ломти, как будто из глины слеплены, разрезаны по 400 граммов. Какой-то уже очень ослабевший парень шел с этой пайкой, а другой, более сильный, напал сзади, выхватил и убежал. Этот упал и плачет, как ребенок: пайку забрали, отняли пайку, плачет безутешно. Смертность, когда мы прибыли, была 30 человек в день. На мажару, телегу для перевозки снопов, помещалось дневное количество мертвецов. Их грузили без одежды. Тянула телегу специально подобранная команда, которой давали двойную пайку бурды и хлеба. Через месяц стало две мажары в день. Как-то на поверке мы стоим перед получением баланды, половина нас славян, а половина восточных людей. Те были в худшем состоянии, без пилоток и шинелей, может потому, что они не привыкли к военной службе и где-то это все растеряли. А мы были кто в шинелях, кто в бушлатах. Один смуглый человек где-то в казарме нашел заброшенный в угол портрет товарища Сталина работы художника Карпова, Сталин там смеется и аплодирует на каком-то съезде. Этот парень отодрал портрет от подрамника, сделал из него колпак и напялил на себя. И вот стоят сотни голодных пленных, полумертвых, а Сталин с колпака смеется и аплодирует.

Потом был день, когда один из полицаев, самый мордатый, который огрел меня пряжкой, получил увольнительную и уходил с большим чемоданом. И все гадали, что у него там, а потом решили, что там деньги. У некоторых пленных были какие-то деньги, люди брали их с собой на войну непонятно зачем. Когда полицаи заканчивали раздавать баланду и всех разгоняли, то тем, у кого были деньги, они еще продолжали

давать сначала по 10 рублей за литр, потом по 15, 20. И очень возможно, что этот полицейский набрал полный чемодан денег.

Комендант вызвал нашего старшего и приказал составить список украинцев. Я думаю, что это было недоразумение. Немцы не знали, как кого называть. Они, конечно, имели в виду галичан, западников. Их они называли благородной расой украинцев. Позже, в 43-м, они сформировали из них свою галичанскую дивизию. А мы понимали под украинцами всех, кто живет на Украине. Поэтому мы записали туда и себя, всех киевлян, составили список на пятьсот человек. Отнесли его коменданту. Там заготовили выпускные бумаги, на десять человек каждую. И нам было сказано, что мы должны держаться по десять человек вместе и добираться до Киева. Объявили день выпуска и выпускали в день по сто человек. Сначала мы должны были идти пешком километров тридцать до железной дороги. Шли десятками. В общей сложности выпустили пять сотен. Я попал в предпоследнюю, а парень, который шел в последней сотне, мы с ним потом случайно встретились, рассказал, что видел, как коменданта увозили из лагеря. Я думаю, что комендант воспользовался тем, что приказ из Берлина насчет украинцев пришел неопределенный, и он выпустил всех по списку. А потом кто-то додумал, что тут что-то не так. Но нас уже было не вернуть, и нас не искали. А его увезли гестаповцы. Говорили, что он был в Первую мировую войну в русском плену. Знал русский язык и русский народ. И просто прикинулся, что не понял, каких украинцев надо выпускать. А галичан среди нас вообще не было. И вот так мы шли пешком, ночевали в деревнях. К нам никто не придирался, и мы уже разбились по три, по четыре человека и дошли до железной дороги. Там оказалось, что раз в день ходили на Киев товарные поезда. Дежурили на вокзале венгры, каждый час менялись. Была декабрьская погода, холод, снег.

Когда поезд пришел, мы сели и доехали до Киева. Вышел я на привокзальную площадь, постоял несколько минут, смотрел на город. Полная тишина, нет звуков транспорта — ни автомобилей, ни трамваев — раньше ж всегда это было, и вообще такое ощущение, что город вымер. На стене вокзала огромный портрет фюрера с надписью: «Гитлер — освободитель». Я направился в свой Кудрявский переулок, но когда подошел к нашему дому, то увидел на нем большое, крупными буквами объявление: «Внимание! В этом доме живут немцы. Кто будет нарушать их покой, будет расстрелян»

Где искать Рару, я теперь не знал, решил пойти к своим родителям, но оказалось, что в нашей квартире уже живут чужие люди, они сказали, что всю труппу Оперного театра, в котором мама работала концертмейстером, эвакуировали в Сибирь. На заборе висел приказ военного комиссара города Киева о том, что все семьи, которые укрывают беглых военнопленных, помогают им едой или одеждой, подлежат расстрелу на месте. Я подумал, что может это и хорошо, что я никого не застал, хотя беглым вроде бы и не был. Со мной на заводе работал мудрый старый мастер Игнат Петрович, и я решил зайти к нему. Весь Крещатик был в дыму от пожаров. Игнат Петрович говорил, что немцы пытались их тушить, но водопровод был разрушен, они вызвали из Германии свою пожарную команду, которая шлангами качала воду из Днепра, но партизаны по ночам рубили эти шланги.

На третий день моего пребывания в Киеве я решил пройтись по городу. По Львовской дошел до Сенного базара, на базаре полная тишина, поворачиваю за угол, вдруг оттуда, как марионетка, выскакивает немец с винтовкой и штыком, с блямбой на груди «Фронтжандармеры» и кричит мне «цурюк!» (назад!). Район базара я хорошо знал, подумал, проберусь проходными дворами. Иду в первую подворотню, а там стоит полицейский — наш земляк с дубинкой, оружие им не доверяли. И он тоже командует мне: «Цурюк!» «Иди, — говорит, — туда, на площадь». Народ потом прозвал полицейских «цурюками». Иду дальше, вторая подворотня, но и там земляк в черной шинели до пят — «цурюк!». Парадные всех домов забиты досками, в дом не войдешь. В очередной подворотне возле бывшей типографии, куда я хотел завернуть, стоит целая шеренга полицейских, у кого-то дубинки, а у большинства просто ветки. Ветки, конечно,

гуманнее дубинок, они ими не бьют, а направляют людей, как скотину, и загоняют всех во двор школы. Я иду уже не один, нас уже трое, семеро... Ворота открываются со страшным скрежетом, таким, что аж мороз по коже, видно, их давно не открывали. Заходим туда, двор огорожен высоким забором. Много людей. Все понимают, что это облава, и что теперь всех ожидает смерть.

В глубине этого большого двора стоит маленький домик, в котором когда-то жила сестра поэта Андрея Белого. В детстве я бывал у них дома, дружил с ее детьми. Ее фамилия была Бугаева. Настоящая фамилия поэта тоже Бугаев, Андрей Белый — уже псевдоним. А у его деда фамилия была просто Бугай. Отец поэта переделал ее на более благозвучную. Как-то Андрей Белый на пару дней приехал с лекциями в Киев. Концерты, лекции, встречи — знаменитый поэт, он был нарасхват, и попросил сестру через адресный стол найти моего отца. Он написал ему письмо на четырех листах, воспоминания об их юности, о том времени, когда в Москве они писали стихи и встречались в кружке московской творческой молодежи. Отец был очень тронут, написал ответное письмо и попросил меня отнести. Так я познакомился с этой семьей, стал ходить к ним в гости. Когда я увидел знакомый домик в дальнем углу двора, меня просто потянуло к нему подойти. Дом меня поразил, в нем не было ни одного целого окна или двери, все было вырвано с мясом и потом забито досками. Я таких уродливых досок никогда не видел, неошкуренных, напиленных из каких-то кривых деревьев. Задумавшись, я простоял довольно долго. Нахлынувшие воспоминания оборвал удар хворостины. Я очнулся, оборачиваюсь, стоит полицай, оглядываюсь — почти всех людей со двора уже вывели. Я понял, что надо идти. Смотрю, за воротами стоят набитые людьми машины. И я иду и, конечно, понимаю, куда иду, обреченно и покорно. В душе кромешный мрак. На крыльце стоят важные немецкие офицеры. Фуражки у них торчат вверх, как взлетающие самолеты. В пол-оборота к ним на ступеньку ниже стоит писарь во всем военном, но не в сапогах, а в высоких ботинках с длинной шнуровкой. Я еще подумал, сколько времени надо потратить на эту шнуровку, когда утром подъем... Он в очках, слабенький, хлипкий. Но весь кошмар в том, что это лицо я уже раньше где-то видел. И вспомнил: на одной картине в Третьяковке была изображена сцена из жизни помещиков, и там среди других персонажей был немец, управляющий поместьем, такой же точно, как этот писарь на крыльце. И вот я вижу, как этот управляющий из Третьяковки читает перед немецкими офицерами приказ об отправке нас на тот свет... Такое странное вкрапление в этот ужас войны. Это выглядело до дикости смешно, и я еле удержался от смеха. Но сдержался, потому что подумал, убьют на месте, они сумасшедших не любят. Ведут меня дальше. Стоят две машины, у каждой по прицепу. И в машинах, и в прицепах уже полно людей. Лет шестнадцати мальчишка-полицай загнал меня во второй прицеп, и машины с ревом рванули. Мощные, я таких еще и не видел. В прицеп я влезал одним из последних и поэтому оказался у заднего борта. А везут нас как раз по улице моего детства, где я знаю каждый камень. Я гляжу и прощаюсь с каждым домом, с каждым забором. Вот дом, там в подвале жил мой товарищ по фамилии Репман — еврей, он тоже любил рисовать, очень симпатичный паренек. Я думаю, боже мой, где же теперь их семья, успели ли они эвакуироваться. В другом доме жил пианист с парализованными ногами, приятель отца. Он ходил на костылях, работал бухгалтером. Работать пианистом не пошел, считал неудобным появляться перед публикой на костылях. После разрухи в конце 20-х он приносил папе дореволюционные бухгалтерские книги, и тот между строчками записывал по памяти стихи любимых поэтов, таких как Блок, Есенин, Бальмонт, — боялся, что их больше никогда не напечатают, хотел, чтобы они хоть как-то сохранились. Следующий дом — там жила женщина, которая помогала маме делать уборку. А вот двор, где был сказочный белый конь. На нем в театре выезжал на сцену князь Игорь. Хозяин держал этого коня, ухаживал за ним, иногда выпускал во двор поразмяться, и мы восхищенно смотрели на этого красавца. Проехали дом, у ворот которого старичок очень культурного вида года два распродал свою библиотеку. Я всегда останавливался посмотреть. И один раз увидел «Всадника без головы». На

обложке так здорово были нарисованы американские прерии и верхом на коне человек без головы. Он привязан к седлу, чтобы не упал, кровь заливает одежду, седло и коня. И вот, стоя в кузове, мне подумалось, что я и сам уже почти что всадник без головы. И вдруг шальная мысль, что хотя скорость и немалая, но на крутом повороте все ж таки можно рискнуть и выскочить, ведь я стою у самого борта, только бы немцев на улице не оказалось. А машины как раз заворачивают на Рейтерскую улицу, где я знаю все ходы и выходы. Как только поравнялись с одной, хорошо знакомой мне подворотней, я мигом спрыгнул и юркнул в нее. Раздались выстрелы, наверное, кто-то еще спрыгнул... Во дворе, куда я забежал, оказались сарайчики, постояв за ними минут пять, пока утих шум мотора, я вышел через переулок на Житомирскую. Хотя и не видно было поблизости немцев, но переходить улицу было страшно.

Через какое-то время раздались серии пулеметных очередей, а за ними взрывы, и это повторилось несколько раз подряд. После войны я узнал, что это у немцев технология такая была: ставили по сто человек на краю обрыва, расстреливали, люди падали вниз, а они потом подрывали землю, чтобы засыпало убитых, и опять ставили сто человек. Получилось, что письмо моего отца к Андрею Белому спасло меня. Если бы не оно, я бы не познакомился с сестрой поэта, не простоял бы так долго возле ее дома в глубине двора, а ведь из-за этого я и оказался в конце прицепа, а если бы попал в середину — оттуда уже не выскочишь. Немцы развешивали по Киеву множество приказов с предупреждениями типа: «Требуем прекратить диверсии, а в случае продолжения будут расстреляны 100 киевлян». Эти приказы были напечатаны на такой великолепной бумаге, что на ней впору было печатать репродукции картин, а не всякую гадость. Напечатано на двух языках, на немецком и на русском. Кажется, голубой краской на немецком и красной на русском. А партизаны, знай, продолжают делать свое дело, и немцы продолжают уведомлять: «Вчера было расстреляно 100 человек, в следующий раз будет расстреляно 200», потом новое объявление: «Вчера было расстреляно 200 жителей Киева, если не прекратятся диверсии, будет расстреляно 300 человек». Я, видно, попал в четыре сотни. А на следующий день прочитал своими глазами объявление о том, что вчера было расстреляно 400 жителей Киева — это тех, кого вместе со мной везли в Бабий яр. Казалось бы, неуместно, но я ухмыльнулся: «Нет, ошибочка вышла, господин комендант — один из этих четырех сотен остался жив!»

Через несколько недель после первой облавы меня угораздило попасть еще в одну. Она не была такой смертельно опасной, как первая, — все, кто попался, подлежали угону в Германию. Опять отовсюду рычали «цурюк», «цурюк», и опять я их вовремя не заметил. Между облавами все время в Киеве я был как в бреду. После первой облавы продрогший, изголодавшийся, я боялся выходить на улицу. В тот день, когда меня захмутили во второй раз, я случайно встретил на улице женщину, работавшую сторожихой в консерватории. Когда перед войной я учился на музыканта, играть у себя дома мне было не всегда удобно, и поэтому иногда по вечерам или в выходной я просил эту женщину открыть мне какой-нибудь класс, где есть сносное пианино, и играл там пару часов. Она видно хорошо меня запомнила, потому что узнала и сама подошла, а я бы ее не узнал — так постарела она за это короткое время. Она рассказала мне, что с первых дней войны все преподаватели рыли противотанковые рвы в Ирпене. Когда пришли немцы и объявили, что евреям надо идти в Бабий яр, моя любимая учительница Гармония зашла утром в консерваторию, открыла свой кабинет, посидела пару минут за роялем, потом сдала ей ключи и попрощалась... Сторожиха спросила: «Зачем вам туда идти, вы же наполовину эстонка, вам не надо...» А Гармония ей сказала: «Я не стану просить пощады у этих гадов! Что народу, то и мне». И ушла в эту толпу, растянувшуюся на несколько километров... С ней был портфель, в нем лежали партитура кантаты «Тарас Шевченко», полотенце и мыло.

Приказ военного комиссара города Киева

Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковой и Доктеривской улиц (возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги и ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян.

Всех нас, киевлян, которыми немцы разжились во второй облаве, привезли в город Бреслау. Там был пересыльный пункт, где нас продержали пару дней. Приезжали покупатели с разных заводов и шахт, торговались, и один из них купил меня и еще несколько человек на шахту. Я был в желтой рваной майке, босиком, штаны еле на мне держались. Больше имущества у меня не было. Приказчик покупателя привел нас на вокзал и посадил на какой-то поезд. Прибыли мы на шахту. Шахтеры — люд рабочий, и они относились к нам по-человечески, по-товарищески, не так как мы к немецким военнопленным. Я не брился, у меня отросла борода, и, наверное, из-за нее меня прозвали Исус. Это прозвище прилепилось ко мне на все время работы на шахте, а потом перекочевало и в штрафную роту.

2. Тамара Крыжановская

Много лет мы с мамой жили в одном доме с семьей Ларионовых. У них были взрослые дочери Наташа и Рара. За несколько лет до войны их отца Дмитрия Константиновича перевели на работу в Одессу, и он уехал туда вместе с Наташей. А Рара с матерью Клотильдой Ивановной тоже до войны переехали из нашего дома ближе к центру города, в Кудрявский переулок. Когда Киев заняли немцы, им понадобились дома в центре, и они всех жителей стали оттуда выгонять. У Рары тогда уже был сын, и она с ним и с мамой вернулись в наш старый дом и заняли пустую комнату, рядом с нашей. Я в войну была еще маленькая, но когда выросла, мама мне очень много рассказывала об этом времени.

Она была, конечно, отчаянная. Немцы тоже хотели хорошо жить, договаривались с мамой и привозили ей горючее, естественно, за деньги. А потом ночью приезжали партизаны, забирали его и оставляли деньги на следующий раз. Двор все это знал, но никто не заявил. Были всякие люди. Одни евреев прятали, другие доносили. Недалеко от нас немцы устроили концлагерь и обнесли его колючей проволокой. Со всей округи приходили туда матери и жены, искали своих. За кусок сала фрицы отдавали женщинам их сыновей и мужей. И часто те приводили их к нам, отмывали, переодевали.

В январе 42-го года четверо пленных бежали ночью из этого концлагеря. Наутро их должны были расстрелять. Мама пошла утром набрать дров, чтобы затопить печку. А накануне выпал свежий снег, и на нем хорошо были видны следы, и вели эти следы прямо в наш сарай. И эти четыре смертника забились там в угол, совсем молоденькие солдаты. Мама говорит: «Ну, хорошо же вы спрятались, ничего не скажешь. Пошли хлопцы, ко мне до хаты, бо вас тут по следам мигом найдут». Они говорят: «А что, у тебя не найдут? Еще и тебя расстреляют». А мама: «Нет уж, пошли ко мне». Они с неохотой и боязнью, но все-таки согласились. Наша комната и та, в которой жили Рара и Клотильда Ивановна, когда-то не были разделены. Там раньше в стене была дверь, которую с нашей стороны заклеили обоями, а с их — заставили большим шкафом. До революции это была анфилада комнат, и весь дом принадлежал Клотильде Ивановне. Но советская власть их «уплотнила», им оставили тогда три комнаты, а в остальные вселили их бывшую прислугу и разную другую бедноту. Так вот, мама придумала такой план: она предложила Раре и Клотильде Ивановне, чтобы поначалу они взяли беглецов к себе. А когда придут немцы, первой на их пути окажется наша комната, они

ее обыщут, и пока будут переходить к ним, солдатики отодвинут шкаф, откроют дверь и перейдут из их комнаты в нашу. Рара и Клотильда Ивановна согласились. Из шкафа самые тяжелые книги вынесли на веранду, а с нашей стороны мама незаметно надрезала обои по периметру двери. Чтобы не было какого-то запаха, спалили в буржуйке газету и напустили немного дыма. Вскоре явились гестаповцы в своей черной форме с автоматами. Слава богу, с ними не было овчарки. Мама встретила их у двери, показала им свою комнату, а когда они вышли, она еще некоторое время в коридоре кокетничала с ними, шутила и нарочно громко болтала. Как только беглецы услышали, что немцы от нас вышли, они сдвинули шкаф, открыли дверь и протиснулись в нашу комнату. Рара и ее мама с трудом, обессиленные от голода, поставили тяжелый шкаф на место. Клотильда Ивановна сразу же села к роялю и заиграла Бетховена. До этого она все время играла Шопена, и смена музыки была для моей мамы знаком, что уже можно заходить. У них еще была наивная надежда, что немецкая музыка может как-то гестаповцев расположить. Когда те зашли, то никого не обнаружили и пошли делать обыски дальше. У нас на первом этаже жил фельдшер, связанный с партизанами, он увел ночью этих ребят в лес.

Из Приказа военного комиссара города Киева

В дальнейшем каждый, кто поддерживает беглых военнопленных путем предоставления крова, продовольствия или другим способом, будет расстрелян вместе со своей семьей, а его имущество сожжено.

3. Наталья Ларионова

Мои дед и прадед были люди военные. Прадед — герой войны с Наполеоном. У нас в семье даже сохранился наградной документ, который подписан Багратионом, — не факсимиле — подлинная подпись генерала Багратиона. Там сказано, что мой прадед награждается за храбрость, проявленную в бою под каким-то населенным пунктом во время Отечественной войны 1812 года. А дед, артиллерийский офицер, был полным кавалером всех четырех орденов Святого Георгия. В Русско-Турецкую войну 1877 года он был тяжело ранен и вышел в отставку в чине полковника. Он и его жена были тогда сравнительно молодыми, они купили небольшой деревянный дом на окраине Киева, и этот дом впоследствии служил кровом нескольким поколениям нашей семьи. Но года за три до войны мы с папой переехали жить в Одессу. Когда началась война, я уже была замужем, и моего мужа Игоря, агронома по профессии, как и всех людей с образованием, взяли на военные курсы. Они давали звание младшего лейтенанта. После курсов его сразу отправили на фронт. Когда немцы подошли уже совсем близко к Одессе, и до города им оставалось километров тридцать, меня с моей соседкой, пожилой больной женщиной, послали рыть окопы. Мы копали, копали, потом слышим — стрельба. И никто не приходит! Ни смотреть, что мы делаем, ни кормить. А у меня уже был билет на пароход, который я случайно захватила с собой вместе с какими-то карточками на эвакуацию. Ну, и мы с соседкой решили: «Сколько можно?», кинули лопаты в этот окоп недокопанный и пошли в сторону города, подальше от стрельбы. Наконец наткнулись на кордон: «Куда вы идете?» Я показала им билетик: «Мне завтра на пароход. А это моя соседка, она больная, видите, еле дышит». В общем, нас выпустили. Вся Одесса уже была в окружении. Сначала люди выбирались из города всякими путями, но когда очередь дошла до нас с папой, то оказалось, что единственная возможность эвакуироваться оставалась только пароходом. Стали мы думать, что с собой можно взять. Нам было сказано, что на человека можно брать по одному небольшому чемоданчику и ничего больше. Я взяла совсем маленький чемоданчик, в который с трудом поместилась моя собачка Бомочка. Это было все мое имущество. Я ей приказала: «Лежи тихо». На наш пароход мы не попали, нас остановили перед самым трапом, сказали, что пароход уже и так перегружен, и больше нельзя. Но вскоре

подали другой пароход. Бомочка оказалась очень сообразительной, сидела молча, и я спокойно пронесла ее через контроль. К счастью, наши соседи по каюте нас не выдали, и даже наоборот, умилялись, как это мы не бросили собачку...

А папе пришлось оставить в одесской квартире всемирную коллекцию семян! Он начал ее собирать еще ребенком, лет с восьми. Став ученым, он переписывался с ботаническими садами всего мира, и ему присылали семена в пробирках. Они стояли в специальных коробочках. Их там были сотни, если не тысячи, и в каждой пробирке отдельная категория семян. Наши одесские соседи рассказывали, что когда пришли немцы, они выбрасывали из окон все, что было в комнатах. Под домом стояли пирамиды всего, что хочешь: посуда, книги, одежда — все перемешано. Пропала, конечно, и коллекция семян. В войну пропали все папины рукописи, пропала вся его библиотека. Моя, конечно, тоже, но у него была ценная, там были старинные книги по земледелию и семеноведению. Тот пароход, на который нас не пустили, потому что он был переполнен, налетел ночью на мину и взорвался. Людей, кто не утонул сразу, кого можно было разглядеть в темноте, спасала команда нашего парохода. Но большинство утонуло, потому что люди были абсолютно неготовые, нервно растрепанные...

Эвакуировали нас на Северный Кавказ, и когда мы прибыли в свою станицу, то узнали, что немцы заняли Киев. Мы ничего не знали о судьбе наших родных. В последнем письме в Одессу мама написала: «Я не могу бросить Рару одну с ребенком, если нас вывезут, то значит вывезут, если нет, мы остаемся в Киеве». Так мы и не знали, смогли они уехать или оставались при немцах в Киеве.

Когда прорвали блокаду Ленинграда, к нам начали прибывать ленинградцы. Очень истощенные, изголодавшиеся, они еле держались на ногах. Из-за ужасов, пережитых в этой блокаде, многие из них стали верить во что-то потустороннее. По вечерам они устраивали спиритические сеансы, вызывали духов и надеялись узнать у них что-нибудь о своих близких: где они, живы ли... Несколько человек садились в полутьме вокруг стола. В центр его клали вырезанный из бумаги кружок величиной с тарелку. По краю этого кружка были написаны буквы, а в середину его кверху дном помещалось блюдце. На нем была нарисована стрелка, и на него ставили огарок свечи. Все протягивали к блюду руки, чтобы только чуть-чуть его коснуться. Получалось, что оно окружено пальцами всех участников. Кто-то один вызывал своего духа и задавал ему вопрос. Вдруг блюдце начинало самопроизвольно поворачиваться, приоткрываясь и указывая стрелкой то на одну, то на другую букву, из которых и складывался ответ. Конечно, сначала я относилась скептически к этим сеансам, но потом по реакции людей почувствовала, что здесь все не так просто, и они легко уговорили меня поучаствовать. Делать-то нечего, вечера длинные, керосина нет, электричества нет. На постном масле делали коптилку и вот сидели при ее свете. Я уже не помню, что там другие спрашивали, что говорили, но я попросила: «Пусть придет моя бабушка Анастасия». Они согласились. И я говорю: «Бабушка, скажи, жива ли мама, жива ли Рара, где они...». И представьте себе, блюдце начало довольно энергично двигаться. Я бы могла подумать, что это мои соседи как-то двигали его, но они никоим образом не могли знать того, что пришло в ответ — буквы сложились так: они на даче. Ну, это же смешно — во время войны кто-то на даче. Что значит "на даче"? Но тут сидел мой папа, он в наших затеях не принимал никакого участия, сидел, грелся возле печурки. И я спрашиваю его: «Что это значит? Смотри, вышло — "на даче"». А он подумал и говорит: «Наш киевский дом, из которого мы уехали в Одессу, когда-то стоял на окраине города. Это был дачный поселок. Возможно, бабушка Анастасия имела в виду, что Рара с сыном и мамой живут в нашем старом доме, который был для нее как бы дачей». — «Да, но мы же знаем, что мама и Рара давно из того дома переехали в центр Киева, в Кудрявский переулок. Как же они могли очутиться опять на старой квартире?» В таком недоумении я и осталась. Но я уже поняла, что никто из участников блюдце не двигал — откуда они могли взять слово «дача», откуда?!

4. Григорий Гурьев

На шахте меня приставили к одному из шахтеров, он вырубал уголь, а я должен был насыпать его в вагонетки, 18 вагонеток за смену, но больше, чем 16—17, у меня не выходило. Шахтер мой говорит: «Плохо ты работаешь, тебя могут наказать». Но никакого наказания не последовало, он просто сам насыпал тот уголь, что я не поспевал. У него это получалось гораздо быстрее. А я в то время был очень ослабленный после голодовки. К концу смены я уже был в полуобморочном состоянии. И вот удивительно, сердце болело так, как будто там широкий нож, и он так поворачивается туда и сюда. Но удивительна живучесть организма. Через какое-то время я втянулся и уже не падал в обморок. Но потом я надорвал спину, и доктор сказал: «Ему уже нельзя насыпать уголь, пусть катает вагонетки». И все три года я катал вагонетки. Рельсы неважные, и если ты на повороте чуть проморгал, вагонетка соскакивает, и потом ее трудно поставить на рельсы, а полную вообще дохлое дело. Не было дня, чтобы хоть раз эти вагонетки у меня не слетали, слава богу, пустые. Каждую минуту приходила клеть, и мне надо было успеть за эту минуту в каждую загнать по две вагонетки. И таким образом, за 10 часов рабочего дня 1200 вагонеток. Одной пары рукавиц не всегда хватало на всю смену. Работал с нами один чех, сказочный богатырь, такого же роста как я, может, немного выше, но широкий такой, мускулистый. Один из шахтеров прикрепил его к себе и уже никому не отдавал. Этот парень насыпал по 20 вагонеток шутя. Потом подошел какой-то чешский национальный праздник, и он в этот день не вышел на работу. За это его отправили в концлагерь. Через месяц он вернулся, и когда я его увидел, это было просто ужасно — от человека не осталось ничего на него похожего, только кожа да кости, и даже голоса не осталось, он говорил шепотом. Его сразу из шахты уволили, отпустили домой.

Старшим над нами был мастер Макс. Невысокий, но, видно, в молодости рубил за двоих. Он был старенький, и как мастеру ему полагалась большая шахтерская карбидная лампа (гроссе лямпэ) — за километр видно. У немцев было принято, если начальник проходит возле работающего, то рабочий, в знак почтения останавливает работу и должен уметь завести свободный разговор. Мы, наоборот, при виде начальства начинаем вкалывать вдвойне. Если Макс, когда я катил вагонетку, проходил возле меня, он обязательно впрягался и половину усилий брал на себя. Он обычно ничего не говорил, но мы чувствовали его хорошее отношение. И нам он тоже был симпатичен. Работал шахтером и его сын Йоган, лет двадцати. Он женился, и вскоре его жену арестовали, а потом и его. Оказалось, что она коммунистка, но ему об этом не говорила. Позже его отпустили, а ее расстреляли. У него на лице всегда горел юношеский румянец, а в глазах был смертельный ужас. Иногда нам привозили одежду. Раз в год выдавали рубашки и что-то вроде пиджаков. Мне попался пиджак с какого-то рослого человека, вероятно, из еврейского гетто. Почти новый, и он очень на меня пришелся. Я носил его с каким-то трепетным чувством, мне казалось, что жизнь этого человека вроде бы еще теплится где-то в складках его пиджака, пуговицах и петлицах... Нам сказали, что эта одежда осталась от казненных. Многие из них были прилично одеты, в основном это были горожане. Практичные немцы, отправляя людей в газовые камеры, одежду их собирали — прикинули, что она пригодится одевать нашего брата, потому что мы, бывало, чуть ли не голыми сюда попадали. Этот пиджак я носил до последнего дня.

Один из наших ребят в первый год убежал. Его, конечно, поймали. Это дикая затея, там убежать было невозможно. Наивные шахтеры предлагали нам помощь, карту восточной Германии, предлагали свою пайку хлеба. Разумеется, я понимал, что такая авантюра добром не кончится. Но этот хлопец попытался бежать, и его в тот же день поймали и отправили в концлагерь.

Барак наш был переделан из бывшей конюшни. Сначала мы, галичане и поляки,

все были вместе. Галичане ненавидели нас и немцев одинаково. Однажды из-за чего-то не ладили, и галичане даже пытались убить одного из наших парней, Андрея. Что-то он им сказал не то, но его спас могучий мужик Шурка, плотник по профессии и по фамилии тоже Плотников. Он был с севера России, спокойный, всегда уверенный в своей правоте. Шурка попал в плен, но ни минуты угрызения совести его не мучили. Война невозможна без смерти, без ранения, без плена. Каждому своя судьба, нечего финтить, что досталось на твою долю, то и бери. Он был человек мужественный. Пока я бегал за охранником, Шурка Плотников сразу же кинулся в эту драку. На Андрея уже замахнулись скамейкой, а Шурка подставился под нее, ему в кровь разбили руки, но он отстоял Андрея. А когда я прибежал на ворота к охраннику, тот мне говорит: «Чем больше вас подохнет, тем слаще для меня». Он воевал на русском фронте, и у него вся морда была изрезана, в страшных шрамах.

После той драки барак разделили на три секции. Между нами и галичанами возвели глухую стену. Другой стеной отгородили поляков. Поляки жили тихо, мирно, и галичане между собой тоже никогда не ссорились. А мы все время грызлись. Сколько было свободного времени до смены или после смены, только и делали, что грызлись на тему войны. Почему нас побили? Как все это получилось? Почему среди командиров было столько идиотов и трусов?.. Очевидно, уж такой мы народ. Меня это удивляло. Все-таки и у галичан могли же быть какие-то зацепки, но они не ссорились никогда. У поляков тоже — тишина и спокойствие. Был среди нас один пекарь, старый уже, не знаю, как его загребли. Ростом чуть выше меня, худой, он прекрасно пел, у него был очень красивый бас. В молодые годы он пел в церковном хоре, и конечно, знал все народные песни. Когда мы начинали петь на два, на три голоса, он пел басовую партию, и получалось очень красиво. Галичане, как ни странно, песен не пели. Это вообще были особые люди. Когда Сталин с Гитлером поделили Польшу, и часть отошла к нам, галичан мобилизовали в Красную Армию и отвезли за Урал. Там их плохо кормили по сравнению с их домашней пищей — рыба, капуста. Потом началась война. И тут, я не знаю, это дурость или хитрость какая-то, но их почему-то определили в пограничные войска. Одели на них пограничную форму, и привезли назад в Галицию, на самую границу с немцами. А немцы знали, что пограничные войска принадлежат страшному НКВД, и когда они нагрянули и захватили в плен тысячи галичан-пограничников, то решили, что это самые заядлые коммунисты. Поэтому их держали на измор, даже не в бараках, а просто выбрали для этого в лесу просеку. И вот в трескучий мороз под открытым небом они там зимовали. По ночам, как это делают стадные животные, они сбивались в кучи человек по сто, те, кто был снаружи, постепенно продвигались в середину, где было немного теплей, а кто был внутри, медленно отходили наружу, и так они менялись, кружили по спирали всю ночь. Один галичанин попробовал залезть в яму, но к утру так задубел, что вылезти уже не мог. Молоденький конвоир стал пытаться его из ямы выгнать. А тот не может. И конвоир ткнул его штыком. Тот схватился за штык, обрадовался, подумал, что он хочет его вытащить. А конвоир решил, что у него отнимают винтовку, и застрелил его. На эту просеку пригнали целую дивизию, это даже не просека была, а такая площадка для чего-то заготовленная. Не знаю, сколько пленных там было, во всяком случае, огромное количество — больше тысячи. Той зимой из-за холода и голода от них осталось человек сто.

В это время где-то там в верхах произошли перемены, возник какой-то бандеровский комитет, который прислал своих людей в этот лес. Они в приличных кожаных пальто, с портфелями... Когда перед ними выстроили оставшихся в живых, эти комитетчики заплакали. Поговорили они с пленными на своем особом галичанском языке, сразу друг друга поняли, и эту сотню освободили и отправили на сахарный завод. Наверное, у них такой опыт был, что легче восстановить истощенного человека не мясом, а сахаром. Они там пили патоку, ели сахар. Их кормили нормальным обедом вместе с немецкими рабочими. Тем не менее, через пару месяцев от сотни осталось 20, и вот этих 20 прислали к нам на шахту. Они прошли такую школу умерщвления,

что свет Божий в их глазах уже был совсем иным. Они одинаково ненавидели и нас, и немцев. Один из них особенно меня удивлял — у него от этой звериной жизни шея вытянулась вперед, но повернуть ее он не мог и, когда смотрел по сторонам, то, как бык, вертел всем корпусом.

Недалеко от нас в отдельном бараке за колючей проволокой жили французы. Они жили как-то странно, разводили кроликов и как будто даже не роптали на судьбу. Им разрешали ходить в лес, рвать для кроликов траву, но всегда с конвоиром. Французы были склонны ко всякого рода юмору и шутовству. Когда утром они шли через двор шахты к подъемнику, то часто паясничали, пинали друг друга, подножки ставили. Когда они хлопали друг друга по плечам, от их одежды поднималось облако пыли. В отличие от нас, купленных хозяином, французов пригнали из концлагеря для военнопленных. Нас фирма купила и хотела сохранить нашу работоспособность, поэтому нас кормили наравне с шахтерами. Им картошка — нам картошка, им кормовая свекла, и нам тоже. Она такая желтоватая, хорошо разваривается, можно разжевать и проглотить. Ну, и хлеб нам давали тоже как шахтерам — 400 граммов. По воскресеньям жены шахтеров отдавали свой хлеб мужьям, чтобы хоть раз в неделю те могли хоть немножко больше поесть. А французы, чтобы как-то себя поддержать, промышляли кроликами. На второй год нам вышло некоторое послабление, разрешили выходить в лес, и там мы могли гулять.

Однажды я увидел, как французы возвращались из леса, а им навстречу ехала на велосипеде Хельда, жена управляющего шахты, очень красивая молодая женщина. Она была все-таки из высшего общества, и это как-то отражалось на ее внешности. Когда она почти поравнялась с французами, вдруг порыв ветра завернул ее юбку чуть ли не до талии... А у нее такие красивые ноги, такие прекрасные трусики... Французы мгновенно расступились, уступая ей дорогу, при этом вытянулись как по команде «смирно» и все отдали ей честь, как перед генералом. Хельда чуть не упала с велосипеда, пытаясь справиться с юбкой, но через секунду выровнялась и покатила дальше, а французы провожали ее восхищенными взорами. Такая вот характерная французская выходка. Они мгновенно сообразили, как себя вести. Мы бы до этого не додумались...

5. Тамара Крыжановская

Моя мама могла эвакуироваться, но из-за меня она не уехала. Ее завод эвакуировали на Урал. Но как их везли? Илюди, и станки на открытых вагонных площадках, все вместе. А я больная была, воспаление легких. И мама из-за меня не поехала.

В студенческом общежитии Политехнического института немцы устроили офицерскую казарму. Вывесили объявление, что берут на работу женщин. Мама пошла мыть полы в их казармах. А что было делать такой женщине как моя мама с малолетним ребенком на руках... Потом немцам понадобилась женщина на кухню. Вышел их повар, перед ним толпа женщин, и маме повезло, он взял ее, чтобы она ему помогала. Однажды привезли целую машину кур из какого-то села. Гора этих кур. Немец стал показывать, как их надо чистить. А они внутренности не едят. Печенку, сердце не едят. Все это идет вместе с кишками в помой. Мама говорит, как увидела, у нее слезы брызнули. Дома голодный ребенок сидит, а тут такое добро пропадает. Немец не понял: «Что такое, кто обидел?». Мама объясняет: «Киндер маленький, нечего есть, можно я это заберу?». А он: «Конечно, можно». Когда мама уходила, он еще дал кусок масла и шоколадку. Сказал: «Киндеру отнесешь». Мне было года три. Уже после войны, когда я выросла, мама обо всем этом мне много рассказывала. Повар был немолод, говорил, что у него дома тоже киндер. Он стал каждый день что-нибудь передавать для меня. Всем, что мама приносила, она делилась с Рарой и Клотильдой Ивановной — там ведь тоже был ребенок, там был Валерка. Они очень бедствовали в войну. Вместе с мамой в офицерском общежитии у немцев работала

уборщицей Тася Самолевская. Она жила в нашем доме вместе со своей сестрой Люсей и старшим братом Юзеком Яковлевичем. Он с первых дней войны ушел на фронт, и Тасина работа спасала сестер от голода. С одним из офицеров у Таси завязалось что-то вроде романтических отношений, и это впоследствии испортило ей всю жизнь...

6. Ольга Самолевская

Мои родители встретились и поженились вскоре после войны. Первое время они жили в том же доме, что и Ларионовы. И я родилась там же. И там же жили две сестры моего папы Люся и Тася. Из этого старого дома в Полевом переулке мой папа ушел воевать. Он был радистом, прошел весь тяжкий путь отступления до самой Волги, а потом обратно от Сталинграда и до Берлина, был награжден многими медалями и орденом Красной Звезды. Отец избегал разговоров о войне. Единственное, что он мне рассказал (адаптировано, как для ребенка) — это как они попали в окружение. У них не осталось никакой еды, и они голодали. Ранним утром он стоял в лесу часовым, и вдруг видит на расстоянии выстрела зайца, который сидит себе и умывается. Он вскинул ружье, заяц в утреннем свете, весь в солнечном ореоле, лучится, умывается, как ни в чем не бывало... и папа опустил ружье. Этот стреляный человек, который видел смерть друзей, сам был тяжело ранен — он не смог этого сделать.

После войны отец вернулся к своим сестрам. За время оккупации Тася пережила страшную трагедию. Ей было около тридцати, красавица, дородная такая. Сестры были воспитаны очень скромными. Мама умерла рано. Тася очень быстро стала оформляться, наливаясь. И от женихов отбоя не было. А отец говорил: «Ну, дайте ей хоть вырасти». Люся вспоминала, как однажды цыганка стала гадать Тасе и ее подружкам: нагадала одной судьбу, другой, но Тасе сказала: «А ты красавица, на счастливую любовь даже не надейся». Люся имела высшее образование — работала до войны химиком на заводе, а Тася осталась практически неграмотной. Когда она поняла, что ждет ребенка от немецкого офицера, для нее это был конец света. Вся ее жизнь пошла под откос. Какими были их отношения, уже никто никогда не узнает, но до глубокой старости Тася хранила немецкую фотографию, на которой снята фрау и двое маленьких детей, может быть это фотография его семьи. Благополучная семья, благополучные наряды, далекие от войны. На обороте по-немецки написано: «42-й год». За день до того, как немцев выбили из Киева, соседи видели во дворе этого офицера. Тася была в полном отчаянии, брат на фронте воюет с фашистами, что он скажет, когда вернется. Она страшно боялась Сталина, слышала, что если кто-то из соседей донесет, что женщина гуляла с немцем, то детей у них отбирали, а самих ссылали на остров, где был отдельный лагерь для них. Люся говорила, что видела свидетельство о смерти девочки. А Тася вроде бы все время знала, что та жива, но, скорее всего, она просто бредила ею всю жизнь.

Мне рассказывали, что в Германии к этому относились как-то по-другому. В Берлине, когда оккупантами уже были наши, то к осени через несколько месяцев после Победы стало весьма заметно, кто из молоденьких немцев ждет ребенка. И наши солдаты, шутя, спрашивали их: «Вас ис дас?». А те, понимая, что деваться уже некуда, отвечали деланно трагическим тоном: «Кляйне Иван» (маленький Иван). В Берлине был страшный голод, и была такса — женщины отдавались за буханку хлеба.

Моя мама в войну тоже была в оккупации, уехать она не могла, не могла оставить свою большую сестру. В Киеве они голодали и поэтому решили перебраться на свою родину, в село Ляховое недалеко от Радомышля, одного из самых старинных украинских городков. Сто километров шли пешком. Там мама стала работать фельдшером, заведовала амбулаторией. По ночам приходили партизаны, просили перевязывать раненых. Мама давала им с собой бинты и медикаменты. Соседи донесли немцам, маму схватили и уже должны были расстрелять, но староста, его фамилия была Лисовский, заступился, выгородил ее каким-то макарон перед немцами, и ее отпусти-

ли. Лисовский многим помогал, его выбрали старостой свои же, и неспроста, он был хорошим человеком, и его уважали. Он как-то сказал маме: «Вот придут наши, будет и на нашей улице праздник». Пришли наши и сразу его расстреляли за то, что он был старостой, никто из тех, кого он спасал, даже не успел что-нибудь сказать.

7. Григорий Гурьев

Наконец наступил тот день, когда где-то далеко за горизонтом послышалась канонада, и с каждым днем она становилась все ближе и ближе. Фрицы засобирались драпать, и всех невольников-работяг готовились взять с собой. Я уже знал, что таких как я, наши либо расстреляют, либо, если повезет, пошлют в штрафную роту. Если бы кто из русских и захотел остаться — немцы не дали бы все равно. В последнюю ночь на шахте около полуночи стал слышен страшный грохот бомбежки. Я даже не сразу понял, что это такое, но кто-то мне объяснил — бомбили Дрезден. Была ночь, и было зарево на полгоризонта, непрерывное зарево, и оно постоянно мигало от взрывов бомб. Бомбежка так отдавалась в ноги, как будто кто-то молотом бьет из-под земли. Это продолжалось часа три-четыре. Самолеты шли волнами, закрывая все небо. Удивительно, что в это время я даже не вспомнил о том, что там же Дрезденская галерея. Я думал только о людях — какой ужас там гореть, в этом городе.

Наутро у нас стало слышно стрельбу километрах так в двадцати. Власть немецкая уже вся слиняла из шахтерского городка, нам пришел приказ строиться и уходить. В последний момент я как бы замешкался, и мне удалось незаметно улизнуть и спрятаться в надежном месте на подъемнике. Для меня это была единственная надежда когда-нибудь, Бог даст, вернуться домой. Всех остальных из моей команды увели на Запад. Я все-таки верил, что мне выпадет штрафбат, а не расстрел. Шахта опустела, в городке безвластие, остались только гражданские: старики, женщины с детьми, мужчины-инвалиды. Рядом с шахтой, как и положено, находилась пивная. Называлась она «Кантина», и шахтеры, бывало, по дороге домой заходили сюда отметить. Хозяином там был бывший шахтер, которого когда-то завалило, и он сутки лежал под завалом по пояс в воде, пока его не откопали. У него отнялись ноги, на них были надеты железные каркасы, и он в них с трудом, но передвигался. Кроме пенсии, ему отдали в хозяйство этот домик. А официанткой работала у него вдова одного погибшего в забое шахтера. Женщина лет сорока, которая продолжала играть роль двадцатилетней. Она легкой походочкой порхала по залу с кружками пива. В этой пивнушке висела подробная карта Москвы и окрестностей, цветная, со всеми деталями, даже здание Художественного института, в котором я когда-то учился, было обозначено. Я часто приходил в эту пивную посидеть, почитать. Просматривая газеты, развивал свое знание немецкого.

Потом, когда власть немецкая съехала, эта женщина осталась, и однажды я видел, как она принесла табуретку и сняла со стены портрет Гитлера. А я спрашиваю: «Что бы это значило?» Она возмутилась: «Разве можно задавать такие бестактные вопросы?» И добавила, чуть не плача: «Гитлера надо будет почистить». А я подумал: «Да уж, точно: скоро его крепко почистят».

Настало время снимать фюрера со всех стен. В эти дни я увидел во дворе шахты знакомого конторщика, который нес портрет Гитлера и держал его на вытянутых руках, как будто от него нестерпимо смердело. Его сын когда-то был первым скрипачом в оперном театре большого города. Его убили на русском фронте. Конторщик пришел к железному мусорному ящику, открыл крышку и стал туда Гитлера засовывать, а тот не влазит. Тогда он с яростью поднял его и об эту железную крышку как хрястнет. Стекло вдребезги, рама лопнула, и он уже по кускам все это засунул в мусор. Потом зашел в баню и долго мыл руки под умывальником.

Когда пришли наши, всех немногих еще нестарых мужчин сразу же стали задерживать и выискивать среди них фашистских солдат, переодетых в гражданское.

Я сам подошел на улице к первому встречному офицеру и доложил, кто я и что... Тут же меня арестовали и повели на допрос. Хотя я считался «угнанным на работу в Германию», я не собирался скрывать и свое короткое пребывание в плену. По великому стечению обстоятельств, наша контрразведка заняла дом одного шахтера, которому я как-то нарисовал портрет его дочери. Он попросил меня об этом, узнав от кого-то, что я рисую. Я рисовал по памяти, потому что видел ее только один раз, но меня поразила ее красота. Портрет получился очень хороший. Она стоит у пианино, опустив руку на клавиши, а за ней открыта половинка окна, и за окном только что прошедшая, удаляющаяся гроза. Такие хмары страшные. Причем у меня пейзаж первый раз не получился. А это было очень важно. Я его вырезал и на отдельной бумажке несколько раз переделывал, пока он не вышел таким, как я хотел. И тогда я его подклеил, и это придало окну особую глубину. Когда шахтер, его звали Макс, увидел портрет, первое, что он сказал: «О майн гот! Какое сходство. Как же это так — она же не позировала?» А этот шахтер был чудака, когда нас по прибытии распределяли, он взял к себе самого молоденького паренька по фамилии Сорока. Тот был круглолицый, румяный, совсем еще мальчик. Макс взял его, не сердился, когда тот не успевал насыпать, насыпал сам, если тот отставал. В воскресенье брал Сороку к себе домой, угощал, подружил со своей дочкой и сказал: «Вот придут русские, мы вас повенчаем». Дело в том, что они не понимали, что мы считались изменниками, и нас ждет расстрел. Они относились к нам, как к бедным, попавшим в беду людям. Жалели нас, утешали, угощали чашкой кофе. Хлеба не могли дать, потому что им самим не хватало. Но кофе был настоящий. Им давали на паек настоящий кофе. Сороку вместе со всеми работягами немцы угнали на Запад, а Макс, когда стало слышно приближение фронта, отправил дочку к родным в Баварию. И вот меня посадили для допроса именно в его доме, под ее портретом.

8. Тамара Крыжановская

Мой муж Павел намного меня старше. Во время войны, как только ему исполнилось 14 лет, к ним домой явился со списком полицей и заявил его маме, что забирает сына для отправки в Германию. Всех мальчишек такого возраста угоняли на германскую каторгу. Их свезли на улицу Артёма, там был военный штаб. Двор закрыт со всех сторон, и убежать было нельзя. Утром под конвоем с собаками их вели на вокзал. Матери шли за ними по обеим сторонам улицы, шли и плакали...

На немецком заводе их обучили только одной операции. Павел работал слесарем, ему показали какую-то одну операцию и все. Причем он не был в обиде на своих начальников. Это были те немцы, которых фашисты не посылали на фронт, потому что считали их «неблагонадежными» и не доверяли им. Эти немцы даже подкармливали русских мальчишек. Подходит время обеда, мастер приоткрывает какой-нибудь ящик и молча тычет в него пальцем. А там лежит бутерброд. Для ребят тогда это много значило. Их кормили только вареной брюквой, а утром кофе эрзац. И тарелка соли, которая к вечеру пустела. Как они выжили, это только Богу известно. Там и немчуки работали, на тех же условиях, что и наши, только кормили их по-другому. Мастер Павлика почему-то особенно к нему благоволил. Он пошел к начальнику и попросил, чтобы на выходные ему давали этого мальчишку помогать по хозяйству. Стал забирать Павлика к себе. Только он на велосипеде, а тот бегом за ним. Но ехал небыстро. Все выходные Павел проводил у него дома, но ничего толком не делал. Рассказывал, что через каждые пару часов появлялась фрау и приносила что-то покушать. И все заглядывала в глаза и спрашивала: «Шмэ? Шмэ?», то есть, вкусно ли? У фрау было двое детей мальчик и девочка. А еще приезжала сестра мастера, она, видно, была очень богата, потому что приезжала на машине. У нее муж и сын погибли на русском фронте. Ей казалось, что Павел был очень похож на ее сына, и она упрашивала его: «Когда-нибудь кончится эта война, оставайся со мной, будешь мне сыном...» Работал Павел

на заводе в Арнштате. Таких, как он, там было восемь ребят из Киева. И когда американцы в 45-м году их освободили, то предлагали: «Хотите, мы вас отправим, куда скажете: в Америку, Канаду, Португалию, Австралию?». А они были дети. Они стояли, смотрели на восток, туда, откуда восходит солнце и где их дом, стояли и плакали.

Когда мы с Павлом только познакомились, он сразу рассказал мне, что был угнан в Германию. Павел не хотел ничего от меня скрывать, он уже знал, ему уже дали почувствовать, что немецкое прошлое будет черной нитью тянуться через всю его жизнь. Все, кто побывал в плену или на каторге в Германии, считались людьми второго сорта. После армии Павел окончил техникум с красным дипломом. Это давало возможность поступить в любой институт без экзаменов, и Павел, окрыленный, поехал поступать в Московский институт геодезии и картографии. В приемной комиссии он случайно увидел свою биографию, всю исчерканную красным. Его не приняли. Наврали, что прием уже закончился. Павел понял, что германское клеймо на нем уже навсегда. И поэтому, когда мы стали встречаться, он сразу мне рассказал обо всем, что с ним было, чтобы я знала, как это может сказаться и на моей судьбе тоже.

9. Григорий Гурьев

Капитан, который меня допрашивал, не знаю как, наверное, по моему разговору, понял, что я человек образованный, и сказал: «С твоим уровнем тебе прощения нет, и надеяться тебе не на что». У меня в кармане была маленькая записная книжка, в которой несколько страниц были исписаны моими стихами про начало войны. И в ней хранилась фотография сестры Веры (фото жены у меня не было — мы так редко снимались...). Фотография была с узорным обрезом, тогда это было еще редкостью, и капитан подумал, что это немка. И говорит: «Уже и симпатию завел себе?» Я говорю: «Нет, это сестра». Он помолчал, а потом почему-то спрашивает: «А у матери еще дети есть, кроме тебя и сестры?» Я говорю: «Нет, никого». И было видно, как по его лицу словно пробежала какая-то тень, как менялись чувства в его душе... Я понимал, что в эти секунды решалась моя судьба. Кончилось тем, что он распорядился отвести меня в подвал «до выяснения». И вскоре опять меня вызвали наверх, капитан вернул мне фотографию Веры, перелистал и отдал записную книжку. Тут вошел какой-то майор и спрашивает: «Кем ты работал?» Говорю: «Откатчиком вагонеток». Майор: «Покажи руки». А у меня мозолей нет, я объясняю ему, что работал в двух рукавицах. Если голыми руками откатывать по тысяче вагонеток в день, у меня бы рук не осталось через два дня. Он: «Врешь, сволочь!» И мне кулаком по шее как врезал, я не ожидал, у меня чуть башка не оторвалась. У него кулак такой здоровенный. Ну, ничего, остался жив. Капитан вызвал ординарца: «Этого тоже забирай».

Я оказался один русский в группе из дюжины пленных немцев, нас вывели за город и всю ночь вели куда-то через лес и проселками. У меня на шахте сделалась трофическая язва на подъеме правой стопы, наверное, от плохого питания. Она не заживала и все время сочилась. Ботинок натирал ее, и чтобы не было так больно работать, я верхнюю часть ботинка вырезал и оставил только полоску вроде ремешка, чтоб как-то держалось. Топтаться возле вагонеток я еще мог, а когда пошли хорошим ходом, то на втором километре ботинок развалился, я сбросил его и шел уже одной ногой босиком. И вот мы шли всю ночь. А был снег со льдом. Скользко, одна нога выше, другая ниже, очень неудобно было идти. Снять второй ботинок мне было жалко, все-таки хоть какая-то теплынь оставалась в левой ноге. Шли мы, шли, уже рассвет, и решили остановиться на пять минут. И старшина говорит мне: «Вон, смотри, на горке твои ботинки стоят». И действительно, я вижу у дороги бугор, и там, на вершине под дубом, как в сказке, стоит пара больших ботинок. Такие же шахтерские, из красивой желтой кожи, на деревянной подметке, только что с фабрики. Я их примерил, ну, как на меня шитые. Вот такая сказочная штука произошла, а я сначала подумал, что старшина смеется надо мной. В результате двадцатикилометро-

вого марша босиком по снегу рана задубела, и идти дальше уже было намного легче, а потом дня через три она вообще зажила.

Был уже рассвет, когда мы вышли на поворот дороги, где остановилась по какой-то причине колонна медсанбата, вся в красных крестах. Светало, из машин высыпали молодые докторши, медсестры, все в новехонькой военной форме. У них такие ладные сапожки, красивые юбочки, гимнастерки, какие-то знаки отличия. Мороз еще держался, но, в общем, было тепло. На них уже пилоточки, а не шапки. И вот одна докторица, посмелее других, подошла к нашей группе, наблюдательным взором окинула всех и почему-то обратилась именно ко мне, может, подумала, что я ровесник ей: «Ну что, фриц? Капут?!» Я был в шахтерской брезентовой одежде, на голове каска с крючком для лампы. Мне очень хотелось ответить ей по-немецки, но говорить не хотелось и дурачиться не хотелось. А наш конвоир, молоденький, совсем мальчик, улыбнулся ей: «Этот не немец, он русский, и такие, между прочим, стихи сочиняет — закачаешься». Она ошеломленно глянула на меня и сильно смутилась...

Мы пришли в маленький городок. Немцев куда-то увели, а меня доставили в некую высшую инстанцию, где я пробыл целый месяц с другими задержанными. Как-то вел меня конвоир на очередной допрос. Молодой такой парень, но всякого уже повидавший. Я сколько-то дней не умывался, а на земле еще лежали остатки снега, и я на ходу нагнулся взять снега в пригоршню, чтобы вытереть лицо. А конвоир подумал, что я поднимаю камень, и дал очередь над моей головой. Когда он увидел, что я умываюсь снегом, сказал: «Эх ты, балда, предупредил бы, а то я чуть было не прошил тебя».

Сначала меня допрашивал очень строгий следователь, ничего слышать не хотел: «Все ты врешь!» А потом его куда-то забрали на новую работу, и я попал к другому, который и определил меня, к великой моей радости, в штрафбат. Если бы мне выпал расстрел, умирать от русской пули было бы невыносимо горько и позорно.

По прибытии в часть я нашел командира своей штрафной роты, и тот вместе с замполитом провели со мной собеседование, но на самом деле это был очередной допрос. Спрашивал меня только замполит, а командир роты капитан Иванов не проронил ни слова. Раньше капитан воевал в Крыму в морской пехоте. В одном из боев свалило опору высоковольтной передачи, и его ударило током. Капитана закопали в землю, потом как-то откачали, но признали негодным для службы в армии. Где-то среди высокого начальства он отыскал бывшего товарища по школе и с его помощью добился разрешения командовать штрафной ротой. Внешне он был похож на добродушного льва, но интересная вещь — после чуть ли не смертельного удара током он потерял способность бояться, он совершенно не волновался и совершенно ничего не страшился. Подходит бой, он остается совершенно спокойным, не теряет головы. Такой вот феномен, как будто специально для штрафной роты. Его несколько раз хотели повысить в звании, но всякий раз он отказывался, считал звание капитана самым почетным. Под гимнастеркой он носил полосатую тельняшку морского пехотинца.

На участке фронта, где расположилась наша рота, напротив нас, был маленький городок, и там засели в развалинах фабрики немецкие снайперы. Стоило нам двинуться по траншее, фрицы тут же палили из этих развалин. Ходить согнувшись в три погибели было противно, а чуть только выпрямишься, — «вж, вж», и видно, как над бруствером земля взлетает под пулями и комья сыплются нам на сапоги. Мы едва успевали пригнуться. По ночам пускали осветительные ракеты и с нашей стороны, и с немецкой. Это производило фантастическое впечатление. Свет у них какой-то мертвенный. Когда она взлетает, а потом зависает и начинает падать, она оттуда как будто смотрит на тебя, а ты смотришь на нее. И свет такой дрожащий, похожий на кино первых лет, когда камеру крутили вручную и на экране все дергалось и мигало, но жуткое любопытство подгоняло нас смотреть тогда эти первые фильмы. И вот теперь сигнальные ракеты так же странно мигали, падали и угасали.

Наша штрафная рота входила в состав резерва Главкомандующего. Такие роты

бросали то на штурм, то в какие-нибудь прорывы, и вот нас послали брать этот городок. Но сначала провели артподготовку, чтобы разгромить дома, в которых укрепились немцы. Артподготовка — это никакая не пальба, она звучит так, как будто на органе нажали нижний бас, тот, что играют ногами. И так битый час, ровный басовый звук. Отбушевала наша артподготовка, и от городка остались одни развалины, но немцы продолжали за них цепляться.

Перед атакой капитан снял китель, надел автомат на грудь, он всегда шел первым в атаку, а потом на каком-то определенном расстоянии становился в цепь наравне с солдатами. И мы выбили немцев из этого городка. Это был мой первый настоящий бой. Было почти не страшно, может быть потому, что не было сильного желания жить. Когда на шахте меня арестовали, я больше всего боялся, что приговорят к расстрелу и я с позором погибну от русской пули. Поэтому я мечтал попасть в штрафбат, чтобы умереть в бою. Пусть бы меня убила вражеская пуля, но только не своя. Вернуться же домой хоть когда-нибудь казалось совершенно несбыточным, возможно поэтому и не было особого страха.

Когда вошли в Чехословакию, наша рота остановилась у подножия Судетских гор. Кулисы гор расположены таким образом, что эхо от каждого выстрела долго перекатывалось в горах, и при этом в определенном ритме, так как расстояние между горами разное. И так получалось, что эхо доносились в ритме аллегretto из 7-й симфонии Бетховена. Это производило такое мистическое впечатление, как будто русский солдат играет на ксилофонах Судетских гор. Я был настолько заворожен, что хотя и смертельно устал в тот день, все равно долго не мог уснуть ночью.

Наши войска продвигались все ближе к Берлину. Я прочитал в каких-то мемуарах, что против Берлина было выставлено 150 тысяч стволов и что наш участок был очень важный. Было три важных участка: Берлинский, Сандамирский и наш (уже забыл, как этот город назывался). И вот моя рота оказалась в пригороде небольшого городка Пенциг. За спиной у нас лес, а впереди за нейтралкой, на небольшом расстоянии от линии фронта немцы соорудили на холме крепчайшие пулеметные гнезда — бревна в три наката и бетон. А у подножия холма заложили минные поля. Попробуй сунуться туда пехотой, ни от кого ничего не останется. Но почему-то было решено артподготовку не проводить. Наша рота получила приказ штурмовать ночью эту высоту. Командир собрал нас на опушке леса и произнес напутственное слово: «Завтра 19 апреля. До конца войны недалеко, вы должны понимать, что надо дожить до победы. Не будьте разинями, смотрите в оба, потому что ваши головы нужны не в кустах, а на Родине». Нас в роте было 120 человек. Меня капитан Иванов почему-то очень уважал, и обходя стрелковую линию, два километра нашей обороны в 6 утра и в 12 ночи, он каждый раз здоровался со мной за руку, как со своим хорошим знакомым. Мы снялись в полночь и двинулись через нейтральную полосу. Я как-то раньше не представлял себе, насколько трудно по ней идти. Вся земля была изрыта взрывами снарядов и мин, переворочена танками. Идешь, и вот только что было высоко, но вдруг проваливаешься по колено, только нащупаешь, что вроде бы низко, бац — опять высоко, еле ногой перешагнешь. Часа через два уже никакая воля не участвовала в том, что мы шли. Наши тела шли сами по себе, а душа витала невесть где. Ни луны, ни звезд — полный мрак. Но это давало возможность продвигаться незаметно. На наше счастье в эту ночь не запускали осветительных ракет. И так мы шли, бог знает сколько, когда вдруг команда: «Ложись!» Только мы залегли, засвистели мины: громче, громче, громче и взорвались где-то позади нас. И вот что интересно: пролетая над нами, они брали, так называемый, уменьшенный септаккорд: си—ре—фа—ля бемоль. Снижаясь синхронно и меняя высоту, они как будто играли на скрипке хроматическую гамму. Потом был второй залп. Я лежал, упираясь в землю козырьком каски, и вдыхал запах почвы. Как чудесно она пахла начинающейся весной. И вдруг я провалился в сон, спокойный ангельский сон. Ну, сколько я мог спать? Минут десять. Я не слышал очередных залпов — их, наверное, было штук пять, не меньше. А перед этим я вообще трое суток не спал, и выспался, как за целую ночь. Вдруг опять залп, свист мин все ближе и ближе,

и они рвутся где-то совсем рядом. Взрывная волна шарахнула с такой силой, что контузило нашего капитана. Он оглох, а осколком пробило ему руку. Старший лейтенант сразу скомандовал: «Шесть человек — плащ-палатку!» — подняли командира, хотели тащить в лазарет, а он: «Да вы что! Этому не бывать. Где рота, там буду и я». Как-то перебинтовали ему руку (ранение было не очень сильное), остановили кровь. Он говорит: «Ну что, ребята? Наше дело солдатское — надо идти вперед». И мы пошли. Полный мрак. А еще от минных разрывов в воздухе висит туча взрывной пыли, и она не оседает, а раскаленная плавает в воздухе.

Вскоре мы поняли, что оглохший капитан командовать не может, и это был тяжелый психический удар. Его заместителя по строевой убило, лейтенанты растерялись — при живом командире что-то не так сделаешь, и что потом будет. Вообще при живом командире командовать не разрешается. Если он убит, то можно взять что-то на себя, а он живой, но не может командовать. И ни туда, и ни сюда. Пересекая нейтралку, мы несколько раз меняли направление и постепенно приблизились к минным заграждениям. Мы вышли в полночь, а до края минного поля добрались перед рассветом. И было ощущение какого-то мистического ужаса, ни на что не похожего, как будто мы перешли куда-то на тот свет — крошечный мрак, ничего нет, ничего не понятно, и неизвестно, что делать. Немцы, вероятно, под утро задремали. Мы залегли один от другого на расстоянии вытянутых рук, растянулись на километр. И не знаешь, что делать дальше — никто ничего не командует.

По материалам историка Бориса Соколова в Интернете на «Грани. Ру»

Маршал Рокоссовский писал в своих мемуарах, что штрафные роты часто использовались для разведки боем, их бросали на неподдавленную систему обороны противника, практически на верную смерть. Эти самоистребительные атаки описаны во многих документах и литературе. Американский генерал армии Дуайт Эйзенхауэр в своей книге «Крестовый поход в Европу» передает одну из своих бесед с маршалом Жуковым. Эйзенхауэр поразил русский метод преодоления минных полей, о котором рассказывал ему Жуков. Прорваться через эти поля было делом трудным. В основном они служили препятствием для танков, и мины взрывались только под громадным весом орудий. Но немцы усеивали эти поля еще и противопехотными минами, чтобы сдерживать продвижение саперов при разминировании. Жуков рассказывал, что перед тем как посылать саперов, часто через минные поля посылали в атаку штрафные роты. Солдаты подрывались на минах и ценой своей жизни открывали проход саперам. Они шли в атаку по минному полю так, как будто его вообще не было. Как ни бесчеловечна такая военная «доктрина» и как ни велики были потери, Жуков считал это весьма приемлемым. Прославленному маршалу принадлежали печально известные слова: «Солдат не жалеет — русские бабы новых нарождают».

...Прошло минуты две-три с тех пор, как мы залегли у края минного поля, и вдруг у кого-то не выдержали нервы, и он по глупости без команды пальнул в сторону высоты. Все приняли это за сигнал и тоже стали стрелять. Ну и с этого началась наша гибель впрямую. Немцы проснулись и увидели, где мы лежим, потому что выстрел выдает стрелка. Они ответили на наш огонь, и оказалось, что у них на высоте четыре пулеметных гнезда... Немцы стали выбивать наших. Вот я слышу, слева от меня застонал один, где-то через три человека — другой, застонали там и там... Слева от меня лежал капитан Рыжов, который, не знаю за что, был разжалован в рядовые. Наш командир, чтобы не унижать его, не зачислил капитана ни в какой взвод, а определил его как отдельную огневую единицу. Дал ему пулемет Дегтярева, и тот не подчинялся никому, кроме командира. Рыжов знал, что я пленный, и может быть поэтому питал ко мне отвращение. Он был ужасно, смертельно удручен тем, что с ним приключилось. В бою никогда не надевал каску. Все надевают, а он нет — как будто играл со смертью.

В свободное время, на привале, к нему сбегались картежники, и они начинали резаться в карты. Кто-то из ребят под откосом дороги нашел чемодан, набитый тысячами немецких марок. Может какой-то немец ограбил банк, убежал и был убит, или еще что-то с ним случилось. На эти марки они играли — поделили каждому по стопке. Но что получалось? Этот капитан обыгрывал всех — все деньги оказывались у него. Тогда он раздавал всем обратно эти деньги, они играли заново, и опять он выигрывал. Я еще подумал: «Ой, не к добру такое везение».

И вот судьба выбрала, чтобы мы лежали рядом на краю этого минного поля. Он понимал, что если выдаст себя пулеметной очередью, то на нем скрестятся все четыре ствола, и его обязательно убьют. Вероятно, предчувствуя свою скорую гибель, он велел мне отползти от него метра на три и стал строчить из пулемета, но не по высоте, а по минному полю. Я был настолько неопытный, что не понял, зачем он это делает. Позже мне объяснили, что он хотел прострелить коридор в этом минном поле. Когда он попал в ближайшую от нас противотанковую мину, громадная масса взрывчатки взорвалась с таким мощным грохотом и так близко, что я наполовину оглох. Осколком этой мины капитана Рыжова убило. Стало так страшно — не то что там за жизнь, а что это — конец света. До рассвета оставалось не больше получаса. Как только станет светло, рота будет у немцев как на ладони, и нас перестреляют всех до одного. Отступить тоже было нельзя — грозный Генералиссимус издал приказ «Ни шагу назад!» — и заградительные отряды смершевцев, следуя на расстоянии за спинами атакующих, расстреливали всех, кто пытался отходить.

У нас тоже был свой заградовец, лейтенант. Он перед боем вскинул автомат и заорал: «Имейте в виду, что я не пожалею никого, если кто-то повернет в тыл, уложу на месте». Я стал лихорадочно соображать, есть ли шанс переползти через это минное поле. Просунул руку за колючую проволоку, пошарил туда-сюда и понял, что это был деревенский огород. Оказалось, что там грядки и между ними утоптанная стежка прямо напротив меня. Получалось так, что если лечь на бок, то можно рискнуть проползти по ней.

Я подумал, что надо попытаться проползти через минное поле и хоть половину из четырех пулеметов заглушить. Набил гранатами сумку от противогаза, взял с собой фаустпатрон и пополз. Стежка узенькая, но утоптана плотно. Сначала крайне осторожно вытягиваю вперед правую руку, ощупываю почву, чтобы только чуть-чуть ошутить мину, если она есть, но не торкнуть ее. Ползу я на боку и волоком тащу за собой фаустпатрон и сумку с гранатами. Напряжение безумное. Ну и, конечно, мне кажется, что ползу уже целую вечность. Каждый раз, прежде чем сдвинуться, вытягивал руку вперед и ощупывал дорожку. И тут я ощутил под рукой пыль и понял, что огороды кончились и я дополз до дорожной колеи, до обыкновенной проселочной дороги. Осторожно, без единого звука я пересек ее и, невидимый в темноте, подобрался на расстояние дюжины метров от ближайших двух пулеметных гнезд. Гранату можно было добросить спокойно. Эти гнезда были рядом, и я даже слышал, как немцы разговаривали. Трудно, конечно, уловить весь смысл — я немецкий на шахте только чуть-чуть освоил. Но понял, что один из них пожилой, может быть крестьянин или шахтер. Потому что у него произношение было такое, как у шахтеров. А другой совсем молоденький. Молодой недоумевал и что-то спрашивал: «Что, мол, здесь происходит?» А тот ему что-то отвечал. Молодой вроде бы спрашивал: «Какой смысл, война-то явно проиграна, зачем мы тут еще друг друга убиваем?» А пожилой ему ответил: «Эта война проиграна не вчера, а 22 июня 41-го года. Ее не надо было начинать». Ну и я на их голоса бросил гранаты. Я точно не знал, где кто, очевидно, убил обоих.

На меня нападает звериная уверенность, что там все кончено. Бегу к другим точкам, прыгиваю в траншею, там никого нет, стоит фаустпатрон, подбираю его и иду в глубину дальше. Впереди третья точка, и четвертая на горе. В третьей я немца прикончил — он и опомниться не успел. Я не подходил к нему так уж близко, только издали швырнул в него гранату и побежал в гору к четвертому. А у того только голова видна на фоне неба, чуть выше уровня траншеи. В момент, когда я возник, он достреливал последний десяток патронов и меня не заметил. Пули летели надо

мной — он стрелял по нашей цепи. А когда перестал стрелять, настала внезапная тишина. Чтобы держать фаустпатрон двумя руками, я приставил второй к стенке траншеи, отчего на доски пола посыпалось немного земли. Было видно, как немец сразу дернулся от этого звука — понял и увидел, что я рядом. А в это время у него кончилась обойма. Он начинает выдергивать магазин, но от страха у него так дрожат руки, что он не может выдрать. Пока он его вынет и перезарядит, мне надо успеть схватить свой фаустпатрон, уложить на плече, направить и нажать пусковой крючок. Слышу, он выдернул магазин, тарахтит новым, не может его вставить, вставил, сейчас нажмет на курок. На долю секунды раньше я выстрелил в него. Он отшатнулся от выхлопного пламени, и балабоша от моего фаустпатрона пролетела мимо него, а пули, которыми он метил в меня, просвистели над моей каской. Он опять начинает тарахтеть уже пустым магазином. В магазине где-то десятка два пуль, это рожок типа Калашникова. Он тарахтит пустым рожком, наконец выбросил его, вставляет новый. Мне надо в это время бросить использованный фаустпатрон, дотянуться до второго, вскинуть его на плечо, и я вижу, что не успеваю, и стреляю поэтому из-под руки. На этот раз балабоша ударяет его в грудь, убитый, он падает на дно траншеи, а его автомат, зажатый в мертвых руках, продолжает стрелять, и чем ниже он падал, тем выше в зенит уходили пули. А балабоша, ударив немца, отскочила в яму с запасом гранат. Они так рванули, такой получился взрыв, что бревна в три наката разлетались в черноту неба, как городошные биты. И почему-то стало светло, как днем, и свет какой-то мигающий. Впечатление такое, что едет на эту горку машина с включенными фарами, ее трясет, и свет мигает. Но я же понимаю, что этого не может быть. А что ж это такое? Вдруг замечаю, что близко от меня в траншее тоже светло. Оказывается, я весь горю, как факел. Вся моя одежда горит. Ну, я в таком возбуждении, что ожога не чувствую, а просто соображаю остатками мозгов. Дело в том, что пламя при выстреле из фаустпатрона вырывается как вперед, так и назад. Когда стреляешь с плеча, оно улетает за спину, а я в спешке держал фаустпатрон перед собой, и пламя охватило одежду. Я стал срывать с себя одежду. Буквально за секунды был абсолютно ни в чем, голый. Остались башмаки и на голове каска — больше ничего. В кармане был портрет сестры Веры, он тоже сгорел в этом переполохе. В другом кармане была граната, оставленная для себя. Слава Богу, она не взорвалась. Назад к своим пошел уже, как Адам. Дошел до того места, где переползал, подумал, черт его знает, может, где-то еще что-то осталось? Потом решил, да будь что будет, пошел и не взорвался.

НАГРАДНОЙ ЛИСТ¹

- | | |
|---|---|
| 1. Фамилие Имя Отчество | <i>Гурьев Григорий Аркадьевич</i> |
| 2. Звание | <i>Рядовой</i> |
| 3. Должность и часть | <i>Стрелок 19 Отдельной Штрафной Роты</i> |
| 4. Представляется к Правительственной награде «Медаль За Отвагу» | |
| 5. Год рождения 1915, Национальность | <i>Русский</i> |
| 6. Партийность | <i>б/п</i> |
| 7. Участие в гражданской войне и последующие боевые действия по защите СССР | |
| в отечественной войне /когда и где/ | <i>в Отечественной войне с 1941 г.</i> |
| 8. Имеет ли ранения, контузии | |
| в отечественной войне | <i>Ранен 19.04.45 г.</i> |
| 9. С какого времени в Красной армии | <i>1941</i> |
| 10. Каким РВК призван | <i>Октябрьским РВК г. Киева</i> |
| 11. Чем ранее награжден | <i>нет</i> |
| 12. Постоянный домашний адрес | <i>.....</i> |

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или Заслуг.

¹ Копия. Орфография сохранена.

В боях за населенный пункт Пенцих Гурьев лично уничтожил два пулеметных гнезда фауст патроном, он в рукопашном бою убил три немца и увлек за собой бойцов на уничтожение противника. Гурьев заслуживает правительственной награды медаль За Отвагу

Командир 19 ОНШР

Гвардии капитан Иванов.

От автора

В описании капитаном Ивановым подвига рядового Гурьева есть некоторые несоответствия с рассказом самого Гурьева, но такие небольшие расхождения в условиях боевых действий случались нередко.

10. Григорий Гурьев

Я пришел с высоты в расположение роты в каком-то полоумном состоянии. Была полная потеря сил. Наш капитан, как только стало ясно, что высота заглущена, поднял роту в атаку. Правее и левее шли в наступление регулярные части, загремело «ура», тысячи глоток, не хуже артподготовки. Кругом было много раненых. Я наткнулся на двух елдашей, они тащили тяжело раненного, опустили его и говорят: «Он все равно мертвый». Я с трудом узнал в нем Сергея Громова. А было слышно, что он еще хрипит, не стонет — хрипит. Я стал на них орать, чуть голос не сорвал. Заставил снова поднять его и нести за руки и за плечи, а сам тащил за ноги, откуда только силы взялись. Кровь пропитала его шинель насквозь, каплет на землю, он выскальзывает из рук, его невозможно удержать, запах крови ужасный. Мы тащили его через лес километра два до медсанбата, хотя никакого шанса, что он останется жить, не могло быть. Этот Громов до штрафной был артиллеристом в звании лейтенанта. По иронии судьбы у него и голос при такой фамилии был громоподобный. Когда нужно было гаркнуть «огонь!», его голос перекрывал любой грохот. Он участвовал в форсировании Днепра. Когда начался штурм, ему удалось одним из первых со своей пушкой и еще с двумя бойцами переправиться и занять такое углубление в обрыве высокого берега, что немецкие пулеметы, расставленные по самому краю обрыва, не могли их достать. Пушку Громов выдвигал только для того, чтобы шарахнуть по какому-то куску обрыва, разметать его вместе с фрицами и их пулеметами и сразу спрятаться обратно в укрытие. Напарников Громова убило, а он держался там трое суток, пока не подплыло подкрепление. За Днепр Сергею Громову дали звание Героя Советского Союза. Он дошел со своей пушкой до Польши. Когда наши войска проходили парадным строем по Варшаве, не все солдаты шли в строю. Ко многим, кто шел сам по себе, подбегали польки, иногда по две, по три, обнимали, угощали чем-нибудь, в том числе и водкой. Громов тоже шел по обочине, какие-то женщины его обняли, расцеловали и поднесли стакан водки. А он до этого трое суток не спал, не ел и не пил — шел бой, и он метался в безумном напряжении, волоча пушку то туда, то сюда... Сергей выпил и сразу потерял сознание. Абсолютно. Эти женщины занесли его во двор, уложили, и он проспал сутки, не просыпаясь. А его уже стали искать. Когда он, наконец, проснулся, то вылил на себя ведро воды и побежал догонять своих. Так ему пришили самоволку, сорвали погоны перед строем и отправили в штрафную роту.

После того как мы Громова притащили в санбат, я почувствовал, что моя боль от ожогов слегка унялась, уже не было так нестерпимо больно, я уже не горю, а так — неприятно. Запыханный, голый, весь измазанный кровью, я нашел каптерку и попросил старшину меня одеть. Во всех каптерках командовали хохлы, такие дядьки из деревни, практичные, методичные, спокойные, они все упорно говорили на украинском, кто к ним ни придет. Старшина посмотрел на меня: «Та ні, на тебе немає, четвертий зріст програвав війну, а виграє зараз другий. Зараз усі отакі маленькі воюють».

Он долго копался, перебирал, что почище, потому что многое было запятнано кровью. Но все-таки нашел мне какие-то штаны и гимнастерку с рукавами чуть ниже локтей.

От Советского Информбюро 19 апреля 1945 года

... в течение дня 19 апреля войска командующих Конева и Жукова завершили прорыв вражеской обороны и начали маневр на окружение главных сил берлинской группировки противника...

11. Григорий Гурьев

В первый госпиталь, куда я попал, меня не взяли. Не везде могли лечить ожоги такие, как у меня. Только в шестой по счету, который был для танкистов (они почти все обгорают), меня наконец приняли. Привезли со мной одного парнишку — у него все лицо было просто черное, уцелело только то, что было укрыто шлемом, чудом уцелели глаза. И вот когда мы туда прибыли поздно вечером, там уже никого не было, только одна медсестра. Такая крепкая девчонка, деревенского типа. Ну, мне надо было раздеться, а при девушке было стыдно, я не мог себя преодолеть. Она вдруг страшно возмутилась: «Да нужен ты мне, прости Господи! Вас тут знаешь, сколько за день проходит. Я уже с ног валюсь». Эта девушка, в конце концов, как-то справилась со мной, терпеливо поливала мои раны перекисью водорода, чтобы не так больно было отрывать приставшие к ранам бинты, дала мне чистое белье и отвела туда, где есть свободные места.

Госпиталь этот был размещен в старинном замке, построенном в эпоху Возрождения, округлые окна, округлые двери. Утром вновь поступивших вызвали к главврачу, в огромный зал, потолок вдвое выше наших. Главврач — женщина, писаная красавица. Такая, перед которой хочется упасть на колени. Она сидит за огромным столом в старинном графском кресле. Я вспоминаю этот госпиталь с каким-то особенным чувством, как что-то сказочное и волшебное. Это был один из самых светлых отрезков в моей жизни. Когда-то там была хорошая библиотека, которую всю выбросили во двор под забор. Книги были насыпаны, как гурты картошки, в рост человека. Я высмотрел среди них гутенберговское издание сочинений Декарта и старинный экземпляр Библии. Было так интересно брать в руки гутенберговский оттиск — от него исходил такой мистический священный аромат, жалко было выпускать из рук. Когда я наткнулся на воспоминания жены Баха, то взял их с собой, внимательно прочел, а потом принес и положил обратно.

По всему замку порхали медсестры. Каждый день у них были новые, постиранные, выглаженные и накрахмаленные халаты. Каждый день новые косынки. У всех были туфельки одной фабрики, у каждой строго по размеру. Очень красивые туфельки. Для нас было наслаждением видеть их то идущих по каким-то своим заботам через двор, то избегающих по лестницам, весь замок был наполнен ими. И это такое сияние все время, как будто находишься не на земле, а где-то по дороге к небесам. Думаю, каждому, не только мне, они казались ангелами. Разговаривали они с нами нежно, как с маленькими детьми. Узнавали, как нас зовут, и сразу давали уменьшительные имена. Меня они называли Гришенькой, и мне это было чуть ли не до слез. Понемножку я начал этот госпиталь изучать. Над небольшим прудом стояли домики, в которых разместился обслуживающий персонал. Один из домиков был полуразрушен и пустовал. В нем, видно, жила семья священника. В своих блужданиях я зашел в этот дом и разглядывал, как они жили. В комнате слева от окна стояло пианино, а справа были книжные полки, две или три из них занимали ноты. Там были все композиторы, в том числе и Чайковский. Я несколько раз заходил туда для настроения, перебирал эти ноты. Середину комнаты занимал стол, там лежала раскрытая Библия. Перед домом в садике зияла воронка от бомбы. На полу рядом с раскрытым пианино валялись ноктюрны Шопена, по краям пюпитра стояли две оплывшие свечи. Вероятно, жена пастора играла, когда произошел взрыв, а он, наверное, читал Библию. Клавиатура была усыпана штукатуркой, упавшей с потолка. Вряд ли они с мужем могли уцелеть при таком взрыве. У них в садике стояла Мадонна, и воронка от бомбы подошла вплотную к постаменту. Мадонна оказалась на самом краю пропасти, весь постамент избит осколками, а у нее на складках плаща только несколько царапин.

Мне не раз приходилось слышать, что во время бомбежек и обстрелов, бывало, все сровняют с землей, кругом воронки, и только одна Мадонна стоит нетронутой. Это какая-то мистика. В госпитале я впервые услышал Гимн Советского Союза. У нас лежал тяжело раненный генерал. Его когда хоронили, то играли Гимн, и я впервые его услышал. Музыку играют, только когда хоронят больших командиров. Солдатам играть некогда.

Вокруг замка по ночам ходил часовой, молодой паренек с Украины, и однажды перед рассветом он вдруг стал строчить из автомата в небо... Я высовываюсь из окна, уже было тепло, окна открыты. Говорю: «Ти що — з глузду з'їхав?». А он кричит: «Ты послушай!», — и перестал стрелять. И я слышу, стреляют везде, где-то далеко, аж до горизонта. Из автоматов, из винтовок, пушки где-то громяют.

Оказалось — это Победа! Конец войне!

Из госпиталя старались выписывать всех, кто мало-мальски успел поправиться. Мои раны еще побаливали, но уже затянулись настолько тонкой розовой кожей, что я даже боялся эти места мыть. Они еще долго оставались такими, а шрамы сошли лет через двадцать. После госпиталя я попал в запасной полк. Он размещался в школе, совершенно такой, как наши, такие же коридоры, классы, учительская. Сюда приходили запросы из других полков, и людей отправляли по требованию, кого куда.

В свободное время я разгуливал по школе и набрел на музыкальный класс. Там было пианино, стол письменный. На пианино лежала такая толстенная книжка: «Сто немецких народных песен». Пересмотрев ноты всех этих песен, я вдруг понял, почему наши гармонисты не могли играть на немецких гармошках. Сейчас уже прошло столько лет после войны, а тогда было только четыре года после консерватории, все еще было свежо в памяти, и я ноты читал хорошо и свободно. Я увидел, что ни в одной из их песен нет минора, сплошной мажор. И я понял, что у немецких гармоний соответственно другой настрой — безминорный, отличный от строя наших инструментов. И стало понятно, почему наши гармонисты, играя на трофейных гармошках, всякий раз спотыкались, когда случались минорные места в русских или украинских песнях. Я был поражен, передо мной было целое открытие. Меня обуюла такая радость от того, что держа в руках эти ноты, я пришел к интереснейшей гипотезе: на музыку величайшим образом влияет климат. Что такое мажор? Это солнце, свет и тепло. Что такое минор? Это сумрак и печаль, луна, полумрак или вообще мрак. Ленин придумал, что искусство — это якобы отражение действительности. Так что же, например, должны отражать песни чукчей? Ледяную стужу, в которой они живут, мороз под пятьдесят градусов, беспросветный мрак полярных ночей длиною по полгода... Такие должны быть у них песни? А у них таких песен нет. У них нет ни одной ноты минора, только мажор. Почему? Потому что им хочется солнца, тепла и света. И они вкладывают это в свои песни. Таким образом, искусство есть не столько отражение действительности, сколько выражение того, чего нам недостает в этой действительности, чего мы лишены или о чем мечтаем. И у финнов, и у других северян все больше мажор. У русских появляется немножко минора. В Украине минор занимает половину, в Греции он почти сплошной. А туркам и на Ближнем Востоке, там уже минора мало, там уже такая жара, что они минор еще больше пригибают, понижая квинту на полтона. А когда украинские казаки побывали в турецком плену, они уловили этот момент, и он просочился в украинскую музыку.

Пораженный своим открытием и так, от нечего делать, я стал наигрывать на пианино какие-то песенки из альбома. Вошел солдатик, тоже из запасных, послушал: «Ты что, немецкие ноты понимаешь?». А я говорю: «Сами ноты, они не немецкие. Они такие же и в Италии, и в Англии — и во всем мире, это своего рода особый язык». Он был очень удивлен, что есть, оказывается, такой особый музыкальный язык, который могут понимать люди из самых разных стран. Заходит второй солдатик, третий, собралось их уже человек семь. Я продолжаю играть, объясняю им что-то, и тут входит политрук. Посмотрел и так строго спрашивает: «Чем это вы тут занимаетесь?» Хлопцы сразу врассыпную. Остался я с ним один. Он и говорит: «Ты что, пропагандируешь фашистскую музыку?» Я отвечаю, что при чем тут фашистская, это народные песни,

их сочинили столетия назад, когда фашистами еще и не пахло. «Ну-ну» — забирает меня в свой кабинет, ставит по стойке смирно и целый час читает нотации: «Ты хоть понимаешь, что происходит? Мы их победили, мы доказали всему миру свою правоту. А ты, выходит, еще сомневаешься? А вот мы в Сталинграде почему-то не сомневались. А уж как было трудно, что рассказать нельзя. А все-таки мы не сомневались в своей победе. А ты уже после победы сомневаешься. Плохи твои дела». Мне так обидно стало: «Был ли он, сука, сам хоть раз в том огненном аду»?.. Я даже почувствовал, что слеза начинает прошибать. В общем, он закончил отчитывать и приказал сбрить усы. На фронте можно было ходить с усами, там было просто неудобно обижать людей, уж надо было как-то терпеть, но это оказывается не по уставу. На передовой было можно, а тут уже нельзя.

Из запасного полка попал я в полк «Александра Невского». Дали мне автомат с номером «514» — это очень ранняя серия. Кусок приклада был отбит пулей. Идем по проселку, и какой-то солдат нагоняет меня и кричит: «Эй, ты 514?» — «А как ты знаешь?» — «Да твой автомат когда-то был моим, он мне жизнь спас. Он висел у меня на груди, когда пуля шарахнула в приклад, она отрикошетила и в сердце не попала». Это ж надо такое — кончилась война, этот автомат кантовался где-то по складам, этого солдата отмотало туда-сюда, и вдруг такая встреча.

Случайно я узнал, что не так далеко от городка, в котором разместился наш полк, стоит в лесу, в доме отдыха шахтеров, моя бывшая, ставшая мне родной штрафная рота. Отпросился у командира и отправился к ним. Сначала ехал через город на трамвае. И было очень смешно: это был заграничный город, заграничные дома, заграничная кондукторша. Она чистюленькая, причесанная, сверкающая, добродушная, как будто ничего не было. А ведь только что тут гремела война. Она ходит по этому трамваю, продает билетки, точно так, как у нас дома до войны. В этом был даже какой-то абсурдизм. Горожане билеты покупают, а мы ездили даром, потому что никаких денег у нас не было. Проехали через реку, через городок, и дальше я уже пошел пешком. Захожу в двухэтажный дом отдыха, спрашиваю: «Это рота такая-то?» — «Да». — «Капитан есть». — «Есть». У нашего командира рука зажила, и речь восстановилась, но он неохотно говорил, ему трудно было, как-то так немножко нараспев стал говорить и очень немногословно. Он стал расспрашивать меня: «Как это у вас получилось? Вы знали, что Рыжов ценой своей жизни сделал в минном поле коридор?» — «Не знал, я не понял, подумал, что мне просто повезло». — «Как же вы решились ползти прямо на минное поле? Я понимаю, если бы вы знали про коридор, и то страшно. И как же вы не знали, вроде бы рядом лежали?» — «Я не понимал. Что-то взрывается, каждый раз оглушает, я таких взрывов близко не слышал. Это тяжелые мины, артиллерийские. У них ужасная сила разрыва. Когда взорвалась мина совсем близко от нас, Рыжова убило осколком». — «Я дал ему задание прострелить коридор в этом минном поле, чтоб мы могли потом пробежать бегом. Под обстрелом, но бежать — это ж не ползти — всех не перестреляют. Конечно, и мины еще где-то оставались». — «Ну, а я подумал, что до рассвета не больше получаса, и надо рискнуть и попытаться заглушить этих пулеметчиков».

На прощанье капитан Иванов сказал, чтобы я, как только приеду домой, написал ему, как устроился. Несколько дней наш 793-й полк шел на восток, шли, сколько успеем за день, останавливались, находили в лесу место какое-то, варили обед, ночевали.

Потом нас бросили на уборку урожая. Вышло постановление Сталина, что на этой земле, политой нашей кровью, надо собрать хлеб. Кто-то из офицеров оказался агрономом в миру... Много нашлось людей, которые умели косить. Я попробовал, у меня не получилось. Потом нашли молотилку, молотили... Снопы вязали немецкие девчата. Где-то нашли мельницу, намолоти муки, стали из этой муки печь хлеб. Замечательный сорт, такой у нас рос на Волге до войны. Это такой хлеб, что когда отрежешь ломоть, прижмешь от корки до корки, отпустишь, и он подымается обратно, необыкновенно вкусный и ароматный. Адьютант нашего капитана Роман заметил, что я по вечерам отлучаюсь куда-то, и спрашивает: «Ты куда ходишь?» А я

набрел в одном брошенном доме на маленький рояль и ходил туда играть. Он пошел со мной, послушал и говорит: «Надо забрать его к нам. Сейчас никакой власти нет, не все ли равно, где ему стоять?» У него была пролетка, в которой он возил капитана, такая, в каких помещики ездили. Мы поехали туда, рояльчик поставили на пролетку, перетянули вожжами, сами как-то взгромоздились и поехали. А дорога шла мимо оккупационной комендатуры, и оттуда стали нам кричать, чтоб мы остановились. А Роман был битый парень, говорит: «Отнимут рояль, им сто раз не надо, но отнимут...» И кричит: «Тпру, тпру», делает вид, что тянет вожжи, а сам их отпустил и хлестанул лошадей. И мы ускакали. Стрелять они в нас не стали. В воздух пару раз выстрелили...

И мы привезли рояль к нам. Поставили в дом богатого крестьянина. Там была прихожая, было место, где его поставить. Я на нем играл, что помнил и что новое узнал. «Я по свету немало хаживал»... Все конечно подпевали. Там был солдат, склонный к мечтательности, здоровенный такой детина. Он часто просил меня, чтобы я сыграл «Пускай могила меня накажет»... А напоследок, на всякий случай, я играл гимн Советского Союза: «...нас вырастил Сталин, на труд и на подвиг...» и так далее. Так мы работали, а потом, когда урожай собрали, стали ожидать отправки домой. И каждый вечер я блаженствовал возле этого рояля. Через несколько дней объявили демобилизацию.

Когда мы шли строем на станцию, навстречу нам неожиданно из лесу вышла колонна власовцев, и шоссе поделилось на два противоположных людских потока. Их одели в немецкую форму, но иначе — брюки у них из того же сукна, но какие-то более свободные, а у немцев более в обтяжку. И вдруг Роман, этот адъютант капитана, выкрикивает какое-то имя, выбегает из строя, и на виду у всех догоняет власовцев и удаляется вместе с ними аж до горизонта. Вернулся он весь мокрый — так бежал. Оказалось, что в той колонне шел его брат. Двоюродный. Они с ним ровесники, рядом на парте просидели все десять классов. Я говорю: «Ну как же ты решился, бог знает, что теперь тебя ожидает?» — «Ну, а ты понимаешь, что он весточки о себе подать не сможет? И сколько он проживет, тоже неизвестно. А мать ведь ничего не знает. И он мне должен был рассказать всю свою историю за всю войну. Я должен был это выслушать, чтобы рассказать его маме». Вот такой эпизодище. Хотя старшего начальства рядом не оказалось, но донести всегда было кому. Роман мог дорого полатиться за свою дерзость. Какое мужество было у этого человека! Правда, никто и словом не обмолвился, это все были ребята, прошедшие войну, знающие цену всему — и жизни, и смерти. От Романа осталась мне на память его бритва, трофейная, немецкая. По сей день я ею бреюсь.

Накануне отъезда мы переночевали недалеко от железнодорожной станции в лесу, а на утро нас машинами стали перебрасывать на станцию для посадки в составы. Я понимал, что эти люди, все мы, представляли какой-то своеобразный единый организм, а теперь он перестает существовать, и мы разлучаемся навеки. Такое возникало ощущение, как будто впереди тяжелый бой в одиночку... Наступили минуты прощания. И вот эти мужчины, прошедшие все круги военного ада, стали обниматься, и многие плакать.

В Киеве я сошел с поезда и вышел на привокзальную площадь, откуда отрывался широкой вид на послевоенный город. Настроение этих первых минут возвращения было ошеломительным — старинный Киев был разбит вдребезги. Я не знал, где теперь живет моя семья, и просто пошел посмотреть на Крещатик, увидел там эти обгорелые руины. Потом пошел в Кудрявский переулок, где мы жили до войны и откуда я ушел воевать. Я подумал, что когда фрицев вышибли из Киева, то Рара с Валерой и мамой могли вернуться к себе домой. Дошел до угла, где, провожая меня на фронт, стояли Рара с Валеркой. И вдруг мне на шею бросилась женщина, подруга Рары. Она случайно проходила мимо и узнала меня. Она сказала, что мои здесь уже не живут, переехали на окраину города, и предложила меня туда проводить. «Они вернулись в тот старый дом, — рассказывала она, — который когда-то принадлежал их большой семье. Задолго до войны они все разъехались из него. Там есть кусок земли, можно сажать

картошку. Есть корова у знакомых людей, и можно брать для Валерки пол-литра молока в день...» Дверь нам открыла Наташа. На ее крик: «Гриша вернулся!» — из комнаты выскочила Рара. Она глянула на меня, покачала головой и обронила в сердцах: «Нет, это не он, зачем такие шутки...» Развернулась и ушла...

В тот день первым делом я помылся в городской бане, слава богу, она работала, а дома такого удобства не было. Снял все военное, откопал что-то гражданское. Потом как-то наново мы начали с Рарой знакомиться, подробностей я уже не помню.

Как выяснилось гораздо позже, Рара в то время уже была безнадежно больна. Если взвесить весь груз переживаний, которые она перенесла к своим двадцати шести годам: изгнание из художественного института, тяжелые роды, война, оккупация, обыск квартиры гестаповцами, голод, потом четыре года она ничего не знала, где я и что со мной — все это было гораздо больше, чем ее психика могла выдержать. Когда Рара сказала мне: «В таком качестве я тебя не ожидала, — она еще и добавила, — и, вообще, можешь убираться, куда угодно». Я действительно решил было уехать, но в паспорте мне отказали, начальник милиции сказал: «Поскольку ты был в оккупации и в плену, мы не можем знать достоверно, чем ты занимался, может быть, ты работал палачом или был полицаем. Уезжать из Киева тебе нельзя. Ты должен оставаться тут, ходить по улицам, возможно, тебя увидит человек, который знает, кем ты был на самом деле». Я пришел к нему в солдатском, так он говорит: «Какой ты солдат, для нас ты репатриант». При мне был военный билет и медаль, была положительная характеристика от командира роты, но все равно такие, как я, становились отверженными... Вместо паспорта мне дали какой-то клочок бумажки, и я каждый месяц должен был отчитываться, что не сбежал. Моему командиру я не стал обо всем этом писать, хотя он и просил сообщить, как я устроился. Ну, что я буду все это капитану рассказывать? Это его огорчит, а сделать он все равно ничего не может. Так я ему и не написал, а позже и адрес затерялся...

Новая мирная жизнь началась с того, что у меня в трамвае выкрали все документы. Но вору оказались совестливыми, денег они не нашли, посмотрели, что человек был на войне, куда ж ему без документов, и подбросили за загородочку, где обычно сидит кондукторша. И та вечером пришла и принесла их, все документы были на месте. Я так был ей благодарен, пытался какие-то деньжата дать, но она ни в какую: «Не смейте и думать». Слава богу, обошлось, потому что остаться еще и без документов, этого только не хватало. Отец Рары с дореволюционных времен был знаком с дядей Жорой, старым рабочим завода «Большевик». Он пошел к нему, посоветовался, и тот сказал: «Пусть завтра приходит на завод. Я вместе с ним пойду в отдел кадров». И вот меня, «репатрианта» без паспорта, по блату оформили чернорабочим в литейный цех, где я и остался на 25 лет.

Однажды, я уже не помню за что, Рара выгнала меня из дома, и я ночевал на заводе. Под вагранкой за смену насыпаются несгоревшие, но еще горячие мелкие угольки. Зимой было хорошо на них спать, хотя в самом цеху стоял холод, как на дворе. И так я там три ночи ночевал... Какие-то оставались копейки, и я в столовой брал обед. А потом мне сказали, что у проходной на улице Рара караулит, чтобы позвать меня домой. У меня тогда не было радости ни по какому поводу: ну пришла — пришла. Хочет, чтобы я вернулся — ну ладно, вернусь, завтра прогонит — я опять уйду.

Когда ее болезнь обострилась, она почти перестала есть. Это такой резкий симптом. Тогда же мне приснился сон, будто я смотрю большой альбом фотографий киноактрис, самых знаменитых. Листаю, листаю, и вдруг одна из них мне говорит: «А помнишь ли ты, как выглядит твоя жена?» Я силюсь вспомнить и не могу. «Видишь, не помнишь. А хочешь посмотреть, какая она была? Перелистни страницу». Перелистываю, и оказывается, что Рара среди них — прекрасный портрет. «Вот видишь, прошел всего год, а ты забыл».

И ровно через год после этого сна Рара умерла.

Раре было 35 лет. Когда ее хоронили, священник что-то читал по Библии, и я был поражен фразой: «Из пыли и праха возникает жизнь — совершается великое чудо, и снова все возвращается в прах». Бог знает, когда сказанная фраза, но какое-то жуткое

обобщение в этих нескольких словах. А когда все уже закончилось, я почувствовал что не в силах идти домой, войти в наш дом. И это как-то вязалось с той фразой. Я не вмещался в это происшествие. Я никак не мог заставить себя идти в сторону дома и пошел наугад мимо заводов, какими-то переулками... Шел-шел и оказался в районе платформы «Караваевы Дачи». Там в то время были лужайки. Очень много родников — вода просто журчала тут и там ... Я нашел какое-то поваленное дерево и сидел на нем до сумерек. Бог знает, сколько и чего я передумал. Потом пошел обратно на кладбище и оставался там целую неделю, не мог оттуда уйти...

До войны мы с Рарой жили недалеко от того места, где на высоком берегу Днепра стоит Андреевская церковь. Гуляя, мы любили туда заглянуть. К ней вели железные ступени, за столетия стертые наполовину, а в некоторых местах и до дыр. А через несколько лет после войны эту лестницу со стертыми ступенями, по которым и мы с Рарой так часто поднимались и сбегали вниз, привезли к нам в цех на переплавку. Вероятно, во время войны ее разбили шальные мины. Я сам отправлял эти ступени в огнедышащую печь. Наши войска, когда оставляли Киев, взорвали консерваторию. Там погибло больше ста роялей, а вместе с ними и новый, купленный в Чехословакии, орган. Чугунные рамы от роялей тоже переплавляли в нашем цеху. Через мои руки проходили остатки этих роялей. В пожаре дерево сторело, позолота облущилась, с чугунных рам свисали обрывки струн ... Наш цех все еще лежал в развалинах, и было просто удивительно и странно, что среди груды бетона и перекореженного железа горит огонь, плавится чугун и делается какая-то работа. В то первое время мы отливали всякого рода украшения для будущего, восстановленного Крещатика: уличные фонари и ажурные круглые решетки, что кладут на землю вокруг каштанов.

Наша ночная смена была горячей, мы выгружали плавку, с полуночи и до утра. Расплавленный металл пышет жаром, лица у всех красные, разгоряченные. Ну а в шесть часов утра, когда все сделано, идти домой, стучать и будить всех не хотелось, люди просыпаются где-то к восьми, а ключа у меня не было. Так я эти пару часов шел в стальцех и там в уголке, недалеко от печи, где не слишком жарко, дремал. И в это время приносили завтрак сталеварам. Ведра два картофельного пюре, полведра соленых огурцов. Ну и девочки не жалели — в миски кидали с горкой. А они знали, что я там сплю, и если не проснулся сам, так подходили, расталкивали меня: «Иди, получай завтрак». Хотя мне и не полагалось, но сталеварам, что им, жалко что ли. Такую я получал прикормку к своему суточному пайку — буханке черного хлеба. Это как-то позволяло держаться на ногах. Два раза в жизни я пережил карточки: в 33-м и в 47-м годах. Карточки отменили, мне кажется, когда собрали урожай 48-го года. И вот первый раз привезли серый хлеб, кирпичики. Свежий такой. Мы с приятелем взяли по буханке, и через пять минут от этих буханок ничего не осталось, так что после работы взяли еще по одной. Боже мой — это была такая радость!

От автора

Бабушка моей жены Нины оставалась при немцах в Киеве вместе со своим мужем сапожником, который прихрамывал и поэтому был непригоден к службе в армии. Она рассказывала, что после боев за Киев, где погибли сотни тысяч наших солдат, женщины подбирали с земли разбросанные повсюду солдатские шапки-ушанки и топили ими печь. Бабушка тоже принесла домой мешок этих шапок, взяла одну, чтобы бросить в печь, и не смогла, поняла, что у нее рука не поднимается кинуть ее в огонь. Однажды она увидела, что немцы пригнали к Днепру наших пленных солдат восстанавливать взорванный мост. Стоял мороз, а многие работали с голыми головами. Бабушка, тогда молодая женщина, пошла домой, взяла мешок с шапками, пришла к Днепру и хотя знала, что немцы могут ее убить, поднялась на сохранившийся у берега пролет моста, под которым возились пленные, сделала вид, что облокотилась на перила, и уронила мешок с шапками. Их сразу бросились расхватывать, а фрицы, сами заколоченные на морозе, не стали мешать.

Когда мне кто-нибудь говорит, что я совсем непрактичен, ничего не нашол за свою жизнь, нигде не смог «нагреть себе места», я отшучиваюсь и отвечаю: «Это все потому, что я еще не вернулся с войны»...

Золотые страницы «ДН»

Александр Ревич



* * *

Когда вперёд рванули танки,
кроша пространство, как стекло,
а в орудийной перебранке
под снегом землю затрясло,

когда в бреду или, вернее,
перегорев душой дотла,
на белом, чёрных строк чернее,
пехота встала и пошла,

нещадно матерясь и воя,
под взрыв, под пулю, под картечь,
кто думал, что над полем боя
незримый ангел вскинул меч?

Но всякий раз — не наяву ли? —
сквозь сон который год подряд
снега белеют, свищут пули,
а в небе ангелы летят.

Леонардо Дзаниер

Рассказы

С итальянского. Перевод Евгения Жаркова

Леонардо Дзаниер известен как поэт. Причем поэт диалектный: он пишет на фурлане, фриуланском диалекте, недоступном даже для большинства итальянских читателей. Его книги опубликованы на нескольких языках и известность получили в переводах, в том числе и на итальянский язык. Публикуемые здесь рассказы — из первого прозаического сборника Дзаниера. Они о войне. Это разрозненные воспоминания мальчишки Лео, который в те страшные годы ходил в школу и присматривался к жизни соседей.

Дзаниер родился в горном селе, где живут по особым правилам. Здесь не принято давать имена домашним животным, а в людях ценят сдержанность и немногословность. На обиду принято отвечать мстью, которая может тлеть столетиями и в любой момент вспыхнуть с разрушительной силой. Но и дружба здесь не пустой звук. Карния — особый мир.

На глазах у мальчишки происходят главные события XX века. Гремит мировая война. Его край находится на стороне Муссолини, а значит, Гитлера. Однако особой преданности режиму соседи не проявляют. Все заняты своим делом: отец Лео ходит в лес за дровами, отец одноклассника строит гробы. Толковый механик Челлони официально регистрирует «станцию техобслуживания», но здесь мастера «меняют затворы, как сегодня переставляют лобовое стекло, смазывают пулеметы, сыплют патроны в вещмешки, будто заливают в бак бензин». Работает школа, где вместо звонков бьет колокол ближайшей церкви.

Мальчишки знают больше всех — если взрослые еще прикидывают, чем кончится эта война, школьникам давно все ясно. В селе, как положено, есть свой чудака Гори и свой гений, старшеклассник Грыжа. Грыжа так научился пародировать официальные радиопередачи, что его заслушивают даже верные муссолинисты.

К 1944 году Италия уже не одна страна: где-то далеко есть столица, в ней восседает король, но премьер Муссолини вот-вот потеряет свое место. Гитлеру никто не симпатизирует: люди знают о вагонах, набитых итальянцами, направляемыми в Аушвиц. Во многих местах возникают «партизанские республики»: власть берут вооруженные бригады, не признающие официального правительства. Не все бойцы Сопротивления принадлежат к красным гарибальдийцам. Есть еще бадоляйцы, христиан-демократы, а есть и вовсе неопределившиеся, которым важно лишь, чтобы власть сменилась — а там будь, что будет.

Вскоре становится известно, что Муссолини казнен в Милане, а американцы обложили Флоренцию. Но в деревеньке жизнь течет по-прежнему: власти как не было, так и нет. Появляются какие-то «казаки», потом «грузины». Квартируют в домах и подбедают остатки продуктов. Жители Карнии не знают, что это одна и та же армия генерала Краснова. Для них «казаки» — это «монголы», а «грузины» — это «русские». Их родная Карния теперь почему-то называется «Казацкой землей». Все эти пришельцы какие-то странные, дикие, но если постараться, то и с ними можно найти общий язык. В воспоминаниях тех времен имеется запись: «Встречали с ненавистью, а провожали со слезами».

Но вот под давлением войск антигитлеровской коалиции казаки тоже уходят на северо-запад, в Швейцарию, где терпят сокрушительное поражение. Многих потом англичане взяли в плен, чтобы выдать Сталину. Тех, кто погиб в бою, хоронят у озера Гарда. Военное кладбище «казаков и партизан» существует до сих пор.

Не знающий предубеждений подросток чистым взглядом подмечает детали, но время от времени на помощь ему приходит сегодняшний, умудренный опытом Лео Дзаниер, нередко полемизируя с Лео тех лет, а иногда и напрямую обращаясь к сегодняшним читателям. Все рассказы названы именами главных героев: перед нами появляются люди, жившие полвека назад, но вполне узнаваемые и теперь.

В России рассказы Лео Дзаниера наверняка с интересом прочтут те, кто помнит рассказы своих дедов о войне: удивительно, сколь похоже она вторгается в жизнь людей по обе стороны фронта. Совсем по-новому читатель посмотрит на партизан и на русских казаков — не лучше и не хуже, просто по-новому.

А любители качественной литературы непременно оценят язык автора — плотный, насыщенный, с точными характеристиками и яркими деталями. Неудивительно, ведь это проза, написанная поэтом.

Евгений ЖАРКОВ

Грыжа

Вообще-то в церкви и в школьном журнале он Эцио. По фамилии Скрем. Его звали Эцио Скрем, но для нас он Грыжа. Кличка в жизни так прилипла к его настоящему имени, что полностью его вытеснила. Вот точно так же Сальве ди Нети даи Конте стал Поэтом, а мне повезло меньше: меня прозвали Персегин — это персиковая наливка по-нашему. Еще у нас в классе были Патела, Моша, Пицо — да мало ли кто. А в поселке жили Вуйна, Питер, Бако, Бакут, Броко, Чирибит, Вуадул, Бриель, Гриби и еще сотня ребят.

Часто прозвища передавались по наследству веками, несчетными поколениями. Эти присвоенные имена продлевали во времени память о каком-нибудь значительном человеке, мужчине или женщине, которые в свое время чем-то отметились в жизни. Клички полностью подменяли имена, пусть и не регистрировались официально. Они говорили о семье, из которой произошел человек: из Гонго, Пецилов, Паска, из семьи Паскинов, из Тинов. Кое-кому давали прозвища по существу — людей называли, угадывая, чем они станут, или, наоборот, чем не станут никогда: *Глист, Хлыщ, Какашкин, Вонька, Горбун, Обкурок, Монах, Маяк, Герцогенок, Цветик*. Были и простые имена, указывающие на происхождение: *даль Гет — из Гетто, да Склава — сын крестьянки, даль Рус — сын русского, ди Фаида — сын кровника, даль Негро — негритенок*.

Так оно и было, и сегодня так. Есть варианты и оттенки, но так люди зовут друг друга в любой стране, с учетом особенностей. Недавно на одной конференции меня спросили, чем мы, карнийцы и фриуланцы, отличаемся от других племен, к какому роду принадлежим? Ответ прост и ясен: ко всем сразу! А ведь теперь наши имена, звучащие так сильно, плотно, значительно, коверкаются на итальянский манер и оттесняются в сторону. Они не влезают в ящики картотек, так же как люди, эти имена носившие.

Вот и Грыжа такой — он сам по себе. На нашем языке его кличка звучит как Chila, и это может означать не только грыжу. Возможно, он аппендикс, возможно, опухоль. У нас говорят: *«Не делай из этого грыжу»*. Значит, говори короче. Значит, не воображай, что твои слова тут всем нужны. Не сотрясая воздух попусту, вернись на землю. Не впухай!

К нашему Грыже все это относилось в полной мере. Даже с запасом.

Но забудем о кличке, вернемся к самому Грыже. Мы с ним учились в одном

классе. В тот год мы поступили в пятый. Флоренцию уже обступили американцы, казаки делали вид, что в это не верят, а к нашим краям уверенно подходила весна.

Грыжа второгодник, он старше нас на два года как минимум. Он во всем разбирается лучше и навязчиво демонстрирует это, пожалуй, он вообще слегка навязчив. В девушках и женщинах он разбирается тоже. Знает, как они устроены и как что надо делать. Только не подумайте, что нам требовались пространные объяснения: в доме у каждого жили куры с петухами, кролики с крольчихами, овцы с баранами, козы с козлами, коровы с быками — стоило только взглянуть. Да и школа у нас была смешанная. Но Грыжа умел говорить, сдабривая слова картинками и плоским юмором. Он склеивал свой рассказ крепкими связками, не без похабства, конечно.

А наш завуч по воспитательной работе был монах. Его звали дон Спангаро по кличке Аниманера — значит Черная Душа. Говорят, в свои лучшие времена дон Спангаро был у фашистов важной шишкой. Но кличка досталась ему не от принадлежности к чернорубашечникам — скорее оттого, что лицо его было смуглым, а на голове он носил широкополую монашескую шляпу, тоже черную. Его черная мантия была застегнута на десятки пуговиц. (Помните считалочку, когда берешь пальцами пуговицы, одну за другой: «Брат — монах — пройдоха — вор...»?) Монахи тогда ходили в черных башмаках и черных гольфах грубой шерсти, даже летом. Дон Спангаро нам казался черствым и злым. Само собой, он не умел улыбаться, а понятия о дисциплине у него были сугубо военными.

Просто по аналогии, совершенно случайно, приходит на память — по правде, вовсе не добрую — наш военрук. Каждое воскресенье нас одевали в военную форму. Мы строились в шеренгу, как цирковые собачки, и изображали из себя солдат. У военрука было две клички: Бертут и Бертольд — обе приводили его в бешенство. На занятия он приходил в военной форме: в сапогах, феске, перчатках — все черное. А в руке кавалерийский хлыст, который оставил мне синюшную полосу поперек икр за то, что я громче всех ржал, пока Бертольд вешал о наших победах. Позже я не раз еще испробовал этот хлыст на себе.

Хлысту ничто не препятствовало, ведь мы ходили в бриджах: их шили из толстого сукна защитного цвета, но они едва доходили до колен. Каждый из нас был готов ко всему: мы бы дали живьем содрать с себя шкуру, лишь бы не усладить его слуха стоном, лишь бы не хныкнуть! А военруку это нравилось: похоже, он считал, что делает нас настоящими мужчинами, крепкими солдатами. Жизнь ничему его не научила — он и сейчас так думает. Просто лет ему уже много, пыл поугас.

Так вот. Дон Спангаро, Черная Душа, сам того не желая, внезапно стал участником Сопротивления. Об этом рассказывают по-разному, я передам одну из версий. Говорят, казаки вломились в церковь святого Георгия и стали хватать из ризницы кадила, потиры и все то, что было похоже на золото и серебро. Дон Спангаро преградил им путь, пытаясь отстоять церковное имущество. Ну, ясное дело, огреб по первое число. Отвезли бедолагу в больницу. А церковного сторожа, кстати, вообще оттащили на погост. В общем, несколько дней наш завуч никому на глаза не показывался.

Это стало главной новостью в школе, мы даже забыли об Аппелиусе. Кто такой Аппелиус и почему он нас так интересовал, я расскажу позже. А сейчас, для начала, скажу, что люди у нас в основном не поддерживали казаков и вовсе не одобряли разграбления церквей. Но то, что случилось, воспринимали как справедливое возмездие. Черной Душе никто не сочувствовал.

В один прекрасный день дон Спангаро нарисовался на вершине холма. Череп наполовину стриженный, наполовину бритый, весь в рубцах. Спекшаяся кровь вокруг рта, подтеки на щеках и под глазами. Мы времени зря не теряли: у нас для него уже была готова песенка. Исполняли все вместе, но запевалой был Грыжа.

Дон Черная Душа пешком пошел на гору,
Огреб от казаков полпуда помидоров...

Мотив мы позаимствовали из церковных песнопений. Если вдуматься, это был грегорианский хорал. Чтобы не упустить ни малейшей детали, мы пели в нос, подражая голосу завуча. После пары репетиций нам удалось даже изобразить канон. Мы так гордились собой, что исполнили наше произведение, когда Дон Спангаро, припадая на корягу в руке, сходил с холма по тропинке, которую у нас называют Клева. Исполнили специально для него.

Клева — это дорога, ведущая с гор (по-латыни *Clivium*). Ослиная тропка, взбирающаяся от поселка к скале Святого Георгия с развалинами античной крепости и проходящая через поместье Кастаньин, где в то время располагалась наша школа.

Однако вернемся к Грыже. У него был талант, который ценили все: Грыжа умел подражать голосам, звукам, шорохам, крикам животных. Лучше всех у него выходил Аппелиус. Этого персонажа и сегодня помнят все те, кому раз в месяц бросают в ящик конвертики из пенсионного фонда. Аппелиус был радиоведущим. В годы войны он проявил себя как виртуоз хамской фразы, наглый дядька, звездун, грубиян. Профессиональный трепач, достигший в своем ремесле совершенства, неслыханного и сегодня. Не буду спорить, до сих пор есть разные репортеры, которые дерзновенно вступают на ту же стезю, на тернистый путь красноречия, не щадя живота своего. Не исключено, что со временем и из них выйдет толк. Но пока, по сравнению с могучим Аппелиусом, они остаются дилетантами, не способными вызвать никаких чувств, кроме безразличия.

Радиопередачи Аппелиуса начинались, кончались и насыщались одним громким рыком: «Господи Боже, обрушь проклятье на голову англичан!» Он открывал свой час серией острых уколов — небрежных, но бьющих в цель. Они гвоздями скрепляли всю его несусветную чушь, замешенную на громовой фразе — скорее даже не на пропаганде, а просто на бреде и чумном резонерстве. Но бред Аппелиуса для нас делал очевидным Грыжа. У него это выходило лучше, чем у вражеского «Радио Лондон».

Сегодня другое дело: всем ясно, что Грыжа превосходил своего соперника не эстрадным талантом, не тем, что, оттеняя его, демонстрировал его нелепость. Нет, Грыжа показывал нам Аппелиуса дома в подштанниках — это все равно что сравнить радио и телевидение. Телевидения тогда еще не было.

Телевизор изобрел Грыжа. Ну, разве что некоторые технические вопросы были решены чуть позже. Думаете, не так? Думайте. Ведь все помнят, как китайцы прокомментировали выход на орбиту первого русского спутника: «Они просто усовершенствовали наше изобретение, сделанное две тысячи лет назад — они построили большую петарду для фейерверка». Так вот, Грыжа изобрел телевизор.

Чуть ниже школы стояла старая часовня. Грыжа взбирался на конек и начинал свою собственную передачу. Он изобрел телевизор, но не телесуфлера: в подсказках он не нуждался. Грыжа не читал, он сочинял на ходу. Начинал он с того, что собственной глоткой изображал фанфары и литавры полевого оркестра. Потом пропевал позывные EIAR, государственной радиовещательной компании. После этого Грыжа пересказывал заголовки новостей. Мы стояли рядом и тихо уписывались со смеху. Прогромыхав вступление, наш ведущий менял голос и прямо вещал Аппелиусом.

Для начала Грыжа взывал к Господу, чтоб тот обратил свой гневный взор на англичан, чтоб обратил как надо, чтоб сделал то, что государства Оси сделать сами не в силах. Сразу за фанфарами шли известия в таком роде: «Ошеломляющие победные удары по всем фронтам (перечень), при незначительных отступлениях (перечень), тактических, разумеется, на одну-две сотни километров, лишь крепче закаляющих волю бойцов, готовых вновь, с удвоенной мощью восстать из окопов и отбить позиции у врага».

Классическое сообщение Грыжинформбюро:

«Очередная решительная бомбардировка стран Оси на Мальте. Наши герои-авиаторы стерли в порошок все оборонительные и наступательные системы острова-авианосца, занятого коварным английским врагом в нашем родном Средиземноморье! Сегодня всем ясно: ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Бог с нами, Бог против англичан — и вновь Господь проклинает этот чудовищный народ с хищными носами! Анафема Божья низвергнется на плуто-жидо-масонов, на германских родственников лондонских торгашей, на чванных олигархов, на английский язык, которым говорят снобы, подлые финансовые воротилы из Нью-Йорка, на всех жидов, еще более вонючих, чем наши фриуланцы, карнийцы и чурки-южане.

Но оставим подробности. Новости таковы: наша доблестная авиация нанесла жестокий удар, о котором я только что вам поведал, и не понесла ни малейших потерь. Я уже сказал, а наше радио теперь со всей определенностью сообщает: стартовали восемь гидропланов, а вернулись девять...

Так поздравим их, потому что сегодня, уже и без того раздолбанная челюсть чванного, лживого и подлого Альбиона, бесчеловечного спрута, протянувшего к нам свои липкие щупальца, получила по мерзким зубам, получила смачный удар в жирную рожу!

Сегодня мы празднуем торжество! Так давайте же произнесем с ликованием, чувствуя свою силу, — мы празднуем этот великий, сверкающий, победоносный день! Это победа над английским снобизмом, над английским чванством, над английским интриганством, над английской эксплуатацией, над английским ростовщичеством в экономике, над английским барышничеством, над английской подлостью в торговле, над дрянью в политике, над предательством английской дипломатии, над пиратской английской традицией, над английским торгашеским духом...»

Грыжа мог продолжать бесконечно, часами. Мы помогали ему подсказками, грубыми шутками, помогали, как могли, а иногда просили его повторить что-нибудь на бис. Местами он выдавал настоящие репортажи, местами выдумывал собственные новости по заказу. Но Грыжа никогда не был свободным художником: он имитировал чужие голоса. У него хорошо получался Муссолини, еще лучше мелкие министры. Только мы в один голос требовали: «Аппелиуса! Аппелиуса давай!» А когда учитель звал нас в класс, мы делали вид, что не слышим.

Теперь вообразите себе: как только казаки отмочалили нашего завуча, Черную душу, мы почувствовали себя защищенными, будто в железобетонном непробиваемом бункере. Казаки нас не понимали, а если и могли разобрать несколько слов, то считали нас фанатичными сторонниками Оси. А местная власть в то время самоустранилась.

Удивительно, что Дон Черная Душа, который прежде строго приказывал нам «безотлагательно прекратить безобразия», теперь и сам задерживался у часовни, чтобы дослушать нашего Аппелиуса. Не исключено, что завуч Аниманера полагал, будто Грыжа разбирается в политике лучше. Хотя, возможно, это только сейчас мне так кажется.

Дон Черная Душа так часто повторял «Мы победим», что в конце концов и сам начал в это верить. За что и огреб побоев от настоящих фашистов, предавшихся малодушию и окончательно разуверившихся в победе. Говоря по-нынешнему, он стал жертвой «дружественного огня». Не исключено, что от ударов по кумполу в голове у него действительно зашевелились извилины. А может быть, наоборот, окончательно съехала крыша. Во всяком случае, когда он, стоя, внимал нашим «радиопередачам», это оставляло неизгладимое впечатление, пусть и слегка портило праздник. Только Грыжа пер вперед, подчеркнуто педалируя отдельные фразы, а иногда завершал программу мелодией песенки про Аниманеру, про Черную Душу, а мы подхватывали нескладным, развязным, но полным воодушевления хоровым рычанием.

Но вернемся чуть назад. Была зима, а зимой у нас холодно: мороз приходит и

держится долго. Не зря до сих пор метеорологи вспоминают про «адриатическую тепловую завесу».

У местных властей денег не было ни на что. Где взять дров для школы? Было еще хуже, чем кажется. Даже в домах дрова стали дефицитом. Люди начали разбирать поленицы из-под навесов, переносить их в амбары и на чердаки. Каждому бревнышку строгий учет. Для взрослых любой поход по дрова становился рискованным предприятием: либо партизаны выпустят в тебя очередь из автомата, либо немцы интернируют в Германию. Учитель в конце последнего урока произносил дежурную фразу: «Чтобы завтра из дома принесли по полену на каждого. Лучше по буковому». Это не случайно: бук греет в три раза лучше, чем елка. Чтобы дома не нарваться на выволочку, мы просто тянули поленья у соседей поближе к школе, опустошая, как крысы, чужие дровяные сараи. Но один из нас так и не обучился ремеслу вора: Грыжа был сыном плотника, он просто собирал обрезки под циркулярной пилой своего отца. Чаще всего это были остатки досок от свежесрубленного гроба: на эту продукцию спрос не сокращался.

А что с оружием? Да ничего особенного: свой арсенал был у каждого мальчишки. Оружие ходило по рукам — игрушками у нас были не только каски и штыки, мы играли пистолетами, винтовками, гранатами. Свои сокровища мы прятали в самых невообразимых местах. Мы ходили на рыбалку, бросая гранаты в заводь. Форель всплывала брюхом вверх, а недоедающие родители нас за это даже не ругали. Это было до объявления «свободной зоны». Можете себе представить, что стало после.

Беда в том, что партизаны никак не желали войти в наше положение. Однажды в лесу собралось полкласса пострелять по банкам, бутылкам и не только. Мы стреляли в белок, ворон и кошек (их приносили в мешках и выпускали по одной). Грохот наших орудий был похож на настоящую канонаду. Партизаны подошли с тыла. Они не сразу разобрались, кто тут по кому палит, но, разобравшись, надавали нам пинков и отобрали все наши сокровища: «А ну, щенки, быстро по домам, уроки учить. Тут вам война, а не игрушки!»

Наши арсеналы восполнились чуть ли не на следующий день. Мы снова играли в войну и менялись оружием, только чуть осторожнее. Кто посмелее, ходил в разбой с казаками. Это страшно, но можно найти что-то очень ценное.

Если бы война не кончилась — а ведь кое-кто надеялся на ее продолжение, — все наше оружие было бы пущено в ход и самым естественным образом породило бы новые поколения стреляющей детворы. На чью сторону стать в войне, мы и так знали: это нам объяснил Аппелиус, он же Грыжа.

А во что, кстати, играли дети бесконечных войн прежних эпох — дети сорокалетней или столетней войны — ну, хотя бы те, что не поумирали с голоду? А во что сегодня играют дети в Сараево?

Когда закончилась война, наши игры прекратились не сразу: мы успели даже стащить базуку у англичан. Но теперь, наконец, весь мир принадлежал нам: бесчисленные природные пещеры под густыми карнийскими лесами и лабиринты подземных укреплений, которые спешно, за несколько месяцев до войны, построили власти в ответ на аншлюс Австрии.

Мир стал нашим, но ненадолго.

Кто хотел учиться, разбежались по городам. Некоторые вместе с семьями переселились в Австралию и в Канаду. Для кого-то окончание войны было равнозначно эмиграции. Но уезжали и партизаны: они не нашли работы дома и отправлялись искать применения своим силам в Швейцарию, Францию, Бельгию. О натовском проекте «Гладио»¹ никто не знал, но проект существовал в действительности. Грыжа

¹ Согласно некоторым источникам, после Второй мировой войны и до 1990 года в странах—членах НАТО параллельно с регулярными армиями существовали секретные армии НАТО, также называвшиеся «Оставшиеся позади» (Stay-behind) или «Гладио» (Gladio — меч), которые были созданы американским ЦРУ и британской разведкой МИ-6. (Здесь и далее прим. ред.)

выучил ремесло отца и тоже исчез где-то за границей. Для меня после этого весь мир как будто подернулся серой дымкой.

А черепичные крыши! Вы хотя бы слышали, вы видели, как одна черепичка срывается с крыши и скачками — тик-тилик, тик-тилитак — тянет чешуйку за чешуйкой, слой за слоем до водостока и дальше? Потом валом рушится на землю и раскалывается в миллион пылинок, вздымающих облако, будто взрыв!

Такого зрелища ни за какие деньги не купишь. Жаль, что в природе это случается крайне редко. Иногда бывает, в самом начале весны. Как только стает снег, сдавленный морозом плоский кирпичик крошится, выпрыгивает из ледяных тисков и — тик-тилик, тик-тилитак — устремляется в короткий путь к земле. Явление это редкое, но даже если вызвано искусственно, завораживает своей музыкальностью. По дороге в школу мы иногда бросали камешки, стараясь попасть повыше, в самый гребень, чтобы оттуда началась черепичная лавина.

Больше всех от наших камней страдала конюшня рядом с Комельянсом. Теперь ее нет. Она исчезла, в том числе и по нашей вине. В том числе. Я не случайно это говорю: хозяева о ней забыли, возможно, уехали куда-то далеко. Прошло много лет, а черепицу никто не переложил. Деревянные брусья прогнили, и крыша просела до земли.

Сегодня об этом уже можно рассказывать: прошло много лет, и срок давности нашего преступления истек. Заодно скажу, что Грыжа в нем точно не замешан. Не потому, что мне хочется его оправдать, просто он жил в другом конце поселка и в школу ходил совсем по другой дороге. У него были свои черепичные крыши.

Но, безусловно, вандализм — это преступление, даже если его совершают мальчишки, исполненные желания жить, даже если они совершают его без малейшего соображения. Ведь эти мальчишки видели, как под конюшни и жилые дома закладывают динамит, как людей ведут на убой, подобно телятам. Телят тоже жалко: теленок ведь что-то понимает, упирается, по собственной воле идти не хочет...

Иван

«Казакия в Северной Италии» — так звучало наказание, к которому «Тысячелетний Третий рейх» приговорил карнийцев. Так они назвали нашу землю, Карнию. Назвали за то, что мы дерзнули объявить ее «Свободной зоной». Рейх сделал нашу страну новой родиной казачьих и кавказских коллаборационистов, взамен потребовав от них подавить сопротивление партизан.

12 октября 1944 года это название стало официальным, и так продолжалось полгода (в другие места коллаборационисты пришли еще раньше).

С тех пор прошло пятьдесят лет. Но те карнийцы, что были подростками тогда, живы и сегодня. Этот день они не забудут. Бог мой, не забудут точно! Эту дату помнят их дети, родившиеся позже, помнят люди, слышавшие рассказы собственных дедов, отцов, помнят карнийцы, похоронившие братьев и сестер.

В тот день, прислонившись к заборчику, мы с отцом смотрели на проходящую колонну. Мама сказала: «Не зовите, не пойду, не нужна мне ваша политика!» Она вообще неразговорчива. Мы с отцом только слышали гром посуды на кухне и по очереди заходили рассказать ей о передвижении войск. Они шли мимо, все шли и шли. Конные и пешие. Молча, строем, длинной ниткой, проходили прямо над домом по дорожке Чанешас, пересекавшей Клавайас и уходившей на далекий хребет Арвенис. Мы надеялись, что они проедут быстрее, чем попадут в окружение. В окружение они попадут неизбежно. Казаки не партизаны из Оссолы, у них нет Швейцарии за спиной. Неделию назад партизаны взорвали длинный участок дороги, прорубленный в скале между Поволаро и Раваскетто, обрушили высокий железный мост над ущельем

Дегано — до сих пор в домах окна трясутся. Казаков это не остановит, но удлинит и осложнит их путь.

Лица у партизан были невеселые. У всех тут родственники, земляки, соседи земляков. Они проходили, устало махнув рукой. Из дому шли налегке, по-летнему, в бриджах. У немногих на плечах пиджачок, некоторые набрасывали на себя одеяла — к нашим краям уже подбирался холод. Партизаны шли в новых форменных беретах на голове, с красной звездой: их шил Бако, портной из Марандзаниса. У некоторых были охотничьи альпийские шляпы с пером, иногда надетые задом наперед. Бородатые люди. Рыжие нестриженные волосы. На шее красный или зеленый платок. Вооружен кто чем: у многих были маузеры, у кого-то английские стэны. Несколько человек несли автоматы и пулеметы. Кое-кто держал миномет, обвешивался английскими осколочными гранатами или немецкими, с длинной ручкой. У некоторых в вещмешке была целая головка сыра, у других — куль кукурузной муки, а сверху дедово ружье.

Отец нервничал. Не знаю, сколько слов он проглотил, но когда его переполнило, он сказал: «Сила есть, ума не надо». Он сказал это не по-карнийски, а на чистейшем итальянском языке. Это произвело на меня особое впечатление. Я понял из его слов больше, чем он сам хотел сказать: теперь каждый будет выпутываться сам. Скоро мы станем гостями у наших гостей. Но может быть и хуже. Возможно, гости займут наше с тобой место.

Уже через несколько часов мы целиком, по уши, по самую макушку погрузились в мир какого-то панорамного гиперреалистического вестерна. (Это я сегодня для ясности так говорю, а в то время из фильмов мы видели только «Пилот возвращается» Росселлини. Кино показывали на простыне, лица героев, одетых в шутовскую военную форму, врезались в грубо нарисованный фон.) Но сюжета нашего вестерна никто не знал. Люди обсуждали, чем это кончится, и слушали «Радио Лондон». Мальчишки знали больше, чем взрослые: у нас был Грыжа-Аппелиус. Так что мы-то как раз надежды не теряли. Получилось так, что все оказались рядом — дети, старики, женщины, мужчины — одновременно зрители и действующие лица. Скорее, просто плохие артисты, которые терялись в своей эпизодической роли. Мы не были к ней готовы, но день за днем продолжали репетиции. Но ведь и они считали себя актерами. А может быть, режиссерами, кто знает.

Казаки (в народе их называли монголами) ворвались неожиданно. Распоясанные, влетели со всех сторон одновременно — орут, стреляют, трубят в горны. Заезжают во двор, не прекращая стрельбы, не слезая с коней. Палят в дверь стойла из немецких маузеров и «русских» парабеллумов, кричат: «Партизан, партизан!»

Дверь в хлеву с грохотом распахнулась. Замок не упал на землю — он просто исчез. Потом его так и не нашли. Куры, те, что выжили, с криком рванулись на свободу, мечась под копытами лошадей. Казаки добивали кур, не убитых с первого выстрела. Кровь чертила строки, а перья взлетали кругами.

Некоторые казаки уже спешили, брали кур за ноги, снося им головы ловким взмахом штыка или шашки. Та же участь постигла нашу овечку. Нет, голову ей не срубили, в нее просто воткнули нож. Когда овцу перекинули через круп казачьего коня, кровь из нее еще била фонтаном. Две ноги с одной стороны, две с другой. Кур просто подвязывали к седлам кожаными шнурками. Еще минута — и под гиканье, хрипы горна, выстрелы казаки, пришпорив лошадей, покинули наш двор.

Мы стояли, как громом пораженные: бессильные, онемевшие от стыда. Двор полон смрада крови и пороха. Перья медленно падают на дымящийся конский помет.

Не успели мы опомниться, как во двор влетели еще два конных казака. Один был похож на офицера. Он показал на второго: «Он — Иван. Иван стоял этот дом. Вы давал Иван комната, кровать большой, еда кушать. Понятно? Иван нет плохой — нет хороший. Иван есть солдат. Если не подчиняться, вы капут!» Офицер поднял руку и быстро прочертил ребром ладони на уровне горла. Яснее не скажешь. Пришпорив лошадь, он оставил Ивана с нами наедине.

Иван спешил и прошел в дом. Выбрал себе комнату в мансарде, перенес туда лучшую постель, разложил свои магазины и гранаты на столе и двух подоконниках. Устроившись, он позаботился о коне. Перевел корову с теленком в другое место и привязал, не слушая увещаний моей мамы, которая жестами показывала, как это сделать лучше. Не знаю, либо он ее не понимал, либо не в его правилах было слушаться женщины.

Ну и напрасно: ночью корова отвязалась, перекусила крученые ремни и пошла гулять по стойлу. Ничуть не смущаясь, она пожевала старинный цветастый коврик персидской работы, который у Ивана был прикручен к седлу. А когда коврик свалился, потопталась на нем, наложив сверху пару лепешек.

Было очень рано, но мы уже не спали. Осознав происшедшее, Иван вломился в дом. На него смотреть было страшно: в руках две коровьих лепешки — он их бросил к нашим ногам. Достал пистолет и целился в нас по очереди. Я понял, что мы заслуживаем тысячи смертей — и даже это не смует его бесчестья.

Только мама сохранила самообладание: она жестом пригласила Ивана в стойло и показала — два раза подряд, — как надо вязать животных к кормушке. Потом, тоже жестами, предложила ему сделать это самостоятельно. Иван послушался, и на этот раз у него получилось. Мама дала ему понять, что теперь все в порядке, и предложила считать инцидент исчерпанным. Потрясенный ее педагогическим напором, Иван лишь покачал головой, хмыкнул в усы и притих.

Люди в поселке никогда прежде не были столь общительны. Слухи приходили, обсуждались, пересуживались и тысячекратно приумножались. Мы тут же выяснили, что казаки, осевшие в Марандзанисе — а значит и «наш», — были мусульманской веры. Это очень важно. Оказалось, нам неслыханно повезло, потому что персидский ковёр, притороченный у Ивана к седлу, тот самый, затоптанный нашей коровой, был не просто для красоты. Это был его моленный коврик. А еще мы поняли, что он не ест свинины. Мы вовремя поняли это: по соседству, в ущелье Бут, один казак жестоко, чуть не до смерти, избил старушку за то, что она подала к столу копченое сало.

Вот тебе и новости! У нас и так меню небогатое, а его основа — то немногое, что осталось в погребе от забитого осенью поросенка. Мы вели строгий учет и знали, что через пару недель закончится — до последних кусочков — все то, что недавно обитало в стойле и по случайности избежало пуля. Хвала Аллаху, что последнее наше счастье не зарезали и не унесли. По крайней мере, эти...

Короче говоря, всю осень и каждый день наступившей зимы мы питались похлебкой из фасоли, в которую кидали для навара свиные кости и копытца. Кости мы обглаживали до белого глянца, заедавая квашеной капустой. Что еще мы могли выдумать? Решение нашлось немедленно: свиные кости и ножки в кожице нужно подкладывать в горшок незаметно, а перед подачей к столу так же незаметно вынимать. Каждый из нас по очереди спускался в погреб и тщательно обсасывал остатки. Дымящуюся похлебку пропускали через марлю и подавали к столу.

«Боно, мама!» — говорил Иван, изголодавшийся за день в седле. А у мамы были свои соображения по поводу богословского универсализма. Однажды она их нам поведала: «Во-первых, мы тут все христиане, а если кто-то совершает что-то неосознанно, это не грех. Во-вторых, что прикажете делать, выкинуть поросенка ради этого дармоеда?» В общем, грехи отпускаются нам, а если вдуматься, то и ему тоже.

В голову приходили и другие, не столь христианские соображения, хотя вслух их старались не произносить. К примеру, кто его просил ехать сюда, за пять тысяч километров, и устраивать нам войну? Пусть даже святая Юлия пришла из их краев, но с какой стати он пользуется нашим сортиром и нашим столом? Ладно хоть Иван, он горец, как и мы. Но все эти генералы с князьями и атаманами... Будто у нас своих паразитов мало, а тут еще и «Казачья земля»! Нет, рано или поздно им всем будет предъявлен счет.

Надо сказать, что и в этом нашем вынужденном сожительстве происходили

перемены. Обычно Иван садился за стол и невозмутимо ждал, пока ему подадут ужин. Иногда ставил перед собой бутылку кабийской граппы и выпивал ее (в этом он мусульманином не был). Граппу он привозил из очередного дома, который днем перевернул вверх дном под предлогом поиска партизан.

Но однажды он вернулся без граппы, а воду на стол не подали. Иван потребовал без церемоний: «Вода, аква, мама!» Мама указала Ивану на ведра и кувшин над умывальником у него за спиной и, не повышая голоса, твердо произнесла: «Вот, сам поднимись и возьми. Ты большой и толстый, даже слишком!» По-карнийски он не понимал, хоть и мог с грехом пополам объясняться. Но мамин тон и жест были столь точны и красноречивы, что Иван, не проронив ни слова, встал, наполнил графин и поставил его на стол для всех.

Были и другие добрые знаки. Я до сих пор помню русские и казачьи песни, которым он меня обучил. Иногда он даже катал меня на коне, вернувшись в дом. Возможно, с очередного разбоя.

Однажды лунной ночью во двор зашел Мадио, а с ним еще несколько партизан. Бросил камешек в окно. Мама, не раскрывая ставен, выглянула в щелочку. Узнала его и тихо спросила:

— Ты чокнулся?

— Да нет, тетя, — ответил Мадио, — просто мы тут шли мимо, я хотел тебе передать привет.

В его голосе звучал не страх. Скорее, наоборот.

— А казак? — спросила моя мать.

Иван наверняка все слышал, но не шелохнулся.

Те люди, что оккупировали северную часть Карнии, ушли от нас в конце апреля, незадолго до разгрома под Оваро.

Вместе с оставшимися в живых товарищами Иван направился в свой последний страшный поход. Прощаясь с нами — парабеллум на портупее, меховая шапка в кулаке — он едва не расплакался. Никто не произнес ни слова: так и должно было случиться. Но если бы он сказал: «Спрячьте меня, я хочу остаться», уверен, мы бы ему ответили: «Оставайся».

Гиви

Вслед за казаком в наш дом въехал Гиви. Никто его не сопровождал. Грузин вынул бумагу на иностранном языке, переведенную на немецкий и итальянский. Текст был краток — самая суть, — так пишет человек, привыкший командовать. Там сообщалось, что «предъявивший сие военнотружущий» направляется к нам. Выдать постель и питание. Все было точно так, как с Иваном, разве что приказ был доставлен в иной форме.

Грузина звали Гиви. Юноша лет 25, опрятный, в постиранной форме. Гиви неплохо говорил по-итальянски, вел себя скромно и не требовал внимания. Казалось, он предпочел бы скрыться с наших глаз — ничего общего с буйным и надменным Иваном.

Входя, Гиви вежливо здоровался и тут же на цыпочках шел на третий этаж, к себе, в «комнату тети Иды» (мы и сейчас так называем это место). Там он сидел до утра, изредка спускаясь вниз, чтобы наполнить кринку водой.

Гиви держался отстраненно и замкнуто. Мы даже не знали, есть ли у него конь. Во всяком случае, он не отвязывал корову, не ставил коня в хлев и не велел кормить.

Его история, его война словно бы никак не соприкасались с войной Ивана. Две войны лишь совпали по времени, а их участники оказались в одном доме совершенно случайно. Вполне возможно, что им еще предстоит столкнуться лбами. Пока эти двое лишь небрежно обменивались кивками, бросая друг на друга взгляды, словно враги.

Поначалу отец говорил мне: «Сходи узнай, может, он с нами поужинает». Я поднимался и стучал в дверь. Гиви открывал с улыбкой. На столе чистая скатерка, а поверх миска с едой, которую он принес из гарнизона: банка мясных консервов и луковица. Лук только что разрезан — у Гиви еще глаза блестят, а запах пропитывает все кругом. Каждый день тушенка и луковица. Каждый день, когда в доме Гиви. Я думал, Гиви прав: лук — это и еда, и лекарство. У нас ведь тоже говорят, что лук спасает от любой хвори.

У казака Ивана были свои рецепты, свои снадобья. Если ему нездоровилось, он опрокидывал перечницу целиком в кружку кипяченого молока и, помешав, выпивал в один большой глоток, не поморщившись. Лишь на мгновение рдели впалые кратеры на заскорузлом лице. Иногда в перченное молоко Иван вливал граппу. Что ж, граппу с молоком у нас тоже считают целебной. Полезное зелье.

Но у грузина был лук, только лук, постоянно один лук! До сих пор мне везде чудится этот луковый запах, это зловоние, распространяющееся вширь и день за днем пропитывающее собой вначале верхний этаж, а позже дом, весь дом целиком. Луковый смрад меня преследует до сих пор и навязчивым кошмаром входит в душу — лук для меня превратился в невроз военного времени. Не знаю, по этой ли причине или по иной. Не знаю почему, но я и сегодня не переносу лука. Если случайно мне на зуб попадет кусочек, даже если я этого не ожидал, даже если и думать не думал об этом, — меня корежит, мой желудок судорожно жмется, толчками силясь отторгнуть рвоту. Знать бы, с чего это началось, но не знаю — на память приходят лишь образы детских лет. Я с трудом сдерживаю себя — приходится собрать в кулак все мои силы.

Коня Гиви не привел, я уже сказал об этом. Зато Гиви нес в дом книги и газеты. Тексты на грузинском и на русском языке. Именно тогда я впервые увидел, как выглядят русские буквы. Гиви обучал меня алфавиту — помню, что мне было интересно. Он называл мне разные слова, а я их записывал в толстую тетрадку с черной картонной обложкой, которую по краю я обрезал лесенкой, прорисовав на ступеньках печатные буквы, как в словаре.

Гиви учил меня русским цифрам. Я записывал: *jedon, twa, tri, citiri, pet, seven* — тетрадку я потерял и сейчас пишу по памяти, а итальянская запись неточна и, возможно, даже не передает звучания слов, но что поделаешь. Потом мы изучили дни недели, имена людей, названия месяцев, животных, времен года, деревьев, ремесел. Перешли к глаголам, значит — к действиям...

Из действий Гиви, из его жизни мы мало что видели. Гиви выходил пешим, рано утром, прежде чем я отправлялся в школу. Через левое плечо на ремне он нес груженую кожаную сумку. Ружья или автомата у него не было, зато на портупее висела кобура с пистолетом. Днем он не заходил, возвращался в дом к ночи, и то не каждый раз. А в сумке снова консервы и луковица.

Гиви продолжал учить итальянский язык, но интересовался и карнийским. Он часто спрашивал, как и почему говорится такое-то слово на таком-то языке, а потом называл мне те же слова по-грузински и по-русски. Это было похоже на игру: произносишь сначала карнийское или фриуланское слово, а потом итальянское, грузинское, русское, а иногда и немецкое.

Возможно, не все знают, что карнийский и фриуланский языки отличаются друг от друга. Я начал это понимать, когда к нам «из долины» переехали эвакуированные семьи, спасавшиеся от бомбардировок. Переехали только затем, чтобы оказаться в самой гуще войны, но у нас, по крайней мере, не бомбили. Их дети учились в нашей школе и говорили не так, как мы. За это мы их дразнили и поднимали на смех...

А вот английских слов мы с Гиви никогда не вспоминали: это был язык врага, и его не знал никто, даже Гиви. Постепенно моя тетрадка заполнялась.

С языками вообще было много смеху. Вместе с отцом и дядей Бако мы сочиняли забавные истории, а потом я рассказывал их всем подряд. Вот, например, итальянское слово *banda* означает группу преступников, банду, сборище бандитов, людей вне

закона, а значит, и партизан. Поэтому, когда Карния была объявлена партизанской республикой, на каждой тропе, ведущей в горы, выставили панели — большие, вроде нынешних рекламных щитов. Панели по-немецки и по-итальянски предупреждали путешественника: *Bandengebiet — Territorio di bande*. Территория банд.

Щиты разместили задолго до прихода казаков, а после их вторжения немедленно снимали. Хотя партизаны никуда не делись. Снимали, чтобы избежать двусмысленности и издевок. Ведь смех способен обратить поражение в триумф и наоборот. Наша земля стала называться Казакией, или Казацкой землей (*Kosakenland*), но своих дорожных знаков новая власть не выставила: не хватило ни отваги, ни воли, ни времени.

Вероятно, нечто подобное случилось и с древними римлянами, которые называли наши места то Царством карнийцев (*Carnogum regio*), то Пещерой разбойников (*Spelunca latronum*).

Я сочинял истории на разных языках. То же самое слово *banda* на итальянском имеет и другие значения: это может быть лента, бинт, лампасы, лычки, бандероль. Команда бродячих музыкантов, наконец. А еще и металлический лист, прокат, оцинкованный или нержавеющей, перфорированный или профилированный. А по-фриулански *banda* означает «направление».

И вот одного крестьянина заплутавший путник спрашивает в лесу: «Любезный, как дойти до села?» Для моего земляка итальянский язык не великая премудрость. Он ответит, не теряясь: «А вы пойдите скрозь, ваша милость. Вот прямо по нержавеющей...»

Еще одна лингвистическая история. По-итальянски слово *razza* может означать у животных *порода*, у растений *сорт*, у людей *расу*. Это слово указывает только на совокупность внешних признаков. Но часто о *породе*, *сорте* или *расе* вспоминают разные недоумки. Вспоминают расисты, намеренные кого-нибудь подмять, поставить ниже себя. По-карнийски это слово пишется *raza*, а слышится точно так же, как у вас. Но это не то же самое. В Карнии у слова *raza* есть несколько значений: *странный, неправильный, извращенный*. Но чаще всего *raza* означает просто болотную утку.

Итальянец скажет: «Не выношу людей такого сорта (*razza*)». А карниец поймет по-своему: «Не могу больше терпеть, подайте мне к койке утку (*raza*)».

Я сочинял истории про разные языки, и мы подолгу сживали за столом, сталкивая слова со словами. Что помнил, я записывал к себе в тетрадку. Свои рассказы были и у Гиви. Сколько я ни силился, вспомнить их не могу. Одна надежда на возраст. Говорят, в старости забываешь вчерашний день, но вспоминаешь давнее прошлое. Поживем—увидим. Если не так, ничего не поделаешь...

Грузин только посмеивался, когда казак убеждал нас, что у Рейха есть тайное супероружие. Лишь много лет спустя мы узнали, что немцы действительно работали над ядерным вундерваффе, с которого победители ухитрились снять копию. Иван рассказывал, что в нужный момент нацисты извлекут шашку из ножен. Это случится вот-вот — не позже, чем за шаг до гибели.

Гиви в такие вещи не верил, а Иван верил до самого конца, пока сам собственной ногой не ступил в капкан, расставленный для его соплеменников прямо за австрийской границей, в горах Высокого Тауэрна.

Иван думал укрыться в знаменитом «Альпийском редуте», оснащенном по последнему слову техники. По сравнению с этой грандиозной крепостью лишь горькую ухмылку вызывали Готская цепь, французская линия Мажино или редут Сен-Готарда, которым по сию пору гордятся швейцарцы. Там, глубоко в горах, Иван надеялся годами сдерживать атаки неприятеля, чтобы в конце концов перейти в победоносное наступление на большевиков.

Иван рассуждал, как Аппелиус, с одним-единственным отличием: он не исключал, что победу можно одержать в союзе с англичанами. Ну, и стоило ли рассчитывать на таких союзников? Едва казаки вошли в Австрию, англичане их разоружили, взяли в плен, а потом выдали советской армии.

Грузин был настроен иначе. Он иногда даже вслух говорил, что немцы проиграют, а русские победят. Не знаю, приятно ли ему было об этом думать. Знаю только, что Гиви с товарищами не проявляли рвения, прочесывая горы в поисках партизан. И еще знаю, что не были грузины в восторге, когда казаки выкуривали из леса отряд и расстреливали на опушке. Знаю другое: грузины тоже разыскивали партизан, но лишь для того, чтобы с ними договориться и вместе найти решение, возможно, даже заключить союз.

2 мая 1945 года был бой у поселка Оваро, где казаки стали укрепленным лагерем. Они не отступили, не сдались, не сложили оружия. Партизаны сверху, с гор, следили за ними. Надеялись, что казаки уйдут, не причинив вреда. Но кто-то чересчур спешил, возможно, подгоняемый приказами. Знать бы, кто именно эти приказы отдавал...

С раннего утра началась перестрелка. В ущелье трещали выстрелы, громыхали гранаты, многократно усиленные раскатами горного эха. Мы сидели в классе, но учитель едва заглянул и велел нам расходиться. Бой шел в четырех километрах, не дальше.

С двумя одноклассниками — Поэтом, который теперь в Австралии, и Грыжей, которому перед смертью тоже довелось повидать мир, — мы подошли к пятачку у стоянки автобусов.

Там старый механик Челлони с друзьями-партизанами открыл мастерскую по ремонту оружия. Они даже официально зарегистрировали фирму. Представьте себе станцию техобслуживания военных времен: мастера меняют затворы, как сегодня переставляют лобовое стекло, смазывают механику, сыплют патроны в вещмешки, будто заливают в бак бензин. Вокруг толпа народу, техника, телеги, грузовики.

Гиви подъехал на немецком пехотном мотоцикле — за рулем партизан. Выбравшись из коляски, наш постоялец быстрым шагом направляется к мастеру. Меня не видит и занимает очередь. В руках английский Брен (страшный по тем временам ручной пулемет с загнутым магазином, вставлявшимся сверху — прицел и мушка находились слева от ствола). В очереди Гиви не задержался: ребята в минуту разобрали пушку, тронули надфилем пружину ударника, капнули смазки в затвор и тут же опробовали в деле. Для начала одиночными, потом очередью — стреляют у нас по стене, вскрывшейся после оползня во вздыбленной над поселком горе.

Этот обрыв мы называем Красной ссадиной: глинистые жилы делают его подобным кровоточащей ране. На испытаниях пулемет ведет себя превосходно. Механика не пострадала, похоже, инструмент просто перегрелся от работы.

Гиви доволен. Берет свой Брен, пристраивает его в коляске дулом вперед, расставляет сошки в стороны и забрасывает тяжелыми магазинами все свободное место вокруг сиденья. На земле у мастерской стоят деревянные ящики с вскрытыми крышками. Боеприпасов хватит на всех — приходи и бери! Гиви выдергивает из пирамиды легкий Стен и тянет из кучи пояс с подсумками. Не мешкая, перелезает в коляску. Наконец и я попадаю в его поле зрения. Гиви не останавливает водителя, но как-то неопределенно — пожалуй, весело — машет мне рукой и вместе с партизаном отъезжает туда, где продолжается бой. С тех пор я его не видел.

Натиск крови и пламени волнами смывал отчаянное, медленно стухавшее сопротивление казаков, удерживавших гарнизон Оваро, когда со склонов Хорватии и Сербии потянулись многокилометровые колонны их союзников, подступивших к несуществующему кряжу в предгорье Тауэрна. Казаки текли с гор лавиной, сметая все на своем пути.

Днем позже мы узнали, что при Оваро в битве с казаками полегло много грузин, а еще больше было ранено. В последнем сражении казаки одержали победу, но лишь с тем, чтобы открыть себе путь для отхода. Они прорвали цепь, побросали на телеги раненых и убитых и двинулись дальше, сжигая дома, истребляя по ходу всех, кто оказался на расстоянии выстрела. Совершенно случайно казаки наткнулись на трупы павших в бою грузин — на трупы врагов.

Казаки оплевали и запинали тела бывших союзников, выволокли их на муниципальную площадь и уложили звездой. Хотя тут не все свидетели согласны: кое-кто говорит, что из трупов сложили свастику. Но в списках погибших Гиви не значился. Слухи доходили без промедления: казачий арьергард перешел Валь-Кальда, а партизаны расставили блокпосты в каждом ущелье, сверху и снизу.

Моя мать победу отпраздновала молча. Первым делом она поднялась в комнату казака Ивана, а потом этажом выше — к грузину. После этого спустилась во двор и взяла вилы. Собрала мусор в кучу, полила бензином и подожгла. Горело до золы.

По долине разливалась перекличка окрестных колоколен, когда мама принялась за грядки. Раньше в колокола били не так — сегодня звонницы звали и перекликались. Могучий гул стелился по склонам гор, а соседский звонарь сперва вслушивался, а затем — прежде, чем пополнить рокот долины — ловил размеренный пульс литых раскатов и вдруг перемежал его победным боем, встраивая свои дробные доли в окружающее громохание. Уж кто-кто, а звонари дело знают.

Мама сначала кладет на грядки навоз, потом посыпает золой. Ровняет и чистит почву, извлекая из-под кирпичи всякое железо: пряжки, гильзы, пуговицы. Засевает половину огорода цикорием, редиской и морковью. На оставшейся половине будет картошка, а по краю вокруг — фасоль.

От казака у меня осталась ручная граната — я ее прятал на шкафу. Но мама принесла стремянку, увидела что-то нехорошее и позвала брата Джованина. Брат только что вернулся из России, а его друзья так там и остались. Джованин отнес гранату в ущелье и подорвал. От грузина была иконка святого Георгия, пронзающего змея копьём. Потом случилось землетрясение, и икона тоже пропала.

Лисута

1944 год, самый разгар войны. Зима на подходе, мы свободны, живем без карточек, а мне уже девять.

Не то чтобы совсем без карточек: в каждом доме они лежали. С неоторванными купонами, которые раньше можно было отоварить и получить все самое нужное: хлеб, растительное масло, соль, рис, макароны, мыло и сахар по твердой цене. Только теперь купоны не стоили ничего, а продукты завозили не всегда.

Продовольственный паек как будто никто не отменял, но толку от него не было. В каждом доме на полке хранились серо-розовые бумажки, но люди почему-то говорили, что карточки у нас отобрали.

Отобрали на всей территории «Свободной Республики Карнии». Здесь время от времени партизаны брали в плен сельских старост-републикинов¹. Иногда даже разоружали жандармов, пограничников и таможенников. А ведь републикины ничего особенного не требовали. Самую малость: учредить в Ампеццо гражданское правительство и провести выборы (а в Италии к тому времени уже 20 лет не голосовали). Под их началом впервые начали голосовать женщины. Открылись школы, налоги стали собирать по пропорциональному принципу. Судить нас стали мировые судьи, а смертную казнь отменили.

В районном центре Толмещо продолжал работать полноправный городской совет, состоявший из нацистов и сочувствующих — партизаны город так и не взяли. Но к «свободной зоне» относились все ближайшие поселки: Челлина Медуна, Валле ди Трамонти, Тразагис, Саппада, Лоренцаго.

¹ Итальянская социальная республика, основанная во время Второй мировой войны и называемая также Национальное республиканское государство, или Республика Сало, — это государство Южной Европы, основанное Бенито Муссолини по настоянию Адольфа Гитлера после того, как Королевство Италия 3 сентября 1943 года заключило в Кассибиле перемирие с Союзниками. Термин «републикини» обычно используется для обозначения фашистов Сало.

Неуютной была жизнь с продуктовой карточкой, утратившей всякую ценность. Молоко экономили: что-то пили, что-то створаживали на послезавтра. Сеять пшеницу поздно, а если сегодня съешь хлеб, то весной придется покупать втридорога.

Вот и кончилась у нас фасоль, картошка, кукуруза... Съели домашнего поросенка, и начался голод. Самый настоящий.

«Что, карнийцы хотят свободы? Мы им покажем свободу, этим бандитам, чтоб они сдохли!»

В поселковых советах долго спорили, но решили наконец отправить в дорогу женщин. Они должны без документов пересечь перевал Монте Рест и спуститься в долину к морю. Если придется, пешком. Женщины добудут зерно, чтобы карнийцам было из чего печь хлеб. На мужчин никто не рассчитывал: они либо партизанили в горах, либо давно были в плену — у тех или у других. А если кто и вернулся, тому лучше было не показываться на глаза. Все знали об эшелонах, направлявшихся в Дахау.

Что давали за зерно? Давали деньги, украшения, фасоль, каштаны. Как была организована доставка? Не помню. Но сегодня это нетрудно узнать.

Делать нечего, в один прекрасный день ушла на сборы и моя мама, Лисуа. Плетеная корзина за спиной, тяжелые башмаки на ногах — мама поцеловала папу, потрепала меня по челке и с улыбкой повернулась к долине. Там все мамы договорились встретиться, а по дороге их ждал грузовичок с партизанами, которые могли отвезти их чуть дальше.

Наша кошка вышла провожать. Она увивалась у маминых ног, жалобно попискивала и прижимала хвост к земле. Но дойдя до края фруктового сада, где начинается спуск в долину, кошка остановилась, села на задние лапы, твердо уперлась в землю передними и еще долго тянула шею, провожая маму. Глаза-щелочки, уши торчком, недвижимая, как статуэтка.

Мамина фигурка становилась все меньше, терялась в тутовнике, а потом и вовсе исчезла из виду на тропинке, пересекающей поля. Было раннее утро.

Не сказать, чтобы нам с отцом было весело. Мы поглядывали на кошку, но в наших краях не принято — по крайней мере, не было принято в те времена — обсуждать подобные вещи. Было ясно: мы для нашей кошки значим намного меньше, чем мама.

От церкви донеслись полуденные удары колокола, и мы пошли в дом подогреть то, что мама нам приготовила на прощанье. Дух еды был густым, кошка должна была его учуять, но сегодня она вела себя странно. Раньше она бы прискакала радостная, взбешенная и бросилась бы с воем на миску под столом. Сегодня можно сказать — нет, сегодня нужно сказать, что вся эта дрянь по телевизору, где только что отмытые котятки после фена и щетки бросаются на кучи специально для них приготовленного мяса (да еще, говорят, кенгурятины), — это оскорбление для людей, видевших нищету!

Мы с папой за едой поглядываем в окно. То и дело бросаем взгляды на кошку. Она там же, на том же месте, в той же позе, застывшая над краем долины.

— Ладно, отнеси ей молока, — говорит папа.

Я беру миску и несу. Медленно приближаюсь к кошке, стараясь ступать по траве, но она ухом не ведет, а ведь прошло уже семь часов.

Сегодня дом принадлежит только нам. Каждый направляется по своим делам: я в школу, а папа — рубить дрова. Возвращается он затемно, пора ужинать. А кошка все там же, еле различима в черноте ночной долины. Я беру тяжелый военный фонарь и иду посмотреть. Молочную миску она даже не тронула своим шершавым языком. Глаза светят в черноту лугов, туда, где исчезла мама.

Дело к ночи. Послушав «Радио Лондон» на чердаке, мы укладываемся спать. С утра кошка на том же месте, а молочная миска все так же не тронута. Отец бросает короткий взгляд, но мне все ясно. Он беспокоится о маме. А на кошку он смотрит с уважением — и не без ревности.

— Ладно, отнеси ей кожицу с телячьей ножки.

Я, что, я отнесу. Хотя лучше бы я сам ее съел: она не пластмассовая, как сейчас делают. Это настоящая кожа телянка, отваренная с душистыми травками. Я даже тру телячьей кожей ей по носу, потом осторожно кладу к ее ногам — но кошка не достаивает меня взглядом.

Опять полдень, а она все там же — как древнеегипетское божество, сказал бы я сегодня. Но ведь и тогда я мог так думать, потому что картинки египетских богинь я видел в энциклопедии у тети Марии.

Кошка стояла тут в обед и не двинулась с места к ужину. Второй день подошел к концу.

Мы с папой вообще-то слов попусту тратить не любим, но тут разговорились. И все наши разговоры ходили вокруг кошки. А мы? Да что мы значим, исключенные из этой жизни, не существующие в ней? Словно ушли мы, а не наша мама. Нет, словами мы этого не сказали, но именно про это мы говорили с отцом. Для кошки мы ноль, равно как и голод для нее ноль. Она нас превратила в безмолвные ледышки, как в стихотворении Рильке: раз вы отпустили ее одну — вы пустое место.

Но на третьи сутки после полудня мамина фигурка показалась на тропе в лугах. Увидев ее на дне ущелья, в тутовнике, кошка с воплем сорвалась и ракетой помчалась навстречу, прыжок за прыжком. И вот они возвращаются: кошка кружится у маминых ног, себя не помня от счастья, трется об нее, рвется вперед, возвращается, подпрыгивает, кувыркается в воздухе — танец безумия, вьется кругом, отскакивает и бросается вновь, рычит от радости, меняет регистры, ничуть не теряясь в этой путаной партитуре вдохновения.

Чуть позже она стихает, молча ступает за мамой, прижимаясь к ее чулкам, с упором трет мордой вверх и вниз, отскакивает и снова преданно жмется. Громко и жадно лакает молоко, которое мама, не успевшая снять со спины корзину, льет ей в миску прямо посреди кухни. Хвост торчком, подергивается. Кошка то и дело перестает лакать из своей миски и поднимает глаза.

Вот и мы с отцом появляемся в этой жизни. Не сразу, не спеша. Снимаем с мамы корзину, несем зерно в амбар. Возвращаемся на кухню, обнимаемся наконец и громко смеемся. Ну, вот и все. Мама усаживается за стол и рассказывает, что приключилось с ней и с другими женщинами, что они претерпели в пути, где добыли зерно. Было страшно, но теперь все прошло. А еще вчера ей кто-то помог, а кто-то старался напугать.

Пока мы слушаем, кошка прыгает ей на колени, сворачивается шерстяным клубком и от избытка чувств моментально засыпает. Мамину историю она не слушает. Хватит того, что мама вернулась.

Животные не способны любить — это на днях написали иезуиты в прессе. Их высокоумные диалоги привели мне на память нашу кошку. Да ведь я ее чуть ли не ненавидел — за ее беззаветную, слепую, льющуюся через край любовь. У меня она на всю жизнь отбила аппетит к телячьим ножкам, а мой отец, наверно, хотел ее отпихнуть до бесчувствия.

Что? Животные не умеют любить? Ну, вот и получите! Простая история, честная. История времен войны, времен голода и времен свободы. Так что и вы расскажите мне ваши истории. Давайте их сложим вместе. И не будем думать, кто из нас говорит ересь. Просто скажем животным: для нас вы друзья, а не бифштексы.

Гори

Я рисую картинки из истории, но на них наплывают другие, теснят со своей стороны. Картинки смешиваются, оттеняют, объясняют друг друга и от столкновения только набирают силы. Вот и начну сбоку.

Жила на севере одна женщина, а потом съехала на маленький островок в Эгейском море. Зачем — об этом история умалчивает, почему одна — тоже неизвестно. В самом начале мы видим, как местные женщины собрались у ложа умирающей

чужестранки. На лицах искреннее сочувствие добрых сестер. Комната большая, вся заставлена. Битком набита мебелью, коврами, шторами, гардинами, картинами, скульптурами, трофеями из разных стран. За окном, по диагонали отчеркнутым ослепительным кармином занавески, сверкает море, бросая дрожащие блики на потолок.

День жаркий. Зашкаливает стрекот незримых цикад. Плакальщицы облачены в черное, головы и плечи укутаны в широкие платки: тут долго жили оттоманы. Лики и одеяния — как в греческой трагедии. Умиравшая прикрывает глаза — женщины сходят на шепот. Открывает — хор голосов взывает к небу. Разве важно, какой у кого бог?

Ожидание могло длиться вечно, но вот чужестранка выпускает последний вздох, и первая девушка роняет табуретку, вскакивает, хватая канарейку в клетке, проскальзывает в дверь и резво теряется в пыли.

Это знак: тут же срывается с места еще одна. Выходит из дома, заглядывает в курятник и хватается курочку пожирнее. Прижимает ее к груди и исчезает, спрятав добычу под шалью. Из неприкрытого курятника разлетаются перепуганные птицы. Лезут в комнату, галдят, где хотят, какают. Не теряя времени, женщины поднимаются одна за одной и бесшумно покидают дом. У этой в руке подушка, у той одеяло, коврик, ложки, вилки, тарелки, графин, статуэтка красивая.

Сцена меняется: входят мужчины, их работа тяжелее. Они становятся по двое, а то и по трое, чтобы поднять стол, комод, бельевого шкафа.

Но на этом дело не кончается. Едва успела девушка, одна из немногих оставшихся в комнате, дернуть из-под трупы простыню, чужестранка поднимает веки и испуганно озирается. Все на мгновение замирает, но только на мгновение. Если бы она приподнялась на постели, если бы она вскрикнула, пленка отмоталась бы вспять. Но нет, чужестранка роняет голову, теперь уже окончательно: последний хрип, слюна по щеке, жизнь оставляет ее.

После минутного замешательства картина вновь оживает — грабеж вплоть до голых стен. Последние выносят окна и дверные рамы. Не исключено, что кто-нибудь обмоет покойницу, оденет ее, уложит в могилу, хотя кто знает. Примерно так случилось в фильме «Грек Зорба».

Но и у нас в короткие дни независимости Карнии произошло нечто подобное, хотя было не так мрачно, скорее, все это напоминало праздник.

Голод был самый настоящий. Нет, пожалуй, голода еще не было: мы лишь ясно ощущали его угрозу. В «свободную зону» перестали поступать продукты. Не осталось ничего, кроме крох, которые женщины приносили из Фриули. Осмотрев запасы, мы поняли, что надолго их не хватит.

Ну да, время от времени у нас забивали телят, жеребят, а вторгавшиеся в Карницию партизаны их реквизировали. А впрочем, «вторгаться» — слово неверное: и мы, и они официально принадлежали к «Тысячелетнему Третьему рейху», и наша земля была частью Адриатического побережья этого государства. Что-то из мяса мы делили между собой, но ведь и партизан надо было кормить.

Несмотря ни на что, мы знали, что у всех «прежних» — федералистов, партийных секретарей, сельских старост, таможенников, сотников ополчения — у всех у них дом — полная чаша. Кто смог, сбежал, не запирая ворот. Надо только заглянуть...

Не знаю, может, пришел какой-то особый приказ, разрешение, а может, все и без того поняли, что за это ничего не будет. Наверно, нам просто сказали: «Идите и выносите подчистую все, что можете, все, что хотите — вам сойдет с рук». Я тогда и не задумывался, но вот сейчас, когда пишу эти строки, мне приходит в голову: что значит «сойдет с рук»? Наверное, раньше — а когда именно? — воровство с рук не сходило? Наверное, руку могли и отрубить? Или нам так переводили на фриуланский? А с какого языка? Или была какая-то власть, которой в наших краях подчинялись?

Так или иначе, в один прекрасный день в доме через дорогу от моего (а он и сегодня называется «У Контсов»), в общем, в этом самом доме собрались почти все

жители городка и соседних сел. Там, у Контсов, еще совсем недавно проживал офицер-пограничник. И вот теперь мы подходим к его дому с Пателой и Поэтом. Просто полюбопытствовать. Толпа такая, что снести ворота для нее не проблема. Ворота продержались недолго, и народ хлынул во двор. Нас, мальчишек, не пускают. Оказывается, у толпы тоже есть охранники, хоть и без формы.

До выхода «Зорбы» оставалось еще несколько лет. Этого фильма никто не видел, но главное действие развернулось именно у нас. Вот кто-то тащит ножную швейную машинку, там еще один выносит пятиламповый радиоприемник, другой — люстру венецианской работы, льняную скатерть с вышивкой, велосипед с переключателем скоростей...

Выходит дядька и с торжествующим воплем вещает: «Сюда, сюда смотрите! — Стучит двумя медными ведрами с росписью по эмали. — Этого человека поставили, чтоб он отдавал все стране. Чего же он ведра себе оставил? Может, они принадлежат кому-то из нас, а он их присвоил! Он вор, дважды вор — вот два ведра!» Эти два ведра у крикуна и сегодня висят на стене в прихожей.

Взрослые дошли до погребов: слышно, как в крошку бьют стены, постоянные и временные (в каждом доме их множество — есть и отштукатуренные в глупой надежде спрятать все от реквизиторов, неважно, «легальных» или «нелегальных»). Здесь, в подвале, находится святая святых каждого дома. Здесь гастрономическое изобилие соседствует с алкогольными изысками: колбасы, окорока, коллийские и астиджанские вина. На этом месте действие ненадолго приостановилось. Но вскоре возобновилось с удвоенной энергией: все почувствовали себя частью торжества, которое каждый давно предвкушал, а кое-кто успел и лично ему поспособствовать. Вот выкатывают бочки с вином и укладывают на дворе ровными рядами, вот несут окорока на крюках, прицепленных прямо к тем жердям, на которых их коптили, бросают на козлы, неизвестно откуда взявшиеся. Коробки с печеньем складывают у забора. Из окон бросают покрывала, простыни, ковры. Мы их стелим на траву. Кто-то буравит бочки, кто-то смешивает вино, раздает пресные печеные хлебцы, кто-то смакует копчености, а кто-то еще крутит мясо над костром.

Один вернулся в усадьбу и вынес гармошку. Другой взял скрипку, а потом показался человек с огромным контрабасом за спиной. Нас, молодежь, в дом не пускали. Но давали есть и пить, сколько влезет. Наверно, именно тогда я первый раз напился пьяным. Праздник был долгим. Сначала еда, потом танцы, песни, снова бесконечные тосты. Но кончилось все тем, что от дома остались голые стены.

Из окон летело что попало: шкафы, матрасы, зеркала, тумбочки, сундуки. Вещи швыряли так, чтобы они раскололись вдребезги о брусчатку. Никто не хотел присваивать себе этого добра. Самое ценное — это дрова, да что дрова — даже щепки шли в ход.

Мешки с мукой, мешки с фасолью, пачки мыла, сахарные головы, мясные консервы — все это аккуратно укладывалось, взвешивалось, подсчитывалось и раздавалось. Это был грабеж без малейших угрызений совести, наоборот, все были счастливы. Словно кто-то возвращал нам долг.

В те годы каждый день были похороны, причем самые разные. Были «простые» похороны, а были «военные», еще были похороны партизан и еще каких-то бойцов, которые рядом с теми или рядом с этими. Различить их теперь нелегко. Чтобы все понять, нужно вспомнить о самых странных событиях, рассказать о том, как наша жизнь менялась от месяца к месяцу.

Поначалу останки каждого альпийского стрелка доставляли на родину с эскортом и почестями, а потом, когда история стала сложнее, а война еще сложнее, гробы начали просто складывать штабелями в порту Толмеццо. Каким-то образом родственники узнавали и вовремя приходили за телами. Устраивали похороны, на которые сходились все — в любом случае это был один из наших. Всякий раз кто-нибудь бросал в толпу воинственный клич: «Мы победим!», но со временем таких поддерживали все менее охотно.

Постепенно патриотические похороны сошли на нет: действительно, где теперь найдешь альпийца, расстрелянного нацистами? Похорон республиканов я вообще не помню. Если их и хоронили, то скрытно: таких родственников следовало стыдиться.

Были и те, кто «посредине», кто не принадлежал ни к одной из сторон. Но таких тоже приходилось хоронить: скажем, подорвется человек на mine или попытается вскрыть гранату «балилла», приняв ее за банку тушенки из-за красной поперечной полосы. Так погиб Гори, солдат Первой мировой войны, призванный в 1915 году. Он не принадлежал ни к тем, ни к другим. Гори одевался Гурвинеком, чудаком из детского журнала. Вещмешок за спиной, штаны с подвязками на икрах. Его насквозь протравили газом в Капоретто. Ему повезло, он выжил. Но после этого Гори ушел в себя и больше не выходил. Нормальная судьба попрошайки, живущего чем Бог пошлет. Бравый солдат Швейк из Карнийской долины, только стукнутый еще больше, чем его чешский товарищ. А может, и не стукнутый вовсе: он сыпал искрами остроумия из открытого сердца. Нелегко пройти весь путь между двух войн и уцелеть, в его-то состоянии.

Умирали у нас и просто от пули под покровом ночи. С древности в Карнии сводят личные счеты: бывает, что несколько поколений живут беспечно, но затем вдруг кто-то помнет врага в простой кабацкой драке и на том успокоится. А может быть, и не успокоится... Кровная месть в Карнии сложна даже для местных. Иногда убийство удается объяснить, а иногда нет. Похороны в таких случаях бывают немногочисленны, а то и вообще проходят втайне.

Были и те, кто даже права на похороны не имел: шпионы, бывшие фанатики-чернорубашечники, если вернутся домой раньше времени. Эти прятались и давали о себе знать лишь много лет спустя, и то не все. Пусть они не были совсем чисты, но и не особенно причастны. Сами они сторонились людей, или люди ими брезговали — в любом случае не на этих персонажах строилась драма. Поначалу их увлекала звонкая фашистская фраза, право применить силу, потом они включались в движение, не всегда по своей воле, иногда не вполне сознавая, но, грубо окупленные, присоединялись. «Теперь иди в Раваскетто и отнеси этот пакет мейстеру», — говорил бригадир коммуны младшему брату. Брат попадал к партизанам, а в письме содержались опасные слова: это был донос. История заканчивалась после поверхностного разбирательства краткой автоматной очередью в кустах.

Я и сегодня приезжаю в Карнию и пью традиционный фриуланский «тают» с сыном тогдашнего мейстера. Думаю, ему тоже есть что сказать. Наверно, мы с ним друзья. Но я этого не сказал. В последний раз мы едва не разговорились... Это я пишу специально для вас, для тех, кто считает, что пятьдесят лет — большой срок.

Больше всего мне запомнились похороны партизан — величественное зрелище, хотя «партизанскую республику» у нас в то время еще не объявили. Теперь это воспоминание кажется еще более значимым. Имена двух из них я помню до сих пор: Армандо ди Чента и Карло даль Негро. Особенно Карло. Он был убит в перестрелке с республиканцами и эсэсовцами. В тот раз наши выиграли. А он проиграл.

Панихида проходила в церкви Святого Георгия. Людей было много, наверно, весь уезд собрался. Мы шли за гробом, который несли на плечах боевые товарищи. По сторонам две колонны, на гробе два флага: красный и триколор. В храм вошли все вместе, двумя шеренгами. Справа воины с зелеными косынками на шее (партизаны из Национального спасения — их еще звали бадольядцами). Слева — гарибальдийцы со звездой на берете и красным платком. В церковь входили с оружием.

Там точно была режиссерская работа: форма отглажена, оружие одного типа, до блеска вычищенный тяжелый автомат «машиненгеве». Они берут на караул — в церкви лязг: приклад бьется в голый камень, ствол прижимается к левому плечу, правая рука на цевье. Движения слаженные, это впечатляет. Священник в лиловом облачении окуривает гроб кадилом, крутится вокруг нас и поет «Господи, помилуй». Неуверенно поднимает глаза.

Что за путь выбрали себе эти юноши, многие из которых еще недавно пели у него в хоре? Куда этот путь ведет? Назад они точно не вернуться. А если они победят, им надо служить другую мессу. Возможно, вроде вот этой, нынешней, когда под куполом дрожит дерзость, отвага, гордыня и эхом отдается в пол, смешиваясь с сухой сдержанной скорбью. Ведь ясно, что они слышат не только его слова «Ибо прах ты и в прах возвратишься». Прежде пусть весь этот мир — мир злобы, расизма, тирании — сам обратится в прах! Уж они об этом позаботятся. Эти люди сделали непростой выбор в пользу свободы, отвергнув девиз испанских франкистов «Viva la muerte», отказавшись от арийской свастики и черепа республиканов, вдавленного в скрещенные берцовые кости.

Кончилась служба, пора опускать гроб в могилу, и тут боль и отчаяние Гори вспыхивают с новой силой. Он тоже гарибальдиец, но теперь для него важнее, что он просто брат. Гори плачет, с ума сходит, орет, как ужаленный. Грозится за братом Карло лечь в могилу. Подходят два партизана, которые прежде были в чужом строю — Мадио Тенентини и Мин да Теа. Один двоюродный брат, а другой обещал стать родственником, как только кончится война. Они из его поселка и должны отвечать за него перед людьми.

Гори обвязан гранатами. Это не итальянские «балиллы», а английские SIPE — они страшнее. Сегодня их бы назвали лимонками. Они сделаны не для того, чтобы хлопнуть и напугать, не для того, чтобы поразить одного-двух бойцов из тех, кто поближе. У них такая мощь, что вокруг будет страшная мясорубка. С Гори осторожно, одну за одной, снимают гранаты и бережно складывают их в рюкзак. Потом отвешивают пару братских затрещин — кстати, вполне увесистых. Парню дают выпить нашей бораччи и лишь после этого обнимают и целуют по-дружески. Гори смотрит более осмысленно, и ребята оставляют его в покое.

Начинается бесконечный ритуал, напоминающий замедленные кинокадры: все присутствующие, мужчины и женщины, подходят по очереди к Гори, молча обнимают и целуют его. Это похоже на клятву.

Сестра Сантина, монахиня и партизанка, стоит в стороне и плачет, хоть и не виновата ни в чем. Даже не пытается утереть слезы. Только когда все кончилось, Сантина тоже подходит к Гори, обнимает его и долго не отпускает.

Могилу начали засыпать, только когда Гори вернулся: слой земли, слой цветов. Слой земли, слой цветов. Каждый со своей стороны. Один из партизан комкает в кулаке и бросает поверх гроба республиканский вымпел и маленький флажок со свастикой...

Если я ничего не забыл, это были последние похороны партизана, куда пускали всех. Потом стали хоронить нацистов и казаков. Кто-то из них тоже пал жертвой войны, был солдатом или партизаном. А кто-то стал жертвой кровной мести, столь же древней, как наша, и еще более загадочной. На их похороны никто не приходил. Только свои. От них сохранились могильные камни с надписями на кириллице, а некоторые и арабской вязью. У многих в изголовье сиял полумесяц. Нехорошо, что вскоре после войны их тела были эксгумированы, могильные камни сняты и доставлены в особое место, отведенное только им, казакам и нацистам, рядом с озером Гарда.

Место, что и говорить, красивое. Там есть на что взглянуть. Но в этой истории, в этой трагедии — нашей и их трагедии — что-то все-таки потерялось. После каждой этнической чистки все мы становимся беднее — и живые, и мертвые.

Сегодня молодые люди приходят на местное кладбище поклониться останкам родственников, павших в бою. Они верят, что тут захоронены только настоящие карнийцы, истинные христиане, и правильно делают. Ведь так и гласит туфовая плита: «Благородные, честные и трудолюбивые мужи рядом с их любящими женами и доблестными матерями». Надписи на памятниках партизан столь же велеречивы. И столь же невнятные.

Ясно лишь, что в 1944—45 годах был страшный мор на тридцатилетних. Склоняю голову. Могло быть хуже. Аминь.

Евгений Евтушенко



Броня

Слава прошлого — в будущей славе,
вот и выпало в час роковой
быть великому Моурави
в бронепоезде под Москвой.

Сквозь пожарища и туманы
трепыхалась на сквозняках
книга женщины русской — Анны
у солдата-грузина в руках.

Гимнастёрку суровой ниткой
он заштопал, прилёг, покурил,
а когда задремалось, то книгой
как историей, сердце прикрыл.

И страницы её защитили
От осколка, летевшего в грудь,
рядового Мнатобишвили,
понадеявшегося вздремнуть.

Значит, могут эпохи смыкаться,
если сына грузинской земли
Антоновская и Саакадзе
в сорок первом от смерти спасли.

В этой книге — глубокая рана,
и она до того глубока,
что просвечивают сохранно
в ней спасённые ею века.

Как спасенье искусство понявший,
я скажу, если спросят меня:
наши книги — для Родины нашей
дополнительная броня.

Евгений Войскунский

Балтийский Геркулес

Этот очерк написан осенью 1998 года. Незадолго до этого, летом, я познакомился в Балтийске с Анатолием Константиновичем Птицыным, выслушал его рассказ и проникся желанием помочь старому капитану. Между нами возникла переписка, я уточнял какие-то детали, фамилии — и вот написал очерк об этой поразительной жизни. Мне было тем более интересно, что в 1945—1946 годах я служил в той же, что и Птицын, бригаде торпедных катеров. Напечатать очерк не удалось. В одной газете к нему вначале отнеслись благосклонно, но неожиданно отклонили. В другой очерк приняли, но вдруг газета прогорела и закрылась. Один из моих друзей сказал: «Ничем ты не поможешь Птицыну. За плен героев не дают». Осложнившиеся обстоятельства жизни прервали мои хлопоты. Переписка с Птицыным угасла.

Из писем Анатолия Константиновича Птицына

«Видно, из моего когда-то могучего организма уходит жизнь, чаще приступы мерцательной аритмии, надо проситься в госпиталь...

Моя нервная система от наших забот довела меня до ручки. В день Победы комфлотом поздоровался со мной, спросил, как дела, а у меня ручьем полились слезы — прорвало плотину...

Пока я еще топаю по земле-матушке, я наверно представляю для писателей целый клад. Такой неординарной, можно сказать, уникальной судьбы нет больше ни у кого. Человек с силой Геркулеса и железными нервами мог только все это пройти...»

Первая победа

А в детстве он был хилым, болезненным. Родители отправили его к деду на Валдай. Дед Федор был священником и учителем в приходской школе, он же и врачевал прихожан. Шестилетний Толя на деревенском харче, на молоке и меде быстро окреп. Но тут началась коллективизация, хозяйство деда раскулачили, растащили, сам дед с женой, потеряв дом и приход, уехал к дочери — Толиной маме — в Ленинград, вскоре здесь тихо скончался. Ненадолго пережила его бабушка. Она была, между прочим, сестрой самого знаменитого в России актера немого кино Ивана

Войскунский Евгений Львович — прозаик, автор более двух десятков книг. В прошлом военный журналист. В Великую Отечественную войну воевал на Балтийском флоте. Участник обороны полуострова Ханко и Ленинграда. Отслужив 16 лет, ушел в запас в звании капитан-лейтенанта. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 2-й степени, «Знак Почёта», медалями «За боевые заслуги» и другими. Публикации в «Дружбе народов»: «Баллада о Финском заливе. Документальная повесть» (№ 3, 2005).

Мозжухина, умершего в эмиграции. А брат другой бабушки, по отцу, был адмиралом — в семнадцатом году он погиб в Гельсингфорсе.

Из хорошей семьи происходил Анатолий Птицын. Но так складывалась жизнь, что пришлось это скрывать. Более того, в душе подростка поселилось неясное чувство вины. Оно многократно усилилось, когда вскоре после убийства Кирова арестовали мать. Завуч школы, где Толя учился, вошла в класс и объявила во всеуслышание, что класс постигло несчастье: «С вами учился сын врага народа». Глаза завуча пылали праведным гневом.

Вина... А в чем же был он виноват? Что неудачно выбрал себе родителей?..

Отец умер еще до убийства Кирова. Мать была сослана в Мурманск. Толя с сестренкой скитались по теткам, по питерским окраинам. Из одной школы в другую, третью. После уроков Толя спешил в порт, работал на разгрузке судов, таскал ящики, катал бочки — зарабатывал на пропитание. Он раздался в плечах, налился молодой силой. В дворовых драках никому не удавалось побить Толю, свалить с ног. Его побаивались и признанные на улице силачи.

Куда стремились мальчишки в предвоенные годы? В авиацию, конечно. В восьмом классе к ним заявили военные, зазывали в спецшколы. Толя подал в летную, сдал экзамен, размышлял о голубом, как говорится, океане. Мандатная комиссия быстро отрезвила восторженного юнца: с твоим изъясном, дескать, и думать не моги об авиации.

Более всего Анатолия уязвляла несправедливость. Но он не давал обиде разъесть душу. Все более крепло в душе стремление доказать той невидимой силе, которая не пускала его туда, куда он хотел, — доказать, что он ничем не хуже других, с чистенькой анкетой, что он *свой, наш*.

Ему было неполных семнадцать, когда на страну обрушилась война. Как и многие его сверстники, воспитанные довоенной пропагандой, презрительно оценивающей силы любого врага, Толя считал успех немецкого наступления временным. Скоро фашистов остановят, погонят назад — хоть бы быстрее подрасти до призывного возраста, не опоздать принять участие в разгроме врага...

А враг уже под Ленинградом. В школе теперь госпиталь. Ребята помогают горожанам рыть рвы, строить баррикады. Под бомбами и снарядами начинается страшный блокадный быт...

Много лет спустя Птицын, всегда имевший склонность к стихотворству, напишет: «Рвутся бомбы, снаряды вокруг, / Город в саване, все в нем застыло. / И мы просим у Бога, чтоб вдруг / Нас вдвоем, коль случится, убило».

Это не было красивой фразой. Той блокадной зимой Толя с сестрой Наташей в вымершей и промерзшей квартире, полумертвые от голода и холода, накрылись всеми одеялами, всем тряпьем и решили больше не подниматься. Это ведь так просто — заснуть, перестать дышать, перестать жить...

Оказалось — не так уж просто. Первой очнулась от забытья Наташа, жалобно пропищала: «Ой, спину ломит». Позвала брата. Толя отозвался не сразу — сознание как бы нехотя всплывало из темного омута небытия. Они поднялись, заставили себя встать. Выломали полки в книжном шкафу, растопили печку-временку...

Может, это была первая победа Птицына — победа над самим собой.

Приказано выжить

И вот он призван на службу. По окончании учебного отряда на Соловках краснофлотец Птицын получает специальность моториста и направляется в Балтийский флотский экипаж, а оттуда — в отряд новостроящихся кораблей, на катерный завод. Уже прорвана, но еще не снята блокада, город по-прежнему под огнем немецких батарей.

На заводе строят торпедные катера Д-3. Эти маленькие кораблики — «москитный флот» — созданы для того, чтобы на большой скорости прорваться к морскому противнику и всадить в его борта торпеды. Корпус Д-3 из слоеной фанеры, осадка около метра, скорость полного хода 37 узлов. Вооружение: два торпедных аппарата, двадцатимиллиметровая двуствольная пушка ШВАК, два крупнокалиберных пулемета ДШК.

Толя быстро освоился с «паккардами» — американскими моторами, устанавливаемыми на катерах. Однажды вышел на катере-новостройке на ходовые испытания. «Паккарды» послушно давали нужные обороты. В их реве Птицын не слышал грохота рвущихся снарядов. Немцы-то были рядом, в Петергофе, и, конечно, засекли торпедный катер, выскочивший в Морской канал. Заглохли моторы, все три, и катер, беспомощный без хода, закачался на волнах. Немецкая батарея клала снаряд за снарядом, все ближе... Но в моторном отсеке Птицын быстро латал, как бы повязку накладывал на перебитый бензопровод. Кто скорее управится — он или немецкий корректировщик? Бензин пошел в цилиндры «паккардов» — катер рванул с места, и последний, может, роковой снаряд грохнул за кормой.

Уже на заводском причале командир нового Д-3 лейтенант Воскресенский всмотрелся в рослого парня с круто изогнутыми бровями.

— Как твоя фамилия, матрос?

— Птицын.

— Что ж ты на заводе небо коптишь? Пойдешь ко мне на катер?

— Я бы пошел. А можно?

Воскресенский пошел хлопотать, а Толя сбежал по сходне на узкую палубу катера и таким примитивным образом сделался членом его экипажа. Документы и аттестаты выправили позже.

И началось долгое, долгое плавание Анатолия Птицына.

Походы в составе конвоев из Кронштадта на остров Лавенсари, проводка подводных лодок. Минные постановки. Ночные высадки разведгрупп на побережье, занятое противником. И, конечно, торпедные атаки.

Ноябрь 1943 года. В Нарвском заливе холодно и ветрено. Четверка Д-3, в их числе и катер Воскресенского, в ночном поиске. Монотонно гудят «паккарды» в моторном отсеке, наступает утро, и, значит, поиск безрезультатен, пора возвращаться домой, на Лавенсари. Но вдруг моторы прибавляют обороты — это механик, стоящий в рубке рядом с командиром, отжимает акселераторы. Корпус катера трясется на полном ходу, в люк врывается ветер с ключьями дыма. Мотористы в грохочущем отсеке не видят, что происходит наверху, но понимают: это торпедная атака!

Четверка катеров сближается с немецкой колонной из восьми вымпелов: эсминца и семь тральщиков. Противник увидел несущиеся белые буруны и открыл огонь. Катер Воскресенского вырывается вперед, тянет вдоль строя немецких кораблей дымовую завесу. Желтый клубящийся дым прикрывает атакующие катера, но катер Воскресенского на виду, и огонь сосредотачивается на нем. Разрывы снарядов по носу, по корме. Катер получает пробоины, его решетят осколки, но моторы рычат, и молодой командир выходит в атаку на эсминец. Толчок — сброшена левая торпеда. Мимо! Воскресенский разворачивает катер, руки на штурвале, взгляд прикован к визиру, упрямо ищет выгодный курсовой угол. Сброшена правая! Взрыв торпеды у борта эсминца настолько силен, что катер отбрасывает взрывной волной. На курсе отхода его настигает снаряд, рванувший у правого борта. В огромную пробоину хлынула вода. Катер погружается, задирая корму с вращающимися винтами, и командир кричит: «Все за борт! Быстрее отплывать, чтоб не затянуло в воронку!»

Ледяная вода обжигает Птицына. Он плывет прочь от вытекшего из бензобаков и горящего бензина. Тут и там встают столбы воды, а грохота рвущихся снарядов

Птицын, оглушенный и обожженный, уже не слышит. Деревенеют руки, и жизнь слабейшими толчками вытекает из окоченевшего тела...

Сознание возвращается — и Птицын обнаруживает себя, забинтованного и неподвижного, на койке медсанбата. Потом он узнал, что их, тонущих, подобрал экипаж катера лейтенанта Пьянова.

Много лет спустя он напишет: «Утро. Нарвский залив. Катер тонет. / И в холодной воде еле теплится жизнь. / Командир мне сказал: вам приказано выжить. / Так что ты, старшина, как-нибудь продержись...»

Москитный флот

На бригаде любили моториста Птицына — за геркулесову силу, за веселый нрав. Он на спор сгибал руками пожарный лом. Механик Тулупов сердился, что Птицын перекручивает гайки: «Что, силушку некуда девать? Иди-ка помоги боцману грузить торпеды».

Очень полюбил Птицына молодой командир отряда капитан-лейтенант Белокуров, сам человек веселый, прекрасный певец. В марте 1945 года Белокуров, уже мертвый, спасет Птицыну жизнь...

А пока идет 44-й, год наступления. Балтийский флот, действуя на морских флангах наступающих войск Ленфронта, расширял операционную зону. И впереди, как правило, шли торпедные катера — внезапно налетающий с моря и больно жалящий москитный флот.

Апрель-май: высадка десантов на эстонское побережье. Июнь: высадка на острова Выборгского залива. Сентябрь: прорыв в Таллинн.

Торпеды дремлют в аппаратах. Сейчас прежде всего нужна скорость. Кто сможет быстрее торпедных катеров промчаться под огнем и высадить на берег десантников первого броска?

Ветер большой скорости врывается в люки машинных отсеков. Круто выгнули белые, словно стеклянные, спины буруны за кормой. Тесно сдвинуты зеленые каски морских пехотинцев, сидящих на палубе. Так и ворвались в таллинскую минную гавань, под обстрелом подошли к стенке, пушечно-пулеметным огнем прикрывали высадку. Так и прорывались позже, в октябре, к островам Моонзундского архипелага — к Вормси, Даго, Муху...

Ох, Моонзунд! Низкое небо, исполосованное трассами пулеметного и артогня. Бесконечно плывущие тучи, горький запах тротила и дымовых завес, медленно тающих в извилистых проливах. Питание — сухари и консервы. Сон — короткое забытие на пропахшей бензином и маслом палубе моторного отсека. Но это ладно, уже приспособились, привыкли, насколько можно привыкнуть к бездомовью, к безумию войны. Хуже всего — нехватка бензина. Маневренные группы торпедных катеров идут вперед, вперед, базы снабжения не успевают за ними, — вот и закачались катера у разбитых снарядами пирсов гавани Рохукюля. Ладно хоть командир эстонского стрелкового корпуса генерал Пэрн помог — велел своим интендантам поделиться бензином с катерниками.

И снова — вперед!

Птицын теперь старшина 2-й статьи, командир отделения мотористов на ТКА-166, которым командует старший лейтенант Станислав Пуйкевич. Сплаванный, сильный экипаж, каждый владеет несколькими специальностями, чтобы уметь заменить друг друга. Птицын не только моторист — по боевому расписанию он помогает комендору Гаврилову стрелять из пушки, умеет и сам наводить. Может заменить дружка и тезку Хоменко у пулемета ДШК. Стать за торпедиста — тоже. Иначе нельзя на маленьком кораблике, не вылезавшем из боев.

Весь ноябрь штормит, ползут туманы, налетают снежные заряды. ТКА-166 почти без передышки в море, в дозоре у побережья полуострова Сырве, куда отступили выбитые с архипелага немцы. Этот полуостров, кошачьим хвостом прилепившийся с юга к острову Эзель, противник пытается удержать, морем подвозит боеприпасы и прочее. Под утро 18 ноября войска Ленфронта начинают штурм Сырве. От грохота артподготовки раскалывается небо. Гремит бой на суше и на море. Катерники атакуют эсминцы и тральщики противника, связывают их, не подпускают к побережью. ТКА-166 несет потери. Осколок снаряда обрывает недолгую жизнь радиста Елисеева. Смертельно ранен боцман Стрельников. Загорелось боевое зарядовое отделение торпеды с левого борта. Это грозит взрывом, гибелью — но торпедист Никонов успевает сбить огнетушителем пламя.

В бортах катера чертова дюжина мелких пробоин. И уже угасает безумный этот день. В воспаленных глазах катерников пляшут отблески пожаров на полуострове. Прямо по носу ТКА-166 возникает черный силуэт — это немецкий тральщик-шестисоттонник. Командир Пуйкевич принимает к визиту и стреляет торпедой. Толчок. Торпеда бежит к цели и ставит гремющую точку взрыва.

Смертельный бой 27 марта

Война идет к концу, бригада перебазирована в Южную Балтику. В освобожденный армией порт Мемель (Клайпеда) в феврале 45-го часть торпедных катеров приходит своим ходом, другие привозят по железной дороге. Севернее, в районе Либавы (Лиепая), окружена и прижата к морю крупная группировка войск противника — это так называемый Курляндский мешок. По ночам к Либаве идут немецкие конвои — подвозят боеприпасы, вывозят часть войск. По ночам торпедные катера выходят из Мемеля на поиск конвоев. Прорывают охранение, пускают ко дну немецкие транспорты. Немцы усиливают охранение. Нарастает ожесточение ночных схваток.

Экипажи, приходящие под утро с моря, встречает бригадный оркестр. Катерники, измотанные атаками, грохотом боя, сходят на причал. На бледных лицах — трудные улыбки. Видят оркестр, но почти не слышат труб. Как в немом кино. Поскорее бы выпить горячего какао и упасть на койку...

Но возвращаются с моря не все.

Настает черный день 26 марта. Наш самолет-торпедоносец потопил к западу от Паланги немецкий сторожевик, но был и сам подбит. На поиск и спасение летчиков вышли из Мемеля торпедные катера лейтенантов Бортника и Герасимова. Они нашли и подобрали летчиков. Но на обратном пути оба катера были атакованы немецкими самолетами и затонули вместе с экипажами и летчиками.

Поздним вечером того же дня на перехват конвоя противника вышла шестерка катеров под командованием капитана 3 ранга Михаила Чебыкина. Ночь выдалась на редкость тихая и лунная (уж лучше была бы она потемней). Вскоре после полуночи заметили четверку сторожевых катеров-«охотников». Врубили полный ход, пошли на сближение. Чебыкин, посчитав, что это одна из групп охранения немецкого конвоя, приказал своему заместителю капитан-лейтенанту Белокурову с тремя катерами сковать охранение боем. Со второй же тройкой бросился вправо на пересечку курса предполагаемого конвоя.

Белокуров шел на катере Пуйкевича ТКА-166. Он первым и вступил в артиллерийский бой со сторожевыми катерами, а их уже было шесть, и каждый в шесть раз превосходил наш торпедный катер по количеству стволов и к тому же имел металлический корпус с бронированной рубкой. Наши же Д-3 были, как уже сказано, деревянные.

Огненные трассы перекрестили ночь. Снаряды вспахали море и обрушились на катера. В рубке ТКА-166 упал с пробитой головой капитан-лейтенант Белокуров. Полетели обломки обшивки. Разрывом снаряда разворотило борт, пробило бензоотсек. Катер как бы споткнулся, стали глохнуть моторы. Птицын выскочил из люка наверх. От луны и огня было светло, как днем.

Кричал, наклонясь к радиорубке, Пуйкевич:

— Чебыкину! Не имею хода, прошу снять людей...

Радист Шориков быстро отработал радиограмму, добавив от себя: «Прощайте, товарищи».

Дымзавеса редела, усилился огонь. Птицын подносил снаряды Гаврилову, а тот, спокойный (вот же нервы у человека!), тщательно прицеливался и бил из ШВАКа наверняка. Задымил один из «охотников», потом загорелся другой... Но было их много, много. Их снаряды кромсали ТКА-166. Пуйкевичу оторвало левую руку, кровь била фонтаном. Правой рукой он нажал залповую кнопку, и обе торпеды ударили в борт сторожевого катера. Сноп огня, взрыв страшной силы разбросал обломки «охотника».

На носу 166-го вспыхнуло пламя очередного разрыва. Умолк носовой пулемет. Птицын побежал туда. К нему на руки, заливая лицо кровью, сползал с турели пулеметчик Хоменко, тезка, дорогой друг. «Только, — шептал последние в жизни слова. — Только... прощай...» Птицын оттащил тело друга к рубке, а сам стал в турель ДШК, ударил длинной очередью в ближайший «охотник».

Наверно, страшно бы стало тому, кто увидел сейчас его лицо...

Между тем капитан 3-го ранга Чебыкин, так и не обнаружив конвой, получил радиограмму Пуйкевича и повел свою тройку катеров к нему на помощь. Там, на месте боя, полыхал горизонт.

Но проскочить к горящему катеру Пуйкевича Чебыкину не удалось. ТКА-196, на котором он шел, — катер капитан-лейтенанта Якова Беляева — сходу ворвался в огненный круг. К тому времени сюда сбежались еще восемь «охотников», всего их было четырнадцать, силы далеко не равные, но так сложился этот безумный ночной бой.

Плотный огонь накрыл катер. Вспыхнул пожар в ходовой рубке — он поглотил командира Беляева и механика Богданова, сраженных осколками. В луже крови корчился раненный в живот штурман дивизиона Хрусталева. Тяжело раненного комендора Мартынова заменил у пушки командир отряда Чебыкин, сам посеченный осколками, в сапогах, полных крови.

ТКА-196 тонул. Боцман Пампушкин столкнул с горячей палубы в воду раненных, обхватил лежавшего без сознания Чебыкина и прыгнул с ним за борт.

А ТКА-166, полуразрушенный и горящий, продолжал сражаться. Разрывом снаряда заклинило носовой ДШК, горячий осколок ударил Птицына, взрывная волна отбросила его к рубке, где боцман Бережко бил из рубочного пулемета. Пуйкевич, одной рукой держа огнетушитель, пытался сбить пламя, пожирившее обшивку. Бросив опустевший баллон, стал стрелять из пистолета по немецкому катеру. В следующий миг рванул снаряд — и храброго командира 166-го не стало. Пал за смертью и комендор Гаврилов, на месте его пушки дымилась станина без стволов. Взрывом выбросило из рубки боцмана Бережко, у него переломаны руки и ноги.

Катер горел и погружался кормой. Как умирающий человек, он испустил последний выдох, скрылся под водой. Бурлила, klokотала вода. Жутким холодом обожгло Птицына, он сделал несколько взмахов, отплывая от воронки, — но долго ли продержись с простреленным легким в ледяной воде... Чье-то застывшее тело качалось рядом. Мертвыми глазами уставился в черное небо, застланное дымом, капитан-лейтенант Белокуров, капковый бушлат не давал ему утонуть. А у Птицына спасательный пояс пробит осколком, из него вышел воздух.

И Птицын, как за спасательный круг, ухватился за мертвое тело Белокурова.

Плен

Раненых моряков с двух затонувших катеров немцы вытащили отпорными крюками из воды. «Меня подняли одним из последних, как замороженного судака из холодильника», — напишет впоследствии Птицын.

Он очнулся в машинном отсеке немецкого катера. Рядом на вибрирующей от работы дизелей палубе лежали Бережко, Шориков, Пампушкин и другие уцелевшие, их немного — меньше половины двух экипажей. Тут и командир отряда Чебыкин. Все почти неузнаваемые, в кровоподтеках, в копоти, грязных бинтах. Кричал от боли штурман Хрусталева, к утру он умолк навсегда...

Дальнейшие события напоминают фантастический роман. Как страницы этой страшной антиутопии листаются: Либава, холодный тюремный барак, стоны раненых, лежащих на голых досках. Ров, наполненный ржавой водой, — у рва стоят они, уцелевшие, под наставленными автоматами. Офицер-эсэсовец идет вдоль строя: «Кто ест большевик?» Строй молчит, сдвинув плечи. Офицер выхватывает парабеллум, орет, тычет в грудь одному, другому. И тогда торпедист старшина 1-й статьи Козлов, единственный среди них член партии, делает шаг вперед. В ту же минуту и остальные, беспартийные, становятся с ним рядом. Погибать, так всем вместе. Но почему-то эсэсовец отставил расстрел.

Следующие страницы: трюм транспорта, забитого немецкой солдатней, в загородке трюма — пленные катерники (не все, часть во главе с Чебыкиным оставлена в Либава). Выгрузка в порту Свиномюнде. Поезд на Гамбург. Лагерь военнопленных за городом. Они обречены на медленное умирание: долго ли протянешь на вареной вонючей брюкве и двух кружках серого эрзац-кофе в день? И никаких лекарств. Но раны понемногу затягиваются. Пинками, зуботычинами охрана выгоняет пленных на земляные работы. Но Птицына бить опасаются: уж очень силен этот русский, да и смотрит угрожающе. Его прозвали «гросс-марине».

Однажды повезли в вагонах куда-то — вдруг с неба гул бомбовозов. С остановившегося поезда охрана посыпалась в кусты, за ними и пленные. Загрохотали разрывы бомб. Вот удобный момент для бегства! Птицын бежал к лесочку, когда услышал чей-то крик: «Моряка убило!» Не раздумывая, бросился обратно. У полотна, на откосе, неподвижно лежал Шориков, радист. Птицын потряс его за плечо: «Степан! Ты живой?» Шориков раскрыл глаза, шепнул: «Толя... не бросай меня». Он был белый от потери крови. Птицын оторвал от тельняшки полосу и туго забинтовал ему перебитую осколком ногу. Потом поднял Шорикова на руки и пошел догонять колонну, бредущую к месту работы. Раньше никакая ноша не была тяжела. Но теперь опять стала кровоточить рана на спине. Он задыхался, давал о себе знать осколок в легком, да и раны, полученные в прежних боях. Но друга он, конечно, не бросил. И потом, в лагере, опекал Степана. У лагерных придурков «гросс-марине» отбирал то кусок хлеба, то консервы. Добывал бинты для перевязок.

Спустя неделю Птицын бежал из лагеря вместе с бывшим пограничником Крошкиным, который знал местность и язык. Не будем описывать их ночные скитания, и как добывали пищу, и как Птицын мощными ударами кулака расправился с двумя полицейскими, арестовавшими его.

Вскоре они, Птицын и Крошкин, вышли на Сашу. Этот немногословный человек действовал с небольшой группой в немецком тылу, между Гамбургом и Аренсбургом. Птицын просил его помочь освободить моряков, оставшихся в лагере.

Весенней ночью Птицын с бойцами этой группы напали на охрану одного из лагерей и освободили заключенных — это были военнопленные французы. Еще два лагеря поблизости — мужской и женский — освободили этой ночью. Тут надо сказать, что к Гамбургу подходили английские войска, а с востока наступали, приближаясь к

Шверину, советские. Сумятицу в тылу у немцев значительно усилили тысячи людей, выпущенных из лагерей.

А потом наступила очередь лагеря под Гамбургом, в котором томились пленные моряки. Охрана разбежалась при первых же выстрелах. Птицын с трофейным автоматом в руках рыскал по лагерной зоне, отыскивая своих катерников. Нашел, еле узнал их, «доходяг». Только Шорикова не было, куда-то его увезли. Впятером — с Пампушкиным, Козловым, Данилиным и Суздалевым — пустились проселками, лесными тропами, избегая больших дорог, на восток, к Шверину. Шли последние дни апреля.

К усталым советским стрелкам-пехотинцам бросились, как к родным братьям: наконец-то свои! Однако лейтенант, белобрысый юноша, и разговаривать не стал с оборванными, обросшими бродягами — велел запереть их на ночь в подвал с решетчатой дверью.

Но Птицына недаром называли Геркулесом. Он выломал решетку и пошел искать «особиста». От одного часового к другому — нашел. Влез к майору-«смершевцу» в раскрытое окно. Тот метнулся за пистолетом, но Птицын загородил ему дорогу: «Товарищ майор, не бойтесь, я свой». Они сели за стол и проговорили чуть не до утра. И в «смерше» бывали не упертые, как говорится, люди: майор поверил Птицыну. Выписал морякам удостоверение и отпустил.

Шли-ковыляли к побережью, к Кольбергу (Колобжегу), где стояли моряки. Суздалев не выдержал: голод и раны доконали его. Похоронили друга на лесной опушке. Такие были они, оставшиеся четверо, изнеможенные, что даже не было сил обрадоваться, когда узнали от старика-немца, что Германия капитулировала.

Недоверие

Первым, кого увидели Птицын и его друзья, выйдя к устью реки Парсенты, при ее впадении в море, был катерник Ермаков. Он сидел на краю пирса, голый по пояс, — загорал на майском солнышке. От соседних пирсов доносился рокот моторов, там шло утреннее проворачивание механизмов, — и от знакомого гула «паккардов» у Птицына сердце выбило радостную дробь.

Ермаков настороженно вгляделся в оборванных незнакомцев.

— Валька, — сказал Птицын. — Ты что, не узнаешь?

Ермаков смотрел ошалело. Вдруг вскочил и с громким криком бросился Птицыну на шею:

— Толик! Ты откуда? С того света?

Сбежался чуть не весь дивизион Д-третьих, стоявший тут, в Кольберге. Катерники, как и все нормальные люди, радостно встретили друзей, которых считали погибшими. Повели мыться, кормиться, лечиться...

Но не прошло и двух дней, как вышел приказ: всех четверых изолировать!

Вместо моторного отсека торпедного катера — камера на гауптвахте, часовой у двери. И допросы: как? почему? откуда? «Особист» недоверчиво глядит холодными глазами. Ему нет дела до смертного боя 27 марта. Его интересует другое: почему остался в живых? Без обиняков он говорит Птицыну: «Я бы на твоём месте застрелился».

— Да в чем я виноват? — кричит в отчаянии Птицын.

Их, четверых, везут в крытом студебеккере в Пиллау — там развернута главная база флота, там и «смерш» повыше рангом, чем в кольбергской маневренной базе. И опять допросы, дневные, ночные...

Понимали ли «смершевы», что нелепо подозревать военнопленного в том, что немецкая контрразведка накануне разгрома Германии пыталась его завербовать, склонить к измене? Вероятно, понимали. Но раз не отменено указание вождя считать

бывших пленных предателями, значит — никаких послаблений. «Я бы на твоём месте, — говорит Птицыну и этот «особист» в Пиллау, — и дня не жил».

Страна празднует великую победу. Родная краснознаменная бригада награждена орденом Нахимова. Из гавани доносятся бодрое пение корабельных горнов, перезвон склянок. А он, Птицын, и трое товарищей по несчастью — не последние люди в бригаде, жизни не жалевшие для победы, — не имеют права жить. Тот ночной бой списан в безвестность, в безвременье. Вот если бы они на двух деревяшках пустили ко дну четырнадцать бронированных катеров, тогда другое дело...

Допросы, запросы, проверки — это длилось долго. Вдруг все четверо как будто надоели «смершу». Их отпустили. Но родная бригада отказалась от них. Нет, не бригада, конечно, а новый комбриг. Прежний комбриг капитан 1-го ранга Олейник ценил своих моряков — их мужество, их боевой опыт. А новому — капитану 1-го ранга Кузьмину — похоже, не нужны катерники, побывавшие в плену.

Ладно, нельзя на ударное соединение, так, может, примет вспомогательный флот.

На капитанском мостике

Что и говорить: повезло Птицыну. Не брошен в застенок, а списан на вспомогательный флот Юзмора — Юго-западного морского оборонительного района. Можно сказать — оказали честь. Служи, докажи, что ты не верблюд, то есть не шпион, не предатель, а свой человек, *наш*.

Портовое хозяйство в Пиллау и окрестных приморских городках в плачевном состоянии. Покалеченные артогнем причалы, затопленные суда на фарватерах. Работы невпроворот. Снуют по акватории трудяги портовые буксиры. Тут перешвартовка, там буксировка — без буксиров нельзя ни вывести из гавани, ни ввести крупный корабль, крейсер, например. Возят нужные грузы, вывозят ненужные — ржавое железо отгремевшей войны.

На трофейном буксире под названием «Дорш» плавает механиком старшина 2-й статьи Птицын. Два года спустя выходит его призыву демобилизация. Он теперь гражданский человек, можно уехать из Пиллау — теперь Балтийска — куда угодно. А куда, собственно? Ведь за ним поедет «личное дело», а там, небось, строчечка про плен. Нет уж, спасибо за широкий выбор. Уж лучше тут, где его знают, где не надо начинать с нуля доказывать, что ты не...

Пора подумать об учебе, познать науку моря. Но в высшее военно-морское училище — так сказать, в калашный ряд — нельзя. Строчечка в личном деле — ее же не стер дядя-кадровик. Птицын поступает экстерном на двухгодичные курсы комсостава и оканчивает с отличием. Потом — тоже с отличием — заочно кончает мореходку в Ломоносове.

Теперь Птицын — капитан. Хорошо смотрится на капитанском мостике его высокая фигура, не скажешь, что он битый-перебитый, с двумя дюжинами осколков в теле, что он тонул, горел и голодал. Нет, все-таки он везун, этот балтийский Геркулес. Вот ведь, не все мины еще вытралены, и в первые послевоенные годы на них подрывались корабли. В Мертвой Висле, например, погиб буксир с выпуском юнг. Да и в морканале Балтийска подрывался тралыщик-стотонник, подрывался бронекатер. А он, Птицын, шастает на своем буксире — и ничего.

Шли годы. Птицын женился. Нина Иосифовна — хорошая, заботливая жена, верная подруга моряка. У них родился сын. Анатолий Константинович по-прежнему больше в море, чем на берегу. Он водит морской спасатель — судно тоннажем куда больше, чем портовый буксир. Все шторма на Балтике — его шторма. Встречал в Скагерраке корабли и проводил через проливную зону. Однажды, суровой зимой,

вмерз в лед в Мекленбургской бухте, вообще-то незамерзающей. Датчане сбрасывали ему на лед с самолета продукты. Много раз ходил в Ленинград. И всегда, проходя траверз Паланги, неподалеку от точки, где в 45-м погиб в неравном бою его катер, Птицын командует приспустить флаг.

Бой был «неправильный»?

Тут бы и поставить точку. Наш герой — на капитанском мостике, хотя болят, болят старые раны. Теперь никто не посмел бы попрекнуть Анатолия Константиновича проигранным боем и пленом. Над мартом 1945 года повисла плотная завеса забвения.

Но еще живо беспокойное племя ветеранов войны. В 1965 году, когда отмечалось двадцатилетие победы, секция ветеранов-катерников вспомнила о ночном бое 27 марта 1945 года и обратилось к командующему флотом адмиралу А.Е.Орлу с ходатайством о награждении погибших экипажей. Адмирал велел проверить факты. И тогда выяснилось: *совершен подвиг*, о котором забыли. Архивные документы подтвердили: в том бою торпедные катера ТКА-166 и ТКА-196 потопили два сторожевых катера противника, повредили четыре и погибли сами со всем личным составом. В политдонесении, подписанном начальником политотдела бригады В. Романовым, перечислялись фамилии двадцати двух погибших. И была извлечена из архива еще одна бумага, роковым образом повлиявшая на дальнейший ход событий, — докладная записка начальника штаба бригады Г. Тимченко. Об этом — немного позже.

Но тогда еще были живы десять катерников из двадцати двух.

В 1966 году военный совет Балтфлота представил к правительственным наградам всех участников боя, мертвых и живых, в том числе капитана 2-го ранга в отставке М. Чебыкина и старшину 2-й статьи в отставке А. Птицына — к званию Героя Советского Союза.

И закружилась многолетняя бумажная карусель-канитель...

Из Москвы, из наградного отдела главкомата ВМФ пришел не очень вразумительный ответ, что, дескать, все участники боя были прежде награждены и поэтому в новом награждении отказано. Спустя год, в августе 67-го, уже при новом командующем Балтфлотом вице-адмирале Михайлине, военный совет снова представил героев боя к наградам. И снова главкомат ВМФ отмахивается: «...награждению за боевые подвиги подлежат только те участники войны, которые имеют ранения и вообще не были отмечены правительственными наградами».

Что тут скажешь? Ранения имели все, да не одно. Награды за прежние бои — тоже. В подтексте бюрократической отписки явственно читалось: перестаньте слать представления за проигранный бой. В 1988 году, когда военный совет флота, уже при новом командующем адмирале В. Иванове, в третий раз представлял героев к наградам, главкомат ВМФ лаконично отписал, что оснований для награждения нет, так как за этот бой его участники тогда, в военное время, к наградам представлены не были.

Еще бы они были представлены. И уж тем более те из них, кто, как выяснилось, в том же 45-м попали в плен и имели наглость выжить. Они не знали, какой был в бригаде переполох. Четыре катера погибли за одни сутки: Бортника и Герасимова — 26 марта и Пуйкевича и Беляева — в ночь на 27-е. В Мемель прилетел разбираться сам нарком ВМФ адмирал флота Н.Г. Кузнецов. Действуя вполне в духе времени, он снял с должности комбрига капитана 1-го ранга Г. Олейника и назначил капитана 1-го ранга А. Кузьмина, прибывшего с Северного флота, который уже закончил войну. Именно в эти трудные для бригады дни появилась докладная записка начштаба Г. Тимченко. В ней гибель ТКА-196 и ТКА-166 объяснялась тактической неграмотностью коман-

дира отряда М. Чебыкина. Он-де неправильно руководил боем, допустил расчленение отряда, плохую дисциплину строя...

Тимченко, разумеется, знал, что Чебыкин был опытейшим катерником, именно он первым потопил в начале войны, 13 июля 41 года, вражеский транспорт. Обвинение такого офицера в тактической неграмотности выглядит бесчестным поступком. Торпедные катера предназначены для торпедных атак, а не для артиллерийского боя с превосходящими силами противника. Наверное, было бы тактически безошибочным уклониться от такого боя, но обстановка на море быстротечна и не укладывается в учебные схемы. Бой сложился так, а не иначе, — два катера оказались под губительным огнем, и их экипажам не оставалось ничего, кроме как драться до последнего вздоха. Они и дрались геройски.

Тут невольно вспоминается другой бой из далекого прошлого. Все аналогии, конечно, условны, но все же... Крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» тоже были вынуждены сражаться против превосходящих сил, японская армада тоже (!) состояла из четырнадцати кораблей. Бой при Чемульпо не вошел в учебники как образец тактики — но кому пришлось бы в голову обвинить командира «Варяга» капитана 1-го ранга Руднева в тактической неграмотности? Русские моряки дрались геройски — вот это самое главное. Тех, кто выжил, Россия встречала именно как героев — на всем пути из Севастополя в Петербург. В Зимнем дворце был устроен торжественный прием в присутствии императора. Все участники боя получили царские грамоты и георгиевские кресты. Была выбита памятная медаль о бое 27 января 1904 года...

Почему же боевой офицер Тимченко пишет бесчестную докладную записку о боевом офицере Чебыкине? Такое было время. Мужество и верность долгу нередко заслонялись закулисной возней, вызванной страхом перед начальством, перед грозным аппаратом насилия. Уберечь свою голову, свалить вину (да и какая вина?) на другого...

Шло время, оттепель растопила нагромождения льда. Пали былые запреты, былые страхи. Вот уже и адмирал В.Трибуц, командовавший Балтфлотом в годы войны, в своих воспоминаниях упомянул о мартовском ночном бое, отметил героизм катерников. А в 1973 году адмирал флота Н.Кузнецов написал Птицыну: «К сожалению, только сейчас я разобрался в этой операции». И прислал ему свой портрет с надписью: «Уважаемый Анатолий Константинович! В знак памяти о вашем героизме в дни Великой Отечественной войны. Кузнецов».

Лучше поздно, чем никогда.

Однако шли годы, оттепель сменилась новыми заморозками, застой — перестройкой, менялись и главкомы ВМФ, но ничто не переменялось в отношении главкомата к подвигу балтийских катерников. На письма совета ветеранов, на официальные представления к наградам военного совета Балтфлота — один ответ из Москвы: нет. Таких представлений — уже *десять*.

И вот что страшнее всего. В представлении 1966 года слово «посмертно» стояло после двенадцати фамилий, в 1990 году — после восемнадцати. Вот и Михаила Григорьевича Чебыкина не стало. Уходят, уходят герои, не дождавшись признания своих боевых заслуг.

Теперь из двадцати двух остались в живых только двое — Анатолий Константинович Птицын и Степан Терентьевич Шориков. Бывший радист ТКА-166 Шориков, инвалид войны, живет под Рязанью, у него стало совсем плохо со зрением.

А Птицын, балтийский Геркулес, пока держится. Ему уже семьдесят четыре, он перенес инсульт, мучает мерцательная аритмия, нестерпимо болят ноги, но до недавнего времени, до апреля 1997 года, он все еще водил вспомогательные суда флота. Был единственным в СССР, в России инвалидом войны, *пятьдесят пять лет* не сходившим с капитанского мостика, — это два полных офицерских срока службы. Его

полувековая безупречная служба на море — еще один подвиг, трудовой, в дополнение к боевому.

В десятый раз Птицын представлен к званию Героя России. Дождется ли? Он с горечью говорит: «У нас любят только мертвых героев».

На досуге старый капитан пишет стихи, их печатают в городской газете Балтийска. Он пишет: «Этот бой ни на что не похожий, / И в устах об этом нет слов. / Чтоб отдать свои жизни дороже, / Мчимся в самую гущу врагов. / Память сердца пронизана болью. / Наши души уже в облаках. / Пулеметчик, весь залитый кровью, / Умирал у меня на руках».

Из писем Анатолия Константиновича Птицына

«Мне уже ничего не нужно. Но в чем же дело, какое проклятье висит надо мной? В чем я виноват? В том, что я живой и не утонул?..

Дома сплошное горе — ослепла жена, у самого прихватывает сердце. Выходим на последнюю прямую...

Сейчас прибавилось повальное воровство — тащат всё, сперли бочки с огорода и даже забор. Нужно чем-то отбиваться от этого нашествия. Раньше я мог свободно перебросить через забор любого, а теперь уже нет сил. В общем, моя судьба не служит примером флоту...

А я-то, дубина, отдал по-настоящему любимому флоту всю жизнь и здоровье, и этого, оказывается, никто и не заметил???»

Послесловие

Почти семнадцать лет пролежал этот очерк в моем письменном столе. Звание героя Птицын за эти годы так и не получил. Но все же он не был забыт. Его чествовали на всероссийском телевидении. Я знал, что в Калининграде издали книжку стихов Птицына.

Я радовался: замечен, не забыт его подвиг!

И вот наступает семидесятая годовщина Победы, вероятно, последний юбилей в жизни уцелевших ветеранов войны. И предложив журналу этот очерк, я решил узнать, жив ли его герой. Созвонился с друзьями в Калининграде, попросил их выяснить это. И мне сообщили: Птицын болеет, но жив!

Ну, «болеет»... А кто из нас, воевавших, девяностолетних, не болеет? Главное, что вы живой, Анатолий Константинович. Вы — пусть и неофициальный, но истинный Герой России. Ваша героическая жизнь, ваша уникальная судьба не могут быть забыты.

С праздником Победы, дорогой мой Геркулес!

Золотые страницы «ДН»

Максим Танк

С белорусского. Перевод Алексея Парщикова



* * *

Жестокий бой тут шёл кругом,
Ещё горячая — верба,
а водосточная труба,
в которую и дождь и гром
нам протрубили о весне,
висит, оглохшая; над ней
две ласточки разводят клей
и гнёзда лепят.

По стене

уже взвинтился душный хмель
и затаился: вдруг мелькнёт
там, за окном, волос разлёт,
а может, скрипнет колыбель...

На улице стоит солдат.

Увидит ли среди руин
из-за оконных крестовин
любви и юности возврат?..

Пока издалека им плыть,
лететь или въезжать на двор,
двух ласточек до этих пор
он охраняет, может быть.

Ольга Балла

Невозможность возвращения

Елена РЖЕВСКАЯ. Берлин, май 1945-го. Записки военного переводчика; Домашний очаг: как оно было.

— Ты виновата, — простодушно сказала мама, освобождаясь от скованности первых минут и не умея сдержаться, повременить хотя бы до завтра. — Ты не вмешалась...

— Ну вот еще. Как я могла?

— Если бы ты...

— Что я?

И сразу обидой защемило в груди. Я хотела совсем по-другому, других слов.

— Если бы ты ему написала, что порвешь с ним навсегда, он бы не ушел. Ты же знаешь. Он — слабохарактерный. Это все она. Она — сильная.

— Но я ведь писала вам. Я переживала. Но что я могла! И потом — когда это было, ты соображаешь, какая обстановка была на фронте!

«Могли бы и меня недосчитаться», — но противно это выговорить. И я говорила на забытом языке домашних пререканий, со страхом чувствуя, как что-то важное, что донесла до дома, рушится во мне в эти минуты».

Так встретили героиню повести «Домашний очаг», вернувшуюся с войны осенью 1945-го и едва переступившую порог родного дома. Непонимание и разлад с первых минут. Сразу же ясно: разные языки, разное чувство важного и неважного. Договориться, услышать друг друга если и возможно — то очень трудно. «Я никогда не вернусь домой, — думает она в самый первый день возвращения, — теперь меня будет всегда томить, звать какая-то смутная даль и не будет ни воли, ни стимула откликнуться на этот зов».

Отныне даже между самыми близкими некогда людьми произошел — помимо их воли, неожиданно для них самих — разрыв, разделяющий их на тех, кто был на фронте, и на тех, кто там не был, — на людей с принципиально разной структурой опыта. Суждено ли ему зарастить?

О медленном и болезненном зарастании разрыва, о его незарастаемости — все, что здесь будет рассказано дальше.

Две совсем небольших (по объему внутреннему — огромных) автобиографических повести Елены Ржевской написаны изнутри принципиально разных состояний — не только исторических, но человеческих. Они — о разных типах соприкосновения с историей, судьбой и другими, в них вовлеченными, людьми.

Повесть «Берлин, май 1945-го» известна хорошо и уже очень давно. В первом своем варианте, под названием «В последние дни. Записки военного переводчика», она вышла в журнале «Знамя» еще в феврале 1955-го, затем, доработанная, дополненная впечатлениями от возвращения в Германию в шестидесятых, под заголовком «В логове фашизма, записки военной переводчицы» — в «Науке и жизни» в 1967-м. Вторая

повесть, в начале которой происходит только что прозвучавший диалог, была опубликована в «Дружбе народов» спустя полвека — в 2005-м (еще шесть лет спустя, в 2011-м, она стала главой книги воспоминаний Ржевской «За плечами — XX век»). Но читать их стоит вместе, подряд, как части единого целого. При сближении этих текстов друг с другом между ними проскакивает искра.

Первый текст — о победе и о тех месяцах и днях, что непосредственно ей предшествовали. О том, как переживала свою катастрофу поверженная Германия; как вели себя и как себя чувствовали в те, самые первые, дни русские и немцы.

Кроме того, здесь много говорится об измученной войной Европе, увиденной изнутри как разверстая рана. Рассказ начинается с Польши — туда в конце 1944 года перебросили 3-ю ударную армию, в штабе которой Ржевская была военным переводчиком, — и полон подробностей, известных только очевидцам. Драгоценное и мимолетное вещество жизни: уличные сценки и виды, лица, разговоры, звуки, предметная среда, атмосфера — то, что обыкновенно, не будучи записанным, стремительно забывается. «У понтонной переправы часовой в конфедератке тер замерзшие уши». «Вот пробирается по тротуару слепой старик с двухцветным польским флагом на высокой каракулевой шапке и желтой с черными кружками нарукавной повязкой незрячих. Он вытягивает шею, жадно ловя звуки улицы». Здесь — все живо, все цело. Быт победы, ее трудная черновая работа.

«Мы мчались мимо старых распятий, висевших по сторонам дороги, и деревянных щитов с плакатом, изображавших бойца, присевшего перемотать обмотки: «Дойдем до Берлина!» <...> От этого населенного пункта в памяти остались бесприютный облик его небольших продырявленных домов, жестяная тусклая вывеска булочной — «Piecuwo», раскачивающаяся на телеграфном проводе, незатворяющиеся, съехавшие с петель двери да хруст стекла и щебня под ногами».

А вот как встречали советскую армию в польском городе Быдгоще: «На улицах было необычайно оживленно. Все польское население Быдгоща высыпало из домов. Люди обнимались, плакали, смеялись. И у каждого на груди красно-белый национальный флажок. Дети бегали взапуски и визжали что есть мочи и приходили в восторг от собственного визга. Многие из них и не знали, что голос их обладает такими замечательными возможностями, а другие, те, что постарше, позабыли об этом за пять мрачных лет гнета, страха, бесправия, когда даже разговаривать громко было не дозволено. Стоило появиться на улице русскому, как вокруг него немедленно вырастала толпа. В потоках людей, в звоне детских голосов город казался весенним, несмотря на январский холод, на падавший снег». «...людей объединяло щедрое чувство свободы, и в этот день никому ничего не жаль было друг для друга».

Дальше было страшнее и трагичнее. «Щедрое чувство свободы» объединяло отнюдь не всех. То, что было радостью освобождения для завоеванных Гитлером народов, для немцев — даже для простых этнических немцев, живших за пределами Германии — обернулось катастрофой: поражением и унижением.

«На перекресток, — пишет Ржевская о происходившем в Быдгоще, — выходил глухой, узкий переулок, праздничный поток не проникал туда. По переулку растянулась вереница людей со скарбом, нагруженным на тележки, салазки, на спины. Это были немцы-хуторяне, снявшиеся с мест и двигавшиеся бог весть куда. Поляк-подросток на коньках во главе небольшой ватаги мальчишек преградил им дорогу. Пожилая немка, укутанная поверх пальто в тяжелый плед, старалась что-то разъяснить ему, а он иступленно колотил палкой по узлам со скарбом и кричал: «Почему не говоришь по-польски? Почему не умеешь говорить по-польски?» Я взяла его за плечо: «Что ты делаешь? Оставь их». Он поднял лицо — злоба и слезы в глазах. <...> ему казалось недопустимым, чтобы немцы сегодня беспрепятственно ходили по земле после всего, что было». В часы, когда «на перекрестке горожане весело растаскивали немецкий кондитерский магазин, приполз слух: где-то за два квартала отсюда какая-

то немка-старуха пыталась поджечь дом, и теперь ее труп коченеет на пороге...». Покидая город, Ржевская увидела, как «группа мужчин очищала от снега тротуары. Подъехав ближе, мы увидели: на лацканах их пальто нарисована мелом свастика. Это по решению городского магистрата после всего, что было, немцы должны выйти на уборку улиц».

А вот сама Германия: «Город Ландсберг. В хлюпнувшем на тротуар бесколесом «опеле» лазают мальчишки с белыми повязками на рукаве. Наверное, играют в войну. Из окон свешиваются белые простыни. Здесь много жителей, они навьючены тюками, толкают груженные детские коляски, и все до одного — и взрослые и дети — с белой повязкой на левом рукаве. Я не представляла себе, что такое бывает — вся страна надела белые повязки капитуляции, и не помню, чтобы читала о таком».

Дальше был Берлин — самая сердцевина катастрофы.

«Чем ближе к центру, тем плотнее воздух. Кто был в те дни в Берлине, помнит этот едкий и мглистый от гари и каменной пыли воздух, хруст песка на зубах.

Мы пробирались за стенами разрушенных домов. Пожары никто не тушил, стены дымились <...>

«Наши стены рушатся, но не наши сердца», — висел такой плакат над уцелевшей дверью, ведущей теперь никуда — в мрак опустошения».

Елене Ржевской достался уникальный исторический опыт — о степени его уникальности она сама еще ни в конце сорок четвертого, ни в феврале, в марте, даже в начале апреля сорок пятого не могла бы и помыслить. Молодая переводчица оказалась в числе тех, довольно немногих, кто делал историю собственными руками — в буквальном смысле прикасался пальцами к ее сердцевинным узлам и распутывал их.

Вместе с самыми первыми представителями армии победителей Ржевская спустилась в бункер Гитлера под рейхсканцелярией. Она не просто подробно — по дням, даже по часам — пишет хронику падения города и агонии фашистской власти. Опираясь на попавшие в ее руки бумаги, которые остались от гитлеровского окружения, она с той же степенью подробности восстанавливает, что происходило в бункере перед концом его обитателей и сразу после него. О сочувствии сидельцам бункера говорить, разумеется, не приходится, однако и тут есть пронзительные страницы — о гибели детей Геббельса, убитых собственными родителями. «Темный румянец» на мертвых детских лицах — типичный признак отравления цианистым калием — уже никуда не сможет отныне деться ни из авторской, ни из нашей читательской памяти.

В дни падения Берлина Ржевской пришлось участвовать вначале в поисках Гитлера, затем — в проведении опознания его трупа и в расследовании обстоятельств гибели его самого и его приближенных. Именно в ее руках волею судеб была коробка с челюстью Гитлера, по которой, с помощью ею же разысканных документов личного стоматолога фюрера, его обгоревший до неузнаваемости труп был идентифицирован. Она стала одним из первых читателей, если не первым вообще, дневника Геббельса — и анализирует по дневнику его личность. Чистые — минимум художественных красот и вольностей! — строгие, естествоиспытательски точные свидетельства очевидца. Практически протокол.

Нам дан слепок с самых первых дней германской катастрофы и нашего торжества — этнографически, антропологически подробный. Что удивительно для текста, писавшегося в пятидесятые-шестидесятые годы, это описание совершенно свободно от признаков актуальной тогда идеологии. Более того, в нем нет ни малейшей враждебности к немцам — не к фашистам и фашизму, в категорическом осуждении которого сомневаться не приходится, — а именно к немцам, на землю которых пришли победители. Нет вообще никакого раздражения по отношению к ним, — которое в общем-то было бы вполне понятно, — никакого отталкивания от них — от

представителей народа, принесшего соотечественникам автора и ей самой столько горя.

Ржевская удивительно человечна.

Пораженная еще в Быдгоще тем, как немцы, с нарисованными на них мелом значками, ранним, темным зимним утром убрали снег, она прекрасно понимает ожесточение выгнавших их на эту уборку поляков. «Как же нам не понять их чувства. Нам, прошедшим сквозь страшные невзгоды, сквозь смерть и разрушения по чудовищным следам фашистского бесчинства. Сколько раз мы говорили себе: неужели это может остаться без возмездия, неужели они не понесут кару за все? Неужели наша ненависть не будет удовлетворена мщением?» Но и годы спустя она напишет: «Тяжесть этого впечатления помню до сих пор», — и воскликнет: «К черту, к черту такое удовлетворение!»

Дистанция между нею и побежденными безусловно есть, но прежде всего прочего есть сочувствие к ним, цепкое внимание, удивленный интерес к их инаковости, даже уважение — к их умению сохранять достоинство в катастрофе.

«Но немцы и не думали иссякать. Они продолжали жить своей трудной и стойкой жизнью. И притом как ни в чем не бывало сидели в кафе, вели свои дела, посещали бассейн, лежали на пляже. Это казалось даже чем-то кошунственным по отношению к бедам страны, к понесенным жертвам, к тем, кто уведен в плен». Так описывает Ржевская жизнь обитателей маленького города Стендаля (да, того самого, что дал некогда литературное имя Анри Бейлю) «в часы, когда большое, незнакомое войско победителей заполняет улицы». Немцы, поверженные враги, интересны и важны ей ничуть не менее, чем собраты-победители. Ее внимание к подробностям повседневной жизни побежденного народа, к лицам и судьбам его людей представляется теперь, семьдесят лет спустя после описываемых событий, даже более важным и интересным, чем все, что рассказано нам здесь же про логово Гитлера и его жильцов.

И это при том, что Ржевская признает: «Они — другие, чуждые», — и признается: «Как трудно и попросту невозможно было нам воспринять это противостояние бедствиям, которое начинается с обязательств перед самим собой — телесным, перед всем житейским, не испаряющимся в духовном изживании катастрофы. Эту непереносимость в осуществлении своих нужд, интересов, в поддержании сохранности повседневных навыков, привычек, чтобы не поддаться хаосу — выстоять. Этот властный инстинкт самосохранения. Мы не могли оценить этот труд другой культуры».

Ржевская подробно описывает людей, записывает разговоры с ними, даже с теми, кто случайно встретился ей на улицах. Вот старый немец рассказывает ей собственную жизнь — и она будет помнить его годы спустя: «— Я ведь все пережил, — тщеславясь, повторял он, указывая сложенным зонтиком на эту прямую улицу, идущую к Бранденбургским воротам, словно она-то и была улицей его жизни, а войны и сменяющиеся режимы — лишь кварталы ее. — Kaiser-Wilhelm-Zeit, Weltkrieg, Weimarer-Zeit, Hitlerzeit und der Zweite Weltkrieg. И мы всегда голодали! <...> — Один пфенниг — миллион! Одна марка — биллион! — подняв палец и пододвинувшись ко мне, выкрикнул он. — Старые люди даже не могли сосчитать».

В фотографической тщательности этих записей мне видится чувство драгоценности жизни, стремление к тому, чтобы ничто не пропало. «Чуть моросило. Он постукивал зонтиком по мосту и все говорил взахлеб, откинув непокрытую голову, и капельки дождя попадали на стекла его очков в тонкой оправе, на бурый пористый нос, белый воротник рубашки, выглядывающий из ворота пальто и полуприкрытый шарфом». Все эти оставшиеся в ее повести люди — старик, случайно встреченный на берлинском мосту, пожилая супружеская пара, потерявшая сына на восточном фронте, — в их доме автору пришлось провести одну ночь, — сотрудники клиники «Шаритэ», даже помощница персонального гитлеровского стоматолога, вместе с

которой Ржевская искала и нашла зубную карту его окаянного пациента — несопоставимо важнее Гитлера, Геббельса, Геринга и прочих творцов истории.

Книга вообще очень честная. Во многом страшная, трагическая, жесткая, иной раз беспощадная — в точности, как жизнь европейцев в последние месяцы и дни войны, о которых она рассказывает. Но несмотря на это, поверх всего этого она полна света, надежды, ясности и благодарной любви к жизни. Это очень жизнеутверждающая книга: она — об огромном событии победы, о сокрушении зла.

Второй текст — о том, что было после. О возвращении домой — точнее, о невозможности возвращения. При том, что автору, можно отважиться сказать, повезло несравненно более, чем многим: ее дом остался цел, все ее родные остались живы. Но среда непоправимо изменилась. Погиб отец ее дочери — поэт Павел Коган, погибли многие друзья, соученики по Литинституту; те же, кто выжил, — никогда не будут прежними. Из вчерашних счастливых, горячих, переполненных своим будущим молодых людей «выбито ощущение собственной бессмертности». Так писала Ржевская об одном из своих соратников по юности, поэте Сергее Наровчатове, вернувшемся еще с финской войны, но это касается, конечно, не его одного. Это — мир после катастрофы, по существу не менее страшной, чем катастрофа побежденного противника. Просто другой.

И трудно сказать, какой из описанных Ржевской опытов сильнее. Но, думается, второй безусловно трагичнее и труднее. В первом есть надежда и свет. Во втором с ними значительно сложнее.

В повести о Европе последних месяцев и дней войны, при всем страшном и тяжелом, что в ней описано, — все-таки происходит, даже не метафорически говоря, торжество света над тьмой. Возвращаясь в послевоенную Москву, вопреки всем мыслимым ожиданиям, героиня попадает во тьму, которая с течением времени оказывается все гуще и гуще.

В родную московскую жизнь приходится входить заново — с усилием. Она оказывается неожиданно чужой даже на уровне предметов, знакомых с детства: «Приглядываюсь как-то стороне. Это потом отойду, отмякну, может, заплачу. А сейчас никакой близости не испытала к этим предметам, свидетелям и участникам моей тут с малолетства жизни. И они, перемерзшие военными зимами, постаревшие, стояли в сером налете запущенности черство, бессмертно, безучастно».

С людьми еще труднее: неналаженные, разлаженные отношения, непонимание, как их налаживать, — вдруг оказалось, что нужные для этого навыки либо утрачены, либо не обретены вовсе. «...мы не виделись почти два года. Это серьезный срок по тем временам. Мы отвыкли друг от друга. А Победа нас и вовсе разлучила. Ей уже сроку пять месяцев — и сменялись эпохи, и коренные перемены коснулись каждой души». Не было теперь большого общего дела — войны и победы: «Катили тугие послевоенные будни. Тут теперь у каждого было свое».

(И интересны ли теперь соотечественники так, как были еще совсем недавно интересны чужие побежденные немцы? Найдём ли мы тут столь же подробные, яркие описания человеческих типов и межчеловеческих ситуаций, как в первой повести? Почти нет. — Немцы, вчерашние враги, были для автора в статусе открытия, — в каком-то смысле, пожалуй, даже обретения. Свои вдруг оказались в статусе утраты — или почти утраты.)

«И по мере того, как текли минуты, я все больше чувствовала какую-то мнимость своего здесь присутствия».

Вдруг обнаруживается еще одна катастрофическая сторона войны, не бывшая видной, пока война продолжалась. Война не только сталкивает с беспощадным чужим: она еще разлучает со своим. И преодоление этого требует особого труда — в некоторых отношениях даже более сложного, чем труд противостояния чужому. Хотя бы потому,

что на войне, чаще всего, ясно, где добро и где зло и что надо делать, — и есть на что надеяться.

Окончание войны обернулось еще и утратой ясности и надежды.

Вот ведь поразительно: у героини вдруг куда-то пропадает то удивительное чувство драгоценности жизни, ее хрупких мимолетностей, которое одушевляло и освещало восприятие всего, происходившего в побежденной Германии. Все, бывшее источником огня, оборачивается вдруг горсткой пепла — кажется мелким, незначительным. «Так это и есть теперь мой удел? Мама, невестка, их невзгоды, их резоны?» — с вялой ошеломленностью спрашивала я себя и внутренне ежилась, отстраняясь и винясь».

Теперь, в этой повести, написанной существенно позже, чем первая, Ржевская иначе вспоминает и Германию, и первое время после победы, бывшее, казалось бы, чистейшим счастьем. Произошло нечто по видимости парадоксальное: от войска победителей, совершенно независимо от того, что их дело было правым, — как будто отступилась жизнь. «Когда все отгрохало, рвавшаяся к цели тугая лавина войны растеклась, опадая, разом наступил рутинный гарнизонный быт — за шлагбаумом выгороженного для штаба городского квартала. Ни тебе встряски, риска, ни колючего страха и ликующего выдоха одоления его. Возьми-ка этот порог мира, не споткнись.

А на приволье чужих тротуаров, в городе Стендаль, хочешь не хочешь, ты в неуклюжей маске оккупанта. Душа корчится. Не отодрать».

А предстояло еще и не то — нечто куда более страшное, чем взаимное непонимание с членами семьи. Чужой, враждебной и опасной обернется собственная страна-победительница с ее «борьбой с космополитизмом» и арестами, которые вскоре коснутся и самых близких; с невозможностью найти работу — фамилия с отчеством не те: именем «Елена Моисеевна Каган» в конце сороковых — начале пятидесятых лучше было не зваться, — с невозможностью напечататься. Все это предстояло пережить, со всем этим предстояло справиться.

И все-таки вторая повесть — не о поражении. Она — об испытании победой, о катастрофе ее — и о новом обретении, о медленном и упрямом выращивании внутреннего света.

Золотые страницы «ДН»

Кайсын Кулиев

С балкарского. Перевод Юлии Нейман



По следам героев

Путём героев минувших лет
Шагаем след в след.
И ветер боёв доносит до нас
Отцов наших славных сказ.

В песках мы слышим далёкий зов,
Находим куски подков.
Металл почернел, в земле пролежав,
От сотен дождей ржав.

Баллада Тихонова в ушах
Наш направляет шаг.
Подковы сплошь испятнала ржа,
Но песнь, как была, — свежа.

Мы слышим сквозь толщу минувших лет,
Шагая след в след,
Напевы незабываемых дней,
Ржанье лихих коней.

Нам пыль насылает Турецкий вал,
Как нашим отцам слал.
И жаждущих дразнит Сиваш гнилой
Солёной своей водой.

И раненый рвётся в сражение вновь:
В нём — наших отцов кровь.
И мёртвый, прежде чем упадёт,
Делает шаг вперёд.

Нет воды

Нам бы воды в этот смертный зной!
Нет воды, нет!
Пыли смыть бы горячий слой!..
Нет воды, нет!

В пекле перехватило дух,
Губы жар обметал.
Словно гробница Египта — сух
Старый Турецкий вал.

Выпал бы снег! Он так влажно хрустит...
Нет снега, нет!
Дождь бы наполнил следы копыт!
Нет дождя, нет!

Жёлтая пыль. Сухие следы.
Жажде сдаваться не смей!
Золото?.. Что в нём?! Нам бы воды!
Пыль. Суховей.

Трудно

В России — снег, а тут дожди весь день.
Насквозь мокры обмотки и шинели.
Стоим по пояс в ледяной воде.
От холода и грязи почернели.

А по ночам — свистящие ветра.
Обмотки — словно ледяные латы...
Вот так — устав, промерзнув до нутра,
Победы добиваются солдаты.

Вперёд

День прорыва — сегодня. Вперёд иди!
В дыму и огне — вперёд!
Только мёртвый останется позади.
Мы пойдём вперёд!
Мы пойдём вперёд!

Что ж, победа считать мертвецов не должна!
Всё равно — мы пойдём вперёд!
Если дан приказ — разве смерть страшна?!
Мы пойдём: вперёд!
Мы пойдём: вперёд!

Мы пойдём вперёд, как велит приказ.
Мы пойдём вперед!
Мы пойдём вперёд!
Пыль Турецкого вала — столбом вокруг нас!
Мы пойдём вперёд!
Мы пойдём вперёд!

Честь и храбрость нам указуют путь.
Не страшась, мы пойдём вперёд.
Если хочешь победы — о смерти забудь!
Мы пойдём вперёд!
Мы пойдём вперёд!

Поэты и война

Хыбар о последнем слове

Этот текст — рассказ ветерана Великой Отечественной войны Лалу Хафизова о последних днях жизни и гибели Али Шогенцукова, классика кабардинской литературы. Записавший его повествование Тимур Сукунов предваряет свою запись следующим пояснением:

В 1975 году, учась в Орджоникидзе, я приехал навестить тетю по матери, в одном дворе с которой жила семья Лалу Хафизова. В ее семье гостил писатель-драматург Залимхан Аксиров, и, так как я был младше всех, то обслуживал стол, за которым сидели Залимхан и Лалу. Как это часто бывает, они начали рассказывать хыбары. Вдруг в рассказе Лалу промелькнуло имя Али Шогенцукова. Мне стало интересно. Хыбар был о том, как Лалу встретил Шогенцукова в концлагере, находившемся в годы войны в городе Бобруйске.

В своем повествовании Лалу называл и другие имена, но я не смог их запомнить, поскольку не встречал их у нас в Малой Кабарде.

Приводим запись рассказа Лалу Хафизова с сохранением авторского стиля и незначительными сокращениями.

Я и один кабардинский парень, раненые, вместе со многими солдатами Киевского военного округа попали в плен и были отправлены в гомельский концлагерь. Через некоторое время нас вместе с другими узниками посадили в проходивший мимо Гомеля эшелон с пленными, направлявшийся из Полтавы в Бобруйск. По дороге я познакомился с Али. Благодаря ему мы за этот месяц пути поняли истинное значение слова «адыг». На одной из станций в наш вагон бросили через окно буханку хлеба. Вырывая друг у друга хлеб, мы вдруг слышали грозный голос, от которого все замерли. Он принадлежал черноглазому худошавому мужчине небольшого роста. Это был Али Шогенцуков, с которым я ранее не встречался.

Я в жизни не забуду черные глаза Али и силу его голоса.

Он сказал: «Братья, я один из тех, кто чуть постарше вас, выслушайте меня. У нас сейчас нет сил бороться с фашистами, пленившими нас, безоружных. Поэтому здесь, в этом вагоне, мы не можем ничего с ними сделать. Поверьте, я немного разбираюсь в истории... Наверное, нет народа, выдавшего больше войн, чем адыги. У фашистов цель одна — убивать людей или, лишив их рассудка, делать из них подневольных. В той ситуации беспомощности, в которой мы находимся, следует всегда помнить: если мы хотим сохранить уважительное к себе отношение, нужно в любой ситуации беречь свою честь. Наш враг должен видеть нас чистыми, даже если придется умываться болотной водой и бриться осколками камня, чтобы не прослыть неопрятными людьми. Как бы ни было больно, нужно оставаться выносливыми. Надо уважать друг друга и помогать друг другу. Наши тела не должны просвечивать сквозь рваную одежду, даже если придется стягивать прорехи на рубаше или штанах прутиками и веточками, чтобы нас не приняли за оборванцев. Мы не должны показаться робкими и трусливы-

ми. Но тяжелее всего будет голод, который может заставить нас потерять свою честь. Поэтому как бы мало ни было еды, необходимо не заглатывать ее сразу, а со спокойствием и терпением делить на всех, чтобы дай Аллах не совершить того, что противоречило бы нашей адыгской совести. Дай Аллах, чтобы враг узнал наши обычаи, мужество, терпение, сострадание, правдивость, степенность, которые всегда выделяли адыгов среди других народов мира. Немцы думают, что в мире нет более чистокровной расы, чем они. Мы должны изменить это мнение. Тогда враг не будет сравнивать нас со скотиной, а увидит в нас людей. Тогда мы можем считать, что сделали все возможное, чтобы сохранить честь народа».

Надо ли говорить, какое впечатление произвели на нас эти слова!

Голодных, нас пригнали в концлагерь, раздели и сожгли наши одежду. Вымыли каким-то жгучим раствором, одели в полосатые робы с метками и построили. Больных и немощных, вместе со мной и Али, поставили отдельно. Сначала мы подумали, что нас поведут на расстрел. Так, наверное, фашисты и собиралась сделать, но за нас вступился какой-то авторитетный человек, наблюдавший за происходящим, и нас не тронули. Только потом Али сказал мне по секрету, что этот человек — адыг. Звали его Давлетгирей Тавкешев. Заметив мое удивление по поводу того, что он заодно с немцами, Али сказал: «Поверь, Лалу, если хоть один человек в мире ненавидит предателей, то я — второй. Однако я немного осведомлен о делах Давлетгирея. Он помог многим адыгам, а также евреям, выходцам из наших краев, давая им адыгские фамилии».

В том концлагере было много конюшен, называемых бараками. Нас загнали в один из них и по меткам на куртках распределили по трехэтажным деревянным нарам. Больным и немощным отвели место около двери. Али спал на нижней лавке, я над ним, а на самом верху поместился кабардинский юноша в армейской солдатской одежде, которого пленили раненым и бросили в лагерь вместе со мной в Гомеле.

Не стану называть его имени. Лет двадцать назад, когда власти, получившие ложные сведения о пребывании Али Шогенцукова в плену, собирались признать его виновным, этот парень, испугался (нельзя судить его за это — такое было время), пришел ко мне, попросил как можно меньше рассказывать о концлагере и заставил поклясться, что я нигде не назову его имени. Позже в Бобруйск была направлена комиссия, которая развеяла ложные слухи об Али, распространенные недоброжелателями. Кто бы ни пытались осквернить имя Али, им не удалось запятнать его честь.

Али был образован, знал языки, увлекал окружающих интересной беседой, помогал воспрянуть духом людям, потерявшим надежду. Было заметно, что к нему относились по-особому не только пленные, но и надзиратели-татары и немцы, на чьих языках он мог говорить. Больше всего он презирал в людях такие качества, как двуличие, лицемерие, малодушие. Если замечал за кем-нибудь нечто подобное, приходил в ярость и долго не мог успокоиться. Провинившийся, не смея смотреть ему в глаза, опускал голову.

Немецкие и татарские (с немцами работало много татар) надзиратели удивлялись стойкости характера, упрямству и гордости этого невысокого, худощавого человека. Только потом я понял, что из-за уважения к нему надзиратели не заставляли нас, адыгов, делать «недостойную» работу. В этом, наверняка, была и заслуга Тавкешева, так как подобную работу заставляли делать узбеков, живших в соседнем бараке.

У нас на первом месте были адыгский этикет и гордость. Мы следили за собой, немцы не говорили с нами, как с другими, на повышенных тонах. Было очевидно, что нас больше уважают, и в этом была большая заслуга Али.

В лагере нас заставляли дробить камни. Однажды, возвращаясь с работы, мы увидели кабардинского парня, чистящего немцам сапоги. Увидев это и побледнев, Али сказал: «По сравнению с тем, что ты делаешь, дробление камня не тяжелее спичечного коробка», — и дал ему пощечину. Немец и два надзирателя схватили Али и бросили в камеру с каменными стенами без окон. Позже его вернули обратно в барак. Никогда не забуду слова, сказанные Али: «Когда Жабаги Казанок¹ сказали: «Одного

сына мало... Подумай, ты еще не стар». — Жабаги ответил: «Если он вырастет достойным — мне и его одного будет достаточно, а если вырастет недостойным — хватит всем». Лалу, пусть Тха² не наградит непристойным поступком того парня, которого я обидел». Тот, о ком говорил Али, вскоре исчез с узбеками, жившими в соседнем бараке, и татарами, работавшими с немцами (ходили слухи, будто они вступили в армию Власова).

Иногда нам тайком доставался кусочек копченого мяса. Во время работы мы клали его под язык, не пережевывали, пока сам не растворится. Трудно поверить, но этот кусочек придавал больше сил, чем похлебка, которой нас кормили. Однажды Али сказал: «Так мясо готовят по-адыгски. Наверное, это дело рук Тавкешева». Он говорил о том авторитетном человеке, который спас в нашей группе многих немощных, в том числе и меня. Ничего не могу рассказать о том, как он оказался вместе с немцами. Но, как потом пояснил Али, Тавкешев был одним из случайно уцелевших потомков рода, подвергшегося репрессиям в Кабарде в 20–30-е годы. Он жил в Германии, впоследствии вернулся на родину.

Через месяц Али дали указание уговорить нас вступить в армию Власова.

Скорее всего, он понимал, что ждет его в этот день. Насколько это было возможно привел себя в порядок и выглядел уверенным в себе.

Нас пригнали в конец барака. Слово дали Али Шогенцукову. Он медленно, не спеша, встал посередине и посмотрел на нас, словно прощаясь. Затем начал говорить быстро, но внятно. Как сейчас помню его слова: «То, что мне поручили сейчас сказать вам, я скажу не так, как они того желают. Знаю, это не приведет ни к чему хорошему. Поверьте, дела немцев не обернутся ничем хорошим. В войне победим мы! Никто из тех, кто напав на другое государство, творил зло — будь то Македонский, будь то Наполеон — не остался безнаказанным. Именно это ожидает и Гитлера! Что бы с нами ни сделали, сохраним адыгскую честь. Как бы далеки мы ни были от родины, весть о нас дойдет туда раньше, чем мы сами. Сейчас нас собрали здесь, чтобы заставить вступить в войско предателей. Прошу вас, не ошибитесь».

Это были последние слова Али. Он упал от тяжелого удара немецкой руки в кожаной перчатке. Его схватили и унесли. Спустя два дня в покинутом узбеками бараке мы нашли тело Али с изъеденной до костей ногой.

На мой взгляд, фашисты отдали нам тело Али, чтобы проверить, не озверел ли кто-нибудь из нас от голода. Но увиденное вызвало в нас гнев. Немцев смутила наша реакция, и они готовы были тут же с нами расправиться. Но Тавкешев, тот авторитетный адыг, успокоил нас и попросил: «Разгневавшись, не навредите себе. Немцы разрешили похоронить Али отдельно, согласно адыгским обычаям. Быстро сделайте это и идите работать!»

Вот что я хотел рассказать о времени, проведенном нами в концлагере. Через некоторое время нас, более пятидесяти адыгов, перевели в Гомель, в тот концлагерь, куда я попал вначале. К концу войны американцы освободили нас из концлагеря, находившегося во Франции...

Научный архив КБИГИ. Ф. 16. Оп. 1. Ед. хр. 33. № 2822.

г. Нальчик

*Перевод с кабардинского Е.КАНАМЕТОВОЙ и Л.ХАВЖОКОВОЙ
Публикация А.ШАПАРОВОЙ и М.ХАКУШАЕВОЙ*

¹ Жабаги Казанок — одна из ключевых фигур черкесской истории и культуры. Известен как выдающийся адыгский дипломат и политический деятель, философ и гуманист. Дата и место его рождения точно не известны, но принято считать, что он родился в 1685-м и умер в 1750 году.

² Тха — у адыгов творец всего сущего, хозяин Вселенной и создатель ее законов, давший человеку возможность их познания.

Сердце — как крыло раненого орла

*В публикацию вошли избранные письма из военной переписки
классика балкарской литературы поэта Кайсына Кулиева*

К. Кулиев — П. Скосыреву¹

Здравствуйте, тов. Скосырев!

Посылаю Вам подстрочники некоторых своих вещей. Прошу Вас позаботиться об их переводе.

Я знаю, подстрочники требуют много работы, но у меня нет ни сил, ни возможности на большее, и посылаю так. Лежу в госпитале в Чебоксарах. Здесь видел чувашского поэта Эсхеля, и эту бумагу дал мне он.

О других писателях Кабардино-Балкарии ничего не знаю. <...>

Если найдете нужным, напишите, пожалуйста, мне, будет ли возможность переводить мои стихи и какие перспективы в этом направлении.

Свои фронтовые стихи я раньше посылал в Кабарду, они печатались, а теперь не знаю.

Сердце, как крыло раненого орла.

Сегодня утром по радио читали переводы каких-то балкарских стихов. Чьи — прослушал. <...>

Желаю доброго здоровья.

Жму руку.

Кайсын Кулиев

12 сентября 1942 года,
г. Чебоксары.

ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 6, ед. хр. 639, л. 68, 68об.

¹ Скосырев Петр Георгиевич — секретарь президиума Союза советских писателей СССР по оргвопросам, руководитель Бюро национальных комиссий.

А. Деев¹ — К. Кулиеву

[После 24 сентября 1942 года]

Дорогой Кайсын.

Мы в Союзе очень обрадовались, когда получили Ваше письмо и стихотворения. Это первое письмо за время войны. Мы не получали еще никаких подстрочников. Между тем потребность в материале есть и работа над переводами ведется непрерывно.

Союз писателей работает, как и прежде. Даже больше того, значение работы с литературами народов СССР возросло. Иногда приходится заниматься и установлениями связи с писателями, которым волею судеб пришлось покинуть родные места. Связь есть еще не со всеми. В частности, могу сообщить только неточные сведения, что Отаров со значительной группой работников республики ушел в горы. Где Али Шогенцуков, пока не знаем, но предполагаем, что он пока в Махачкале. Возможно, что на днях поедет один наш товарищ для установления связи. Он объедет все эти места и сообщит обо всем, соберет литературные материалы.

Конечно, мы будем держать с Вами связь, очень просим писать нам и посылать еще материалы. Будем отвечать. Будем передавать Ваши стихи по радио, печатать в газетах и журналах. Но надо знать Ваш адрес, а потому Вы должны непременно писать, если куда переедете.

Интересуемся также тем, как Вы себя чувствуете, почему Вы оказались в Чебоксарах? Может быть, Вы на отдыхе после ранения? Может быть, на переподготовке?

Мы ставим перед собою задачу сохранения основных писательских кадров и предполагаем поставить вопрос о Вашем откомандировании. Когда что-нибудь выяснится, мы тотчас сообщим Вам.

Альманах «Дружба народов»² пока не издается. Выпускаем отдельные книжечки. Но северокавказского материала пока очень мало. Если Вы знаете о местонахождении

кого-нибудь из адыгейцев, чеченцев, кабардинцев, балкарцев и других товарищей, давайте собирать материал.

При Союзе существует теперь пресс-бюро, которое собирает материалы писателей и размещает их в прессе.

Устраиваем общемосковские вечера. Был вечер, посвященный Кавказу. Если бы мы знали, что Вы в Чебоксарах, мы поставили бы вопрос о Вашем участии. Но это еще впереди. Будем еще устраивать, будем вызывать товарищей из республик и надеемся увидеть Вас в Москве. <...>

Позвольте надеяться, что в ближайшее время мы получим от Вас обстоятельное письмо, а еще большую радость получим, когда увидим Вас в Москве.

Крепко жмем руку.

ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 6, ед. хр. 639, л. 71, 71об.

¹ Деев Аркадий Дмитриевич — литературный консультант Бюро нацкомиссий Союза писателей СССР, альманаха «Дружба народов».

² Со времени основания в 1939 году журнал «Дружба народов» выходил в виде альманаха (с перерывом на июнь 1941 — 1943 годы), затем с 1949 года — с периодичностью один номер в два месяца, с 1955 года и по сей день — ежемесячно.

К. Кулиев — А. Дееву

3 октября 1942 г., Чебоксары

Дорогой Аркадий Дмитриевич!

Крепко жму Вашу руку и шлю Вам большой привет от всей души. Вы себе не представляете, как я Вам благодарен за Ваше хорошее письмо, дружеские слова и заботу обо мне. Я был очень рад и благодарен. Спасибо, Аркадий Дмитриевич, спасибо! Я не писал Вам потому, что у меня для этого было очень мало возможностей.

Был я за это время на нескольких направлениях и фронтах. Прошел Латвию от Даугавпилса до Резекне. Там 5 июля 1941 г. был ранен в левую ногу (навылет), лежал до начала сентября. Был участником взрыва громадного чугунного моста через Западную Двину. Из этой группы парашютистов не вышло оттуда и половины, но меня пощадила пуля!

3 октября 1941, утром, находясь в парашютном корпусе, был участником громадного парашютного десанта, участвовал в нескольких атаках за Орел. День и ночь сражаясь, прошел всю Орловскую и часть Тульской области. Вторично был ранен двумя осколками в ногу. С воздуха смотрел на горящий Орел. Жуткое впечатление на меня произвело бегство евреев в Прибалтике. На эту тему написал 3 стихотворения.

Всего рассказать в письме невозможно. Написал за это время много стихов. Все время был на политработе.

В Чувашию эвакуировали из Тульской области после Орловского направления. После того как зажили раны, мне сделали операцию. Был гнойный аппендицит. С конца мая идет гной. Завтра будут резать снова. Чем кончится, не знаю.

Столько впечатлений, что о чем писать — не знаю, лучше кончу.

До свидания, дорогой Аркадий Дмитриевич! Жму руку.

Очень Вам благодарен.

Ваш К. Кулиев.

ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 6, ед. хр. 639, л. 67, 67об.

К. Кулиев — А. Дееву

12 окт. [1942] Чебоксары

Дорогой Аркадий Дмитриевич!

Примите мой горячий привет. Получил Ваше второе письмо. Слушал передачу¹. Получил переводы. За все от души благодарен. Из госпиталя вышел. От операции избавлен. Дали морфий, лег на операционный стол. Хирург долго крутился и отставил. Пока буду здесь в воинской части. Скоро ли на фронт поеду, не знаю. Когда буду ехать,

напишу. Посылаю Вам «паспорт» для подстрочников. Но он очень неважный. Простите, Аркадий Дмитриевич, если бы мог сделал бы лучше.

Надеюсь, получили все мои подстрочники. Посылал все четыре раза.

Если будут новые переводы, тоже пришлите мне. Чувашские друзья хотят издать мои стихи отдельной брошюрой. Бумага у них есть. <...>

Крепко жму руку.
Ваш Кайсын Кулиев.

ЦГАЛИ, ф. 631, он. б, ед. хр. 639, л. 64, 64об.

¹ Радиопередача, в которой прозвучало стихотворение К. Кулиева «О родина былин, земля моя» в переводе Д. Кедрина.

К. Кулиев — А. Дееву

15/X-42, Чебоксары.

Дорогой Аркадий Дмитриевич!

Горячий привет! <...> Чувствую себя хорошо. Для меня что мучительно, это то, что я в такой момент не на Кавказе. Я был бы там полезным человеком. Я хотел бы быть в пекле борьбы за Кавказ. Непосредственно. <...>

Перспектива фронта у меня, наверное, близка. Но как бы попасть на Кавказский фронт? Нельзя ли через Вас сделать что-нибудь? Отсюда не отправляют.

У меня накопилось стихов целый том. Они начисто переписаны в толстенные книжечки из плотной бумаги. Таких книжечек 3. На фронте эти стихи могут пропасть со мной, а жаль. Поэтому не послать ли их Вам для хранения? И дойдут ли они?

Надеюсь, об этом всем Вы мне напишете. <...>

Крепко жму руку.
Ваш Кайсын Кулиев.

ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 6, ед. хр. 639, л. 63, 63об.

К. Кулиев — Н. Чертовой¹

26/IX—1944, Кисловодск

Здравствуйте, тов. Чертова!

Я получил Ваше письмо сегодня, благодарен Вам. 20-го мне сделали очень сложную операцию, и я лежу в постели. Первые трудные дни прошли, а вместе с ними кровотечение и угроза проклятого слова—смерть. Теперь все ничего, но хромым, вероятно, останусь навсегда².

В конце октября я выйду из госпиталя и поеду в Москву.

Теперь о стихах.

Я очень и очень извиняюсь перед Вами, но не могу, я просто даже не в силах делать подстрочники и переписывать их. К тому же я уже полгода ничего не пишу. Мои старые стихи едва ли подойдут для Вашей книги. Много моих стихов есть у Вас в переводах и подстрочниках. Если Вам действительно захочется включить мои стихи, я думаю, Вы найдете их у себя. Я хочу обратить Ваше внимание на такие вещи: «Легенда», «Перед боем», «Первый снег», «Цветы», «Песня друга» — переводы Кедрина, «Жить» и «Мужество»-перевод Державина. Все эти стихи этого года. Написаны они на Сиваше³ и Перекопе и нигде, кроме фронтовой печати, не опубликованы. Я их считаю одними из лучших своих вещей.

С приветом Кайсын Кулиев.

ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 6, ед. хр. 686, л. 7, 7об.

Публикация и комментарий Л.ЕГОРОВОЙ

г. Ставрополь

¹ Чертова Надежда Васильевна — в те годы ответственный секретарь Бюро нацкомиссий.

² В апреле 1944 года Кулиев был тяжело ранен под Севастополем. Находился в кисловодском госпитале на длительном лечении.

³ Кулиев форсировал Сиваш с первой группой советских войск.

Художники о войне

Сначала была война. Великая Отечественная. С горечью поражений, отчаянным противостоянием, такой долгожданной и выстраданной победой. А потом — память о войне. Память разная. Документальная, постепенно прорывающаяся сквозь официоз и поражающая через свидетельства непосредственных участников, сколь жестокой и беспощадной была эта война. И — память художественная: через образы войны, обращенные к сердцу и душе. Но образы войны, совмещающие документ и искусство, возникали сразу, поскольку воевали и художники, люди с обостренным восприятием мира, после боя находившие в себе силы взяться за карандаш, чтобы запечатлеть врезавшиеся в память мгновения. Блокноты с зарисовками художников-фронтовиков стали и документом, и основой художественных замыслов будущих полотен.

Пронзившая, изранившая души война стала для художников большой страны на долгие годы важной, а для кого-то и главной темой творчества. Да, это была общая, одна на всех война, объединившая все народы Советского Союза на борьбу с фашизмом. Но у каждого художника свое видение общей трагедии, свой образный строй, обусловленный его национальной культурой, традициями, собственным опытом.

В большой коллекции Международной конфедерации союзов художников, собранной Союзом художников СССР, хранится огромное количество произведений, посвященных теме Великой Отечественной войны. Это и работы военного времени, возникшие под непосредственным впечатлением от событий, и полотна, созданные в послевоенные десятилетия, подтверждающие, что процесс художественного осмысления войны был долгим и многоплановым. Постепенно образ Великой войны становился все более сложным, мозаичным, воссоздавая и эпизоды героических сражений, и самоотверженную работу в тылу, и жизнь простых людей в самых разных уголках страны. В горном среднеазиатском кишлаке, на эвакуированном за Урал заводе, в колхозе, где остались одни женщины, люди вносили свой скромный вклад в общее дело защиты Отечества. Особый пласт составляют произведения, в которых звучит долгое эхо войны — обезлюдевшие дома и целые деревни, трудные судьбы людей, победивших в войне, но не нашедших себя в мирной жизни, восхищение будничным героизмом тех, кто выстоял, выжил в ленинградской блокаде.

Художественная память о войне — особого рода. Она действительно позволяет помнить о событиях, в которых не участвовал, и о людях, при которых не жил. Героическая эпоха, воссозданная в полотнах, вновь и вновь рождает чувство сопричастности, позволяет тем, кто родился годы и десятилетия после нее, ощутить себя на месте отца, деда, прадеда. И помнить об их подвиге. Помнить всегда.

Юрий ПОДПОРЕНКО



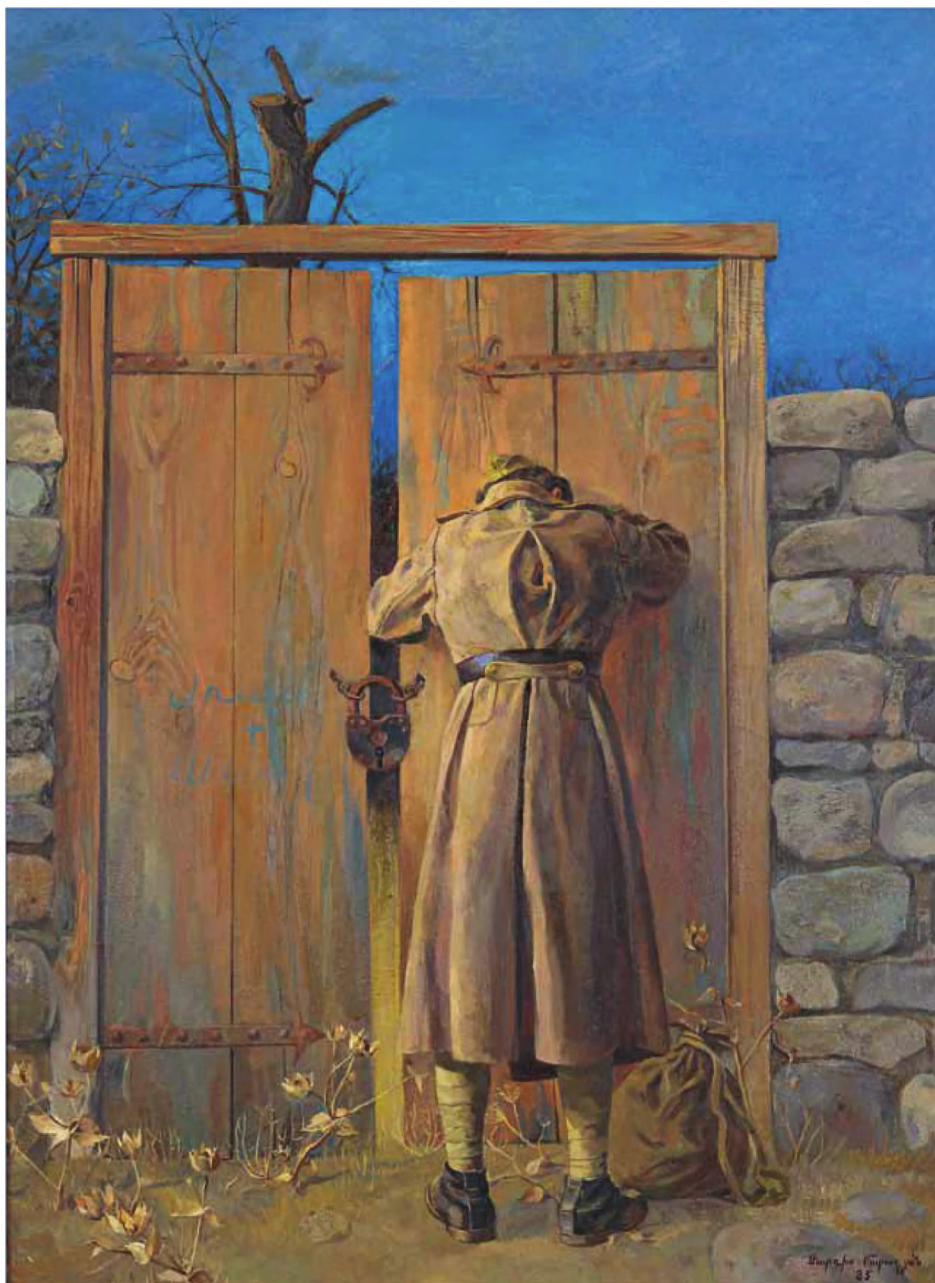
Михаил Савицкий
Минск, Республика Беларусь.
1922–2019

КЛЯТВА. 1969.
Холст, масло. 180х200
Из коллекции МКСХ



Григорий Тоидзе
Род. 1932; Тбилиси, Грузия

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ. 1975.
Холст, масло. 150х200
Из коллекции МКСХ



Саркис Мурадян
Ереван, Республика Армения.
1927–2007

НЕ ДОЖДАЛИСЬ. 1985.
Холст, масло. 180х133
Из коллекции МКСХ



Энвер Аскеров

НЕФТЬ БАКУ – ФРОНТУ. 1987.

Род. 1940; Баку,

Холст, масло. 190x150

Азербайджанская Республика

Из коллекции МКСХ



Асанал Бейшенов

ПРОВОДЫ НА ФРОНТ. 1975.

Род. 1941; Кыргызская

Холст, масло. 131x140

Республика

Из коллекции МКСХ



Юрий Пименов
Москва, 1903–1977

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЕННОМ
ПАЙКОВОМ ХЛЕБЕ. 1962.
Холст, масло. 90х90
Из коллекции МКСХ

«Артек»: светомаскировка, эвакуация, мобилизация...

Рубрику ведет Лев Аннинский

На пионерском флаге «Артека» изначально — Красный Крест. Знатоки помнят: в 1925 году лагерь на берегу моря создавался как оздоровительно-медицинский. Первая смена — 80 детей — лечилась от туберкулеза: 71 — улучшили свое состояние, один выздоровел.

Следующие полтора десятка лет постепенно выводят «Артек» из патронажа Всероссийского Красного Креста под Всероссийское Красное Знамя мировой пролетарской революции. Теперь слово «Артек» знает вся страна, если не весь мир, потому что страна — СССР — живет мечтой о всемирном счастье. Тогда это счастье называлось «коммунизм» (происхождение слова «Артек» филологи не прояснили до сих пор).

К концу 30-х годов борьба за всемирное счастье обостряется в Европе до кровавой степени: по дипломатическим полям эта кровь течет уже с угрожающей очевидностью. В «Артек» начинают поступать дети из краев, втянутых в бои.

Вот как описывает ситуацию рубежа сороковых годов неутомимый журналист «Российской газеты» Юрий Снегирев:

«Вторая летняя смена 1941 года была особой. Впервые в «Артек» были направлены дети из недавно присоединенных к Советскому Союзу западных областей Украины, Белоруссии, Молдавии, республик Прибалтики. Многие не говорили по-русски. Поэтому с каждой группой ехали вожатые-сопровождающие. Традиционно ждали в «Артеке» детей партактива из Москвы, Ленинграда, Симферополя...»

Детям партактива предстояло пройти курс дружбы народов. Первая группа 1941 года прибыла в «Артек» 19 июня — из Эстонии. Заселились. Получили форму: белые рубашки, красные галстуки. Сформировали отряды. Стали разучивать песни для торжественного праздника у костра.

На разучивание песен судьба отводит три дня. Распорядок — традиционный: зарядка, линейка, купание в море, волейбол, обед... тихий час...

В тихий час врывается стальной голос Левитана:

— Война!

Юрий Снегирев рассказывает:

«Открытие смены все же состоялось. Подняли флаг. Ни песен, ни танцев. Пионерский костер не разводили—светомаскировка.

К концу дня посыпались встревоженные телеграммы от родителей. Местные уже

наутро увезли своих детей. Следом примчались московские, ленинградские папы и мамы. Небольшими группами с вожатыми разъезжались по стране остальные пионеры.

А что было делать детям из Кишинева или Таллина, где уже гремели бои?»

1 июля — срочная эвакуация лагеря. Куда? Ближайший санаторий — «Мцыри». В Фирсановке, где век назад Лермонтов писал свою великую поэму. Но то был девятнадцатый век. В двадцатом обнажились другие законы: летом 1941-го в санатории срочно разместили госпиталь. Юные артековцы поехали дальше. Флаг аккуратно спустили и взяли с собой.

В Симферополе едва успели на поезд: тюки с бельем загружали уже в окна.

Дорога на восток шла по-военному. На долгих стоянках — помогали на полях (старшие пионеры) и на кухнях (младшие).

Пересели на Дону в транзитный буксир. Доплыли до Калача, хотели разгрузаться.. И тут «как ошпаренный», накинулся на пионеров комендант: «— *Кто такие? Откуда? Быстро прячьтесь по хатам, а то немец подумает, что свежее подкрепление прибыло! Не видите?»*

Посмотрели вверх. Увидели, что кружится в небе гитлеровская «рама» — разведчик... Так встретились с захватчиками.

В ноябре (как раз седьмого, в праздник) дошла горькая весть: родной «Артек» захвачен немцами...

А здесь, в месте очередного обоснования, война громыхает пока вдали. Девочки помогают в госпиталях, ухаживают за ранеными, мальчики дежурят на крышах, гася зажигательные бомбы.

Город, где они обосновались и приготовились встретить новый 1942 год, еще не разрушен. Хотя его уже бомбят.

Артековцы держат форму. Белые рубашки, красные галстуки.

Город называется — Сталинград.

Очерк Юрия Снегирева, меня потрясший, опубликован в журнале «Родина».

Summary

The Echo of the Great War

May issue of "DN" is dedicated to the 70-th anniversary of the Victory.

Our Golden Pages will remind the readers some piercing poems by the soldier-poets — **Nickolay Panchenko, Alexander Revich, Kaisin Kuliev, Maxim Tank, Sergej Orlov** — who have become the classics of our literature. **Arkadij Shtainberg's** poem "The True-Story of an Anti-Tank Rifleman" recently found in the author's home archives with no pathos tells about the real soldier's heroism which the soldiers themselves didn't consider heroism at all.

People's writer of Bashkortostan, an ex-soldier **Anatolij Genatulin** presents the story "Brigadier Pottage" — about the rural life in those severe years when the war called the ploughmen from the grain-fields to the fields wounded all over by the shells.

Eugenij Voiskunskij who waged war on the Baltic Sea in his essay "Baltic Hercules" tells about the heroic deed of the sailor Anatolij Ptitsin. The protagonist of the documentary by **Yourij Oklyanskij** "A Just under the Stonefall" is one of the most bright poets of the war generation Boris Slutskij.

Leaving for the USA the cinema-man **Valerij Grozak** took with him many tapes of his Kiev fellow-townsmen's dear voices. These tapes he has assembled into his book of memory: the front-line, captivity, occupation...

The historian and writer **Boris Goller** shares his memoirs about the events which took place just before and after the war in his native city of Leningrad and about his family's Siberian evacuation.

The war broke into the life of ordinary people on both sides of the front-line. The memoir stories by Italian poet **Leonardo Zanier** are about his native remote mountain village which some "Kazaks" and "Georgians" who turn to be the remains of general Krasnov's army are passing through.

Thirteen stories of the Great War

Writers of different generations from Russia and post-Soviet countries are telling how the memoirs of those who had defended their country from the Nazi occupation, some particular episodes or persons of the War, books or films about it have influenced their formation and what lessons of that War seem mostly important to them.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

druzbanarodov.com

на его странице в Живом журнале

<http://druzba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ,
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»